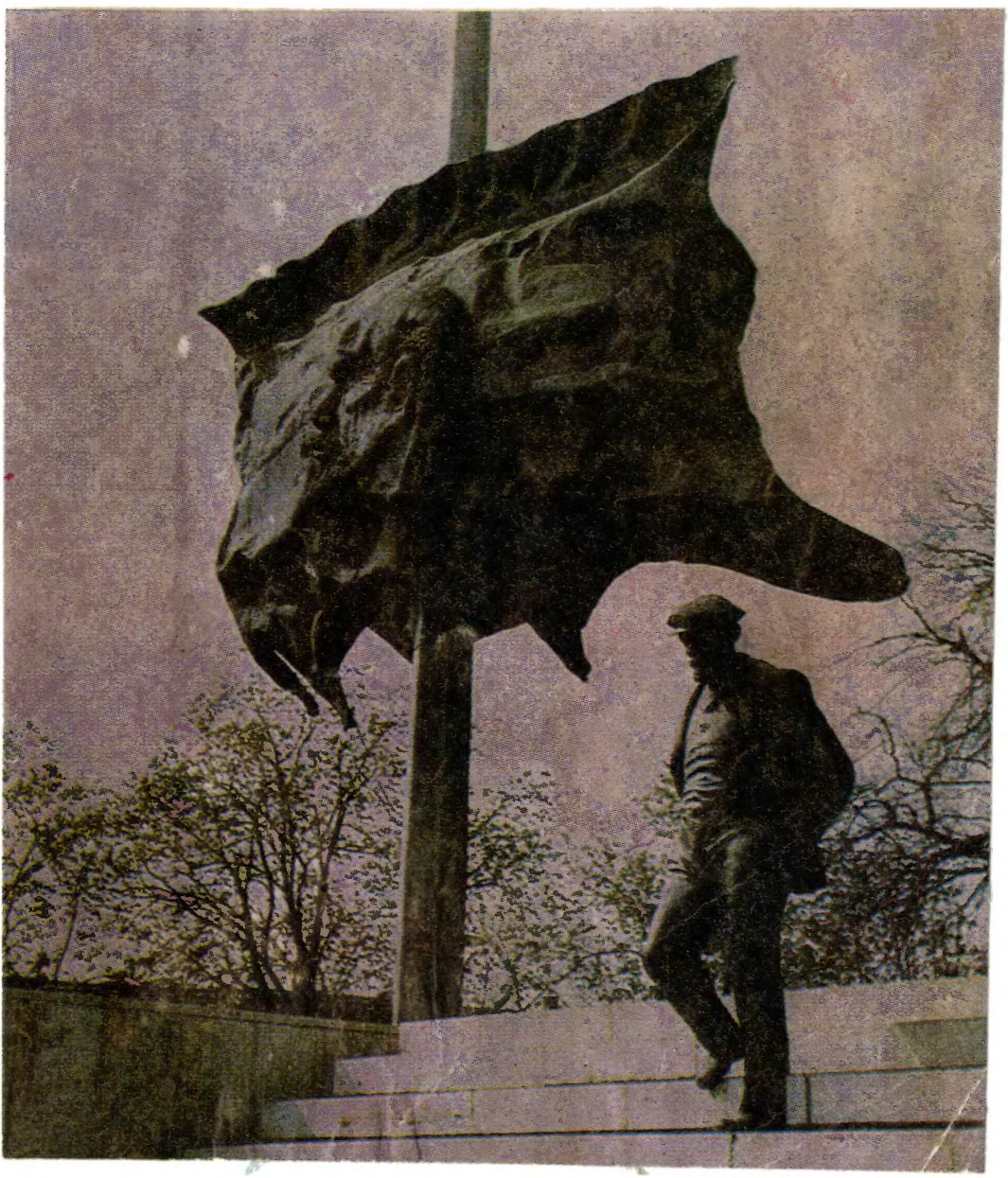
11.1980

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

11 ноябрь 1980

Содержание

ШУБХАШ МУККОПАДДХАЙ—Куда ведут дороги... *(Повесть. Перевод с бенгальского В. Коровина и С. Серебряного)* . . 3

Из югославской поэзии

ВАСКО ПОПА. ТОНЕ ПАВЧЕК *(Перевод и вступление Маргариты Алигер)* 46

ТАДЕУШ НОВАК — Побасенки *(Переводы с польского Г. Гудимовой и В. Перельман)* 53

ПЬЕР ГАМАРРА — Женщина и река *(Роман. Перевод с французского Г. Ерофеевой)* 77

ИРВИН ШОУ — Богач, бедняк... *(Роман. Окончание. Перевод с английского Иды Басавиной)* 153

Критика

ВЛАДИМИР ОГНЕВ — Пристрастные заметки (Поэты современной Югославии) 209

И. ДУБАШИНСКИЙ — На магистрали реализма (О творчестве Чарльза П. Сноу) 218

НАМВАР СИНХ — Из индийской ленинианы *(Вступление и перевод с хинди И. Карапетьянц)* 223

Культура и современность

Заметки на полях

А. НИКОЛАЕВСКАЯ — Совет Уильяма Сарояна «спасителям человечества» ✦ Л. ИСТЯГИН — Безопасность подлинная и мнимая 226

Публицистика

Запад: права человека...

ТОМАС КОТТЛ — Свидетельства черных *(Перевод с английского М. Загота. Вступление О. Ярославцева)* 231

Антирубрика

Из английской поэзии. РОБЕРТ ГРЕЙВЗ. АЛЬФРЕД ХАУСМАН. У. Б. ЙИТС *(Перевод Виктора Широкова)* ✦ СИЛЬВИЯ ТАУНСЕНД УОРНЕР — Феникс *(Перевод с английского Наталии Падалко)* 244

Наши гости

Е. Гениева — Берил Бейнбридж. Уильям Купер (Англия) 249

Среди книг

Издано в СССР

А. Федоров — Живой интерес к России ✦ А. Карельский — Встреча в год юбилея ✦ В. Седых — Книга обличает 253

Издано за рубежом

И. Попов — Кто боится Александра Пушкина? ✦ Оксана Кириченко — Моя клетка... 258

Из месяца в месяц

264

На обложке: ИМРЕ ВАРГА (Венгрия). ЛЕНИН.

© «Иностранная литература», 1980 г.

ШУБХАШ МУКХОПАДДХАЙ

Куда ведут дороги...

ПОВЕСТЬ

Перевод с бенгальского В. КОРОВИНА и С. СЕРЕБРЯНОГО

1

Поезд Калькутта — Дели, как и большинство поездов дальнего следования, отправлялся с вокзала Хаура вечером. На вокзал Упен-бабу [1] ехал в автомобиле. Подумать только — в автомобиле! И не в каком-нибудь там такси, а в собственном «амбассадоре»! То есть, конечно, не в своем собственном, а в «амбассадоре» Гхоток-бабу. Когда-то они вместе сидели в Хизли [2] — по старой памяти Гхоток-бабу и прислал машину.

Гхоток-бабу теперь важная персона — владелец склада пиломатериалов и роскошного мебельного магазина. А недавно он начал еще одно большое дело: строительство речных судов. Так что свободного времени у него нет. Даже на любимую охоту Гхоток-бабу выбраться некогда. А не то бы он, наверно, сам приехал проводить старого товарища.

Впрочем, Упен-бабу не думал об этом. Откинувшись на мягком сиденье, он почтительно рассматривал шофера в форменной куртке. Время от времени Упен-бабу бросал взгляд на свою только что надетую одежду: дхоти [3] и панджаби [4]. Такой красивой и ладной одежды у него еще никогда не было, он как будто стал совсем другим человеком. И стоило какому-то зазевавшемуся рикше загородить дорогу машине, как Упен-бабу неожиданно для самого себя вспылил и крикнул: «Эй, истьюпид! [5]». Правда, он тут же опомнился и взял себя в руки.

---

[1] Бабу (букв. господин) — прибавляется к именам индусов при почтительном обращении или упоминании. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] В Хизли (Западная Бенгалия) в 40—50-х годах находился лагерь для политических заключенных.

[3] Дхоти — мужская одежда из цельного куска ткани, концы которого обертываются вокруг ног и закрепляются на поясе.

[4] Панджаби — широкая и длинная верхняя рубашка.

[5] Искаженное английское stupid — глупый, дурак.

© Subhas Mukhopaddhay, 1976.

ШУБХАШ МУКХОПАДДХАЙ (МУКЕРДЖИ) (род. в 1919 г.).

Индийский поэт и прозаик, лауреат литературной премии «Лотос». Первые сборники его стихов вышли в 40-х годах: «Пешеход», «Чиркут», «Юго-восток». Затем последовали книги «Где бы я ни был» (1962, премия Литературной Академии Индии в 1968 г.), «Люди добрые!» (1970), «Дети ушли в лес» (1972), «Торопитесь, друзья» (1979) и др.

В русских переводах стихи Ш. Мукхопаддхая появлялись с конца 50-х годов. В 1973 г. в гор. Алма-Ате вышел сборник избранных стихов поэта. На русский язык переведен роман «Голодовка» (М., 1977).

Предлагаемая вниманию читателя повесть «Куда ведут дороги...» вышла в 1976 г. (Calcutta, Navapatra prakashan).

Час назад такой же самый рикша вез Упен-бабу со всем его багажом от дома зятя до здания, где находится комитет партии. Зять живет в переулке Банка Рая, так что ехать было недалеко. А весь его багаж — одолженный чемодан и сумка на длинном ремне с названием какой-то авиакомпании. Упен-бабу купил эту сумку на толкучке, на углу Хэррисон-роуд.

Люди опытные, не раз бывавшие за границей, надавали ему кучу советов: что надо с собой взять, да как там себя вести, и так далее. Но Упен-бабу не такой уж простак, каким может показаться с первого взгляда. Он очень даже себе на уме. Вежливо улыбаясь, он лишь прикидывался, что выслушивает и принимает все советы, а бóльшую часть пропускал мимо ушей. Кроме того, ему совсем не нравилось, что товарищи говорили «за границу» да «за границей».... Какая же это заграница? По сути дела своя, родная страна. Даже как-то странно, что нужен заграничный паспорт и въездная виза. Конечно, далековато туда добираться. И еще: тут тепло, а там холодно. Да у тамошних людей кожа посветлее. Вот и вся разница. А в остальном там такие же товарищи. Разве не так?

Чемодан оказался тяжеловат. Впрочем, ничего — нести можно. Правда, в здании комитета лестница крутая, и пока Упен-бабу взбирался по ней с чемоданом и с сумкой через плечо, у него перехватило дыхание. Гхоток-бабу сказал по телефону, что машина подъедет к комитету ровно в шесть. У Упен-бабу язык не повернулся попросить, чтоб машину прислали к дому зятя, в переулок Банка Рая. Довольно и того, что его довезут до вокзала. К тому же Упен-бабу прекрасно понимал, что Гхоток-бабу старается не ради него лично. Гхоток-бабу хочет показать, как он уважает партию. Что ж, так и должно быть. Тут дело не в личностях. Да и что за личность Упен-бабу! Не эм-пи [1], не эм-эл-эй [2]; добро бы еще он был каким-нибудь высокопоставленным и важным руководителем. А то рядовой член партии. Да еще провинциал.

Как только, тяжело дыша, Упен-бабу взобрался по лестнице, к нему с охами и ахами подскочили два молодых человека. Он и прежде встречал их в комитете несколько раз, но по имени не знал.

— Ах, Упен-да [3]! Зачем же вы сами тащили такой тяжелый чемодан?! Поднялись бы налегке да послали нас за ним!

Один из молодых людей подхватил чемодан Упен-бабу, а другой почтительно усадил его на скамейку. Потом тот, первый, крикнул кому-то, чтобы принесли горячего чаю.

Упен-бабу был несказанно рад тому, как обошлись с ним эти молодые люди. А ведь теперешних молодых-то принято ругать! И старших они, мол, не уважают — если на упавшего старика наткнутся, то и не взглянут, мимо пройдут; и думают они, дескать, лишь о том, как помоднее нарядиться, и к спиртному пристрастие питают — чего только не говорят о нынешней молодежи!

Вдруг Упен-бабу с ужасом заметил, что на обоих молодых людях были териленовые брюки. Но все же всерьез разозлиться не смог. Только про себя подумал: так одеваться не пристало. Если уж ты революционер, то зачем выряжаться франтом. Хотя, конечно, выглядят териленовые брюки красиво. Но в пору его юности все было по-другому. Правда, то было во времена англичан.

Выпив чай, Упен-бабу собрался было достать деньги, но молодые люди снова подскочили к нему:

— Ах, что вы, Упен-да!

И тут он увидел, что у обоих во рту — дымящиеся сигареты. Упен-бабу поспешно опустил глаза. И снова про себя подумал: не

---

[1] MP (Member of Parliament) — член парламента.

[2] MLA (Member of Legislative Assembly) — член законодательного собрания штата.

[3] «Да» — частица, прибавляемая к имени при обращении к старшему брату или старшему другу.

следовало бы им курить. Нехорошо, товарищи, дымить в присутствии старших. Но сразу же его одолело сомнение — можно ли товарищей по партии делить на старших и младших. Кроме того, непохоже было, что молодые люди своими сигаретами хотели оскорбить его, Упен-бабу. Да и с чего бы им его оскорблять? Как бы там ни было — они все же члены партии.

Из своего кабинета вышел секретарь. Увидев Упен-бабу, он сразу увел его к себе.

После освобождения из тюрьмы Упен-бабу тридцать три года вел партийную работу в провинции, на чайных плантациях. В Калькутту наведывался редко. Во-первых, это требовало денег. А кроме того, в огромном городе он чувствовал себя как рыба, выброшенная из воды.

И еще была одна причина. Но никому и никогда он не осмелился бы о ней сказать. Причина эта заключалась в самих калькуттских товарищах. За те считанные разы, что ему случалось бывать в калькуттском партийном комитете, у него создалось впечатление, что каждый здесь занят лишь своими делами, и не столько даже своими делами, сколько просто самим собой. Не чувствовалось между ними настоящей товарищеской спайки.

Но сегодня секретарь отнесся к нему как к очень близкому человеку. В душе Упен-бабу зашевелилось было какое-то сомнение, однако вмиг исчезло, потому что он сразу же стал укорять себя за это. Погруженный в свои мысли, Упен-бабу машинально подвинул к себе стул — даже не услышав скрипа ножек по полу — и столь же машинально сел на него.

— Ну как, Упен-да, все, что нужно, с собой взяли? Приедете — и прямо в больницу. А уж после находитесь и насмотритесь. — И понизив голос: — Упен-да, разве так можно?! Тяжеленный чемодан сами втащили на третий этаж! — Потом опять громко: — А вообще-то вам надо было бы ехать на вокзал прямо из дому. С вашим здоровьем...

— Дело в том... То есть мы договорились, что Гхоток-бабу пришлет машину сюда. Поэтому...

— А почему он не мог прислать машину к вашему дому?

— Я сказал ему, что хочу заглянуть в комитет на минутку — попрощаться со всеми перед отъездом...

— Вот-вот! А этот хитрец и воспользовался. Свою выгоду не упустит. Лишний раз подольститься захотел — положить цветочки к стопам партии. Вдруг когда-нибудь и окупится...

С улицы донесся автомобильный гудок.

Упен-бабу встал.

— На вокзале о вас позаботится Онукуль. Даст вам билет и посадит в поезд.

Такого с ним еще не бывало. Пока спускались по лестнице, на глаза Упен-бабу навернулись слезы. Два молодых человека не дали ему нести даже сумку.

Партия больше, чем семья, ближе, чем семья. Он говорил это много раз в своей жизни многим разным людям, потому что считал, что так должно быть.

Но сегодня он сам прочувствовал это до глубины души, и все струны его существа словно запели от радости.

Секретарь тоже пошел проводить его до машины. Упен-бабу, хоть и сказал сначала: «Да что вы, не надо!» — на самом деле был очень доволен и счастлив. Еще утром он и вообразить не мог, что выдастся такой необыкновенный день.

От гордости он ног под собой не чуял.

В детстве, бывало, он складывал праздничные подарки в подол дхоти. Упен-бабу вспомнил эту детскую привычку, и ему показалось, что сегодня подол его дхоти наполнен уважением и любовью пар-

тии — в награду за всю его жизнь. Руки, свободные от поклажи, сами собой изогнулись так, будто и вправду им надо было удерживать наполненный подол.

Упен-бабу вдруг почувствовал себя очень значительным человеком. Прежде он даже к зеленым юнцам обращался только на «вы», и с этим никто ничего не мог поделать. А теперь в него точно бес вселился. Когда они подошли к машине, он неожиданно для самого себя с важным видом похлопал секретаря по спине (тот, впрочем, был моложе Упен-бабу) и сказал:

— Ну, иди-иди, занимайся своими делами.

Сказал и сам вздрогнул. Собственный голос показался ему чужим.

2

Шоходеб и Татия ехали впереди всех, в машине Бикрома. Свернули на Шорот-Бос-роуд. Шоходеб с Бикромом, старые друзья, без умолку разговаривали. Татия молча смотрела в окно на проносившиеся мимо улицы, переулки, дома.

Вот она и уезжает отсюда, и кто знает, вернется ли когда-нибудь обратно? Отъезда Татия ждала с нетерпением. Только и делала, что считала дни, оставшиеся до назначенной свадьбы. Мысль о том, что она вырвется за границу, не давала ей спать по ночам.

Она согласилась на свадьбу, еще почти ничего не зная о Шоходебе; родители Татии и не подумали бы ее принуждать. Стоило ей сказать «нет», и свадьба не состоялась бы.

Сейчас родители Татии и ее младший брат Тукун ехали вслед за ними на такси. Оглядываясь назад, она видела, как ветер треплет седые волосы отца.

Мать Шоходеба вез в своей машине ее старший сын. Вместе с ними невестка и трехлетняя внучка. Отец Шоходеба умер два года назад.

Сразу после его смерти Шоходеб уехал за границу. Теперь он живет в Западной Германии, работает на радио в Кёльне.

Вырулив на Ред-роуд, Бикром прибавил скорость. Шоходеб повернулся к Татии, посмотрел на нее и улыбнулся. Бедняжка! Ей, конечно же, тяжело расставаться с Калькуттой.

В прошлый раз, когда он приезжал сюда из Западной Германии, ему тоже трудно было снова покинуть Калькутту. Потому что тогда его ожидала все та же одинокая жизнь в чужом городе.

Теперь совсем другое дело. Теперь они уезжают вдвоем и заживут на славу. Заработка Шоходеба им вполне хватит для безбедной жизни. А если Татия захочет, она тоже сможет неплохо подрабатывать на радио. Не захочет — не будет работать, пожалуйста, пусть учится.

Имя «Татия» Шоходебу сначала не понравилось. Оно показалось ему иностранным, вроде «Татьяны».

Однажды, когда свадьба была уже делом решенным, Шоходеб разглагольствовал об этом в доме Татии. Целую речь произнес:

— Что ни говорите, а в выборе имен бенгальцы теперь совсем голову потеряли. Стараются отыскать имена попричудливее, будто не для живых людей, а для персонажей юмористических рассказов. Иногда такие имена попадаются — ну, прямо абракадабра, с души воротит. Раньше были имена как имена, а теперь невесть что.

Татия сразу вспыхнула, а ее отец сказал:

— Знаете, Татия — это никак не связано с именем Татьяна. Просто в детстве она все время пританцовывала. Я и назвал ее «Татхия» [1]. Но потом, в школе, как-то умудрились потерять букву х — и

[1] Тахтия — космический танец бога Шивы.

получилось «Татия». Но я не возражал. Потому что и это имя к ней подходит: ведь она может вспыхнуть из-за любого пустяка[1].

Выслушав это, Татия сказала:

— Ну и ну! Целую историю сочинил.

Семья Татии очень понравилась Шоходебу. Между родителями и дочерью прекрасные отношения. Младшего брата от книжек не оторвешь. И все вместе производят впечатление удивительно счастливого семейства.

В одном доме с ними живет дядя Татии, младший брат отца. Поселился у них, когда был студентом колледжа, да так и остался. Своей семьи не завел. На карманные расходы зарабатывает частными уроками.

А Татии очень понравилась мать Шоходеба. Добрая, душевная женщина и без всякой экзальтации, столь часто свойственной бенгальцам. Она сама всю жизнь трудилась и хочет, чтоб невестки тоже не сидели без дела. Старшая невестка по ее совету устроила дома вечернюю школу и обучает грамоте простых женщин из соседних кварталов.

Отец Шоходеба был доктором. В молодые годы он служил в армии. Уйдя в отставку, построил этот дом, в котором семья живет до сих пор. Позже на первом этаже отец Шоходеба открыл аптеку и прославился ею на всю округу.

Аптека существует и поныне. Мать Шоходеба приглядывает за нею.

Бикром завел речь об их с Шоходебом старых друзьях и знакомых. Кроме самого Бикрома, не было, пожалуй, никого, кто бы здесь, в Индии, нашел хорошую работу. А Бикром неплохо владел английским и получил работу в банке.

— Это место мне досталось только благодаря семейным связям. Хорошая работа — это значит работа в солидной фирме. А кого берут в солидные фирмы, сам знаешь. Важных и влиятельных людей много, а у них — драгоценные чада. Чуть только такое чадо оперится, ему сразу приглашение от фирмы: «Милости просим к нам работать!». И раз эти солидные фирмы процветают, значит, они точно рассчитывают, чьих отпрысков к себе надо приманивать. — Помолчав, Бикром сказал: — Да, вот еще о чем ты наверняка не слышал! Помнишь Турупа?

— Прекрасно помню.

— А помнишь ли, что его настоящее имя было Оруп? Ведь это мы в шутку прозвали его Турупом, когда он накозырял задавале Дипену в день экзамена по английскому[2]. Так вот, знаешь, как его теперь зовут?

— Не знаю.

— Орупкумар... И тебе это имя ничего не говорит? Сразу видно, что ты давно не был в Бенгалии. Орупкумар — это знаменитый артист джатры[3]. Звезда первой величины в труппе «Кали-мата»[4]. Его теперь знают чуть ли не в каждой деревне. Там, где выступает Орупкумар, самому Уттомкумару[5] делать нечего. Честное слово!

Шоходеб был поражен. Возможно ли такое? Чтобы Туруп, этот денди, который говорил всегда только по-английски и наряжался по

[1] В оригинале игра слов. «Татия» звучит как деепричастие от бенгальского глагола «тата» —«гореть», «загораться», «вспыхивать».

[2] Туруп — козырь.

[3] Джатра — популярный в Бенгалии вид театрализованного представления с песнями и танцами.

[4] Кали-мата — Кали-матушка, название труппы подчеркивает ее традиционный характер. Кали — одна из основных богинь индусского пантеона.

[5] Уттомкумар — известный артист.

последней моде, вдруг занялся простонародной бенгальской джатрой — невероятно!

Шоходеб воскликнул:

— Черт подери! Вот она, Бенгалия! Страна чудес!

Бикром восторженно подхватил:

— А то как же! Знай наших!

Машина уже въехала на Хаура-бридж. Татия, услышав последние возгласы двух друзей, подумала, что Шоходеб, выходит, совсем не равнодушен к Бенгалии и не разуверился в ней, хотя недавно, сильно разозлившись по какому-то поводу, бросил в сердцах: «Что за страна! И что за люди?!».

За недолгое время их знакомства Татия убедилась, что Шоходеб очень любит Калькутту. Теперь же она вдруг поняла, что он мечтает о возвращении на родину. От этого у Татии будто камень с души свалился.

Она-то сама хочет оставить Калькутту навсегда. Чтобы больше никогда не видеть ее. Никогда в жизни.

Сегодня же ночью она все расскажет Шоходебу. А там пусть он решает, возвращаться ему или нет. Что ей делать самой, Татия уже решила твердо и бесповоротно.

И как раз в этот момент Шоходеб снова оглянулся на Татию. Ее лицо со сжатыми губами показалось ему суровым и мрачным. Шоходеб сразу сам помрачнел. Но тут же успокоил себя: мало ли что привидится в неверной игре света и тени.

3

Держа в одной руке чемодан, а в другой билет, Онукуль провел Упен-бабу в купе. Купе было двухместное: две полки одна над другой.

Онукуль сказал:

— Садитесь, пожалуйста! — и вышел.

Упен-бабу присел было на нижнюю полку, но тут же вскочил, будто наткнулся на колючку. Больше он уже не садился и чувствовал себя неловко.

Онукуль вскоре вернулся.

— Что же, вы так и не присели? Ладно, тогда еще минутку постойте — я постель расстелю.

— Товарищ Онукуль, это, наверно, купе первого класса. Тут не полки, а какие-то диваны с подушками,— сказал Упен-бабу. Хотя он и сдерживал себя в его голосе прозвучали раздражение и упрек.

Онукуль в ответ лишь рассмеялся:

— Ну да, первый класс. Неужели вы потому и сесть не хотите? Прошу вас, садитесь. Можете и прилечь.

Упен-бабу изумленно уставился на него и как будто даже онемел.

Лишь когда Онукуль попытался открыть окно, Упен-бабу вышел из оцепенения и запротестовал:

— Оставьте, оставьте! И так хорошо. Да я и не привык к сквознякам. Могу простыть.

Онукуль сказал:

— Хорошо. Кстати, Упен-бабу, я в этом вагоне только что встретил одного знакомого. На минутку загляну к нему и приду обратно.

Едва ступив за порог купе, он тут же вернулся и, запустив руку в свою сумку, сказал:

— Так я и вовсе могу забыть... Вот был бы скандал! Лучше сразу вам все отдам. — И он начал вынимать из сумки документы. — Вот ваш паспорт. Здесь булавкой приколота виза. А вот из-за этого проклятого штампа мне пришлось здорово побегать. Добыл его в самый

последний день. Поэтому и смогли достать вам билет только в первый класс...

— А это что такое?

— О, это очень важная бумага: медицинский сертификат. Ну, кажется, все документы я вам отдал. Так я пошел?..

— Конечно, конечно, товарищ Онукуль. И зачем вам еще раз ко мне заходить? Поговорите с приятелем и от него прямо...

— Ага, прямо! Хорошо это вы сказали, Упен-да! Вам самому тогда тоже пришлось бы прямо за мной бежать. Сели в поезд, а билет-то ваш где?

На этот раз рассмеялся Упен-бабу. Протянул руку и сказал, хотя видно было, что думает он совсем о другом:

— Ну, так где же в самом деле билет?

Онукуль вручил ему билет.

— Положите его в нагрудный карман. Так надежнее. И смотрите не потеряйте. А вот это билет на самолет. Его и все документы лучше запрячьте в чемодан. Чемодан-то у вас запирается, я надеюсь? Ах, только бы вам до Дели добраться! А там вас товарищи встретят и доставят куда надо и когда надо. Да, вот еще, секретарь велел передать вам конверт. Это деньги на дорожные расходы.

Упен-бабу брал все, что давал ему Онукуль, с каким-то изумленным и отсутствующим видом, не говоря при этом ни слова.

Наконец Онукуль ушел, бросив на ходу:

— Так я сейчас!

Первым делом Упен-бабу с опаской посмотрел на окно. К счастью, жалюзи были опущены. Упен-бабу боялся, как бы кто-нибудь не увидел, что он роскошествует в первом классе.

Закрыв дверь купе, Упен-бабу вытащил чемодан, вынул из нагрудного кармана ключ, который был приколот английской булавкой, и щелкнул замком.

Весь день его разбирало любопытство: что там, в чемодане? Младшая сестра Ко́мола и Го́па, жена племянника, одолжили у кого-то этот чемодан и сами упаковали его. У всех своих знакомых, которые побывали в Европе или Америке, они допытывались: «Скажите, что надо брать с собой в Европу?». Упен-бабу наконец не выдержал: «Почему вы все «в Европу» да «в Европу»?» Скажите лучше, что я еду в государство рабочих и крестьян. Вы думаете, наверно, если «в Европу», так больше чести?» Но потом он понял, что несправедливо упрекал сестру и невестку. Они говорили «в Европу» без всякой задней мысли. Просто по привычке: раз за границу — значит, в Европу.

Упен-бабу попытался рассмотреть содержимое чемодана, ничего из него не вынимая и не нарушая порядок. Сверху лежали новенькие белоснежные майки. Упен-бабу даже не верилось, что они куплены именно ему. Радуясь, как маленький мальчик, он погладил майки тыльной стороной ладони. Какая мягкая, гладкая ткань!

За эти тридцать три года Упен-бабу никогда и в голову не приходило заводить себе чемодан или даже просто ящик для вещей. Жестяной чемодан, который верой и правдой служил ему в лагере, он оставил товарищам из партийного комитета, а сам отправился на чайные плантации налегке. Одежду, которая у него была, он тоже всю раздарил, не отдал только книги, купленные на те деньги, что выдавались в лагере заключенным. За тридцать три года он еще несколько раз попадал ненадолго в заключение или уходил в подполье, но заветные книги уберег. Вот — «Капитал» Маркса, три томика, для конспирации когда-то переплетенные в обложки от дешевых романов. Так они, в чемодане, и едут вместе с ним. После тюрьмы у него не нашлось времени перечитать их еще раз. В больнице, а потом в санатории времени будет предостаточно. Наконец-то он сможет воздать должное этой великой книге.

Вдруг в коридоре раздался шум шагов, и кто-то рывком открыл дверь купе. Упен-бабу вздрогнул и быстро опустил крышку чемодана, будто вор, застигнутый на месте преступления.

Оглянулся и, к своему удивлению, увидел за букетами цветов несколько знакомых лиц. Старые знакомые из Северной Бенгалии. Все они давно пристроились в Калькутте. Кто в банке клерком служит, кто мелким бизнесом занимается. В прошлом члены партии. К партии теперь они не имеют никакого отношения, но к Упен-бабу сохранили дружеские чувства.

Один из вошедших сказал:

— Мы прослышали, что вы едете этим поездом, а в каком вагоне, не знали. Думали уж уходить, но, к счастью, навстречу попался Онукуль-бабу. Кто б мог подумать, что вы едете первым классом?!

То, чего Упен-бабу так опасался, как раз и случилось. Но позор в действительности был не столь велик, и Упен-бабу почти спокойно смотрел на неожиданных гостей.

— Какие букеты!.. Сколько же денег вы выбросили на ветер?!

Пропустив его возглас мимо ушей, гости один за другим сложили букеты на нижнюю полку.

И в этот момент в купе влетел запыхавшийся Онукуль.

— Прекрасно! Значит, вы его нашли. Но уже пора уходить. Дали зеленый свет. Поезд вот-вот тронется.

Потом, последним выходя из купе, Онукуль торопливо бросил:

— Ну пока, Упен-да! Пришлите мне оттуда письмо с красивой маркой! — И подмигнул игриво: — Нынче ночью, гляжу, у вас будет настоящее цветочное ложе! [1].

Поезд тронулся, и Онукуль рванулся к выходу.

Упен-бабу поспешил выйти в коридор, но никого из провожающих там уже не было.

Вернулся в купе и тут только сообразил: верхнюю полку так никто и не занял. Значит, двухместное купе в его единоличном распоряжении.

4

Проводником в этом вагоне был человек с худым, изможденным лицом, но необычайно высокий рост и стройная фигура сразу выдавали в нем бывшего спортсмена.

Болельщики, которые лет двадцать тому назад ходили на Майдан[2] смотреть футбольные матчи, помнят, вероятно, кличку Джо́ра-ги́рджа.

В команде железнодорожников играли тогда двое знаменитых нападающих, оба по имени Ги́риджа, или в просторечии Гирджа. Известны они были не меньше, чем те две калькуттские церкви, которые стоят вплотную друг к другу и называются «Джора-гирджа»[3]. И двух нападающих тоже стали звать «Джора-гирджа». Различали их так: один — Длинный Гирджа, другой — Короткий Гирджа. Длинный Гирджа теперь и работает проводником. После того как он повредил коленную чашечку, ему пришлось оставить спорт.

Сначала трудно было работать: пассажиры его сразу узнавали и таращили глаза. Любопытные взгляды досаждали ему. Сейчас другая досада. Никто больше не узнает. Люди забыли имя Гирджа.

А он полюбил рыбную ловлю. Чуть что — берет удочку и отправляется удить рыбу. Хоть в пруду, хоть в придорожной канаве. Рыбы ловится немного. Зато время проходит незаметно.

---

[1] Цветочное ложе — то есть свадебная постель. По индусским обычаям постель новобрачных обкладывают цветами.

[2] Майдан — парк в центре Калькутты.

[3] Джора-гирджа — пара церквей.

Если случается свободный вечерок, он играет в карты. А если выпадает ночная смена, то с ним всегда рядом книги. О природе и диких зверях. Других книг он не признает...

Одна и та же работа изо дня в день не может не наскучить. Но Длинный Гирджа придумал способ бороться со скукой. Способ этот очень простой. Во время проверки билетов он изучает пассажиров. И старается угадать, кто есть кто.

Подождав, пока пассажиры устроились в своих купе, Длинный Гирджа отправился проверять билеты.

В первом купе четверо картежников. Идет игра в три листика. Судя по запаху, перед игрой они уже заложили за галстук. Ага, так и есть: на полу стоит пустой стакан. Но пахнет тут явно не одним стаканом. Интересно, куда они дели остальные? Бутылок у них было по меньшей мере две: на полу валяются две скомканные обертки. Значит, угощали друг друга.

Вот эти двое — бенгальцы, Гангули и Чоудхури. Как видно, оба коммивояжеры. Гангули — тот, на котором лунги[1]. Наверно, он представитель какой-то фармацевтической фирмы. Из его пухлого портфеля торчат образцы лекарств. Чоудхури одет в пижаму. Спать будет на верхней полке: там валяются чертежи и карманный фонарик. Чоудхури, видать, технарь, имеет дело с машинами да станками. Или продает, или чинит — одно из двух. Кожаная папка, набитая чертежами, конечно, тоже его.

Чоудхури еще молод. Рядом с ним толстенный развлекательный журнал на бенгальском языке и еще журнал о новинках кино. Но не похоже, чтобы Чоудхури очень любил читать. По лицу видно — он человек деловой. Журналы небось везет жене. Женился он не слишком давно. На руке новенькие заграничные часы с автоматическим заводом. Наверняка подарок к свадьбе. И чемодан его из красной кожи тоже такой, какие обычно дарят на свадьбах. На чемодане матерчатый чехол цвета хаки, а на чехле вышито зелеными нитками: Н. Г. Чоудхури. «Г» — это, конечно, Гопал. Значит, зовут этого Чоудхури или Нони Гопал, или Нобо Гопал. Но уж наверняка не Нару Гопал. Теперь это имя в моде.

Гангули — мужчина средних лет, обремененный многодетной семьей и потому прижимистый. Курит сигареты-самокрутки, чтобы меньше тратить денег на курево. В карты сел играть только за компанию. А может быть, шальные деньги завелись и он решил рискнуть: а вдруг выиграет. Ведь два других игрока — люди богатые!

Длинный Гирджа проглядел список и нашел имена этих двух других пассажиров: Гупта, сорока двух лет, и Раджу, сорока пяти лет. На чемоданчике-«дипломате» Раджу написано имя полностью: Чандрашекхар Раджу. Под именем название фирмы: «Эн-Би-Джи-Ти-с°». Еще чуть ниже: Гунтур, Андхра-Прадеш. Сомненья нет, этот Раджу — бизнесмен и его бизнес — табак. «Джи-Ти», вероятно, сокращенное «Голден Табэккоу». Гунтур славится своими табачными плантациями.

Посмотрев внимательней на пассажира, ехавшего по билету на имя Гупта, Длинный Гирджа сразу все понял. Этому пассажиру было самое большее лет тридцать — тридцать два, а уж никак не сорок два. Длинный Гирджа решил позабавиться: еще раз заглянул в список пассажиров, а потом стал с сомнением всматриваться в лицо этого Гупты. Тот быстро отвернулся и с отсутствующим видом уставился в окно, но пальцами нервно постукивал по картам, зажатым в руке.

Длинный Гирджа мог побиться об заклад, что этого пассажира звали вовсе не Гупта. Просто он купил билет через транспортное агентство. А агентство предварительно закупает билеты большей

[1] Лунги — мужская одежда, состоящая из куска ткани, обертываемой вокруг бедер.

частью на фамилии вроде Гупта, Рай, Дас, Чоудхури, Датта и так далее. Потому что такие фамилии распространены если и не по всей Индии, то, по крайней мере, в нескольких штатах. Возраст агентство проставляет обычно от сорока до пятидесяти лет. Если на самом деле пассажиру окажется лет на десять меньше или больше — не велика разница.

При желании Длинный Гирджа мог бы продолжить свою забаву. Если бы он еще немного посидел, с озабоченным видом изучая список пассажиров, ему бы непременно предложили пропустить стаканчик. Дело уже именно к тому и шло, но Длинный Гирджа поднялся, сказал:

— Спасибо! — и решительно вышел из купе, закрыв за собой дверь.

В коридоре сильно дуло: поезд шел на большой скорости. За окнами — непроглядная тьма. На небе — ни звезды. Наверно, тучами затянуло.

Вынув из кармана пачку сигарет «Чар минар», Длинный Гирджа остановился покурить. Достал из другого кармана дорогую зажигалку. Ее подарил ему один болельщик-почитатель двадцать пять лет назад, а зажигалка до сих пор как новенькая.

Дымя сигаретой, Длинный Гирджа увидел, что из крайнего купе в дальнем конце коридора вышел пожилой господин и, держась руками за стены, направился в его сторону. Судя по всему, этот пожилой господин шел в туалет. Очевидно, он не знал, что в том конце вагона тоже есть туалет, а не то бы не стал проделывать столь долгий путь через весь коридор. Пожилой господин садился в вагон с этой стороны — вот и заметил, что туалет здесь. Выражение лица у него какое-то странное. Уж не болен ли он?

Дверь одного из купе в середине вагона была приоткрыта. Пожилой господин, поравнявшись с ней, остановился — наверно, увидел какого-нибудь знакомого. Но тут же пошел дальше, опасливо прижимаясь к наружной стене. Сразу понятно: он не привык ездить в таких вагонах.

Чтобы пожилому господину легче было пройти мимо него, Длинный Гирджа прижался к окну. Ну и рассеянный же, видать, этот господин! Длинного Гирджу он как будто даже не заметил.

5

Предупредив движением Шоходеба, Татия отстранилась от него, прижала палец к губам и безмолвно, одними глазами показала на дверь. Но потом все же сказала тихо:

— Погоди, сейчас придут проверять билеты.

Шоходеб состроил недовольную гримасу и уныло ответил:

— Ну да, проверка билетов! Потом придет официант: «Ужин, мэм-сахиб?» И будем ужинать.. Потом придут за грязной посудой. Потом...

Татия подхватила:

— Вот-вот! Я совсем забыла. Твой приятель Онукуль попросил нас навестить... Упен-бабу — так, кажется, его зовут. Пожилой человек, к тому же больной И болезнь у него какая-то серьезная.

Шоходеб спустился с облаков на землю.

— Да, ты права. Закажем ужин и сразу пойдем к нему. В общем-то я совсем не голоден. Днем мы здорово наелись у тебя дома. Жаль только, я не захватил с собой несколько бутылок пива. Ну, да ладно...

С этими словами Шоходеб неожиданно поцеловал Татию в щеку и столь же быстро, схватив в охапку букеты цветов, улизнул от нее в другой угол купе.

Татия почувствовала себя в безопасности и сделала вид, будто собирается дать Шоходебу пощечину, но, подняв руку, тут же ее опустила и лишь воскликнула: «Ух, противный!»

А Шоходеб как ни в чем не бывало разбирал букеты и рассуждал:

— Кто бы мог подумать, что нам натащат так много цветов? Ведь теперь при гражданском браке никто не устраивает цветочное ложе! Тоже мне хитрецы! Принесли цветы будто на проводы. Совсем свихнулись! Цветочки-розочки — это все не по мне.

Татия, занявшаяся багажом, бросила через плечо:

— Ты предпочитаешь шипы да колючки?

— Вот-вот,— передразнил ее Шоходеб,— особенно женские шпильки. Там, в Кёльне, они все время застревают у меня в постели. Сама увидишь.

Татия не смутилась:

— От моих шпилек ты еще наплачешься.

И как раз в этот момент в дверь постучали.

— Проверка билетов!

Шоходеб, открыв дверь, сказал:

— Заходите! Заходите! — и быстро сгреб все вещи, разложенные на нижней полке, чтобы проводник мог присесть.

Татия достала билеты из своей сумочки и подумала: «Вот это рост!» А вслух сказала:

— Пожалуйста, садитесь.

— Ничего, ничего,— отвечал проводник, чуть не стукнувшись головой о верхнюю полку. Он достал свои бумаги и жестом предложил Шоходебу и Татии присесть.

— Мистер и миссис Бошу, не так ли?

— Да.

Но Длинный Гирджа сделал пометку в своих бумагах, прежде чем услышал ответ. Он уже успел разглядеть, что молодая женщина очень хороша собой. Шоходеб, в свою очередь, посмотрев на проводника, отметил, что у того прекрасная фигура. Наверняка в студенческие годы он занимался спортом; может быть, играл в футбол.

Мистер Бошу, ясное дело, живет за границей. Только недавно оттуда. На чемодане до сих пор висят багажные бирки, какие выдают в аэропортах. Бирки совсем еще свеженькие. А из вещей кое-что как будто подарено на свадьбу. Ну да, конечно же это молодожены: в углу купе — куча цветов.

Длинный Гирджа вдруг затосковал. Миссис Бошу немного похожа на его дочь Кальяни. У Кальяни тоже была родинка. На шее, под подбородком.

Это случилось весной. Оспа. Кальяни уже почти выздоровела. И вдруг сердце не выдержало. Он даже не успел с ней попрощаться. Как раз в ту ночь он спокойно пошел в ночную смену. А когда через день вернулся — все было кончено.

— Спасибо,— сказал Длинный Гирджа и, тяжело ступая, вышел из купе. Шоходеб закрыл за ним дверь.

Татия подумала, что Шоходеб воспользуется возможностью и снова перейдет в наступление. Но вместо этого Шоходеб, замурлыкав себе под нос какую-то песенку, вынул из чемодана мыло и полотенце и сказал:

— Пойду умоюсь. А потом ты. Если придет «ужин-мэм-сахиб», скажи, что мы будем ужинать около десяти. Только сначала дай ему на чай, а то он заворчит, что в десять — это поздно.

Татия осталась в купе одна.

В Калькутте они были вместе только одну ночь — сразу после свадьбы. Шумное веселье с родственниками и друзьями затянулось допоздна. Шоходеб был в восторге, а Татия, конечно, радовалась еще больше его, и это только прибавляло радости Шоходебу. Как успе-

ла заметить Татия, Шоходеб вообще был веселый и жизнерадостный парень. Угрюмых и занудных людей он не любил. Когда свадебное веселье кончилось, уже поздно ночью, они ушли в спальню.

День регистрации их брака Татия установила сама, и пока что все шло так, как она наметила. К сожалению, пришлось прибегнуть к небольшому обману, но Татия обещала себе, что очень скоро она признается в этом Шоходебу. В ту ночь она прошептала ему на ухо: «Извини, пожалуйста, но сегодня еще нельзя. Я ошиблась на один день». И, отодвинувшись на безопасное расстояние, осторожно поцеловала его в губы. Шоходеб — то ли он перебрал спиртного, то ли в простоте душевной и впрямь ей поверил — сразу повернулся на бок и заснул.

К этой сегодняшней ночи в поезде Татия готовилась задолго. Сама добыла билеты через маклера; сама позаботилась о том, чтобы день свадьбы пришелся на самый канун отъезда из Калькутты,— не надеясь ни на кого, она предусмотрела все детали.

Теперь Татия предполагала, быстро покончив с ужином, без промедления осуществить самый важный пункт своего плана, а то как бы Шоходеб не зашел слишком далеко. Кроме того, ему тоже необходимо время, чтобы все обдумать и решить, как поступать дальше. Он не должен принимать решение сломя голову или под влиянием жалости к ней. Когда Шоходеб узнает, что Татия нарочно все так подстроила, можно себе представить, что он о ней подумает! Но у Татии не было иного выхода. Впрочем, это облегчит им расставание. У Татии будет лишь одна просьба к Шоходебу: если он, все узнав, решит оставить Татию, то пусть оставит ее не ранее, чем они выберутся за границу.

Но осуществление этого важнейшего пункта плана задерживалось по вине Шоходеба. Нет, не совсем по его вине — виноват этот знакомый Онукуля, по имени Упен-бабу.

Раздался стук в дверь.

— Ужин, мэм-сахиб!

«Ну и голосина же у этого официанта!» — подумала Татия. Но едва она осторожно открыла дверь, как в купе, чуть не сбив ее с ног, со смехом ворвался Шоходеб. Татия, опомнившись от неожиданности, изобразила гнев:

— А если бы я от страха закричала?

— Ну и что?

— Был бы скандал!

— Я скандалов не боюсь. А если б боялся...

Татия вмиг побледнела. Подхватив последние слова Шоходеба, она повторила их как вопрос:

— А если б боялся?..

— Просто-напросто я не был бы Шоходебом!

Татия расхохоталась — да так, что из глаз потекли слезы. И в этот момент снова раздался стук в дверь. На этот раз очень вежливый голос спросил:

— Сахиб, ужинать?

Шоходеб, еле удерживаясь от смеха, просунул за дверь бумажку в пять рупий и сказал:

— В десять часов! — и тут же запер купе.

Хохот одолел и его. Он пустился в пляс, точь-в-точь как герои кинофильмов на хинди, то и дело повторяя взахлеб: «Ужин! Ужин, мэм-сахиб! Сахиб, ужинать!»

6

Проходя по коридору, Упен-бабу нечаянно заглянул в полураскрытую дверь одного из купе и остолбенел от неожиданности: в купе сидел не кто иной, как Джоду-бабу! Джоду-бабу его, конечно, тоже увидел, но продолжал сидеть как сидел. Ни звука не произнес. Даже

с места не сдвинулся. Упен-бабу, поколебавшись минуту, все же не решился заговорить первым и пошел дальше.

У окна стоял проводник и курил. Вот и он тоже уклоняется от своих прямых обязанностей: обходить купе и проверять билеты. Впрочем, кто ездит первым классом? Представители класса капиталистов. А у них небось билетов никогда не проверяют.

Возвращаясь из туалета, Упен-бабу решил все-таки зайти в купе Джоду-бабу. Что в этом такого? Ничего страшного. Мир не перевернется.

Конечно, Джоду-бабу, став членом парламента, наверняка считает себя очень важной персоной. Но не мог же он так просто забыть, что они вместе съели пуд соли в одной коммуне и вместе скрывались в подполье, организовывали митинги и демонстрации. Сейчас они далеки друг от друга, можно сказать, смотрят в разные стороны, но ведь как-никак, а выросли-то оба из одного корня. И корень этот — марксизм.

Упен-бабу как решил, так и сделал. Открыл дверь купе, вошел и сразу сел на нижнюю полку рядом с Джоду-бабу.

— А, Упен-да?! — только и сказал Джоду-бабу. Что ему еще оставалось?

— Да, это я...— отвечал Упен-бабу. Он чуть было не добавил «товарищ», но язык все-таки не повернулся. Рана еще слишком свежа. Нужно время, чтобы она зажила.— Вот, товарищи послали меня подлечиться. Тут никак не поймут, что за болезнь. А я и подумал: почему бы мне не поехать. Заодно всем святым местам поклонюсь. Два дела сразу.

Джоду-бабу дернулся и вскочил, прижав к груди подушку, будто щит.

Упен-бабу тоже напрягся, будто готовясь отразить удар.

— Вы в вашей партии только и знаете, что ездить туда за советами да заветами!

Упен-бабу отпарировал:

— Нам новые заветы не нужны. Наша партия верна тем же заветам, что и прежде. А вот тот, кто им верность не сохранил, тот от нас и откололся. И что из этого вышло? Откололись от нас, а потом еще и сами раскололись не раз и не два [1].

Джоду-бабу понял, что спорить бесполезно: только злить друг друга. К тому же поддержки тут ждать не от кого. В первом классе, известное дело, едут одни реакционеры. Поэтому он решил прекратить спор шуткой:

— Ом! Во всем мире мир! Ом! Во всем мире мир![2] Ну, а в остальном как дела?

Упен-бабу тоже понял, что разговора не получится: то, что сломано, словами не склеишь.

— Ну, я пойду,— сказал он,— а то припоздnюсь с ужином,— и встал. На душе было горько. Но Упен-бабу не поддавался отчаянию. Значит, еще не настало время... Ломать легко. Воссоздавать трудно.

Уже стоя в коридоре, прежде чем закрыть дверь купе, Упен-бабу помахал рукой на прощание.

Когда дверь захлопнулась, у Джоду-бабу екнуло сердце. Вот так встреча... Через столько лет!..

Увидев за раскрытой дверью купе Упен-да, проходившего по коридору, он, конечно, сразу же его узнал и лишь притворился, что не видит: не был уверен, захочет ли Упен-да говорить с ним. Забыть Упен-да было невозможно. Это значило бы забыть самого себя.

[1] Имеется в виду произошедший в 1964 г. раскол индийской компартии, в результате которого образовались две партии: Коммунистическая партия Индии и Коммунистическая партия Индии (марксистская). От КПИ (м) впоследствии откалывались различные левацкие группы.

[2] Ом — священный слог, часто произносимый в индусских молитвах и ритуальных формулах. В данном случае спародирована ритуальная формула: «Ом! Мир, мир, мир!».

Помнится, в коммуне они месяцами ели только картошку, рис и даль[1]. Лишь изредка кого-нибудь из зарабатывавших друзей удавалось уговорить раскошелиться на мясо. Когда это случалось, Упен-да, засучив рукава, принимался за стряпню. По его словам, среди товарищей в лагере, в Хизли, он слыл лучшим поваром. Что правда, то правда — готовил он здорово.

И когда они скрывались в подполье, он тоже всегда был за повара.

Но в политических вопросах он не разбирался, наивен был до смешного. Не то чтобы на митинге речь произнести — его даже на партийную учебу ни разу не посылали. Так он и остался до седых волос рядовым членом партии.

Он никогда не понимал, что значит политическая борьба. Вот в чем его главная слабость. Политика — это вам не святая обитель и не спортплощадка. Политика — это борьба за власть. А чтобы бороться за власть, надо, во-первых, иметь силу, а во-вторых, уметь ею пользоваться. Знать верную дорогу — еще не все. Надо пробиваться по этой дороге вперед.

Джоду-бабу, подложив под голову подушку, растянулся на полке и подумал: «Такие люди, как Упен-да, не годятся даже для «Миссии Рамакришны»[2]. Таким надо идти в Союз служителей Индии[3]. Благотворительность и революция — это разные вещи. Нас многие порицают: сегодня вы, мол, одно говорите, а завтра — другое. И ставят нам в пример Упен-да и ему подобных: они, мол, на чем стояли, на том и стоят. Что ж! Правильно говорят! Меняется жизнь — меняются и наши установки. Мы не какие-нибудь там интеллигентики. Мы — партия пролетариата.

7

Первым делом Татия посмотрела на себя в зеркало. Алый пробор[4] совершенно изменил ее облик. Она схватила полотенце, намочила край, стерла с пробора синдур. Снова посмотрелась в зеркало — как лучше: с синдуром или без него?

Что касается одежды — их вкусы с Шоходебом совпали. Ему очень нравится ее излюбленный наряд панджаби: длинная блуза из простого кхаддара[5] и узкие шальвары. Если б в Германии не было так холодно, она и там всегда ходила бы в этом наряде. В колледже да и позже ей приходилось выслушивать много насмешек от подружек за пристрастие к кхаддару... Но Татия всегда была выше пересудов.

Скинув шлепанцы, Шоходеб растянулся на нижней полке. Пока Татия прихорашивается в туалете, у него есть время почитать сегодняшнюю газету. В прежние времена, когда он жил в Калькутте, Шоходеб был заядлым читателем газет. По утрам он не мог приняться ни за какие дела, прежде чем не просмотрит свежую газету.

Два года он прожил за границей. И от былой страсти к газетам не осталось и следа. Тому, конечно, много причин. Прежде всего он с детства привык к определенному типу газет, которые читались в родительском доме. Их шрифты, заставки, оформление страниц, запах — все это имело для Шоходеба какое-то таинственное очарование. Даже когда ему случалось оказываться в Дели или Бомбее, тамошние газе-

---

[1] Даль — похлебка из бобовых.

[2] «Миссия Рамакришны» — религиозно-общественная организация, основанная известным индийским реформатором Вивеканандой (1863—1902) и названная в честь его учителя Рамакришны (1836—1896).

[3] Союз служителей Индии — благотворительная организация.

[4] По индусскому обычаю замужние женщины красят пробор синдуром (киноварью).

[5] Кхаддар — домотканая материя.

ты не доставляли ему того удовольствия. О заграничных газетах и говорить-то нечего! Сначала ему было трудно жить без калькуттских газет, но постепенно прежняя привычка забывалась и в конце концов забылась вовсе.

И еще ему хорошо запомнились слова Пропхулло-да. Они встречались и беседовали по утрам за чашкой чая всегда в одной и той же чайной. Пропхулло-да был намного старше Шоходеба. Он постоянно носил с собой конторскую книгу и, прихлебывая чай, не переставал выводить в ней какие-то цифры.

Шоходеб и его друзья вырывали друг у друга из рук газетные листы. Один только Пропхулло-да не принимал участия в этом и бесстрастно продолжал свои расчеты.

Пропхулло-да работал в большой газете, выходившей на английском языке. Это была очень престижная работа. За его подписью публиковалось много статей. Пропхулло-да, бывало, говорил: «Видите ли, я газет никогда не читаю. Думаете, кондитер объелся сластями? Нет, дело не в этом. Я их не читаю по другой причине. Потому что я знаю, как делаются эти так называемые «газетные новости». Ведь и я тоже их делаю. Какая-то часть информации публикуется, но еще большая часть замалчивается. А при необходимости «новости» просто создаются. «Новости» — это пропаганда. Чтобы околпачить дураков. Иногда это делается тоньше, иногда грубее. В чьих интересах ведется пропаганда — вот что главное!»

И еще он говорил: «Я где-то слышал, что женщины-кули, уходя утром на работу, вместе с молоком дают своим грудным детям немного опиума, чтобы те весь день вели себя спокойно. Газетчики делают примерно то же. Вместе с «новостями» они подсовывают людям по утрам свои измышления, и люди целый день живут под влиянием этих измышлений, считая, будто это их собственные мысли».

Когда Шоходеб в прошлый раз приезжал в Калькутту из ФРГ, ему не удалось встретиться с Пропхулло-да. Кто-то сказал, что Пропхулло-да бросил работу в газете и «ушел в леса». На Филиппинах, если человек становится партизаном, про него говорят: «Ушел в горы». В Бенгалии говорят: «Ушел в леса».

Сам Шоходеб «ушел в леса» немного раньше.

Как давно это было! Тогда многие молодые люди, усердно и успешно учившиеся, постепенно, сами того не осознавая, будто превращались в сухой порох. И достаточно было одной искры, чтобы порох вспыхнул и начался страшный лесной пожар. Шоходеб — лишь один из тех многих [1].

В отличие от своего тезки, героя «Махабхараты», Шоходеб пробыл «в лесах» не четырнадцать лет, а всего лишь неполных четырнадцать месяцев [2]. Но каждый день «в лесах» стоил многих дней обычной жизни.

Отец тогда еще был жив.

О тех бурных событиях уже довольно много написано и сказано. Но что бы ни читал или ни слышал Шоходеб, все ему казалось неверным или, по крайней мере, недостаточным. Как в той притче о слоне и слепых; один схватился за ногу слона и говорит: «Это столб!», другой держится за хвост и утверждает: «Это веревка!» Вероятно, ничто другое пока и невозможно: слишком мало времени прошло с тех пор; нужна временная дистанция, чтобы охватить всю картину в целом. В одном Шоходеб уверен: это проблема не только Бенгалии или Индии, это проблема всемирная. А мир следует видеть и постигать та-

[1] Речь идет о левацком движении так называемых «наксалитов», которые пытались вести вооруженную партизанскую борьбу против существующего в Индии государственного строя. В настоящее время это движение сошло на нет.

[2] Имеется в виду четырнадцатилетнее изгнание в леса героев «Махабхараты» братьев-пандавов, одного из которых звали Сахадева. Шоходеб — бенгальский вариант этого имени.

ким, каков он есть на самом деле. Иначе запутаешься в простейших вещах.

Отец однажды сказал ему: «Видишь ли, все дело в том, что твое поколение выросло уже после второй мировой войны. Вы не знаете, что такое настоящая, большая война. Теперь вот вы хотите перевернуть весь мир. А того не понимаете, что если заварить всеобщую драку, то мир просто погибнет. Нельзя возделывать землю, не огородив реку дамбой».

Отец все понимал. Он знал, что ожидает Шоходеба впереди. Но никогда не навязывал сыну свою волю.

Тогда Шоходеб, конечно, не соглашался с отцом, но и не спорил, потому что считал, что спорить с такими, как он, бесполезно: ведь с возрастом люди ценят прежде всего покой и безопасность.

Узнав из газеты, что отец умер, Шоходеб пришел «из лесов» домой. Той же ночью его и арестовали.

В заключении он провел около четырех месяцев. Мать и старший брат добились его освобождения из тюрьмы и быстро оформили ему документы на выезд за границу.

Шоходеба не пришлось долго упрашивать. Он рад был уехать. Сидеть в тюрьме было ужасно скучно. Юные энтузиасты из их партии, как и он, побывавшие «в лесах», целыми днями нудили одно и то же. Вместо реального мира они создали себе вымышленный и требовали, чтобы все признали его за реальный.

Но, как говорится в пословице, спасаясь от тигра, он прыгнул в реку и угодил в пасть крокодила. До сих пор он не может рассказать обо всем этом даже ближайшим друзьям.

Казалось бы, работает на радио, зарабатывает большие деньги. И работа-то какая: ругать Советский Союз и его союзников! Чем плохо?!

Но с самим собой Шоходеб вполне откровенен. Когда он только поступил на радио и увидел, какая от него требуется работа, он был очень доволен. И прежде, дома, он всегда ругал Советский Союз — примерно такими же словами. Теперь разница была лишь в том, что он жил за границей, переводил эти слова с английского на бенгальский, а потом произносил их перед микрофоном. Сначала он работал даже с энтузиазмом. Но когда месяц за месяцем он стал получать за свою работу кругленькие суммы, ему стало как-то не по себе. Дома, что бы он ни говорил, это было его собственным убеждением. И деньги он за это не получал. А теперь что бы он ни делал, все имело неприятный привкус: будто он продавался за большие деньги.

Более того, дома он с друзьями и товарищами постоянно обсуждал различные факты, дискредитирующие Советский Союз. Теперь же он воочию увидел, что многие из них создаются искусственно. Вот что было хуже всего. Работа на радио разрушала некоторые из его самых заветных убеждений.

И еще он наблюдал различия между двумя Германиями — Западной и Восточной. Несколько раз он совершал поездки в ГДР и окупал все расходы тем, что привозил оттуда в Кёльн разные товары, которые на Западе были непомерно дороги. Однако разница между Западом и Востоком заключалась не только в ценах на товары, но и в человеческих ценностях. Взаимоуважение людей, отношения между мужчиной и женщиной, любовь к детям — во всем этом Запад не выдерживал сравнения с Востоком.

В Бенгалии Шоходеб и его друзья преклонялись перед Китаем. Каждое слово, исходившее оттуда, было для них свято. Но почему же Китай вдруг стал так дружить с Западной Германией? Зачем китайцы вмешиваются в ангольские дела да еще так неудачно? Шоходеб и поныне испытывает глубокую привязанность к Китаю, но той непоколебимой веры, что была у него прежде, теперь уже нет.

Листая газету, Шоходеб остановился на объявлениях о приеме на работу. Да, надо поскорее найти здесь какую-нибудь работу и вернуться на родину. Так или иначе они вернутся из ФРГ через полгода, максимум через год, и накопленных денег им хватит на первое время, пока он не устроится на работу. В конце концов дом у них есть, старший брат прилично зарабатывает, мать получает кое-какой доход от своей аптеки. И если он, Шоходеб, получит, например, место учителя, то они с Татией смогут зажить совсем неплохо.

Вдруг его взгляд упал на заголовок: «Арест бывшего журналиста». В сообщении говорилось, что некогда известный журналист, ушедший «в леса» и давно разыскивавшийся полицией, наконец арестован в округе Нонапукур. Арестован среди бела дня.

Шоходеб сложил газету, бросил ее на полку и встал. Арестован? Среди бела дня? Нет, ясное дело: Пропхулло-да сам сдался полиции.

Открылась дверь, и в купе влетела Татия.

— Ах! Как я задержалась! Quick! Quick! [1]

Шоходеб, надевая шлепанцы, спокойно ответил:

— Не надо было так долго прихорашиваться. Ты и без того красавица.

8

В следующем купе Длинный Гирджа засмотрелся на игру в шахматы.

Один из игроков — мистер Глэн. Как и подобает молодому американцу, у него борода, усы и длинные шелковистые волосы. Но он не хиппи.

В этом же купе едет мисс Браун. Она лежит на верхней полке и читает книгу. Так увлечена, что ничего вокруг себя не видит. Судя по обложке, книга об индийском классическом танце.

Мистер Глэн играет в шахматы с мистером Латифом. В купе тишина. Никто не произносит ни слова.

Ясно, что мисс Браун не жена мистера Глэна. Они примерно ровесники. Вероятно, оба занимаются в Индии исследовательской работой. Плетеная сумка мисс Браун набита магнитофонными кассетами. Может быть, мисс Браун изучает индийскую музыку или индийские танцы. Пальцы у нее длинные-длинные.

У мистера Глэна — фотоаппарат. И то сказать, было бы странно, если бы его у него не было. Почти у всех иностранцев есть фотоаппараты. А еще у них обоих, у мистера Глэна и у мисс Браун, по спальному мешку.

Сколько прекрасных вещей повидал на своем веку Длинный Гирджа! Но ни о чем он так не мечтал, как о спальном мешке. В один прекрасный день он не сможет устоять перед соблазном и просто украдет спальный мешок у какого-нибудь рассеянного пассажира.

Мистер Латиф сделал очень неудачный ход. Как же мистер Глэн-то этого не видит?! Билет у мистера Латифа до Алигарха. Наверняка он преподает в тамошнем университете. Интересно, что он преподает? Может быть, математику? Только математик может запутаться в такой простой ситуации.

Длинный Гирджа понял, что оба игрока не очень разбираются в шахматах. Иначе они не думали бы так долго над дебютом. В общем, смотреть тут не на что. И чтобы нечаянно не отпустить какое-нибудь язвительное замечание, Длинный Гирджа быстро закончил проверку билетов и вышел из купе.

Но все-таки игра его увлекла: войдя в следующее купе, он не сразу услышал, что там звучит песня под аккомпанемент эктары [2].

---

[1] Быстро, быстро! *(англ.)*

[2] Эктара — однострунный музыкальный инструмент.

Песню пел мужчина средних лет. На носу — очки, на запястье — часы. Брюки, рубашка. Значит, это не настоящий ба́ул [1], а образованный любитель музыки из Калькутты. Он увидел Длинного Гирджу, но и не подумал прервать свою песню. Всего в купе было четыре человека — одна компания.

Длинный Гирджа сразу понял, что это не вокально-инструментальный ансамбль. Инструменты при них есть, но в основном геодезические и еще палатки. Скорее всего они геологи и едут в экспедицию.

Среди них молодая женщина. Не бенгалка. Мисс Мира Кханна. Лицо у нее очень выразительное. Сразу видно, может за себя постоять. Держится свободно. Судя по высокому росту, широким скулам, светлой коже и короткой стрижке, да и по одежде, родом она из Пенджаба.

— Пожалуйста, садитесь! — сказала по-бенгальски мисс Мира Кханна Длинному Гирдже. Произношение у нее прекрасное, но тембр голоса и интонация совсем не бенгальские. Хотя, вероятно, она выросла в Калькутте.

Один из мужчин протянул Длинному Гирдже все четыре билета и, не говоря ни слова, насильно усадил его рядом с собой на полку. Этот пассажир показался Длинному Гирдже очень знакомым. Светлокожий и тип лица несколько монголоидный — значит, его фамилия Баруа [2]. Следовательно, тот, который поет,— Мукерджи, а четвертый — Сомасундарам. Совсем маленького роста и очень темнокожий [3].

Длинный Гирджа часто встречал геологов в поездах. Как правило, люди они легкие, беззаботные и не прочь деньгами посорить. Мистер Баруа вынул пачку дорогих сигарет и таким широким жестом протянул ее Длинному Гирдже, что тому сказать «нет» было просто невозможно.

Сомасундарам достал две колоды карт и не спеша начал их тасовать. Наверно, собирается показывать карточные фокусы.

Вспомнил! Этот самый Баруа учился вместе с ним, Длинным Гирджей, в колледже Святого Ксавье. Он, Баруа, был на два курса старше. Один из самых блестящих студентов естественно-научного отделения! Если бы Длинный Гирджа представился, Баруа непременно также вспомнил бы его, но лишь как известного спортсмена.

Длинному Гирдже вспоминать о прошлом невыносимо. Единственное исключение — Кальяни. Он попытался сдержать тяжелый вздох, вырвавшийся из груди.

Наконец Длинный Гирджа прислушался к песне, которую пел Мукерджи:

О душа, посмотри в небеса!
Там во тьму самолет улетает
И тремя огоньками мигает.

И над ним пустота, и под ним пустота,
Только два колеса посреди живота.
Кто-то к цели его направляет,
Он летит, но куда — сам не знает.

О душа, этот мир — сумасшедший Дамдам [4].
Из него поскорей как бы выбраться нам?!
Самолет огоньками мигает,
Но и сам ничего он не знает.

Длинный Гирджа вслушался в слова и усмехнулся. Вот так песню придумал этот Мукерджи!

---

[1] Баул — бродячий певец.

[2] Баруа — характерная ассамская фамилия. У многих ассамцев монголоидные черты лица.

[3] Сомасундарам — распространенная тамильская фамилия. У тамилов, жителей Южной Индии, часто очень темная кожа.

[4] Дамдам — международный аэропорт в Калькутте.

9

Упен-бабу постоял немного в коридоре, у открытого окна. Снаружи, из густой темноты, тянуло прохладой. Изредка вдали возникали электрические огоньки, словно яркие точки-тилаки, украшающие лоб женщины, или ритуальные пятнышки сандала, освящающие чело благочестивого брахмана. Вдруг мимо пронеслась, как Млечный Путь, вся в неоновых огнях какая-то маленькая станция. На небе, почти в одном и том же месте, время от времени появлялась вспышка, как будто кто-то зажигал фонарь, чтобы разглядеть облака. Казалось, небу тяжко. Оно вот-вот обрушится на землю ливнем.

Когда Упен-бабу вошел в свое купе, тягостное впечатление, оставшееся от встречи с Джоду-бабу, почти рассеялось.

Чемодан лежал на том же месте, где он его оставил. Упен-бабу, к собственному удивлению, обнаружил, что, уходя, он, оказывается, не забыл запереть чемодан. Как будто он всю жизнь путешествовал с чемоданами по железным дорогам! А вот свет в купе и два фена, вертевшиеся под потолком, он перед уходом не выключил.

Упен-бабу достал ключ и, отпирая чемодан, предался размышлениям: «В теории мы все мастера осуждать частнособственнические привычки, а дойдет до дела—сами проявляем их в мелочах. Как прочно в человеке засело: «это мое, а это не мое!» Ведь было же время, когда люди не знали такого различия! Знали только одно общее «наше». Потом уже возникло разделение между людьми. У этого есть, а у того нет — и так далее».

Упен-бабу одну за другой начал вынимать вещи из чемодана.

«По крайней мере страна — наша. Никто не может сказать: моя, и только моя. И при англичанах была наша, а после ухода англичан стала тем более наша. Даже если кто-нибудь захотел бы объявить ее своей частной собственностью, ничего бы у него не вышло. И при англичанах такое было невозможно, а теперь и подавно».

Вдруг Упен-бабу застыл от удивления: «Это еще что такое?! Ну, конечно, проделки Гопы. Вот негодница!»

В руках у него была баночка с кремом. Он повернулся к свету. Ах, какая красивая! Белая-белая, будто снежная вершина Канченджанги [1]. Должно быть, этот крем стоит недешево. А как он пахнет? Открыть, попробовать? Нет, не стоит. Впрочем, что ж такого?! Если просто открыть, крем от этого не испортится. Он привезет его обратно Гопе. Повертев в руках баночку, Упен-бабу в конце концов открыл ее и поднес к лицу. Какой удивительный запах! Да, у Гопы есть нюх, даром что курносая. Он осторожно поддел указательным пальцем немного крема и снова втянул воздух носом. Поразительный запах!

Тут он понял, что совершил оплошность. Крем, поддетый на палец, уже нельзя было поместить обратно в баночку, подобно тому как невозможно вернуть на прежнее место зачерпнутую ложкой простоквашу, даже очень густую.

Конечно, Упен-бабу мог бы вытереть палец полотенцем. Но ему было совестно пачкать совсем новое и чистое полотенце.

Пришлось смириться с наименьшим злом, и, недовольно морщась, Упен-бабу поднес палец с кремом к щеке.

В другую руку он взял зеркальце, тоже подаренное ему Гопой. Щека, к которой прикоснулся палец с кремом, ощутила приятный холодок. Лицо Упен-бабу сразу как будто разгладилось. Крем мгновенно впитался в кожу. Упен-бабу поддел на палец еще немного, потом еще немного и в конце концов покрыл кремом все лицо. Кожу освежающе холодило, и от нее исходил прекрасный запах. Упен-бабу не ожидал, что ему это так понравится.

---

[1] Канченджанга — горный массив в Гималаях, на границе Сиккима и Непала. Его вершина видна в Северной Бенгалии.

Потом из чемодана появилась коробочка пудры. Ага, понятно! Гопа всегда считала, что у него несколько темноватый цвет кожи, и поэтому дала ему крем и пудру, чтобы лицо его выглядело посветлее. Совсем она голову потеряла!

Но раз уж Гопа дала пудру, посмотрим, что это такое.

По крыше вагона забарабанили капли дождя. А у него в купе открыто окно! Упен-бабу быстро опустил и жалюзи, и стекло. А то, чего доброго, все купе зальет.

Он снял рубаху, потом майку — бр-р, так даже холодновато! — и щедро рассыпал пудру по всему телу. Снятую майку не хотелось надевать снова, и Упен-бабу полез в чемодан за новой.

Содержимое чемодана уже было разбросано по всему купе. Ну и кавардак он устроил! Надо будет быстро все собрать и уложить обратно.

Но сначала Упен-бабу все же нашел одну из новых маек и надел ее. Шелковистая ткань легко облегала тело. Молодец Гопа! Знает толк в вещах. Еще она купила для него теплое нижнее белье. Надо бы и его примерить. Сказано — сделано.

Затем взгляд Упен-бабу упал на новые брюки пепельного цвета. Хороший цвет, не маркий. Примерил — и брюки оказались как раз впору. Муж Комолы Бирешшор говорил ему: «Упен-да, не беспокойтесь. Положитесь на меня. Я обеспечу вас всем, что надо: териленовым костюмом, шелковым галстуком и пуловером. Потом сниму мерку с вашей ноги и достану вам ботинки. У меня есть знакомый в фирме «Батя», он мне поможет выбрать подходящую пару». Упен-бабу спросил: «Наверно, надо взять теплую одежду? И пальто?» На это Бирешшор, человек бывалый и практичный, отвечал: «Я все разузнал. Когда вы туда приедете, там будет тепло. Никакого пальто не надо. Хватит шерстяного пуловера».

Поверх майки Упен-бабу надел белую нейлоновую рубашку. Рубашки покупал ему племянник Биджит вместе со своей женой Гопой. Такую рубашку надо заправлять в брюки. Биджит несколько раз показал ему, как это делается.

— Теперь носки. Где же носки? — воскликнул Упен-бабу, невольно подражая интонациям Биджита.— Да вот они! Куда ты смотришь?! — ответил он сам себе, на этот раз передразнивая тонкий и звонкий голосок Гопы. Его позабавила эта игра: Упен-бабу любил подшучивать над племянником и невесткой.

За носками пришел черед ботинок. Бирешшор, достав эти ботинки, уверял, что завязывать шнурки — совсем не сложное дело. И верно, Бирешшор был прав: очень просто.

«Теперь надо немного пройтись»,— сказал себе Упен-бабу и сделал несколько шагов из одного угла купе в другой. Ботинки громко скрипели. Упен-бабу почувствовал себя очень важной персоной.

Затем, опустившись на колени, он принялся отыскивать среди вещей пиджак. Вот так номер! Он же просил дать ему с собой пиджак, застегивающийся до горла. Неужели не дали?!

Сколько всякого барахла ему напихали в чемодан! Какая-то дамская сумочка, шелковый шарф, пакетики с благовониями, куча безделушек из сандала, индийские почтовые марки, мешочек с индийскими монетами, кожаный кошелек с золотым тиснением, еще какая-то штука из кожи, галстуки из шелка-сырца. Это все для подарков. Говорят, во всех зарубежных странах любят сувениры из Индии.

Ладно, но где же пиджак?! А, вот он! Вытащив пиджак из-под груды вещей, Упен-бабу, к своему неудовольствию, обнаружил, что он совсем не того фасона. Ведь сколько раз просил: достаньте мне пиджак, застегивающийся до горла,— и на тебе, в этом пиджаке вся грудь наружу. Биджит, правда, ему упорно возражал. «Дядюшка,— говорил он,— почему вы не хотите носить галстук? Я вам дам галсту-

ки с готовыми узлами, их очень легко надевать и снимать. А вообще можно и без всякого галстука. Тем более что сейчас так жарко».

Теперь злись не злись — ничего не поделаешь. Придется носить этот пиджак. Ага, вот и тот самый галстук с готовым узлом. Не забыл положить, негодник! Ну-ка, если его надеть, что за чучело получится?

Галстук надеть и в самом деле пара пустяков. А пиджак еще легче. Ну, каково?

В полном облачении он стоял перед зеркалом. Погоди-ка, из нагрудного карманчика должен торчать платок. Порывшись в куче вещей, все еще валявшихся на полу, Упен-бабу нашел новый носовой платок и, сложив его, всунул в карманчик, оставив снаружи один угол. Так, что еще? Ага, на лацкане есть прорезь. В нее полагается вставлять цветок. Прекрасно! Выбрав из букета розу, Упен-бабу воткнул ее в петлицу. Вот теперь действительно все в полном порядке. Что называется, комар носа не подточит.

Не отрывая глаз от зеркала, Упен-бабу щелкнул каблуками и снова голосом Биджита воскликнул:

— Шикарно, дядя! Просто шикарно!

В этот момент раздался стук в дверь, и женский голос спросил:

— Можно войти?

Вздрогнув от неожиданности, Упен-бабу почти машинально сказал:

— Пожалуйста, входите,— открыл дверь и от стыда чуть сквозь землю не провалился. У него было такое ощущение, словно молодой человек и девушка, стоявшие в дверях, застали его раздетым.

— Можно войти?..

Откуда они его знают? И что это за люди? У девушки очень симпатичное и умное лицо.

— Меня зовут Шоходеб Шоркар, я друг Онукуля. А это Татия... моя жена,— последнее слово молодой человек произнес несколько запнувшись, как-будто с непривычки.

— Меня зовут Татия Шом.

— Значит, ты не сменила свою фамилию на фамилию мужа. Так? Это хорошо! — Упен-бабу сам не ожидал, что с такой легкостью обратится к молодой женщине на «ты».

Вскоре он, преодолев первоначальную неловкость, почувствовал себя очень естественно и в новом европейском костюме. Молодым людям он сказал:

— Видите, какой у меня тут беспорядок. Отодвиньте куда-нибудь это барахло и садитесь. Я как раз перед вашим приходом новые наряды примерял. Еду за рубеж лечиться. Наверно, придется там пробыть несколько месяцев. А вы ведь знаете, там все совсем по-другому...

Татия быстро расстелила на полу две газеты, на одну уселась сама, на другую усадила Шоходеба.

— Дядюшка...— начала было Татия.

— Дядюшка?! — передразнил ее Упен-бабу.— Не говорите «дядюшка», говорите просто Упен-да.

— Говорите? Не говорите «говорите». Говорите просто «говори»,— передразнив его в ответ, сказала Татия.

Упен-бабу громко рассмеялся. Он почувствовал вдруг, что в компании этих неожиданно явившихся молодых людей он и сам будто помолодел.

Шоходеб, усевшись поудобней, достал сигареты.

— Вы не возражаете, Упен-да, если я закурю?

— Нисколько. А ты, Татия?

— Думаете, если б мы возражали, он вышел бы курить в коридор?

Шоходеб, затянувшись сигаретой усмехнулся:

— Конечно, не вышел бы. Просто не стал бы курить.— И вдруг добавил: — А между прочим, Упен-да, этот костюм вам ужасно идет.

Татия тут же подхватила:

— Я первая хотела это сказать, еще как только мы вошли. А ты, противный, меня опередил,— и шутливо ударила Шоходеба по плечу.

Шоходеб встал и поправил Упен-бабу узел галстука. Татия не хотела отставать. Она тоже поднялась с пола и, вынув платок, пахнущий духами, стерла не впитавшийся кое-где крем с лица Упен-бабу.

— Как прекрасно пахнет твой платок,— только и смог сказать Упен-бабу.

— Вам нравится? Я подарю вам эти духи,— ответила Татия и, взяв Упен-бабу за плечи, усадила его на нижнюю полку.

— А как же ты сама?

— Подумаешь, еще куплю. Ведь мы едем в Европу.

— В Европу? А куда именно? И какие у вас там дела?

Шоходеб все ему рассказал. Умолчал лишь о том, что у него за работа.

А Татия добавила:

— Снимите ботинки, Упен-да, и залезайте на полку с ногами. А то у нас разговора не получится.

10

Когда Длинный Гирджа закончил проверку билетов и вернулся в свое служебное купе, за окнами уже вовсю бушевал ливень. Что ж, на то и сезон муссонов!

Длинный Гирджа только рад, если во время его дежурства обрушивается ливень. Потому что тогда на остановках почти не садятся пассажиры. А кому сходить, те все равно сойдут. В хорошую же погоду в вагон часто залезают разные безбилетники, народ, как правило, нахальный и приставучий. Наговорят с три короба, голову задурят, а под конец еще и деньги суют — устоять трудно, но потом хлопот не оберешься.

Конечно, нет на свете работы без хлопот. В каждом деле свои трудности.

А в работе на железной дороге много и интересного: сколько диковинных людей, невероятных событий! Длинный Гирджа уже не раз думал: хорошо бы завести специальную тетрадь и записывать в нее самое интересное. Ведь со временем многое забывается.

Но никогда ему не забыть те три события, которые произошли во время его работы. Первое — роды. Второе — смерть. Третье — свадьба.

Тогда он был еще совсем молодым и только начал работать проводником. Раздел[1] уже произошел, но между двумя частями Бенгалии еще не встала непроходимая стена. Поезда все время перевозили пассажиров в обоих направлениях.

Миновав Ишурди, поезд, пыхтя, повернул в сторону Сантахара. Далее он должен был следовать до Амингаона[2] через Лалманирхат[3]. Поезд сопровождала усиленная военная охрана. В вагоне было лишь несколько человек индусов. Почти все старики да старухи. Остальные пассажиры — мусульмане. Среди индусов выделялся одетый в охряную робу бритоголовый садху[4], принадлежавший, видимо, к какому-то миссионерскому ордену. Высокий, широкоплечий, темнокожий. Он сидел и все время читал себе под нос шлоки[5] «Бхагавадгиты»[6]. Как только Длинный Гирджа подошел к нему, садху, не дожидаясь вопро-

[1] Имеется в виду раздел индийского субконтинента на Индию и Пакистан в 1947 г.

[2] Амингаон — железнодорожная станция в Ассаме.

[3] Ишурди, Сантахар, Лалманирхат — населенные пункты и железнодорожные станции в Восточной Бенгалии (Бангладеш).

[4] Садху — странствующий аскет.

[5] Шлока — стихотворная строфа.

[6] «Бхагавадгита» — известная религиозно-философская поэма, входящая в «Махабхарату».

са, вынул из сумки, висевшей через плечо, свой билет и предъявил его. Сразу видно — образованный и культурный человек.

Через какое-то время в середине вагона вдруг поднялся шум. Некоторые пассажиры повскакали со своих мест и забегали взад-вперед.

Длинный Гирджа похолодел от ужаса. Но потом увидел, что пассажиры-индусы сидят как ни в чем не бывало, и успокоился: значит, резни не будет. В чем же дело? Люди столпились у одной из скамеек. Длинный Гирджа подумал, что, вероятно, кому-то стало плохо. В его обязанности входило выяснить, что случилось, и, если можно, помочь.

Пассажиры расступились, и он увидел, что на скамейке лежит молодая женщина, а рядом сидит старик отец с седой мусульманской бородкой и в дешевом клетчатом лунги. Женщина лежала на спине, согнув ноги в коленях, и корчилась от родовых схваток, а старик, закрыв лицо руками, беспомощно плакал. Во всем поезде не нашлось ни одной женщины, которая могла бы помочь его дочери. А до следующей станции не меньше двух часов езды.

И вдруг к скамейке подошел тот самый садху. Сначала на его лице была полная растерянность. Потом он закричал на весь вагон:

— Неужели среди вас нет ни доктора, ни хакима [1], ни повитухи? — Подождал немного и снова крикнул: — Так есть или нет?

В ответ ему никто не отозвался. А женщина на скамейке заметалась и завопила в голос.

Тогда садху сам кинулся к ней со словами:

— Не бойся, матушка, не бойся! — и опустился на колени у ее ног. Лицо его побагровело от напряжения. Обернувшись к Длинному Гирдже, он резко бросил: — Дайте мне нож. Только прокалите его. Быстро!

Длинный Гирджа кинулся за ножом, прокалил его и бегом обратно. Подбежал, сунул нож в протянутую руку и видит: на ладони другой руки уже лежит и пищит новорожденный. А на лице садху — неописуемый восторг.

Вспомнив эту сцену и как бы вновь пережив ее, Длинный Гирджа улыбнулся счастливой улыбкой.

Странствующий аскет, отрешившийся от женщин и других соблазнов мира, принимал роды! А простая деревенская женщина-мусульманка на глазах у единоверцев и, может быть, даже соседей доверила плод своего чрева неверному индусу! И Длинный Гирджа был тому свидетелем. Разве забудешь такое?

А как забыть ту свадьбу?!

Длинный Гирджа тогда работал на линии Шеялда — Бахрампур в Западной Бенгалии. Однажды на станции Ранагхат в вагон села молоденькая миловидная девушка, сразу было ясно — из беженцев. Девушка не переставая плакала и никак не могла успокоиться.

С девушкой ехал мальчик, похоже, что младший брат. Он гладил сестру рукой по спине, пытаясь утешить. Но та все плакала и плакала, то тихо всхлипывая, то заходясь в рыданиях. И ни на какие расспросы не отвечала, только слезы лила.

Тогда Длинный Гирджа, а с ним еще несколько пассажиров отозвали мальчика в сторону и выспросили у него все. Выяснилось, что девушка жила до сих пор в лагере для беженцев около Ранагхата, в семье своего дяди. Мальчик — ее двоюродный брат. Отец девушки живет в Дхубулии, в другом лагере для беженцев. Он велел, чтобы этим поездом девушка приехала в Дхубулию в сопровождении кого-либо из родственников. Там для нее через посредника нашли жениха, богатого пенджабца. Он хочет сегодня же сыграть свадьбу и завтра утром отправиться обратно на родину. Пенджабец такой богатый, что отцу девушки не придется тратить деньги на свадьбу. Напротив, пенджабец как будто собирается дать ему много денег на покупку земли.

[1] Хаким — традиционный мусульманский врач.

Вся тамошняя родня встретит девушку на станции в Дхубулии, и прямо с поезда ее поведут к алтарю. В семье дяди никто этому браку не обрадовался: нехорошо выдавать девушку замуж на чужбину. К тому же она еще очень молода. Могла бы подождать год-другой. Но что поделаешь? Если бы дядя не согласился на этот брак, ему потом самому пришлось бы выдавать племянницу замуж. А у него и свои дочери есть.

Услышав про жениха-пенджабца, Длинный Гирджа содрогнулся от ужаса. За других он поручиться не мог, но ему-то все сразу стало ясно. Чем такая «свадьба», лучше камень на шею да в воду. На самом деле девушка попадет в лапы торговцев живым товаром, и те запродадут ее в какой-нибудь публичный дом. Длинный Гирджа подумал о своей дочери Кальяни. Она тогда только-только начинала лепетать. Но ведь и Кальяни скоро вырастет, и ее тоже надо будет оберегать от грязных лап и хищных зубов. И еще Длинный Гирджа подумал: столько людей в поезде — неужели они ничем не могут помочь этой девушке?!

То, что произошло потом, похоже было на чудесную сказку.

В вагоне ехала группа крестьян. Очевидно, они возвращались по домам с какой-то большой демонстрации в Калькутте: рядом с ними были свалены в кучу свернутые транспаранты, сложенные полотнища красной материи и древки от знамен. В той же компании были и горожане: господин с портфелем, по виду политический деятель, и несколько образованных молодых людей. Они подозвали к себе мальчика, брата девушки, и долго с ним шушукались. Время от времени к ним подходили другие пассажиры и тоже о чем-то шептались. Длинный Гирджа понял: готовится заговор.

Он пошел проверять билеты в другие вагоны. Примерно через час, когда поезд остановился в Кришнанагаре, Длинный Гирджа вышел на платформу и увидел, хотя было уже темно, что у одного из вагонов толпятся люди и заглядывают в окна. У некоторых в руках чемоданы и сумки. Длинный Гирджа признал их: это же пассажиры из того вагона, в котором ехала девушка. В Кришнанагаре им надо было сходить, и они сошли, но почему-то не спешили отойти от поезда.

В Ранагхат поезд прибыл под вечер. Тогда еще только начинало смеркаться. Что называется, свет был как раз для смотрин. А пока поезд доехал до Кришнанагара, уже наступила летняя ночь, и в темноте мало что можно было увидеть.

До Дхубулии еще минут сорок пять. Там уже налаживают виселицу. Палач проверяет веревки и блоки: все ли в порядке, не надо ли смазать маслом поржавевшие места? А девушка будто сидит в камере смертников и затаив дыхание ждет ответа на последнее прошение о помиловании.

Пока поезд стоял в Кришнанагаре, у Длинного Гирджи были дела в других вагонах. Но мысли о девушке не оставляли его. Когда поезд тронулся, Длинный Гирджа, не в силах унять волнение, вскочил на подножку того самого вагона [1]. Пассажиры приветствовали его радостными возгласами:

— Входите, входите! Милости просим!

Первым делом Длинный Гирджа направился к той скамейке, где давеча сидела и плакала девушка. Скамейка была пуста! У Длинного Гирджи сердце захолонуло. Где же девушка? Что случилось?

Его окликнули. Он оглянулся и увидел тех пассажиров, что возвращались с демонстрации из Калькутты. Они стали в круг и, размахивая руками, подзывали его к себе. Внутри круга видны были две свадебные шапки.

Длинный Гирджа подошел поближе и увидел удивительную картину. На полу были расстелены две газеты. На одной из них, в свадеб-

[1] В индийских поездах вагоны часто не сообщаются между собой, и перейти из вагона в вагон можно только на остановке.

ной шапке, улыбаясь во весь рот, сидел юноша. На другой газете, тоже в свадебной шапке, сидела та девушка и, опустив голову, все еще плакала. Но одета она была в новое красное сари. И плакала уже по-другому — так, как плачут от радости. Все необходимое для свадьбы было на месте: земля, цветы, листья бильны, светильники, даже откуда-то привели старого беззубого брахмана с колокольчиком. Руководитель группы, господин с портфелем, заправлял и свадебной церемонией. Совмещая в одном лице и главного дружка жениха, и опекуна невесты, он торжественно восседал с двумя гирляндами в руках. А мальчик, двоюродный брат невесты, гордо держал в руках раковину и готов был задудеть в нее по первому знаку.

Длинный Гирджа обрадовался несказанно. В кармане у него было двадцать рупий, и он вручил их руководителю, сказав как положено:

— Благословляю!

Беззубый брахман забормотал санскритские мантры[1] и зазвонил в колокольчик, мальчик начал дудеть в раковину — и Длинному Гирдже объяснили, что произошло. От жениха до жреца-брахмана, от свадебных шапок до раковины — все было найдено в поезде, что называется, с миру по нитке. В любом поезде всегда есть пассажиры, которые едут на свадьбы, закупив разные свадебные принадлежности. Таких пассажиров разыскали; у одного нашлись свадебные шапки, у другого — раковина, кто отдал охотно, кого пришлось уламывать, но в конце концов достали все что нужно.

Как только поезд прибыл в Дхубулию, вся свадебная компания с радостными воплями выплеснулась на перрон. Жених, как оказалось, был сам из Дхубулии. Ему и раньше случалось видеть издалека эту девушку. Поэтому он сразу согласился сыграть с ней свадьбу. По специальности он электрик, зарабатывает неплохо.

В Дхубулии стоянка поезда одна минута. Длинный Гирджа, не спускаясь с подножки вагона, провожал взглядом свадебную процессию. А на перроне какие-то люди, не обращая внимания на веселую свадьбу, перебегали от вагона к вагону и, вытягивая шеи, озабоченно вглядывались в окна, ища кого-то. Поезд тронулся, и Длинный Гирджа, хоть и был тогда уже солидным мужчиной, крикнул этим людям, как озорной мальчишка:

— Тю-тю, улетела птичка! Не поймать вам ее теперь!

В эту поездку Длинный Гирджа захватил с собой новую книжку под названием «Tryst with tiger». Автор Шер Джанг. О таком авторе он прежде не слыхал. Наверно, это псевдоним. Ведь слово «шер» значит «тигр». Когда Длинный Гирджа покупал эту книжку, он еще не знал английского слова «tryst». Сегодня утром заглянул в словарь и выяснил: «tryst» значит «свидание». То есть книга называется «Свидание с тигром». Наверное, потому и автор взял себе псевдоним со словом «шер».

За окнами не утихал ливень. В такую погоду читать не тянет. Одно за другим приходят воспоминания.

Это случилось, когда Длинного Гирджу отправили работать на узкоколейную линию в Северную Бенгалию. Чтобы расходов было поменьше, он и семью поселил в Силигури. А сам каждый день совершал рейсы Даржилинг — Силигури. Там дорога проложена по горам, и поезд везли два паровоза: спереди и сзади. Вагоны всегда были набиты битком.

Однажды на станции Карсиянг в вагон внесли на носилках мужчину средних лет. Никто ничего не объяснял, но и так было видно, что у него туберкулез в последней стадии. Мужчина был гуркха[2]. Во рту у него блестели две золотые коронки. Ехал он до Ронгтонга.

[1] Мантры — священные формулы, произносимые во время ритуальных обрядов.

[2] Гуркхи — народность, проживающая в основном в Непале. Гуркхи традиционно служили наемными солдатами в британской армии.

Постепенно большинство пассажиров, прихватив свои пожитки, перебралось из этого вагона в другие. Оставшиеся расселись подальше от больного.

Вместе с больным ехала его жена. На нее страшно было смотреть. Она не плакала, нет, но с таким горестным видом сидела у изголовья умирающего мужа, что сама казалась воплощенным горем.

Длинный Гирджа не боялся болезней. Стоя у дверей вагона, он завел с гуркхой беседу. Тот понимал бенгальский, потому что когда-то жил в Калькутте. Длинный Гирджа говорил по-бенгальски, гуркха — на ломаном хинди.

Он рассказал, что во время войны побывал во многих странах. После войны и даже после того, как Индия получила независимость, этот гуркха продолжал служить в армии у англичан и воевал в Малайе. Из его слов Длинный Гирджа понял, что гуркха привык воевать и хладнокровно убивать людей, ничуть не задумываясь о том, хорошо это или плохо. Цирюльник стрижет всех подряд, не выбирая клиентов. Дхоби [1] всем стирает одежду. Так и гуркха относился к войне: это для него наследственная профессия.

Гуркха ехал в свою деревню. Он хотел провести последние дни своей жизни в родном доме. Врачи сказали ему, что болезнь у него незаразная.

О своей смерти он говорил очень просто. Конечно, ему не хотелось умирать, но никакого страха он как будто не испытывал.

Потом Длинный Гирджа отошел от гуркхи: надо было проверить билеты у других пассажиров. Вдруг из дальнего угла вагона раздался истошный крик:

— Змея!

Жена гуркхи вскочила и побежала посмотреть, что там происходит. Длинный Гирджа оглянулся и увидел: больной тоже поднялся и сел на своем ложе. Лицо его исказилось от страха.

Через несколько секунд весь вагон уже был охвачен паникой. По полу металась кобра с раздутым капюшоном. Несколько смельчаков гонялись за ней, другие пассажиры, смертельно испуганные, шарахались из стороны в сторону. Отовсюду только и слышно:

— Змея! Змея! Вот она! Бей ее! — Обо всем прочем на свете люди позабыли.

В конце концов змея была поймана и убита. И почти тут же все услышали женский вопль — это кричала жена больного гуркхи. Все решили, что ее укусила змея. Несколько человек бросились к ней на помощь, прихватив с собой веревки, чтобы наложить жгут...

Жена гуркхи билась в истерике на полу, простирая руки к двери вагона. Дверь была распахнута настежь. На скамье, где лежал гуркха,— пустая постель.

В глубоком ущелье нашли потом месиво из мяса и костей — все, что осталось от бравого гуркхи. При воспоминании об этом у Длинного Гирджи до сих пор подступает к горлу тошнота.

Совершенно ясно: гуркха не мог выпасть из вагона и никто его оттуда не выталкивал. Он сам открыл дверь и выпрыгнул наружу. Это было не самоубийство: гуркха спасался от змеи! Неизлечимая болезнь уже накинула петлю ему на шею. Еще немного — и палач рванул бы веревку. Но смерть на войне или смерть от болезни для гуркхов дело обычное. Тут нет места для страха. А вот умереть от укуса змеи — к такому концу гуркха не был готов. И он не просто испугался, он потерял голову.

Длинный Гирджа не перестает удивляться тому, сколь причудливо сочетаются в людях страх и бесстрашие.

---

[1] Дхоби — мужчина-прачка.

11

Шоходеб был поражен тем, как раскованно и непринужденно держала себя Татия в купе Упен-да. За недолгое время их знакомства Шоходеб успел понять, что у Татии много комплексов. Самой заметной чертой ее характера была неуверенность в себе. Татия как бы все время пыталась быть решительной и сильной, и это ей все время не удавалось.

А здесь, в купе Упен-да, Татию словно подменили. Она будто сразу стала хозяйкой и всех вещей, и самого Упен-да. Может быть, дело именно в этом старике? Может быть, именно он какими-то тайными силами расколдовал Татию?

Татия сказала:

— Упен-да, пожалуйста, не спорьте со мною. Чемодан — не ваша забота. Оставьте на ночь все как есть, а я завтра утром приду и все аккуратно уложу. Прошу вас, не делайте из этого проблему.

Шоходебу уже наскучили разговоры о тряпках и прочей чепухе. Ему хотелось поговорить о более важных делах.

К сожалению, на этот раз он увиделся с Онукулем только на вокзале, перед самым отъездом, и не было времени вызвать его на разговор, Упен-да мог бы заменить Онукуля — для Шоходеба это была последняя возможность поспорить о том, что его волновало.

В прошлый приезд они с Онукулем здорово схлестнулись. Конечно, Онукулю его не переспорить, но и ему, Шоходебу, не удалось убедить Онукуля в своей правоте.

Онукуль ему прямо так и сказал:

— С твоей казуистикой мне не совладать, но я чувствую, что ты не прав — жизнь меня учит другому.

Именно поэтому на сей раз Онукуль, хотя и знал, что Шоходеб снова приехал в Калькутту, избегал встреч с ним. И Шоходеб, что ни день мысленно вступая в новый спор с Онукулем, так и не смог поговорить с ним.

Шоходеб уже решил, с чего именно он начнет сейчас разговор с Упен-да, посмотрел ему прямо в глаза и опешил. Лицо Упен-да имело такое младенчески бесхитростное и простодушное выражение, какое бывает только у великих подвижников, отрешившихся от всякой мирской суеты. Узел его галстука снова ослаб и сбился на сторону. Шоходеб понял: нет никакого смысла приставать к Упен-да.

Татия встала с пола, открыла стоявшую на столе бутылку с минеральной водой, налила воды в стакан и протянула его Упен-да. Упен-да залпом выпил воду, а потом удивленно спросил:

— Как ты угадала, что мне захотелось пить?

Татия, пропустив этот вопрос мимо ушей, сказала:

— Упен-да, расскажите нам какую-нибудь страшную-престрашную сказку, такую, чтоб от нее все поджилки задрожали.

Упен-да погрузился в размышления. Очевидно, он не был завзятым рассказчиком, но и отвечать отказом на просьбу Татии не хотел. Через некоторое время он сказал:

— Ладно. Вот, слушайте. Только это не сказка, а сущая правда. Над всеми нами на тоненькой-претоненькой ниточке висит огромная, как небо, секира. Висит и раскачивается — и в любую минуту ниточка может оборваться.

Шоходебу эти слова сразу напомнили об отце. Отец тоже часто повторял притчу о секире.

Татия сказала:

— Хоть и сущая правда, а совсем не страшно.

— Выдумываете вы это все, чтобы напугать нас, молодежь. Где же тут правда? Самая настоящая сказка! — сказал Шоходеб.

Упен-да дернулся, охнул и схватился рукой за грудь с левой стороны — там, где сердце. Татия кинулась к нему, побледнев от страха.

Но Упен-да вдруг засмеялся и захлопал в ладоши, как обрадованный ребенок:

— Вот я тебя и напугал, напугал! Хоть не за себя, а за другого, но все же испугалась!

Татия тоже рассмеялась. Шоходебу показалось, что она впервые смеется по-настоящему весело. Прежде ее смех был слишком похож на плач.

А Упен-да обратился теперь к Шоходебу:

— Я знаю тех, кто учит тебя не признавать страха. Сами-то они прекрасно знают, что это за штука. Но они хотят загребать жар чужими руками и поэтому внушают таким, как ты: чего, мол, бояться, бояться, мол, нечего!

— Бабушкины сказки,— сказал Шоходеб совершенно спокойно и с удивлением заметил, что, вступив в спор с Упен-да, он не чувствует в себе ожесточения, которое обычно возникало у него в подобных случаях. Неужели и он, Шоходеб, начал стареть?

Татия взглянула на часы — было уже почти девять — и сказала:

— Пожалуй, мы пойдем. Упен-да, когда вам принесут ужин?

— Я уже поел, это вы, я вижу, проголодались.

— Мы заказали ужин на десять часов,— объяснил Шоходеб.— Но вам, наверно, пора отдохнуть...

— Не хочешь ли ты сказать,— усмехнулся Упен-да,— что мне вообще пора на покой? Мол, старый партийный хрыч — наделал дел, пора и честь знать. Так, что ли?

Шоходеб искренне рассмеялся.

А Упен-бабу продолжал:

— Если б вы только знали, как мне приятно, что вы пришли посидеть со мной! Я много лет проработал на чайных плантациях. Наш партийный офис расположен в очень красивом месте. Представьте себе: сплошной стеной горы, а у самого дома горная речка. Вода бурлит и шумит день и ночь. Но разве у меня было время полюбоваться этой красотой или прислушаться, как шумит река? Дел всегда невпроворот, целыми днями вертелся как белка в колесе.

И вот, Шоходеб, так я и постарел, теперь иногда задыхаюсь, и еще — трудно стало переносить одиночество. Почему бы молодым вроде тебя с Татией не прийти и не помочь немного старикам? Видишь, я и слова не сказал, Татия сама увидела, что мне хочется пить, и подала стакан воды. А там, на плантациях, меня хоть лихорадка тряси, нет никого рядом, кто бы воды налил.

Впрочем, я не только о себе говорю и не только о чайных плантациях. Куда ни пойди — на шахту, на джутовые фабрики, в деревню,— почти повсюду партийной работой занимаются одни старики вроде меня. А где же молодежь? Почему она не приходит на смену?

Конечно, я понимаю, у стариков свои недостатки. Но вам, молодым, надо и с себя спрашивать. Мы, старики, дальнозорки, а что под носом, можем и не заметить; больше доверяем опыту, чем юности; сломя голову уже не мчимся, а норовим поосторожнее да потихоньку — на то она и старость. А вы, молодые, на что? Вам, как говорится, и карты в руки — чего старики уже не могут, делайте вы. Так дело-то и пойдет.

Шоходеб несколько растерялся. Он хотел поспорить и в споре прояснить свои мысли, но Упен-да все повернул совсем по-другому. Татия тоже почувствовала себя не в своей тарелке.

Она быстро встала и, подойдя к Упен-да, сняла с его ног ботинки, а затем и носки. Упен-да ответил ей благодарным взглядом. Было видно, что он с радостью избавился и от ботинок, и от носков.

Мог ли Упен-бабу представить себе такое? Он взрывался от гнева, если кто-нибудь пытался коснуться его ног в традиционном поклоне, и вот — с удовольствием разрешает снять с себя ботинки и нос-

ки! Если бы Комола или Гопа услыхали об этом, они бы ни за что не поверили.

И тот же самый Упен-бабу, от которого обычно слова не дождешься, который ни на митингах ни разу не выступал, ни в партийных школах никогда не учился, который, как все считали, плохо разбирался в политических вопросах,— теперь, разлегшись на полке, говорил и говорил и никак не мог остановиться:

— Знаешь, Татия, знаешь, Шоходеб, если бы вы меня спросили, почему я стал заниматься политической борьбой, я бы, конечно, мог много всякого наговорить и про британский империализм, и про все такое прочее. Это мне нетрудно. Но вот если я скажу, что всему виной маленький попугайчик, вы наверняка не поверите и рассмеетесь. И тем не менее это так. Я вам сейчас расскажу в двух словах. В детстве у меня был ручной попугайчик. Он сидел на жердочке, а к одной его лапке была прикреплена тонкая цепочка. И все-таки однажды попугайчик улетел — вместе с цепочкой. Я пошел его искать в лесу и по дороге встретил человека, который был сослан в нашу деревню. Мы разговорились. Потом он научил меня песням «В тяжелые цепи нас всех заковали...» и еще «Кто согласен жить в неволе...». Пистолеты да револьверы — все это пришло гораздо позже. А в самом начале была птичка, маленький попугайчик. Я тогда впервые понял, что значат цепи, неволя и что значит свобода. Для птички, для человека или для целой страны.

Мне уже шестьдесят два года, а я совсем не чувствую себя старым и умирать не собираюсь. С моим здоровьем... Ты смеешься, Татия? Не смейся, я искренне говорю. А то, что еду лечиться — так это всего лишь предлог. Наш секретарь — а он намного меня моложе — сказал мне: «Почему бы вам, Упен-да, не воспользоваться этой возможностью и не съездить в Советский Союз?» Я и подумал: в самом-то деле, столько слыхали о Советском Союзе, столько сами другим говорим, надо же хоть раз своими глазами увидеть.

Упен-бабу вздохнул и, к удивлению Шоходеба, сам поправил съехавший набок узел галстука. Шоходеб решил: можно перейти в наступление:

— Вот и увидите, что все там совсем не так.

— А ты сам-то видел?

Шоходеб сжал губы, обдумывая ответ. С одной стороны, он, конечно, не верит той «информации», которую передает радио из Кёльна. И прокитайский взгляд на Советский Союз не кажется ему, как прежде, достойным доверия. Но, с другой стороны, разве надо непременно своими глазами увидеть, чтобы понять, как обстоят дела в действительности?

— То есть я совсем не к тому, что, мол, кто побывал, тот и знает, а кто не был, тот и знать не может,— продолжал между тем Упен-бабу. Он как будто угадал мысли Шоходеба. — И я не говорю, что Советский Союз — идеальная страна без всяких недостатков. Но недостатки недостаткам рознь, все зависит от того, чьи это недостатки. Например, и у моей матери было много разных недостатков. Но у нашего заминдара [1] их было гораздо больше — столько, что и не счесть. К недостаткам матери у меня было одно отношение, а к недостаткам заминдара — совсем другое. За мать я переживал, мне хотелось, чтобы она стала лучше, ее недостатки к ней не шли, они не были частью ее самой. А заминдара я про себя поносил на чем свет стоит. Все его недостатки были как раз от того, что он — заминдар.

Упен-бабу говорил, пристально глядя на Шоходеба, а Шоходеб внимательно его слушал — и ни тот, ни другой не заметили, как поразили Татию слова Упен-бабу о своей матери.

Повернувшись к Татии, Упен-бабу продолжал:

[1] Заминдар — землевладелец, помещик.

— Ты не сомневайся, Татия, я и двадцать лет назад сказал бы то же самое. И вот еще что: я повидал в жизни много, но, наверно, не обо всем, что видел, могу судить безошибочно. Однако опять-таки ошибки ошибкам рознь. Я сам живу так, будто плыву по незнакомой реке в лодке с шестом. Не знаю, понятно я сказал или нет. То есть продвигаюсь как бы на ощупь — пытаюсь, пробую. Ткнул шестом в дно — значит, хорошо, лодка плывет. Не достал — ладно, снова попробую. Я ж не на службе. В моей работе нет отбоя. Никто мне не скажет: «Все, конец, садись и отдыхай!».

Большинство моих сверстников, друзей детства и юности — кроме тех, что подделали год своего рождения,— уже на пенсии. Кто в религию ударился, кто по-прежнему деньги зарабатывает, многие ходят к гадалкам, чтобы те им по руке гадали, судьбу предсказывали. А я не верю, что можно предсказать будущее. Впрочем, даже если бы мне точно сказали, что кто-то умеет предугадывать будущее, я бы к такому человеку ни за что не пошел. Какая радость: узнать сегодня, что будет завтра! Не так ли, Татия?

— Неужели это вам совсем неинтересно?— спросила Татия.

— Что за интерес: прежде смерти знать, когда умрешь?

Шоходебу пришлись по душе эти слова. Он воскликнул:

— Прекрасно сказано!

А Упен-бабу подхватил:

— Но дело не только в этом, Шоходеб. Можно предсказывать будущее или нет, мне гадание не нравится еще вот почему.

От возбуждения Упен-бабу поднялся и сел на полке, поджав под себя ноги.

— Если обо всем, что будет, знать заранее, какой тогда интерес жить? Мы вечно спрашиваем: а что потом, что потом? Убери из жизни это «а что потом?», и не останется в ней никакой радости, никакого восторга. Ведь жизнь на каждом шагу поражает нас неожиданностями.

Ты только, Шоходеб, не обижайся, а я вот что скажу. Вы все время кричите: «Ошибки! Недостатки!». К чему кричать? Ведь это только от машины можно требовать, чтобы она работала без погрешностей. А в человеке слиты воедино и недостатки и достоинства, сам ошибается и сам же исправляет свои ошибки. Без ошибок разве было бы движение вперед? Разве знали бы мы, что такое радость открытия?

12

Длинный Гирджа посмотрел на часы — было почти десять. Вагон-ресторан, наверно, уже совсем опустел.

Ну и холодина сегодня! Понятное дело — такой ливень! Из пассажиров пока что никто не сошел. У официантов из вагона-ресторана сейчас много работы: носятся по вагонам с подносами. На подносах — в основном стаканы и бутылки с легкими напитками и содовой водой, иногда еще и лед. Легкие напитки — это, конечно, лишь для вида. У себя в купе пассажиры раскупоривают напитки покрепче. А официантам перепадают хорошие чаевые.

Гупта, наверно, диабетик: он по меньшей мере раза четыре вылезал из купе и ковылял в конец коридора. Ему, значит, и пить-то нельзя. Вот Раджу — этот, видать, мастер выпить. Всего раз вышел из купе — быстро туда, быстро обратно и ничуть не шатался. Крепкий мужик!

А геологи всей компанией ушли в вагон-ресторан. Чинно прошествовав по коридору, они легкими кивками и сдержанными улыбками приветствовали Длинного Гирджу. Кто бы поверил, что они только что напропалую веселились в своем купе!

Для многих теперь веселье — в бутылке. Как только захотелось повеселиться, вытащил пробку — и порядок, сразу весело стало. Будто веселье — это какой-то стандартный продукт, который производят в огромном количестве на заводах и разливают по бутылкам. И очень жаль, что из-за этих мерзких пьяниц такая прекрасная вещь, как вино, пользуется плохой репутацией. А не то бы...

Впрочем, нет. Во время работы об этом и думать не стоит. Чуть дашь себе поблажку — и пиши пропало.

Кстати, он давно не был в кино. Хотя, с другой стороны, и смотреть-то теперь нечего. Есть всего два-три режиссера, которые делают приличные фильмы, а остальные все чепуха. Жена раньше была большой любительницей кино. Бывало, зовет его с собой, а он говорит: «Не хочу смотреть всякую чушь!» — и тогда она звала соседок и шла в кино с ними.

Какая веселая и жизнерадостная она была, а потом, после смерти Кальяни, вся сникла. У них уже не хватило смелости заполнить эту зияющую пустоту. Возраст не тот. Пусть лучше все остается как есть. Время пройдет — и боль утихнет.

Длинный Гирджа попытался выглянуть наружу, чуть приоткрыв жалюзи, но тут же снова опустил их: еще немного, и ветер сдул бы все его служебные бумаги. Ну и погода! Небо будто вовсе обезумело. Но, с другой стороны, хорошо, что такой дождь: земля совсем высохла. Теперь можно будет пахать. Пусть поля зазеленеют, а то на них давно уже и смотреть тоскливо.

Длинный Гирджа вдруг подумал про себя: «Если кто-нибудь меня спросит, куда я еду, я отвечу: «Я-то — в Могуль-сарай, а вот вся страна куда?».

И правда, иногда кажется, что страна движется неизвестно куда. Будто она села не в тот поезд. И самое страшное — нет такого контролера, который мог бы это обнаружить. Будь хоть билет — тогда можно было б узнать, куда надо ехать на самом деле. Но ведь и билета даже нет.

Вагон-ресторан, наверно, уже закрыли. Во всяком случае, все пассажиры из его вагона вернулись в свои купе.

У Длинного Гирджи от сидения затекли ноги. Он встал, походил по служебному купе, немного размялся. Говорят, у спортсменов, когда они уходят из спорта, неизбежно развивается ревматизм. Длинный Гирджа очень боится ревматизма. Главное — все время держать себя в форме, не расслабляться и как можно больше двигаться. Поэтому он решил еще раз обойти вагон.

В купе геологов свет уже был потушен. Из-за двери доносился храп. Длинный Гирджа остановился, прислушался. Ну и ну! Прямо целый оркестр! И какие разнообразные звуки! Длинный Гирджа подумал: «Чем не тема для научной работы — «Храп и его разновидности» или «Типология храпа».

В другом купе, очевидно, горела маленькая лампочка над полкой. Значит, кто-то не спит — читает на сон грядущий.

Вдруг в коридор вышел официант, держа в руках поднос с посудой. Из какого же он купе? Неужели из того, где пара молодоженов? Ну да, из того самого! Вот ведь молодежь зеленая! Ничего еще не понимает. За окном ночь и ливень. Вагон слегка покачивает. Давно бы им пора погасить свет! Чудаки да и только!

13

Шоходеб и Татия быстро покончили с ужином. Напоследок Шоходеб нечаянно звякнул вилкой о тарелку. Татия тут же воскликнула:

— Тарелка звенит — хозяин не сыт! — И Шоходеб в ответ покачал головой, как бы говоря: хорошо поел, но мог бы и еще. После этого Шоходеб уселся поудобнее на полке и закурил сигарету.

— Эх, растяпа же я! Забыл прихватить с собой бетель. В Европе его днем с огнем не сыщешь. Дураки эти господа европейцы. Даже не знают, что за штука бетель и какого удовольствия они себя лишают.

Он поднял голову, пытаясь выпустить изо рта дым кольцом, и в этот момент ему на колени упал небольшой сверток.

— Что это? — спросил Шоходеб и, развернув бумагу, увидел аккуратно уложенные листья бетеля. От радости он даже забыл про сигарету.

— Откуда ты это взяла?

— С неба свалилось,— ответила Татия. — А если по правде, мама дала.

— Вот за что я люблю твою мать,— сказал Шоходеб. — Она к другим относится, как к себе самой.

— Да-да, а к себе самой, как к другим,— проговорила Татия почти неслышно, и Шоходеб даже не обратил внимания на эти слова, тем более что одновременно раздался стук в дверь. Шоходеб быстро встал, отворил дверь, сунул официанту в руки поднос с посудой и еще немного чаевых, а затем закрыл дверь и запер ее.

Татия бросилась к Шоходебу и обвила руками его шею.

— Бедный Упен-да,— сказала она,— его, наверно, никто никогда не ласкал. Я чуть-чуть погладила его по голове — и он сразу уснул, совсем как ребенок.

Шоходеб представил себе спящего Упен-да и задумался: «Мне все хотелось втянуть его в теоретический спор, но для него важнее всех теорий жизнь. Мы стоим на берегу и рассчитываем, прикидываем, а он давно уже прыгнул в воду, не задумываясь, выплывет или потонет. У нас расчет, а у него чувство, порыв. В нашем расчете есть большая доля эгоизма, а его порыв — это самопожертвование».

Шоходеб настолько погрузился в свои размышления, что даже не заметил, как Татия, уткнувшись ему в плечо, вдруг заплакала. Он думал: «Упен-да недаром вспомнил про попугайчика. Эта птичка, наверно, до сих пор живет у него в душе и, как священную мантру, повторяет: «неволя» — «свобода», «неволя» — «свобода», это точно стук его сердца».

Наконец Шоходеб заметил, что Татия плачет. Что ж, почему бы ей не поплакать. Это вполне естественно.

Для индийской девушки выйти замуж — значит оставить родной дом и начать новую жизнь в чужом доме. Правда, Татия хоть и на чужбине, но будет жить в своем доме. Они начнут свою семейную жизнь точь-в-точь как европейцы.

И все же Татии пришлось расстаться с отцом, матерью, братом, с домом, где она выросла, а главное — с родиной. Когда Шоходеб в первый раз покидал родину, он и сам расплакался. Теперь-то, конечно, другое дело. Хоть и больно уезжать, но радость оттого, что они едут вдвоем, гораздо сильнее боли.

Однако странно: когда Татия прощалась с родителями, Шоходеб не заметил в ее глазах ни одной слезинки. И ей как будто даже не надо было сдерживать слезы. Значит, Татия — человек большого самообладания. Или радость и у нее заглушала боль разлуки? Трудно сказать. Помимо всего прочего у Татии очень скрытный характер.

Но вчера вечером, на свадебном торжестве, Татия преобразилась. Она была главной заводилой и закрутила такое веселье, что никто и не заметил, как время перевалило далеко за полночь. А ведь это была их первая ночь после свадьбы! Татия весь вечер пела песню за песней и одновременно успевала следить за тем, чтобы никто из друзей Шоходеба не оставался с пустым бокалом. И сам Шоходеб

не был обделен ее вниманием. Он изрядно выпил и, едва добравшись до постели, сразу уснул. Татия еще что-то прошептала ему на ухо, но что — он не понял, потому что был уже во власти сна.

Так почему же Татия вдруг расплакалась теперь?

Сначала она плакала беззвучно, потом стала всхлипывать и, наконец, разрыдалась в голос.

Интересно, а что Татия думает о нем, о Шоходебе?

Женщин у него было уже немало. В Европе это само собой. Но начал он гораздо раньше, еще когда ушел «в леса».

В те дни он постоянно носил при себе пистолет. Но не так уж редко случалось и откладывать его в сторону.

Он тогда думал: «Смерть ходит по пятам, жить осталось, может быть, лишь несколько мгновений — так пока живешь, надо взять от жизни все, что можно». И если ему представлялся случай, он жадно наслаждался, как голодный, который боится, что не успеет насытиться. У женщин, ушедших, как и Шоходеб, «в леса», было такое же чувство: лови мгновенье, пока живешь.

Физическая смерть не настигла Шоходеба, но однажды он вдруг почувствовал, что жизнь «в лесах», то поднимавшая его на вершину блаженства, то низвергавшая в пропасть отчаяния, готовит ему смерть духовную.

А женщины «в лесах» были такие, что смотрели смерти прямо в глаза. Куда до них этим европейским неженкам, привыкшим искать в жизни одни удовольствия. На чужбине Шоходеб одержал много легких побед.

И сейчас он утешит эту милую капризулю. Не говоря ни слова, Шоходеб крепко обнял Татию и, приподняв ее, осторожно усадил на нижнюю полку. Татия сразу опомнилась: еще немного — и будет поздно. Поэтому она сказала как можно внушительней:

— Шоходеб, у меня к тебе очень важный разговор.

Но Шоходеб, не размыкая рук, ответил:

— У меня к тебе тоже очень важный.— После этого он от слов перешел к делу, и Татия не могла ему не покориться.

14

Татия крепко спала, одной рукой обняв Шоходеба за шею. Шоходеб осторожно поправил ее растрепавшиеся волосы и поцеловал Татию, чуть прикоснувшись губами к ее лбу. Потом еще более осторожно он отстранил ее руку и тихо-тихо встал. Татия все так же безмятежно спала.

Не зажигая света, чтобы не разбудить Татию, Шоходеб на ощупь отыскал на столике сигареты и спички, положил их в карман, на цыпочках подошел к двери, без звука открыл ее, вышел в коридор и столь же бесшумно затворил за собой.

Ему захотелось открыть в коридоре окно. Но прежде надо было закурить сигарету, не то ветром сразу погасило бы спичку.

С зажженной сигаретой во рту Шоходеб обеими руками опустил оконное стекло. В окно ворвалась струя холодного воздуха.

Дождь все лил и лил как из ведра, но ветер утих, и уже можно было стоять у открытого окна, не рискуя промокнуть. Легкие брызги, попадавшие внутрь, освежали лицо.

Что это там, вдалеке? В темноте не разобрать. Может быть, гора. А может, облако. Два часа ночи — значит, поезд едет по Бихару. Здешние места Шоходебу плохо знакомы. Хорошо бы все-таки, чтобы это была гора. А то все равнина да равнина.

Вдруг Шоходеб подумал: женитьба — это не просто забава. Татия — как бы мягкая глина. И ему предстоит вылепить из нее чудесную статую.

Татия заставила его почувствовать большую ответственность за себя самого и свою жизнь. До сих пор он жил, не очень-то задумываясь над собственными поступками. Даже его уход «в леса» был своего рода игрой; каким он ушел «в леса», таким и вернулся оттуда.

Теперь Шоходебу предстоит изменить самого себя. Да! Изменить, пересоздать и себя и Татию подобно тому, как человек, преображая природу, преображается сам.

Шоходеб — пуруша, а Татия — пракрити [1].

Он понял, почему Татия так спешила ему что-то сказать.

Они лежали рядом на полке, потушив свет, и Татии было в самую пору уснуть. Но хотя она и лежала неподвижно, Шоходеб чувствовал, что Татия не спит.

Тогда он положил руку ей на плечо и спросил:

— Так что ты хотела мне сказать? Что-то очень важное?

— Было важно, но ты не стал слушать. Теперь для меня это не так уж и важно.

— А для меня все равно важно! Ну-ка выкладывай...

Татия закрыла глаза ладонью и сказала:

— Все эти дни я готовилась к тому, чтобы поговорить с тобой начистоту сегодня ночью, прежде чем ты действительно станешь моим мужем. Я сочинила длинную речь и почти выучила ее наизусть. Но сейчас я все позабыла и никак не могу собраться с мыслями. Впрочем, ладно, скажу, как получится, а ты попытайся сам разобраться...

Ты знаешь всю мою семью: отец, мать, мы с Тукуном и двоюродный брат отца. Пять человек, замкнутый мир нашего дома. Есть и еще какие-то родственники, но они никогда к нам не приходили, да и мы никого никогда не навещали. Так и жили впятером в четырех стенах.

И вот однажды я поняла, что тот, кого я с детства считала своим отцом, на самом деле мне вовсе не отец. И Тукуну он тоже не отец. А настоящий наш отец — жалкий приживала, который живет у нас в доме как бы из милости и которого все вокруг презирают...

На этом месте Шоходеб чуть было не прервал рассказ Татии. Выходит, она совсем не представляет себе, что за человек Шоходеб. Она думала, что от ее слов для Шоходеба, как гласит поговорка, солнце затмится и «Махабхарата» осквернится. Вот так Татия! Как она могла подумать такое?! А поговорка про «Махабхарату» тут и в самом деле кстати. Ведь в самой «Махабхарате» подобных историй сколько угодно, и ничуть она от этого не оскверняется.

Короче говоря, Татия из мухи сделала слона. Шоходеб уже хотел прямо так и сказать Татии да для большей убедительности еще и отшлепать ее, как ребенка, но потом подумал, что, пожалуй, прежде следует взглянуть на всю эту ситуацию глазами самой Татии.

Между тем Татия продолжала свой рассказ, и Шоходеб не стал ее прерывать — пусть выговорится до конца.

— Взрослые думают, что дети ничего не замечают, ничего не понимают, а на самом деле это совсем не так. Дети все видят, все слышат, но, боясь старших, притворяются, будто им ничего не известно. Я не помню, когда я до конца поняла тайну нашей семьи, но с самого раннего детства я чувствовала, что в доме у нас что-то не так. Мать и отец были словно чужие друг другу. А соседи и знакомые часто вглядывались в мое лицо и говорили: «На отца она совсем не похожа!» И кто-нибудь при этом добавлял, с мерзкой улыбкой поглаживая меня по голове: «А с чего бы ей быть похожей на него!»

---

[1] Пу́руша и пра́крити — понятия традиционной индусской философии, которые можно приблизительно сопоставить с такими парами понятий, как «дух» и «материя», «сознание» и «природа».

Двоюродного брата отца я называла Пока[1]. Вслед за мной и Тукун стал его так называть. А получилось это имя будто само собой. Мама, как и положено, называла брата отца Тхакур-по[2]. Мне бы следовало его называть Кака[3], но я, слыша, как мать говорит «Тхакур-по», еще когда была совсем маленькая, сложила два слога: «по» и «ка» — и получилось «пока». А отец, обращаясь к нам, детям, стал нарочно называть своего брата Пока, особенно в присутствии матери. Так, бывало, и спрашивал: «А где Пока? Дома ли Пока?» Сомнений у меня больше не было. Я-то похожа на мать, но Тукун — вылитый Пока.

Я боялась приглашать людей к нам в дом и поэтому вообще мало с кем общалась. Если кто-нибудь начинал со мной дружить, я старалась побыстрей его отвадить. Представь себе: у меня совсем нет друзей. В школе и колледже все думали, что я просто зазнайка — хорошо учусь и возомнила о себе.

Возвращаясь домой, я старалась не встретить никого из соседей. Если в трамвае на меня смотрел какой-нибудь юноша, я поспешно отворачивалась. Я вообще не выносила, когда мне смотрели в лицо.

Отец и мать до свадьбы работали вместе в одной фирме. Отец был крупный босс. Потом они поженились. Сейчас отец на пенсии, а мать продолжает работать и сама стала боссом. Отца гложет зависть.

Сколько я помню отца, он, вернувшись с работы, всегда как на привязи сидел дома. В фирме, я слышала, подчиненные страшно боялись его. Никто не смел повысить в его присутствии голос. А дома он тихо сидел в своей комнате и никуда из нее не выходил. По вечерам он вынимал из маленькой коробочки черные шарики и сосал их. Шарики доставал ему Пока. Бывало, придет, сунет мне в руку пакетик и скажет: «Ну-ка, бегом, отнеси это старшему брату!»

Потом только я узнала, что это был опиум. Отец запивал опиум стаканом молока, поудобнее устраивался в кресле и погружался в чтение какого-нибудь детектива. Или иногда в одиночестве раскладывал пасьянс. Ужинал отец также всегда один, в своей комнате. Я никогда не видела, чтобы мать ужинала вместе с отцом или хотя бы сидела рядом с ним, когда он ел. Еду в комнату приносил отцу повар.

Ни у матери, ни у отца никогда не было никаких друзей. Никогда в наш дом не приходили гости, и отец никуда не ходил. Я подозреваю, что до свадьбы он, что называется, много гулял и совершенно истощил свои силы. Мать об этом, может быть, и не знала. Ей хотелось иметь представительного, солидного мужа. Она вышла за отца замуж и тут-то, видимо, и обнаружила его несостоятельность. В это время подвернулся Пока, и ему пришлось дать матери то, чего уже не мог дать старший брат.

Об отце я уж не говорю, но и от матери я никогда не видела ласки. Никогда не праздновали день моего рождения. Других девочек учили танцам или плаванию, меня — нет. В нашем доме даже не было радиоприемника. Только Пока иногда заводил свой старый граммофон. Я никогда не училась пению. Все песни, что я знаю, выучила со старых пластинок.

Знаешь, Шоходеб, и я, и Тукун — мы оба родились в каком-то проклятом доме, где никто никого не любит, хотя все очень нуждаются в любви.

Отец мне всегда казался сущим дьяволом, мать — дьяволицей, а Пока и в самом деле какой-то сороконожкой. Что же касается Тукуна, то разве он сможет вырасти человеком в этой отравленной атмосфере?

И не думай, что я — чудесное исключение в своем семействе. Я и себя не вполне могу считать человеком. Потому что нельзя стать че-

---

[1] По́ка — насекомое, червяк.
[2] Тхакур-по — младший брат мужа.
[3] Кака — дядя по отцовской линии.

ловеком без любви. Пусть я родилась не в любви — так часто бывает. Но ведь я не знала любви и потом. Знала один только страх. И часто думала: неужели мне никто не может дать любовь вместо страха?

А сегодня этот старик... Сама не пойму, в чем тут дело, но встреча с ним что-то во мне переменила. Ты будешь смеяться, но это как будто любовь с первого взгляда. До сих пор никто так не раскрывал передо мной свою душу. Ведь и ты, и я, и все мы прячем ее от других. Боимся, как бы нас не разоблачили. И вот впервые я увидела человека, который не боится раскрыть душу другим. Не боится, потому что полон любви. И любовь его не от слабости, а от силы. Силой своей любви он готов преобразить весь мир.

Жалко, что Упен-да уезжает за границу. А то бы, знаешь, что я сделала? Я бы не стала удирать с тобой за тридевять земель. Я бы уговорила Упен-да, чтобы он взял меня с собой — жить и работать где-нибудь... Ну хотя бы на чайных плантациях. Да! Для начала подошли бы и чайные плантации. Там я постепенно смогла бы изменить, преобразить самое себя. И я бы никого не бросила: ни отца, ни мать, ни несчастного дядю и, уж конечно, ни Тукуна. Преобразив себя, я бы преобразила и их всех. И даже тех, кто когда-то мерзко улыбался, гладя меня по голове. Я бы преобразила всех... все...

Слушая ее, Шоходеб не проронил ни слова, только время от времени междометиями давал понять, что внимательно слушает.

Когда же Татия, выговорившись, умолкла, Шоходеб поцеловал ее в лоб — будто поставил тилак на счастье — и сказал серьезно:

— Очень хорошо! Но ты забыла об одном...— продолжать не было смысла: Татия крепко спала.

Шоходеб вдруг понял, что он уже не смог бы жить без Татии.

И еще он понял: любовь не заложена в человеке от рождения. Она не предопределена линиями на ладони. Человек должен дорасти до любви, добыть ее для себя.

Любит ли он Татию? В темноте пустого коридора, как бы робея перед самим собой, Шоходеб молча кивнул головой.

А любит ли Татия его? Шоходеб не знал, что ответить.

Хоть он и молод, но ему еще предстоит потягаться с этим стариком.

15

Лодка плывет по реке. Лодка с навесом. Под навесом темно, ничего не видно. Только слышно, как волны бьются о лодку и весла по воде — хлоп, хлоп. Лодка качается на волнах. Глаза слипаются.

Нет, это не лодка качается на волнах. Это мать качает его на руках:

Мой сыночек золотой,
Словно месяц молодой,
Спи, моя отрада!
Кроме мамочки родной,
На земле и под землей
Ничего не надо.

По железной крыше стучит дождь...

Я сынка перед сном причесала,
В колыбели его укачала...

В небе гром гремит — это бог кричит.

Голубок, голубок,
Где же мой сынок?
На охоту пошел,
Ничего не нашел,
Думал счастье найти —
Заблудился в пути
И в яму бултых!

Нет, это не мать его на руках качает, это он сам идет и качается, спотыкается. Кто-то хлопает в ладоши. А он спотыкается, но идет:

Тот-топ, я иду,
Ножками ступаю,
Топ-топ, я иду,
А куда — не знаю.

И снова качается колыбель:

На волнах колыбель раскачаю,
Моего малыша укачаю...

На реке волны — будто кобры с раздутыми капюшонами. Волна за волной. Кобра за коброй.

Посмотри-ка, сестра,
Как лиана хитра —
Вокруг дерева обвивается,
Ядовитой змеей притворяется.

На дворе сезам
К земле клонится,
Мама по вечерам
Лакшми[1] молится,
Шиве поклоняется,
В доме прибирается.

«Кто к нам пришел?» — «Мама, это я!»

Прилети, прилети, птичка-попугайчик,
Погляди, погляди, какой у нас мальчик.

«Мама, мама! Попугай зернышки клюет!» Но как птицу ни корми, она все рвется на волю. А в лесу тьма кромешная. «Мама, мне страшно!» — «Не бойся, сынок, не бойся!»

Вурдалак — мне свояк,
Ведьмы лесные — сестры родные.

Сарасвати[2] поклонимся,
Чернила разведем,
Сарасвати поклонимся
И в школу мы пойдем.

Ма-ма, ре-ка, во-да.
Во-да бе-жит.
Лис-ток дро-жит.

Дождик, дождик, перестань.
По окну не барабань.
Солнышко, посвети, посвети,
Облако отведи, отведи.

И снова он в лодке, под навесом. Темно, ничего не видно. Только слышно, как волны бьются о лодку и весла по воде хлоп, хлоп.

Вдруг качка прекратилась. Может быть, лодка пристала к берегу?

Сквозь сон Упен-бабу почувствовал, будто кто-то положил ему руку на лоб. Не открывая глаз, он пошарил у изголовья. Никого. Еще пошарил. Нет, в самом деле никого. Значит, почудилось.

В полураскрытые глаза ударил свет. Уже утро? Упен-бабу рывком поднялся и сел на полке. Нет, еще не рассвело. Это в купе горит лампочка. И все-таки чья-то рука лежит у него на лбу! Упен-бабу провел ладонью по лицу и волосам. Опять никого. Значит, он просто не совсем еще проснулся. Надо бы выпить воды. Он встал, налил воды в стакан и выпил.

Упен-бабу не помнил, когда ушли Татия с Шоходебом. Наверняка после того, как он заснул. Поезд остановился на какой-то станции. Дождь все лил и лил. Но теперь шум был иным, потому что вода ударялась о платформу. Глаза слипались. Упен-бабу потушил свет в купе.

[1] Лакшми — богиня счастья и богатства.
[2] Сара́свати — богиня мудрости и искусства.

Оказывается, он лег в том самом костюме, который примерял вечером. Не снимать же его теперь. Глаза сами собой закрываются. Положив голову на подушку, Упен-бабу сразу уснул.

...Во дворе растет священный тульси. От жары все листья на нем высохли. Над тульси подвешена глиняная плошка с дыркой. Из плошки вода — кап-кап, кап-кап. Рядом — подпорки для плетей тыквы, чуть дальше — грядки с огурцами. На бамбуковом частоколе — закопченные кухонные горшки. А на двери кухни молочник записал мелом, сколько ему должны за молоко. У порога дома рисовой мукой нарисованы стопы Лакшми — на счастье.

Нет, это не стопы Лакшми, это на белой ткани красной краской — ступни матери [1]. Старшая сестра вырыла ямку, привораживала жениха, а теперь в этой ямке горит огонь и на том огне варится в горшке еда для поминок. И вода из плошки капает на засохший тульси—кап-кап, кап-кап.

«Пену[2], посмотри, это божья коровка. Поклонись ей — она приносит счастье».— «А тебе на руку, сестра, сел мотылек — это к свадьбе!»

Под окном цветок цветет —
Скоро ли жених придет?

Эх, жених, женишок,
Подрасти на вершок...

«Пену, давай поиграем в жмурки! Муха-слепуха, кружи, жужжи, кого ухватишь, того держи. Раз, два, три...»

«Пену, поймай мне жучка — стеклянные крылышки. Я крылышки оторву и приклею ко лбу, стану красивой... Пену, сорви мне ягодку! Дареное заберешь — в попрошайки попадешь... Пену, чего на меня уставился? Смотри, поссоримся... Врун-врунище — крысиный хвостище!»

Правое веко дергается — это к прибыли. Тарелка на пол упала — кто-то к нам едет.

Паланкин несут, паланкин качается —
Молодая жена к мужу собирается [3].

Дождь идет, по крыше колотит.

Милый братец, прощай,
Обо мне вспоминай!

Далеко ль бежишь ты,
Дорогая речка?
Из родного дома
Принеси словечко.

Колеса по рельсам стучат, поезд сестру привез.

Яма у Ями ищет защиты,
Брат у меня ищет защиты,
Ямы врата для брата закрыты [4].

«Вот тебе, братец, спелые финики, вот кислый тамаринд и сладкое манго...» — «А вот тебе, сестра, зола из нашего очага».

Колеса по рельсам стучат, поезд сестру увез.

---

[1] В Бенгалии существует обычай сохранять кусок ткани с отпечатками ступней женщины, умершей раньше мужа.

[2] Пену — уменьшительное от Упен, Упендронатх.

[3] Индусская девушка после свадьбы могла еще несколько лет жить в родительском доме и только потом переселиться в дом мужа.

[4] Яма — владыка мира мертвых в индийской мифологии. Он был первым человеком, который умер. У Ямы была сестра-близнец Ями, и от этой первой пары людей произошел род человеческий. Данное заклинание произносится во время праздника «братьев и сестер», когда сестры поздравляют братьев и дарят им подарки.

Небо, ты чье? — Твое! — Облако, ты чье? — Твое! — А воздух? — Твой! — И дождь? — И дождь тоже твой!

Отец идет, закрыв уши руками. На нем охряная роба саньяси[1]. Отец кричит: «Брахма[2] — истина, мир — ложь!»

А сын его одет в полосатую одежду арестанта. Сын читает стихи Тагора:

Свобода — в отреченье? Нет, это не для меня.
Я обрету свободу и кандалами звеня[3].

За решеткой — не человек в полосатой одежде. Это тигр мечется в клетке. Тигр? Или все же человек? И в рассеченной решеткой полосе света тень от виселицы.

Потом издалека надвигается песня «Бандэ матарам!»[4] Тень виселицы блекнет и исчезает.

А в лесу свободный тигр разрывает в клочья чью-то охряную робу.

...Красиво убранная комната. Кресло-качалка. И человек, упавший из кресла на пол ничком. На террасе дома плачет ребенок, мать успокаивает его, прижимая к груди.

Неужели эта мать — Соня?

Когда Упен-бабу приехал сюда, мать Сони сама была грудным ребенком. Как изменились с тех пор чайные плантации!

Отец Сони, Дукхонти, не имел ничего, кроме набедренной повязки.

Раньше Дукхонти и такие, как он, даже не понимали, хорошо им живется или плохо, не знали, что называется страданием, а что — счастьем. О счастье, впрочем, они и теперь имеют лишь смутное представление. Но зато страдания уже не принимают безропотно. Они осознали свои права и могут за них постоять.

Дукхонти, мать Сони, Соня и ее ребенок — вот они все тут, рядом.

Помните, как на станции Сантахар вербовщики загоняли завербованных рабочих, будто диких зверей, в клетки-вагоны?

Потом эти дикие звери, научившись бороться за свои права, стали людьми. А люди, выжимавшие из рабочих на плантациях семь потов, действительно превратились в зверей.

Листья чая, вы чьи? — Ты собираешь нас, значит, твои! — Земля, ты чья? — Ты живешь на мне, значит, твоя!

На этой земле. Да, я живу на этой земле. Эта страна моя. Я связан с нею всем своим существом. И духом, и телом.

Лодка качается на волнах. Мать качает меня на руках.

На засохший тульси из дырявой плошки вода капает — кап-кап, кап-кап.

Вот увидишь, Дукхонти, на засохшем тульси скоро появятся новые листья!

16

Следующая станция Могуль-сарай.

Длинный Гирджа решил: нечего зря время терять, надо до Могуль-сарая успеть побриться, и тогда весь день никаких забот. Погода нынче такая, что утром душ принимать все равно не захочется.

А если к утру дождь перестанет, можно будет выкроить парутройку часов и съездить на автобусе в Бенарес. Бхароти все время пи-

[1] Саньяси — бродячий аскет.

[2] Брахма — абсолют в индийской религиозной философии.

[3] Перевод Н. Стефановича

[4] «Бандэ матарам» («Поклоняюсь матери») — песня, ставшая гимном движения за независимость Индии.

шет ему в письмах: «Дядюшка, ведь ты то и дело бываешь в Могульсарае, почему же никак к нам не заедешь хоть на часок? Сейчас у нас гостит мама и останется тут до июня».

Сбривая щетину со щек, Длинный Гирджа подумал: «За весь день только во время бритья и удается посмотреть самому себе в лицо. Да и то скрючившись перед зеркалом». Вообще от высокого роста много неудобств. А если случается ночевать в чужом доме, то бессонная ночь обеспечена: редко у кого находится такая кровать, с которой у Длинного Гирджи не свисали бы ноги.

Будто звезды в ночном небе, среди черной щетины поблескивают седые волоски. Это первые весточки от смерти.

А Кальяни ушла без единой весточки. И от нее никаких вестей.

После бессонных ночей Длинному Гирдже очень часто приходят на ум мысли о смерти.

Недавно он брал почитать у одного пассажира книжку африканских сказок. И там была сказка под названием «Откуда взялась смерть».

Сначала не было ничего. Только пустота и темнота. И жил в темноте бог-смерть с женой и дочерью. Дочь эта была у него единственная.

Но в пустой темноте что за жизнь! И бог-смерть создал себе пристанище — огромный океан с глиняными берегами. Пришел однажды туда бог-творец и удивился: «Разве тут можно жить?! Ни деревни, ни души живой, ни даже единого огонька!» Сказав так, он прежде всего осушил часть океана и создал сушу. Потом озеленил ее растениями и населил зверями и разной другой живностью. Так бог-творец создал этот мир.

А бог-смерть только посмеивался. Пригласил к себе бога-творца и угостил его разными яствами.

Бог-творец увидел дочь бога-смерти, влюбился в нее и решил на ней жениться. Но бог-смерть не хотел отдать ему дочь в жены. Уговорить упрямого отца никак не удавалось. Тогда дочь бога-смерти убежала от родителей с богом-творцом.

Они поселились на краю мира, поженились и зажили счастливой семейной жизнью.

И родились у них дети. Одни белые, другие черные. Но каждый говорил на своем особом языке, и мать с отцом этих языков не понимали.

Бот-творец не знал, как быть, и отправился к тестю. Тесть ему сказал: «Это все я так устроил, чтобы у вас спеси поубавилось. Пусть белые работают головой, а черные — руками, добывая себе пропитание. И следи за тем, чтобы белые женились на белых, а черные — на черных».

Так и было сделано. Поженившись, дети расселились по всему миру.

Но темнота была, как и прежде. Тогда зять послал к тестю гонцов: перепела и петуха.

Бог-смерть сказал им: «Ладно, научу вас петь. С вашей песней будет наступать рассвет и люди будут отправляться на работу».

С тех пор каждый день солнце появляется по утрам и заходит по вечерам. Ночью же, чтобы не было совсем темно, на небе светят луна и звезды.

Потом бог-смерть позвал к себе бога-творца и сказал ему: «Ты украл у меня единственное дитя, но я все же выполнил все твои просьбы. Теперь тебе придется выполнить одну мою просьбу. Когда бы я ни захотел, ты должен будешь отдавать мне своих детей. Когда мне понадобится кто-либо из них, они услышат во сне мой зов и по этому зову пусть сразу отправляются в путь.

Бог-творец не мог не согласиться...

Длинный Гирджа поднял жалюзи и опустил стекло. Дождь лил по-прежнему. Но тьма уже готова была вот-вот рассеяться и уступить место свету.

Поезд прибыл на станцию Могул-сарай и остановился у платформы.

Длинный Гирджа посмотрел в окно: воды на платформе немного, но ноги промочить вполне хватит. Кажется, лучше все же выйти из дальней двери. Подхватив свою сумку, Длинный Гирджа зашагал по коридору.

Все двери купе закрыты. Дождь — хорошее снотворное, особенно если он льет всю ночь напролет. Пассажиры, должно быть, преспокойно спят и знай себе посапывают. Ни из-под одной двери не пробивается свет. Гупта и компания, конечно, спят крепче всех: с вечера крепко выпили—им до полудня хватит. В первом купе и подавно спят, известное дело — молодожены. Старик Моджумдар? Нет, этот тоже еще не проснулся. И вряд ли его кто-нибудь разбудит: в этакий дождь никто не придет занимать свободную полку в его купе.

Длинный Гирджа ступил на платформу, и из-под ботинок полетели брызги. Он сразу решил: нет, в такой день не пристало ехать в священный город Бенарес.

17

Проснувшись, Татия вынула часы из-под подушки и зажгла ночник. Ого! Уже двадцать минут десятого! Ну и заспалась же она!

Татия отбросила ногой одеяло, встала с полки, опустила оконное стекло. Поезд, медленно набирая скорость, отходил от платформы. Это был уже Аллахабад.

На верхней полке зашевелился Шоходеб. Не открывая глаз, он спросил:

— Что за станция?

— Аллахабад.

Шоходеба будто подбросило.

— Не может быть! Аллахабад уже проехали? — Сокрушенно качая головой и изобразив на лице великую скорбь, он воскликнул:— А я-то, несчастный, хотел купить в Аллахабаде два сера[1] манго! Теперь все пропало! — И он снова растянулся на полке, укрывшись одеялом.

Татия сказала:

— Уже половина десятого. Вставай-ка побыстрей, а то нам и чаю не достанется.

— Не может быть! Половина десятого? А ну-ка, покажи часы!

Татия подошла к полке и протянула Шоходебу руку с часами. Шоходеб неожиданно схватил Татию за руку и привлек к себе. Татия не очень сопротивлялась. Пытаясь высвободиться из объятий Шоходеба, она с улыбкой сказала:

— Погоди, дай хоть окно закрою!

В вагон-ресторан они вовсе не опоздали. Хотя было уже половина одиннадцатого, утреннее чаепитие еще только начиналось. Очевидно, и остальные пассажиры проснулись поздно.

Татия и Шоходеб заняли последний свободный столик — в самом дальнем конце вагона-ресторана. Сначала они сели лицом друг к другу, но потом подумали, что если кто-нибудь к ним подсядет, то трудно будет разговаривать, и Татия села рядом с Шоходебом.

За соседним столиком трое мужчин и девушка вели непринужденную беседу; как видно, одна компания. Девушка привлекла внимание Татии. Говорила она по-бенгальски, но со странным акцентом. И все у нее было какое-то небенгальское: брюки, мужской кошелек, который она то открывала, то закрывала, и, наконец, сигареты «Чар минар», которые она лихо курила. Но при этом девушка держалась так есте-

[1] Сер — индийская мера веса, примерно равная одному килограмму.

ственно и непринужденно, что Татию в ее поведении ничто не покоробило. Напротив, Татия подумала, что вот именно такие девушки, твердо стоящие на собственных ногах, могут утереть нос мужчинам.

Затем, без всякой как будто связи с этими своими наблюдениями, Татия тихо сказала Шоходебу:

— Хоть сегодня и пасмурно, на душе у меня удивительно хорошо.

Шоходеб ответил:

— В том-то и разница между мужчинами и женщинами. Женщины всегда все понимают чуть позже. У меня еще со вчерашнего дня на душе чудо как хорошо.

Татия, оставив этот выпад без ответа, спросила:

— А заказ ты уже сделал? Нам надо бы поесть побыстрей, ведь я обещала утром зайти к Упен-да.

— Чтобы привести в порядок его купе?

— Нет, его чемодан,— уточнила Татия.

Шоходеб подозвал официанта, сказал:

— Два завтрака; один чай, один кофе,— и добавил:— Кофе черный!

За окном разворачивался индустриальный пейзаж: какой-то промышленный комплекс и на дорогах, ведущих к нему, потоки автомашин.

Шоходеб сказал, будто размышляя вслух:

— Да, как бы там ни было, а страна развивается, растет, богатеет.

Татия вставила:

— Богатеют богатые, а бедные только беднеют.

— Вот мы как раз и хотели вступиться за тех, кто беднеет. Готовы были жизнь отдать... Впрочем, свою отдали не все, а чужих жизней забрали порядком. И что же вышло? Мы были похожи на детей, которые во что бы то ни стало хотят привлечь к себе внимание взрослых — кричат истошно, ломают игрушки. Нас и успокоили — кого лаской, кого таской...

Официант принес завтрак. Размешивая в чашке сахар, Татия вдруг сказала:

— Вы ринулись в бой сломя голову. А нельзя ли достичь того же долгой и упорной работой?

— Как Упен-да? — Шоходеб с сомнением покачал головой.

— А почему бы и нет?

Она никогда не думала, что способна беседовать на подобные темы.

Татия в долгу перед Шоходебом. Он научил ее любить жизнь. Татия никогда и не предполагала, что жизнь может быть так наполнена радостью. И счастье в том, чтобы делиться этой радостью с людьми.

Сегодня утром ей все вокруг нравится. Даже эта европеизированная девушка с сигаретой в руках; она живет по-своему прекрасно — с гордо поднятой головой.

Вдруг впервые в жизни Татия почувствовала, что любит всю свою семью: отца, мать, дядю, Тукуна. Татия поняла, что она всегда на все смотрела лишь с точки зрения своего «я». Теперь надо попытаться взглянуть на жизнь их глазами, воспринять ее так, как они. Отец, мать, дядя — они как бы запутались в огромной паутине, и нет у них сил выпутаться из нее.

Татия поняла: выйдя из скорлупы своего «я», она может обрести в себе самой такую силу, которая движет горы.

Шоходеб сказал:

— Hurry up![1] Как бы нам не опоздать.

---

[1] Поспеши! *(англ.)*

18

На одной из остановок бывший друг Упена Моджумдара, а ныне член парламента Джоду-бабу позвонил по телефону в Дели, в партийный комитет, и сообщил обо всем. Поэтому на перроне в Дели собралась целая толпа.

Упен-бабу вынесли из вагона. Сначала несли его очень медленно, то и дело останавливаясь: людям на перроне некуда было расступаться.

В толпе спрашивали друг друга:

— Да кто же это? Кто это?

— Коммунист. Коммунист из Калькутты.

— Понятно, что коммунист. А имя-то его как?

Услышав имя, люди недоуменно качали головами: нет, никогда, мол, о таком не слыхали. Значит, он человек неизвестный, и толкаться тут на перроне особого смысла нет. Толпа постепенно редела.

Но многие успели заметить нечто новое в столь привычном зрелище. Упен-бабу был в европейском костюме и даже в галстуке. На ногах, наверно, носки и ботинки, но они скрыты под покрывалом.

Член парламента Джоду-бабу шел вслед за своим старым другом, опустив голову и глядя себе под ноги. На плече — сумка, в руках — чемодан.

Мира Кханна и три других геолога, погрузив свой тяжелый багаж на тележку, молча шествовали к выходу в город.

Позади всех шли Шоходеб и Татия. Двое носильщиков несли их багаж. Шоходеб поддерживал Татию под руку.

Те, кто пришли встретить Упен-бабу, приглядывались к молодым людям. Ведь именно они, Татия и Шоходеб, бóльшую часть пути провели рядом с Упен-да. И все цветы, подаренные им к свадьбе, они отнесли в его купе.

Привокзальная площадь была вся в красных знаменах. Людей собралось столько, будто должен был состояться массовый митинг или мощная демонстрация.

Один из тех, кто пришел встречать Упен-бабу, подозвал такси, погрузил в него багаж Шоходеба и Татии и сказал им:

— Садитесь, пожалуйста!

Молча, будто в каком-то полусне, они сели в такси, на заднее сиденье. А рядом с водителем тот человек, который вызвался им помогать.

По площади тронулось траурное шествие.

Джоду-бабу стоял с чемоданом в руках и не знал, что ему делать, куда идти. Но когда процессия прошла мимо него, он, словно спохватившись, побежал следом.

А в такси тот, что сидел рядом с шофером, сказал, обернувшись:

— Вы можете переночевать у нас, в партийном комитете. Ведь вы улетаете завтра, не так ли?

Этот вопрос как будто вывел Шоходеба из оцепенения, в котором он пребывал до сих пор. Шоходеб посмотрел на Татию, она ответила ему взглядом. Без единого слова они прекрасно поняли друг друга, и Шоходеб тихо сказал:

— Мы не летим. Мы вернемся поездом в Калькутту.

■

Из югославской поэзии

■

Перевод и вступление МАРГАРИТЫ АЛИГЕР

В течение последнего десятилетия мне неоднократно случалось бывать в Югославии на различных литературных встречах, симпозиумах, юбилеях, и меня всякий раз поражала ее активная литературная жизнь. И она отнюдь не сосредоточена в центрах, она неограниченно распространяется по всей стране, захватывая подчас и весьма отдаленные от ее столиц места, где, волею судеб, родился какой-либо поэт, или романист, или любой другой деятель литературы. Все республики Югославии бережно хранят память о людях и о событиях, обогативших культурную жизнь своей родины. Дучичевы встречи в Требине, Змаевы торжества в Новом Саде, заседания словенского ПЕН-клуба на Адриатике, ежегодные поэтические встречи в Сараеве, Стружские вечера в Македонии, октябрьские встречи критиков в Белграде — всего не упомнишь и не перечислишь. И несчетные встречи с читателями, взрослыми и маленькими, школьниками и трудящимися крупных и некрупных промышленных и сельскохозяйственных центров, со студентами и просто с читающей публикой. И, по правде говоря, не часто встретишь такой приветливый интерес, такую внимательную любовь к своим писателям. И прежде всего, разумеется, к поэтам. Ну что ж, для поэзии такое отношение к ней — великолепная питательная среда, и югославская поэзия отзывается на нее благодарно и щедро. Она серьезна и значительна, многозвучна и многоголоса.

Во все мои приезды в Югославию друзья мои охотно и радостно возили меня по родной земле. Я немало на свете повидала, но, по-моему, нет страны красивее и разнообразнее в красоте своей, чем Югославия. И пожалуй, разнообразие и многообразие югославской поэзии я могу сравнить только с разнообразием и многообразием природы этого живописного края. Каждый поэт интересен по-своему, и так же они не похожи друг на друга, как не похожи берега Адриатики и берега Дуная и Савы, как не похожи друг на друга прекрасные реки Дрина и Неретва, как не похожи мягкие дали Словении и суровые кряжи Черногорья. Эта суровая природа присутствует в жесткой и резкой поэзии одного из крупнейших поэтов старшего поколения черногорца Радована Зоговича, в то время как старейшина и классик сербской поэзии Десанка Максимович — вся, даже в самых сложных и многозначных стихах своих, ясна и открыта, как просторы Сербии, ее родного Валева. Столь же не похожи между собой тончайший лирик Стеван Раичкович и босниец, сараевец Изет Сарайлич, с его лукавой улыбкой и доброй иронией, и мягкий, сложный именно видимостью простоты, задумчивый словенец Тоне Павчек.

Не знаю, следует ли писать о стихах, да я, во всяком случае, и не умею делать этого. Каждый человек читает стихи по-своему и каждый находит в них свое, необходимое лично ему. Или не находит, так тоже бывает. Вот и познакомьтесь, пожалуйста, со стихами двух современных поэтов Югославии. Они очень различны между собой, эти двое. Имя Васко Попа широко известно не только на его родине, но и во всем мире — стихи его публикуются во всех почти антологиях современной мировой поэзии. Его поэзия по форме вполне соответствует самым современным нормам западной поэзии — свободный стих, отсутствие не только размера и рифмы, но и знаков препинания. Все, о чем он ведет речь в своих стихах, по-моему интересно и значительно. Хочется, чтобы его стихи узнали и в нашей стране. Тоне Павчек гораздо более традиционен и поэтому доступнее и доходчивее. Это глубоко думающий и чувствующий поэт. Впрочем, я, кажется, начинаю отступаться от своего правила: не говорить о стихах. Остановлюсь. Судите сами.

О представленных поэтах см. также в статье В. Огнева «Пристрастные заметки», стр. 209.

ВАСКО ПОПА

■

С сербскохорватского

Безусловная цель

Мимо нашего дома два красноармейца
Несут на шинели убитого друга

Только что только что было их трое
Только что мать моя угощала
Этих троих пирогами с начинкой из яблок
И вршацким вином

Мой отец советовал третьему
Третьему — значит убитому
Пробраться по крышам
Чтоб с тыла зайти к тому пулемету

Убитый смеялся отца обнимая
Выбирая вместе с двумя другими
Наикратчайший путь

Провожаю взглядом красноармейцев
Они положили товарища на телегу
На которой написано узловато
На Берлин

Я защищаю

Взгляд моих глаз
Закопали бы в пыль
Розу улыбки сорвали бы с губ

Я берегу
Первую в сердце весну
Я берегу
Радости первые слезы

Со свободой моей
Меня б развели
Душу бы душу перекопали

Я защищаю
Самую малость неба в глазах
Я защищаю
Самую малость земли на ладони

ВАСКО ПОПА (род. в 1922 г.).

Югославский сербский поэт, автор поэтических сборников «Кора» («Кора», 1953), «Непочин-поле» (1956), «Второстепенное небо» («Споредно небо», 1968), «Прямая страна» («Усправна земља», 1972), «Дом посреди дороги» («Кућа насред друма», 1975) и др. В. Попа — лауреат многих литературных премий Югославии и других стран Европы. На русском языке его стихи печатались в периодических изданиях.

Публикуемые стихи взяты из сборников «Второстепенное небо» (1968), «Стихи» («Песме», 1971), «Живое мясо» («Живо месо», Београд, Вук Караџић, 1975).

Молодые бы яблони радости
Порубили
Соловья бы из песни
В плуг бы впрягли деревянный

Я не отдам
Это малое солнце в глазах
Я не отдам
Этот хлеба ломоть на ладони

Гвозди

Это такая игра:
Один из нас — гвоздь
Другой — клещи
Все прочие — мастера

Клещи хватают гвоздь за головку
Хватают зубами хватают руками
И тащат его тащат его что есть мочи
Стараясь выдрать из досок пола
Обычно ему отрывают одну лишь головку
Поди-ка попробуй вытащи гвоздь целиком

Но тогда говорят мастера:
Никуда не годятся такие клещи
Раздирают им челюсти ломают им руки
И выбрасывают их прочь

И тогда кто-то другой становится гвоздем
И кто-то другой — клещами
Все прочие — мастера

Пепел

Это такая игра:
Одни будут ночи другие — звезды

Каждая ночь зажигает свою звезду
И танцует вокруг нее черные танцы
Покуда звезда ее не погаснет

Тогда меж собой сговорятся ночи
Иные из них теперь будут звезды
А другие по-прежнему будут ночами

Снова каждая ночь зажигает свою звезду
И танцует вокруг нее черные танцы
Покуда звезда ее не погаснет

Игра эта будет длиться покуда
Не останется в мире одна лишь последняя ночь
Эта — будет сама и звездой и ночью
И сама зажжет себя и сама вкруг себя отпляшет
Последний черный танец

Надменная ошибка

Жила-была одна ничтожная ошибка
Такая крошечная и смешная
Что может быть ее никто б и не заметил

Она сама себя старалась не заметить
Ни видеть и ни слышать не хотела

Что только не придумает бывало
Чтоб доказать нам что на самом деле
Ее не существует

Для размещенья этих доказательств
Она придумала пространство
И время чтобы их оберегало
И мир чтобы он видел их воочию

И было все придуманное ею
Не так чтобы смешно
Не так чтоб мало
Но было разумеется ошибкой

Могло ли получиться по-другому

■ ■ ■

Прочь из моей бесконечности наглухо замурованной
Из хоровода звезд вкруг моего сердца
Из моего куска солнца

Прочь из забавного моря крови моей
Из моего прилива из моего отлива
Из моего молчанья на суше

Прочь повторяю я прочь

Прочь из живой моей глуби
Из обнаженного стержня отцовского рода во мне

Прочь до каких еще пор буду твердить я прочь
Прочь из моей головы готовой вот-вот расколоться
Прочь только прочь

Ничтожество

Ничтожеству во сне
Приснилось что оно есть нечто

И что-то вспыхнуло
И заметалось пламя
Слепою искореженное мукой

Ничтожество проснувшись грело спину
У пламени пылавшего во сне

Своею близорукою спиною
Оно не видело какие муки
И сколько их испытывало пламя

Ничтожество опять забылось сном
И видело во сне что есть оно ничто

Погасло пламя
Мука стала зрячей
Но и ее блаженством затопило

Калач из пепла

Храните ли вы еще жар
Что я вам оставил

Оставил ты черствый калач
Из остывшего пепла

Открыли ли знак моих врат
На поджаристой корке

Открыли мы знак твоих врат —
Два скрещенных кинжала

Лущите ли вы золотистый подсолнух
Сокрытый в его глубине

Пока мы ломали калач
Он сожрал наши руки

ТОНЕ ПАВЧЕК

■

Со словенского

Пробуждение вечности

Цветущие ветви подобны весенним знаменам,
Цветущие ветви как розовые кружева.
Как в улии мед ароматный, телам молодым и влюбленным
Приносят овальные, гибкие, ласковые слова.

А мир, он несется по необычайному кругу,
Он ярко сверкает, горят фонарями сердца,
Друг друга найдя, семена приникают друг к другу,
И праздник оплодотворенья не знает конца.

Земля ощущает зачатья покой и величье,
И лик ее светел, и полон достоинства взгляд.
Вселяется вечность в гнездовья и в праздники птичьи,
И песней своей даже время они победят.

ТОНЕ ПАВЧЕК — TONE PAVČEK (ро́д. в 1928 г.).

Югославский словенский поэт, автор книг стихов «Мечты продолжают жить» («Sanje živijo dalje», 1958), «Плененный океан» («Ujeti ocean», 1964), «Записи» («Zapisi», 1972), «Поиски мира» («Iskanje sveta», 1973).

Т. Павчек известен также своими переводами на словенский язык стихов В. Маяковского, С. Есенина, А. Блока, О. Мандельштама, Н. Заболоцкого, других советских поэтов. Стихотворения Т. Павчека в русских переводах печатались в периодических изданиях. Публикуемые стихи взяты из сборника «Языческие гимны» («Poganske hvalnice», Ljubljana, «Mladinska knjiga», 1976).

Простота

Ничего как есть не можешь знать,
Чем когда-то мучилась, болела
Эта тропка, это поле, эта пядь,
Что тут волновалось и кипело,
Торопясь, чтобы бессмертным стать.
Ничего не можешь знать о том,
Как все это замерло потом,
Ослабело, умерло, забылось.
Это было и прошло навек.
Женщиной рожденный человек,
И с тобою то же получилось.

Вот твое пространство, этот миг,
Чтоб обжить его и озарить,
Право, нужно времени немного.
Если эту мудрость ты постиг,
Успокоится твоя душа,
Просто, как рисунок малыша,
Как в поля ведущая дорога.

Детство

Как запахи сильны и неизменны.
Дом пахнет детством,
Счастьем и бедою,
И неустанно оползают стены,
Сочась воспоминаньями, и влагой,
И нуждою.

Младенчество!
Беззвучно тонут звуки,
Съедает сырость жалобы ребенка,
И горница, и ласковые руки,
И теплый хлеб, который вечерами
Приносит детям горькая поденка.

Как член семьи нужда к столу садится,
Протягивая ложку виновато.
Округлые слова,
Округлый смех ребенка,
А правда мира
Грубо-угловата.

И никогда в ней места не найдется
Для лунной ясности,
Для соловья и розы,
И человеку жить без них придется,
Глотая сырость
И вино и слезы.

И этого, однако, не осталось.
Лишь дом, где пахнет сыростью холодной,
Где изредка колеблет паутину
Мысль о руке,
Которой нет на свете,
Усталой, дорогой и благородной.

Убогое и милое наследство!
Какая нежность тянет к дням разбитым,
Меня сажая в ветхом доме детства
За стол пустой,
Повитый паутиной,
Чтобы остался я навеки сытым.

Желание

Вспашите меня, пахари, вспашите,
Как свой надел, в положенное время.
Посейте меня, сеятели, посейте
В свой чернозем, как сеете вы семя.
Пусть встану я кустом или травою,
Пусть дом ваш сохраню или украшу,
Между камнями встрой меня, строитель,
В простую невысокую ограду,
Что, выжженная беспощадным солнцем,
Мешает ветрам, полная отваги,
С посевов мира,
С пастбищ или пашен
Сносить куда-то почву или влагу.

Пусть буду я не пылью придорожной,
А семенем, растением иль камнем —
У них одно, свое на свете место,
Они хотят остаться непреложно
Частицей этой бедной горькой почвы,
С ней безраздельно слиться воедино,
Дышать с ней вместе и упасть однажды
От старости, усталости и жажды,
Как верная, хорошая скотина.

■

АЛИГЕР МАРГАРИТА ИОСИФОВНА.

Советский поэт, переводчик, публицист. Начала печататься в середине тридцатых годов. Первая книга стихов «Год рождения» вышла в 1938 г. Выпустила более двадцати книг. Последние издания: сборник стихов «Синий час» (1970), «Стихи и проза» (в 2-х томах, 1975), «Тропинка во ржи. Книга воспоминаний и статей» (1980). Переводила стихи Десанки Максимович, Елисаветы Багряны, Валерия Петрова, Арагона, Пабло Неруды, Эдны Сент-Винсент Миллей, Филиппа Ларкина и др.

ТАДЕУШ НОВАК

Побасенки

■

С польского

О самом Якубеке

— Вы спрашиваете, есть ли у неразумных тварей: у кошки, у собаки, у козы, у лошади — душа. А спросите-ка ксендза, епископа, придорожного святого, не сводящего деревянных глаз с нашего хлебопашеского света, с тайной жизни, что идет потихоньку в травах. Я-то думаю, что даже у сливы низкорослой, у вишенки, что плачет клейким соком, у яблоньки золотушной душа есть, как и у нас. А почему бы, скажите, ей не быть? По моему разумению, та душа древесная — точь-в-точь голубое веретено, что вертится и вертится в самой сердцевине сливы, вишенки, яблоньки. Это от него деревья листьями покрываются, цветут, плоды приносят. И оно же к осени напрядет деревьям столько сна, что его им на всю зиму хватает, а некоторым, тем, что потверже, поупрямее, и на раннюю весну.

Вы же знаете, что на деревне меня Якубек Душевидец зовут. Прозвище это вот откуда взялось: с давних пор люди из нашей деревни, а потом и из соседних, приводили ко мне своих сыновей — воришек, конокрадов, поножовщиков, тех, что со своей кровью горячей справиться не могли, и просили посмотреть им в глаза, узнать, не покинула ли их душа, ведь это она следит за тем, чтобы в теле все было ладно и в уме-разуме складно. Приводили они и своих дочерей, если в них до замужества кровь играла и они без мужика обойтись не могли и все бегали с гулянья на гулянье, со свадьбы на свадьбу, а те, что постыдливее, прижимались тайком к деревьям и целовали пересохшими губами их кору. Бывало, и молодые мужья приходили ко мне, таясь от всей деревни, и поверяли мне свою увечную, захиревшую, засохшую, как глина, душу, что не давала им породить на свет наследника, звездочку ясную и в доме и в жизни зажечь.

Как-то ночью пришел ко мне разбойник из разбойников, во всей округе известный, и нож свой принес, и деньги, награбленные у купцов-евреев, у богатых мужиков, у ксендзов да в окрестных усадьбах,

---

ТАДЕУШ НОВАК — TADEUSZ NOWAK (род. в 1930 г.).

Польский поэт и прозаик, лауреат Государственной премии ПНР и других литературных премий; автор нескольких книг стихов, повестей, романов. Советским читателям Тадеуш Новак знаком по роману «Черти» («ИЛ» № 3, 4, 1975), его стихи публиковались в «Иностранной литературе» (№ 7, 1969; № 4, 1977), в сборнике «Современная польская поэзия» (1971), в альманахе «Поэзия» (выпуск 13-й, 1974), а также в других периодических изданиях. Публикуемые рассказы взяты из книги «Побасенки» («Połbaśnie», Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976).

а деньги эти попрятаны были в разные мешочки. Высыпал он де нежки на стол, разровнял их лапищей своей и на ту гладь серебря ную, от которой глазам было больно, положил свой нож широчен ный, из обломка косы сделанный. И сказал мне разбойник:

— Якубек, спаси меня, смилуйся надо мной. Свечу зажги, и лам пу керосиновую, и фонарь, и поищи ты в моем теле здоровенном может, еще есть в нем та малость мышиная, то зернышко просяное та песчинка незаметная, душа моя человеческая. Без нее мне на све те хуже, чем собаке. Сирота я без нее неприкаянный. Ничего я про нее не знаю, не ведаю, оттого меня тоска в могилу сводит, по ночам сон гонит, куска хлеба проглотить не дает. Найди ее, не пожалей огня, пота не пожалей и глаз своих ясных, поищи, Якубек, осмотри волосок за волоском, все мое тело здоровенное. А как найдешь эту малость чудесную, эту блестку слюдяную, я твои ноги босые деньга ми осыплю, костюм тебе новый справлю, шляпу фетровую да кожух красный, а в придачу злейшему твоему врагу этот нож под ребра всажу.

— Зачем мне твое серебро,— говорю я разбойнику.— Ревматизм меня замучил, а от серебра холод идет. Даром поищу, только бы у тебя, разбойник, терпенья хватило.

И искал я в нем эту малость чудесную одну ночь, и другую, и третью. Керосину сжег неведомо сколько, фитиля пошло чуть не метр. Только через месяц нашел я ту диковинку, ту искорку слюдя ную. Но не в теле у разбойника, а на кончике его ножа, что лежал поверх денег, на столе насыпанных.

Душа его была тоньше волоска, тоньше паутинки осенней. Сни мал я ее особыми щипчиками, у часовщика в городе за разбойничьи деньги купленными, целый час снимал и еще час в ухо разбойнику ее вставлял, пока не вставил. А на другой день ясно стало, что я разбойничью душу нашел и разбойнику ее вернул: первый раз за мно гие-многие годы ластились к нему кошка и собака, и лошадь положи ла морду ему на плечо, а когда он от жандармов на чердаке прятал ся, воробей клюнул его в губы, не обтертые после каши.

Пришла ко мне как-то девица-красавица, ее уже год как замуж выдать собирались. Пришла, на лавку села, белую шелковую шаль с плеч сняла, ножницы портновские из корзинки вынула, колыбель ную вполголоса запела и начала резать шелк на пеленки, на чепчи ки, на чулочки для младенца, в ту ночь в реку брошенного. А когда колыбельную спела и ножницы отложила, то сказала мне:

— Дедушка Якуб, сукой я стала, жизнь свою человеческую за губила и, как мельничный жернов, в реку бросила. Яма во мне тем ная, такая яма, какой еще никогда на свете не было, ни в доме сож женном, ни в костеле, после убийства досками забитом, ни в небе, когда заря до золы выгорит.

Мурашки по мне пробежали, снегом во мне повеяло, мороз мне все нутро сковал. Ищу я ее душу, а найти не могу. Ни с громницей, ни со свечой, ни с лампой керосиновой, ни с фонарем. Искал я ее так каждую ночь, целый год происка л, а найти не смог, и тогда жа лость меня разобрала, и сделал я вид, что обрадовался, даже закри чал от радости: мол, вот она, нашел я ее — и отдал той девице-краса вице половину своей души.

А раз ко мне ночью пес пришел. Сам задвижку дверную открыл, глазами на пороге поблестел, а учуяв или угадав, что я в постели ле жу, вошел в дом и сел посреди горницы. Сел, хвост поджал и заску лил. Поднялся я через силу, керосиновую лампу зажег и пса со всех сторон осмотрел. А когда осмотрел, то подумал: не иначе как пес душу свою звериную загубил. Наклонился я над ним, погладил его по лобастой голове и сказал:

— Что с тобой, дружище, Христосик ты мой лохматый, ангел, на четырех лапах по свету скачущий? — Пес заскулил, завыл, и, как че-

ловек, мне на грудь бросился, и заплакал по-песьи, и голову мне под мышку сунул. Спрашиваю я его: — Ты что, зайчонка махонького загрыз, куропатку задушил, дикого козленка, еще мокрого, на куски разорвал? — Пес головой кивает да воет.— Естество твое песье о кролика споткнулось, о курицу на насесте, об ягненка в весенней траве? — Пес от плача задыхается, весь пол земляной слезами залил.— Дом от вора, от цыган не устерег, конюшню от конокрадов не убережет? — Пес в комочек сжался, задрожал и во весь голос заплакал. А как наплакался он вдоволь и наскулился под моими руками, вынул я его песью душу, размером поменьше блохи, и с хлебным мякишем дал ему проглотить. И повеселел пес, и забегал снова в ту ночь по дому, а потом — и по всему двору.

А еще пришла ко мне яблонька. Сразу после рождества приковыляла на одной ноге к моей двери и веткой постучала. Открываю я дверь, смотрю, а она, нагая, входит в мой дом, на лавку возле стола садится и яблоко последнее, сморщенное, насквозь промерзшее, на колени мне бросает.— Перевяслом меня в сочельник не подвязали,— говорит.— Срубить меня по весне хотят, выкорчевать. Душа у меня прошлой весной потерялась. Ушла перед тем, как мне зацвести, с ласочкой в поля убежала, с иволгой да кукушечкой в леса улетела. И не родила я яблок, круглых как луна, а один-единственный дичок хилый принесла.— И мне на грудь бросается и всеми ветками безлистыми за ноги меня обнимает, как девка дворовая своего господина. Глажу я ее, утешаю, успокаиваю и душу ее древесную ищу. А как нашел я душу в сморщенном яблоке, как отдал ее яблоньке, вышла она из моего дома с песнью голубой, и осталась у меня в саду, и каждый год стоит яблоками усыпанная, чтобы нас с вами радовать.

— Дедушка Якуб, а может, это вам казалось только, и людям на деревне, и зверью, и деревьям? Может, вы и не видали никогда души ни у людей, ни у зверей, а уж у деревьев и подавно?

— Может, мне и казалось. Но одно вам скажу, люди, зверье и деревья приходили ко мне чаще, чем в ксендзов дом. А если даже это все присказки, выдумки вечерние, мороки мои старческие, вы тоже ко мне время от времени заглядывайте. К тому, кто Якубеком Душевидцем прозван, заглядывать не помешает.

О мужицком счастье

— В детстве я слышал, что было давным-давно мужицкое счастье. Катилось счастье это, как тележное колесо, как каравай хлеба, катилось с пригорка на пригорок, катилось то по одной, то по другой долине. И останавливалось оно перед каждым, даже самым захудалым домом, и было оно разукрашено радужными свадебными ленточками, и ленты эти вплетены были в деревянные спицы, и нож в нем был, в самой середине хлеба, чтобы удобнее было разрезать и раздавать по куску голодным. Об этом счастье рассказывал церковный нищий, бывший богач, у которого богатство растаяло, как свеча, расползлось, словно вши, когда ему картечью ногу на войне оторвало, а жена молодая, еще до ласк охочая, выгнала его из дому милостыню просить.

С тех пор снилось мне по ночам, что еду я на этом колесе в страны неведомые, где на деревьях растут башмаки шевровые, костюмы нарядные, рубашки, целые круги колбасы да головы сахарные. Сидя на этом колесе, видел я дальше, чем в силах увидеть глаз человека. Догадывался я: живет в моем отце не только война, что на конях скачет, картечью стреляет, но и свадьба веселая, где столы от калачей ломятся; в дедушке моем есть не только плети господские под липой священной, но и табак трубочный, табак турецкий, хватает в нем и малаги, и рома, и казенного хлеба, и сала чуть толще лезвия ножа.

Но едва только солнце, этот шар горячий из колосьев да трав самых разных, этот шар, медом пропитанный, спускался в воду, соскакивал я со своего колеса счастливого. А оно, катясь в темноте, перепутало проселочные дороги, что глубоко в разъезженном песке протоптаны, коровьими копытами да курами разрыты, и вместо крестьянских халуп стало все чаще останавливаться возле помещичьих домов и дворцов. Не помогали ни молитвы, вынутые из костела, из часовенки кладбищенской, не помогали ни заклинания, что растут до сих пор в лесах, помнят времена языческие, не помогала ни ворожба, еще старше тех времен, ворожба старая, как всякий бог.

Счастья не было ни в нашей деревне, ни в соседней. Искали его и в колодцах, и в реках, и в прудах, и в озерах, как ищут летом утонувших детей. Но не было счастья на мелководье, а воды глубокие тем летом потеряли дно и дымились так, что у людей голова кружилась и они дурели. Пытались за этим счастьем на самые высокие деревья залезть, до неба добраться, куда мог его унести, не понимая, что забирает, архангел Гавриил. Люди поумнее говорили, будто счастье похоже на благовещение, поэтому никто не дивился ошибке архангела Гавриила. А злые люди твердили: счастье собаки загрызли, разорвали, съели до последнего кусочка, как кролика, убежавшего ночью из открытого сарая.

Так ли было или иначе, но с тех пор нигде это колесо не встречалось. И вот люди, что не могли дождаться, когда счастье к ним подкатится, все чаще женились, сходились ночами, прижимались друг к другу телом и душой. И от этих объятий рождались дети и похожие на них, тоже вечно голодные молитвы. Иногда от этих объятий рождалась смерть. И случалось это тогда, когда один из обнимавших забывал достать из-за пазухи нож, кастет, штык. Вывозили тогда покойника вместе со смертью за деревню, закапывали в землю и, обманывая счастье, пили водку, пели пьяные песни, извлекая из покойника то льняное, что душой зовут, а из живых — тот вой, что пением зовут.

Как-то на свадьбе встретил я умного мужика, такого молчуна, что рядом с ним бревно дубовое, из Дунайца выловленное, болтуном казалось. Уселся я с ним на выщербленном пороге корчмы с поллитровкой между колен, с рюмкой из толстого стекла и пил с ним до тех пор, пока он не выболтал свой ум природный и мудрость свою, за целую жизнь собранную. Мужик этот, который никогда не кумился ни с бабой, ни с помещиком, ни с ксендзом, ни с богом, ни с дьяволом, говорил: счастье мужицкое — козьи орешки, по пустоши рассыпанные. Если ты умный, возьми один, в рот положи, когда никто не видит, разгрызи, на языке подержи, пожуй. Проглатывать не надо — о счастье мужицком все и так узнаешь.

Молчун этот в словах копаться не любил. Так вот он уверял, что о счастье мужицком болтают только те, кто хочет деревню с толку сбить, мужика надуть. Вот и подбили они мужика против зверья, зверье против трав, травы против земли, землю против навоза. А следовало бы сидеть в лесу, у воды, сложа руки — и мед прямо из дупла пить, ростки жевать, корешки грызть, мелкие плоды стряхивать. Захотелось человеку узнать, каково на вкус тело его брата меньшого — зверя,— и колом он его искалечил, камнем забил. Захотелось мужику хлеба досыта наесться. Посеял он хлеб в землю, серпом жал, цепями из колосьев зернышки выбил, поломал их косточки на камне и наелся, наглотался тела травяного.

А как только наешься, наглотаешься, то вместо силы долгожданной смерть в тебе заведется. Сперва она будет не больше комара, что назойливо над ухом жужжит, мошки, что о лампу бьется. Мерцает у тебя что-то в затылке, темнеет в глазах, булькает в животе. Но ты не обращаешь на это внимания. И только когда тело твое постареет, съежится, сморщится и обвиснет, как у старого пса, вспомнишь ты

брата своего меньшого, на свадьбе съеденного, припомнишь и тело хлебов, что ты смолол, в печи испек и проглотил.

После женитьбы встречал я людей степенных, разумных, о счастье мужицком толковавших. Некоторые из них даже иногда видели это счастье босоногое на весенних полях, очищенных первой грозой и молниями от заблуждений, от хворей хлебов и людей. Стояло оно, как та сирота-сиротинушка, о которой нищие поют, с ноги на ногу переступало, ножку красную, как у аиста, под себя поджимало, всхлипывало, болезное, но никто возле него не остановился, по голове не погладил, домой не забрал, парным молоком не напоил.

Когда я на Янтоске женился и дети у нас посыпались, стал я тоже счастье искать. В поисках его сколько полей и лугов исходил, сколько лесов обшарил. Но убегало оно от меня. Мне казалось, что вот-вот я схвачу его за крыло, за хвост, за лапу, за загривок, за красный прутик, за раскидистую ветку, за руку, тонкую, как у апостола. Но счастье ухитрялось мне глаза отвести и юркнуть в мышиную норку, в ранку на ладони, в дырку от гвоздя. И нельзя было его оттуда вытянуть ни тоненьким шилом, ни проволочкой, раскаленной докрасна, какой достают перепуганную душу у девушки, богатому вдовцу проданной.

Как-то в воскресенье влетел я в дом, хлопнув дверью изо всех сил, и, забыв все на свете, даже слова молитв, закричал громко, что оно у меня в руках, что поймал я его. В это воскресенье на липах у дороги я нашел несколько пчелиных роев. Все ветки они облепили, гудели, как басы, и собрал я их голыми руками, даже не окуривал. В дерюжные мешки их собрал, посадил в ульи, приручил и к меду большому стал готовиться. Но пришла зима лютая, переморозила пчел, погубила их всех до единой. И капельки меду я не попробовал, ни одной свечки не сделал из пчелиного воска.

Вот я и бросил искать. Как мой дед, как мой прадед, пахал я землю, матушку нашу, засевал ее, хлеб косил. А когда меня тоска разбирала в долгие осенние ночи да зимой белой, рассказывал я сам себе сказки о счастье: катится, мол, оно, как колесо украшенное, катится по нашей деревне, возле каждого дома останавливается, чтобы всех хлебом одарить. Потом эти сказки, миртом убранные, рассказывал я своим подросшим детям, а иногда и всей деревне, когда она собиралась в моем доме драть перо да судачить.

О собачьих проделках

— Разные бывают люди, разные бывают собаки. Такое их собачье право, такова их собачья природа. Одни собаки в школе учились, знают штучки разные, а другие — всему у жизни научились. Но все они — наши друзья. И работать веселее, когда они гоняются по вспаханной стерне за легкой на ветру вороной, за зайцем-русаком, что как камень из рогатки выскакивает из-под куска дерна, пласта земли, гоняются за тенью тополя, что раскачивается без устали.

И отдыхать с собаками веселее. Наработавшись за целый день, сядешь на пороге дома, а они ложатся у твоих босых ног или кладут свои головы тебе на колени. И видно, как в их глаза, зеленые, почти золотые или придымленные старостью, медленно входит сон. И сам ты начинаешь клевать носом. В этой дреме, не то песьей, не то человечьей, дворняге с подпалинами кажется, что она королевская легавая и охотится в осенних лесах, а на твоих натруженных ладонях вырастает золотое яблоко — королевская держава.

Но и другие собаки бывают. Правда, встречаются они редко, как философский камень, как березы, из которых, если их размять, течет не сок, а козье молоко, как колодцы, где видны не только днев-

ные звезды, но и наши родные в Америке среди железного лязга и грохота. Чаще всего о таких собаках говорится на престольных праздниках после нескольких рюмочек, когда удалось продать порченую лошадь, о таких собаках постоянно вспоминают в осенние и зимние вечера, темные от ветра, белые от снега, голубые от мороза, когда в горнице возле натопленной печи собирается вся семья и соседи. И тянутся такие рассказы бесконечно, как мед, когда его берешь пальцем прямо из сотов, как свадебное тесто с изюмом. Только одну пчелиную ячейку вылижешь, тут же под палец вторая, десятая попадается. Через час забываешь, что ты по локоть в меду, и кажется — так сладко будет тебе всю жизнь и даже часть вечности.

Из этих рассказов о необыкновенных собаках, похожих на разумные создания, о собаках, которые только разве не говорили, я помню еще кое-что. Закрою глаза — и чудится мне, что рассказывает их мой прадед Кацпер. Сидит он на сосновой скамеечке, опершись спиной о хлебную печь, и подгоняет слово к слову, плетет себе и плетет:

— Давным-давно в соседнем приходе, что был тогда весь в лесах да торфяных болотах по шею, не умели мужички ни писать, ни читать. Даже печатные буквы, заметные, как волы на помещичьем поле, не складывались у них ни в молитвы, ни в литании, ни в похвалу богородице, а уж в царский указ и подавно. Плохо им было, хуже, чем хромому, немому и слепому. С каждым прошением, с письмом от родных, даже приглашением на пасхальную исповедь должны они были бежать к нам в приход. О них говорили, что свои прошения они ногами пишут. Большой путь пройдут, пока одну строчку придумают и войту или огранисту продиктуют. Говорили, что письма от родных из далеких стран они читают за колбасы да яйца куриные, которые приходскому ксендзу, викариям и монашенкам носят.

И вот однажды к их войту — а он, как и вся деревня, писать не умел — пришел пес. Сам себе дверь лапой открыл, лапу в святую воду обмакнул, перекрестился и голосом человечьим сказал: «Слава господу Иисусу», а потом подошел к лавке у стены, уселся на нее, как самый богатый мужик, что хвастается своим полем и достатком. Войт, хоть и разные разности в жизни видел, тут испугался маленько, но все же страх пересилил, в руки себя взял и сказал:

— А вы, пан пес, откуда?

— Да с поля, войт.

— У вас, пан пес, дело ко мне какое есть?

— Работу ищу, уважаемый войт.

— А можно спросить, что вы делать-то умеете?

— Я читать умею и писать тоже умею.

— Раз так, может, вы у нас гминным секретарем, писарем будете?

— Ну что ж, могу и секретарем.

И что вы на это скажете? С тех пор перестали к нам ходить люди из соседнего прихода с колбасой, с корзинами яиц, с кошелками белых грибов. Пес все им читал и писал за миску картошки с молоком, за любую кость, за вареник, на землю упавший. Он даже такую бумагу составил, что им за казенные деньги мостик через речку построили, болота осушили, прекратили тяжбу долгую с помещиком из-за общинной пустоши.

А за Вислой,— продолжал прадед,— в той деревне, которую не так давно огонь погубил, жил пес еще умнее. Он не только читать и писать умел, но и стихи сочинял, словно знатный господин, что по белу свету ездил да в разных школах учился. А сочинял он их на рассвете, когда сады и поля еще в росе, а птица на крыше только просыпается. Взбирался пес на конуру, поглядывал в сад да в поля за садом, словно за ними стояла огромная, прямо до небес книга и пес прямо по ней все читал и вслух повторял. Начинал он всегда с рифм.

Гавкал себе потихоньку, отрывисто, и как гавкнет, так тут же рифма гладкая, как камешек, по траве катится. А потом левой лапой такт долго выбивал, словно сказ сочинял, и строчка за строчкой стихи складывал.

Узнали об этом большие поэты и малые. Стали приезжать к нему и в праздники, и в будни. Колбасу ему привозили да косточки мозговые, сметану ведрами по всей деревне для пса скупали. А пес, сытый, лоснящийся, сидел на конуре да рифмы подбирал. И были это рифмы такие, что даже большим поэтам не снились, и не слышали их ни во дворце, ни в поле, ни в костеле. До сих пор на той стороне Вислы поют люди те песни, что пес сочинил. Я помню, один никудышный поэт, который с трудом мог зарифмовать самые простые слова: слезы — грезы, ночь — дочь, коза — гроза, привел к этому псу свою сучку. Но пес и не взглянул на нее. Правда, за сто гульденов тут же нагавкал бедняге целую корзину рифм.

А в одной деревне,— продолжал старый Кацпер,— жил-поживал пес, он еще щенком сам себе пьески сочинял и сам их разыгрывал. Люди из той деревни до сих пор рассказывают, что никогда и нигде не видели, чтобы кто-нибудь лучше этого пса сыграл царя, палача, разбойника, дурачка, ксендза, старосту, простого парня. Когда псу надоедало играть мужские роли, он писал для себя «бабьи» пьески и играл в них королевну, придворную даму, богомолку, что судачит с утра до ночи, колдунью, что выходит по ночам из осины и улетает на метле, на кочерге, в ступе в осенние небеса. Ясное дело, на эти пьески, которые ставились раз в неделю, съезжались крестьяне со всей округи. Даже известные актеры приезжали, чтобы поглядеть песьи штучки да ужимки.

Но в нашей деревне никогда не было такой собаки. Одни дворняжки. На конуре стоит такая, хвостом виляет, чтобы дали ей миску картошки, или спит, положив голову на лапы, и во сне поскуливает, словно к ней мелкими шажками приближается плетень из колбасы, колокольня из говяжьих костей или река мясной похлебки. И понятно, что люди, разозлившись, забегавшись, не зная, за что взяться, ударят такую дворнягу в брюхо, палку о ее спину сломают, помоями окатят. А когда им такая дворняга надоест или она кролика, курицу придушит, сорвет с жерди в чулане круг колбасы, выводят ее за ригу и лопатой по голове, а потом под яблоней закапывают, как навоз. И не удивляются, выйдя ночью в сад по нужде, что яблоньки скулят, даже воют. Люди знают: весной надо будет срубить эти яблоньки и посадить новые.

Тетрадь по арифметике

— Скажу я вам,— признавался дедушка Якуб,— не знают люди меры, нет у них той основательности, аккуратности, на которую опереться можно было бы, как на палку дубовую, когда силы из человека уходят. Не стану говорить, будто сам знал, что такое мера, что такое аккуратность. Правда, когда я повзрослел, когда в голове у меня перестала весна зеленеть, листвой шелестеть, решил я сам для себя, что буду вести жизнь степенную, лишнего себе не позволю и никаких прихотей тоже. Но... хвалилась синица море зажечь. Да, решить-то я решил, поклялся, как на исповеди. А как было не поклясться, если нас в доме было двенадцать ртов, а у тетки моей — двадцать.

Едва-едва успевал снег с полей стаять, едва-едва начинал глыбами съезжать с крыши, поросшей мхом, а тетка поднимала до бревенчатого потолка, подносила к святым образам новорожденного. Подносила, пела, и оглянуться, бывало, не успеешь, а она уже с кровати

соскакивала и со своим муженьком в весенние луга, в хлебные поля убегала. И такое эти хлебные поля делали, что ранней весной тетка снова на кровать ложилась, а потом к бревенчатому потолку, к святым образам орущего во всю глотку младенца поднимала. И каждый год, ну как есть каждый год, весело поднимала младенцев, двадцать подняла. Ни меньше ни больше, хотя муженек ее хотел, чтобы обязательно было «очко».

И скажу я вам, когда эта мелюзга, светловолосая, как спелая рожь, облепляла сосновый стол, на котором стояли четыре миски картошки и четыре миски похлебки со шкварками, казалось, будто их не тетка на свет произвела, а снопы жаркие да поля плодородные. Когда кто-нибудь из этих двадцати терялся в пшенице, золотящейся за ригой, два дня проходило, пока тетка со своим муженьком, на пальцах пересчитав, ребенка не хватятся, а найти его мог только пес, к этому приученный.

И вот я, видя, как не знали меры ни тетка, ни мои родители, решил, что у меня будет только пятеро. Больше мне было не прокормить. Из богатых-то я свой род не веду, да и моя Янтоска тоже не из зажиточных. С карандашом в руке в тетради по арифметике сразу же после свадьбы подсчитал я, что больше пятерых нам не прокормить. Подсчитал я, показал тетрадь Янтоске и наказал ей, чтобы она остерегалась, чтобы меня к себе не подпускала, когда мы эти цифры, в тетради записанные, переступим. И придерживались мы этой тетради, этих цифр, в ней записанных, словно какой книги священной, будто слова евангельского. Придерживались и раз в год или раз в два года проверяли, все ли сходится. Сходилось все до точки. А как же могло не сходиться? Надел-то был невелик и ртов мало, вот и счет был небольшой, ошибиться трудно.

И все у нас четко сошлось: через семь лет подрастали у нас два сына и три дочки. А как стали они у нас подрастать, так и сказал я Янтоске:

— Янтось, повесь тетрадь над кроватью и спи под ней, как под святым образом, как под заповедью божьей, а я от тебя ухожу. В риге на сеновале гнездо себе совью, кожухом застелю и как-нибудь устроюсь. И чтобы ты туда ко мне утром не приходила и щекоткой меня из сна не вырывала. А если я сам не встану, если с дремотой справиться не смогу, то приходи ко мне с ведром воды. И не жалей меня, плесни на меня целое ведро воды, чтобы дрему из меня выбить, и мечты, и тягу всякую к теплу бабьему.

Как я сказал, так и было. И года два, когда моя Янтоска на ярмарку выезжала, на престольные праздники в соседние приходы ходила, снимал я тетрадь, что над кроватью на гвоздике висела, и проверял, нет ли в ней случайно какой-нибудь ошибки. Но хоть я по сто раз каждую цифру проверял, подсчитывал, все было в полнейшем порядке. Тогда я стал подумывать, не приняться ли за какую-нибудь торговлю, чтобы лишний грош в дом принести, а может, у вдовы кусок земли в аренду взять. Но на беду в те годы ничего нельзя было продать: ни шнурка кожаного, ни шкурки кроличьей, ни дырки от бублика, а все вдовы в округе уже давно сдали свои поля в аренду.

Что поделаешь, пришлось оставить в покое тетрадь на гвоздике. цифры в ней записанные, болтовню мужицкую у лавочки и у костела. Смирившись с собой, со своими мужицкими прихотями, спал я в своей соломенной норе, застеленной овчинным кожухом. Только вот все чаще и чаще просыпал я пение петуха и зарю, и Янтоска раз за разом выгоняла меня из сенного тепла ведром воды. Выскакивал я из сенной норы, отряхивался от воды, как кот, и бежал к колодцу, где, раздевшись до пояса, мылся в деревянной колоде, из которой скотину поили.

Мылся и слышал, как моя Янтоска хлопочет по дому, напевает утренние молитвы, готовит завтрак, будит наших малышей, моет их.

причесывает роговым гребешком, ищет у них в голове. А когда обрывались молитвы, слышал я, как поет она нашу песенку, полную миртовой зелени, ту, что мы напевали вместе с ней, сидя у реки, прижавшись друг к другу, мечтая, как мы поженимся, как переберемся в свой дом. Насквозь пронзала меня эта песня, словно кто-то шилом меня колол в самое сердце, словно каким-то чудом муравьи в меня забрались и в моей утробе муравейник устроили. И говорил я про себя, растираясь до крови грубым полотенцем:

«Янтоска, Янтось, не пой так, не пой. Смилуйся надо мной, над кровью моей мужицкой, что так к тебе рвется, не может усидеть в моем теле спокойно, проспать одну ночь, пролежать часок. Прилип я к тебе, ведьма, как к весеннему листочку вербы. И зачем ты, колдунья, поешь именно эту песенку? Что, нет на свете других, не родятся они из озорных шуток, из всяких насмешек в поле, на гулянье, на празднике? А может, ты в счете сильнее меня, может, пересчитывая, ошибку мою нашла и теперь, не говоря мне об этом, песенку нашу поешь?».

Ах, где там, никакой ошибки нет. В тетради все в полном порядке. Ну, песенка как песенка, женщина ее запомнила, песенка увязла в ее мягком, как мед, уме, вертится на языке, что любит плести всякую чушь, а еще больше — петь. И снова, как раньше, спал я в сенной норе, понемногу забывая и о тетради и об ошибке, и даже не слышал песенки, что напевала по утрам Янтоска.

И вот однажды в воскресенье, когда я крепко-крепко спал, услышал я сквозь сон, что кто-то крадется ко мне, что кто-то тихонько напевает свадебную песенку. Подумал я во сне и сквозь сон: «Пой себе на здоровье, пой, всем телом пой, всей тоской бабьей безмерной, желанием давным-давно ниспосланным, я же хорошо знаю, что ты только снишься мне, что это мой сон поет и ты в этом сне». Но чувствую, что это не сон, что глаза у меня открыты и я вижу дыры в соломе и зарю сквозь них. Поднимаюсь я на локтях, смотрю — по сену босиком в одной сорочке идет моя Янтоска, идет, руки держит на груди и тихо напевает. Помню, я только подумал: а где же ведро с водой? — а она была уже около меня.

Боже ты мой, доля моя мужицкая, разум ты мой. Забыли мы в то воскресное утро о тетради с подсчетами, о ведре с водой. А через год еще раз забыли о цифрах в тетради, и двое сыновей у нас родились, кроме тех, в тетради записанных, родились, хотя цифры ясно говорили, что хлеба не хватит, что крупы мало, что новину будем встречать лебедой и крапивой. И встречали. Не один раз. Но и сыновей встречали, и росли они на крапиве да лебеде. Пока не выросли. И теперь мне табак из города привозят, и шляпу вот новую купили, и валенки тепленькие, как овечье брюхо.

— А с тетрадью, дедушка, что стало?

— Я отдал ее самому младшему. Ему она будет нужна. Заработок у него невелик, а детей уже трое. Пусть учится, пусть считает, пусть меру свою знает.

О реке

— Кто не родился у реки, у воды,— сказывал дедушка Якуб,— тот не знает, что такое колыбель, что такое зеркало, не знает он, что такое жизнь. Ведь река, ширь водная — вторая колыбель человека, возле нее и спится лучше, и еда будничная да праздничная вкуснее, и танцуется легче, и раньше свадьбу да крестины справляют. Река, ширь водная — это и зеркало, в него исстари и человек и все, что живет возле человека и для человека, смотрится с удовольствием. Поэтому люди, живущие у реки, возле воды, одеваются лучше, чем те, кто живет в лесу, на бес-

крайней равнине, в степи. Заботятся они о своей внешности. Чаще за бритву берутся, за машинку для стрижки, старательнее заплетают косы и расчесывают волосы роговым гребешком. Видел я это не раз, когда в солдатах служил, на войне был, когда по свету ходил. Встречал я людей богатых, у которых в доме было много зеркал в серебряных да золоченых рамах, но не заботились они так об одежде, о своем виде, как те, кто родился возле воды, кто, кроме нее, другого зеркала никогда не знавал.

И не скажешь, что люди, которые родились в лесу, в широкой степи, на безводной равнине, знают так хорошо жизнь, как люди, что родились у реки, возле воды. Будто бы и знают о ней много, почти то же самое, что и люди у воды, у реки живущие, а жизнь у них, как еда, добрая, вкусная, но немножко недосоленная, без перца, без листа лаврового, без чеснока или без самой обыкновенной петрушки. Едва начнешь с ними разговаривать, едва рюмочкой чокнешься, а они тут же о себе, о своей семье, хозяйстве все выложат. Никакой тайны, забавной истории, смешливой прибаутки не приберегут к концу разговора, чтобы его приправить, украсить, увлечь тебя, чтобы тебе казалось, что ты сделал хорошо, слушая их до конца, не вздремнул, не загляделся на ползущего по стебельку муравья, не забылся в своих думах сердечных и не прозевал того самого важного узелка, которым их рассказ был связан.

Совсем другое дело, когда слушаешь людей, что родились у реки, возле воды. Ведут они свой рассказ степенно, раздумчиво, неторопливо. И рассказ у них выходит складный, дышит он, как живое создание, словно сам по себе размышляет, сам своею жизнью управляет и вообще сам себе голова. Не слышал я, чтобы они о своей жизни небылицы рассказывали, нарочно что-то придумывали, пытались округлить свой рассказ до яблочка, до мотка шерсти, из которого тянется тысяча нитей. Одна нить у их рассказа, одна-единственная, сплетенная из тысяч тонких, как паутинка, ниточек, из весенних травинок, из птичьих перьев, потерянных на лету.

Послушайте хотя бы Владека Мигдалу, который всю свою жизнь провел у реки, который, вы знаете, на реке и родился. Его мать, когда мужика дома не было, перевозила на другой берег Янкеля с теленком. Янкель из лодки вытащил теленка за веревку, она веслом оттолкнулась от песчаного берега под высоким ракитником, и тут начались у нее боли, и первенец стал рваться на солнышко, на свет божий. Но она не крикнула Янкеля, не позвала старого Павла, что ловил у излучины рыбу. Без бабьего крика, без стона легла она в лодке, зубами вцепилась в весло, чтобы не скулить, не выть от боли, а руками ухватилась за просмоленные борта и ждала, когда малыш запищит. Так доплыла она до устья Дунайца, где освобождаются воды реки, там и она разрешилась.

Зубами пуповину перегрызла, искупала ребенка в июльской воде, завернула его в передник, умыла свое заплаканное и бледное как полотно лицо, взяла в руки весло и через час шла с ребенком медленно по деревне. Едва мальчонка научился ходить, отличать плетень от кота, а камень от воробья, как уже босиком стал каждый день бегать к реке. Прибегал, речной галькой играл и учился у реки спокойствию, молчаливости, смекалке всяческой, человеку присущей.

Когда Владеку было семь лет, знал он уже: нельзя попусту языком молоть. Сидел молча у реки, удочку ракитовую в нее закидывал, слушал, как река, праматерь наша, говорит за него, по камешку, по перышку, по листку душу свою изливает, рассказывает о жизни своей, испокон веков разлитой по равнине, обо всем, что видела неделю, день, несколько часов назад, плывя между ракитовыми берегами, где стояли люди, пасся скот, спали деревни, рождались дети, которым перерезали, перегрызали пуповины, и рождались песни свадебные, небылицы, длинные, как зимние вечера.

Когда Владеку было пятнадцать лет, знал он уже: у реки нельзя болтать что на ум придет, а надо сидеть молча и прислушиваться к этой старушке, что баюкала тысячи детей в песчаной люльке, качала их на коленях. Знал: надо терпеливо ждать, когда она сама, по доброй воле, без розги, без угрозы, откроет свои тайны и, как на вытянутой ладони, вдруг протянет тебе свой подарок. Так Владек дождался своей первой щуки, здоровенной, словно бревно, позеленевшее от дождя. Сидел он у реки терпеливо еще три года, и она угостила его первым лососем, большим, как поросенок. С тех пор не было дня, чтобы она не подбрасывала ему то усача, то леща, то налима, то линя, то угря.

А когда он женился и не было у него денег даже на коровью шкуру, весной подбросила река ему выдру, примерзшую ко льду. За шкурку выдры он не только купил корову-голландку, хватило ему деньжат и попотчевать крестных родителей и гостей, собравшихся на крестины. Река показала ему, где живут ондатры и хорьки и где охотится белоснежный горностай. Показала ему кабанов, что приходили из леса поесть до отвала кукурузы и позабавиться: становясь цепочкой и держась зубами за хвосты, разгонялись и прыгали с песчаного пригорка в воду. Показала раз река и такое: в одну июньскую ночь, когда лососи шли на нерест по всему руслу реки, прямо возле него появился олень. Между огромными рогами нес он два одинаковых по размеру портрета. На одном из них был Якуб Бойко, земляк наш, а на другом — Витос. После такого явления и стали этих двух людей называть отцами крестьянского движения. И носили их на руках, и рассказывали о них в весенние вечера бесконечные сказки.

А когда готовилась война, он, Владек Мигдала, увидел ее задолго до начала. Однажды в воскресенье после обеда, когда он часа три простоял с сачком, не поймав даже малой рыбешки, вдруг со дна реки пошел дым и вместе с ним появились, словно накрученные, намотанные на огромное веретено картины: скачущая конница, целые полки пехоты, идущие в штыковой бой, самолеты, бомбившие маленькую колыбель с ребенком посредине огромных полей. Тут же он увидел себя: идет он босиком, только в обмотках и в куртке солдатской, с которой пуговицы с орлом срезаны.

И так было до самой смерти Владека. Даже смерть ему река позволила увидеть заранее. Вы, небось, помните, как незадолго до кончины Владек приказал вынести его на кровати к реке. Еще несколько раз забросил он с кровати сачок в воду, а когда вечером удалось ему наконец поймать первую звезду, что пробивалась на небе, сказал он своим детям, которые плакать собирались:

— Река — колыбель, зеркало и жизнь самая настоящая. Пусть же река вас баюкает. Смотритесь в нее молча, не плачьте, ведь река ни плача, ни болтовни не выносит.

О травах

— Скажу я вам, милые,— продолжал дедушка Якуб,— разные разности есть на свете, и не все человеку ведомо. Я-то сам всегда травам дивился. Вроде и много их, ведь лезут они отовсюду, засевают сами себя в сырую землю, но не все люди каждую травинку знают и ценят. Чуть не молятся житу, пшенице, ячменю и просу, а вот травы, скошенные на сено, для них уже второй сорт. Словно одни старинного шляхетского рода, а другие — крестьянского. Тем, шляхетским, приносят дары, даже ходят вокруг них крестным ходом, и ладан им курят, и песни поют, а к луговым подходят не раздумывая, с хорошо отбитой косой и скашивают их под корень, а то и с корнями выдирают.

И уж совсем не помнят о травах, что растут на пустоши, на межах, в придорожных канавах, в садах и на вытоптанных дворах. Не знают даже, откуда идет род этих трав, кто их предки по мужской и женской линии. В голову людям не приходит, что этот бедный народец берет начало от боевого степного племени, которое не так давно с нашими праотцами кровопролитные битвы вело за каждую пядь поля, за каждый житный колос.

Травы, травы, великий травяной народ. Он тише воды, весеннего неба, ребенка, спящего в колыбели. И есть в травах такая сила, что, входя в них, мы успокаиваемся. После самой большой утраты от горя начинаем плакать, и наше сердце, еще минуту назад тяжелое, как камень, перестает болеть. В травы удирают от парящего ястреба едва подросшие зайчата, куропатки, перепелки, что сеют над полями свои утренние песни. В травы убегают наши дурачки деревенские, собаки, смертным боем битые, лошади заезженные срываются с привязи и мчатся в травы. Среди трав лежат коровы, у которых вымя так набухло от молока, что кажется, будто Млечный Путь на небе выплывает из-под их раздутых боков. В травах чаще всего узнают девушки и парни, которым еще недавно нужны были только рогатка да голуби в небе, вкус любви, вкус человеческой жизни.

Всегда, вы это знаете, любил я травы. Бывало, в воскресенье, весной или летом, прежде чем войти в костел, шел я в колосящееся жито, пшеницу. Я мог стоять там часами, протянув вперед руки. И казалось мне, что по моему приказу в зеленых колосьях завязывается молочное зерно, твердеет, а потом превращается в буханки хлеба — и их достают из раскаленной добела печи. Я видел, как ценят и любят травы разные птицы, а особенно жаворонки. Круто взлетают над травами и звонкой песней стараются помочь им побыстрее созреть.

Когда-то давно видел я, как на июльский луг прибежал пес с перебитой лапой. Катался он по лугу, скулил, и выл, и лизал искалеченную камнем лапу. А когда ему показалось, что вылизал из лапы уже всю боль, стал он собирать на лугу листочек за листочком, один стебелек за другим и есть их. И снова выл и катался по высоким травам до тех пор, пока мокрый от смертного пота, с гноящимися от боли глазами, с пеной на морде не заснул, свернувшись в клубочек. Я приходил туда каждый день. Через неделю пес перестал выть и наступал уже на перебитую лапу. А через две недели принюхивался к идущему по траве запаху птиц в гнездах, спящих зайцев, к духу открытого в соседней деревне коровника, к смраду конских костей, торчащих из черной земли. Потом пес катался по лугу, кувыркался, лаял радостно и чуть ли не на каждом шагу, высоко поднимая сросшуюся лапу, поливал тенистые заросли.

Видел я еще, как на тот же луг приходила в мае девушка из соседней деревни. Оглядывалась и, если вокруг никого не было, раздевалась догола. Зари перепуганной белее, каталась она по залитой росой траве, рвала ее обеими руками, бросала ее за спину, грызла ее молодыми зубами, как тот пес с перебитой лапой, и смеялась и пела сложенные наспех колыбельные. Слышал я — тихонечко зовет она кого-то по имени; видел я — обнимает она белыми руками какого-то парня, ласкает его, прижимается вся к его смуглому телу.

И так три дня. Вы мне не поверите, но тот парень смуглый пришел к ней на луг. И любили они друг друга, голые, как их бог создал, а такое в ту пору никому и не снилось. И бог их не проклял, и небо на них не упало, и земля под ними не разверзлась, и не провалились они сквозь землю, и земля их не поглотила, травой не закрыла. А потом я видел, как они ехали венчаться на бричке, взятой у меня взаймы. А через год я видел их сыночка, он спал в саду, а сад клонился от июльского ветра. Теперь вы все ходите к их сыну и исповедуетесь ему в своей ненависти к женщине, к святому телу женскому, к траве, что вас приняла, приголубила, спрятала от дурного глаза, а

вы не сумели ее уважить, спеть, помолиться, чтобы росла трава тише вашего дыхания.

А во время той войны, когда я в плен попал, видел я, как пленные, и я вместе с ними, выходили из лагеря в степь, и, когда роса выпадала, ложились на траву, и катались по ней, и плакали, как малые дети, у которых вдруг отняли деревянную лошадку, а они только что скакали на ней в атаку на дракона, на облака, красным быком несущиеся по небу. Сперва меня это удивляло, ведь в плену я был только несколько дней, и плакать мне еще не хотелось. Меня радовал кусок сала толщиной в ладонь, пеклеванный хлеб, и не понимал я, что можно плакать не только от ран или от голода. А они, сытые, без единой царапинки, плакали. И слез своих стыдились и поэтому уходили в степь, залитую росой. А возвращаясь после плача великого в степи, говорили: ничего, все дело в мокрой траве.

На той войне, где мы бились несколько месяцев на Пьяве и нельзя было вынести с поля боя убитых, наших и итальянцев, закопать разорванных шрапнелью коней, видел я, как трава прорастает через трупы. Пробивается сквозь ребра, сквозь глазницы, сквозь кости черепов, сквозь жилы рук и ног. Через несколько дней зазеленели чернеющие холмики, закачались на ветру травяные курганы. Садились на них вороны и пытались клевать траву, которая еще пахла трупами.

Тогда же я видел, как трава вырастает на сожженных склонах гор, на лугах, разрытых шрапнелью до желтого песка, как сшивает кусок за куском сгоревшие пласты, раны, гниющие, зияющие белыми камнями, седым илом. И горы снова становились круглыми, луга разноцветными, словно императору под ноги расстелили яркий ковер.

Но чаще всего я видел, как вы входите в травы. По-разному в них входите. Некоторые — как разыгравшиеся жеребята, как бешеные собаки, как кабаны голодные. Но большинство из вас входит в травы степенно, как пристало человеку. Я любил и люблю смотреть, как ложитесь вы в травы, как закрываете лицо шляпой, а травы колышутся над вами, и скоро уже не видно ни шляпы, ни подтянутых к подбородку колен, ни руки, подложенной под голову и согнутой в локте. Только волнующаяся на ветру трава. Она похожа на зеленые знамена пророка, их несли когда-то басурманские войска, с которыми наши сражались в степи и побеждали. Но я не хотел бы увидеть, как эти зеленые знамена будут лежать у наших ног, а мы, победители, растопчем их своими подкованными башмаками. Племена трав, различные народы трав всегда обходились без знамен. И пусть так будет во веки веков.

Перевод Г. ГУДИМОВОЙ

О бабах

— Если у мужика ум есть,— говорил дедушка Якуб,— то и бабу его за дуру не примут. Ведь два ума — как два надела: после женитьбы одним становятся. И этот ваш надел обоих вас кормит, а под старость, когда работать на нем уже невмоготу, дети в наследство его получают. А раз уж у тебя, брат, есть хоть какой-никакой ум и в голове у тебя не свищет ветер, как на колокольне, а ты сам не похож ни на зверя дикого, ни на реку, слепую перед паводком, ни на пожар нежданный, то уважай в бабе своей, что с тобою долю и недолю делит, в матери детей твоих, которых вы в радости и страсти сердечной породили, уважай в ней, говорю, человека. Ведь женщина — такое же, как и ты, существо, и всем ее бог

наделил, и волей свободной тоже, а раз волей, то и душой непокорной, человеческой.

Не стану врать, чтоб язык у меня не отсох, будто я свою Янтоску с самого начала жалел, будто с первых же дней, как женился, только согласья с ней и искал. Случалось, и частенько, что видел я в ней не человека, а сосуд дьявольский. И тогда, перебравшись с периной в ригу на сеновал, думал, что в руке она держит не поварешку, не подойник, не мотыгу, не деревянную лопату с огромным караваем, вынутым из печи, а то сатанинское яблоко, подсунутое в раю праматери нашей Еве.

И такая злоба лютая на меня находила, что выбегал я, побелев, в сад неповинный, вырывал на огороде кол и бил им по яблоням до тех пор, пока, бывало, не собью последнего яблока и не растопчу его сапожищами. Но в свою защиту скажу, что ни разу, когда накатывало на меня такое, не ударил я Янтоску кулаком, не швырнул в нее ни кружкой, ни другой какой посудиной, что сама в такую минуту под руку лезет. После драки с садом забирался я в ригу, разгребал осеннее сено и старался в нем заснуть, чтобы не думать, масла в огонь не подливать, лютой злобы своей не разжигать.

А проспав ночь, отправлялся я на другой день в поле, и Янтоска за мной молча шла, и я первый говорил ей ласковое слово, а она меня улыбкой благодарила, и мы в работе друг другу помогали, и мир между нами был как прежде, до ссоры, и была у нас тишь да гладь.

И шло так много-много лет. Сахара у нас вечно не было, хлеба до новины не хватало, а часом и соли, а вот брани всегда было вдоволь. Только когда последнее дитя у нас народилось, перестали мы браниться. Правда, к тому времени бранились реже, обычно в страду, когда не знаешь, за что сперва взяться. Поначалу думал я, что бранимся-то мы без конца из-за бабьего ума, острого языка да болтливости неумной. И хорошо мне было так думать — ведь всю вину я мог свалить на натуру бабью двуличную и чист был перед собой, как слеза невинного младенца. Вон, дескать, какой я обиженный из-за этой брани беспрестанной, вон как у меня вся душа изболелась да исстрадалась. И все во мне светилось и как мед таяло: я, мол, такой хороший, так страдаю потихоньку от Янтоски, от всей деревни и от себя самого, такой хороший, что мне впору на алтарях и в придорожных часовенках вместо святого стоять.

Только когда Янтоска последний раз родила, стала моя башка соображать: ведь половина моя, супруга моя благоверная, тоже страдает тайком, и для нее все наши ссоры и вся боль после них — словно тихая, бесконечная молитва, которая должна меня, бугая здоровенного, спасти, от вечной погибели избавить. И вот как-то раз, когда мы окрестили нашего младшенького, и выпили за его здоровье до дна единственную бутылку, и сели рядком, а он лежал перед нами в пеленках из старой рубахи, положил я правую руку на усталую Янтоскину голову и сказал: «Янтось». И одно слово это, которое сказал я, жалеючи и в вине своей признаваясь, поняла моя Янтоска так, как понять должна была. И с тех пор мы никогда больше не бранимся, не убегаем друг от друга, не пытаемся в мыслях ни утопить друг друга, ни ножом зарезать, ни постромками задушить. Разве что во сне. Но сон, как известно, всегда был дьявольским зеркалом, в которое вся наша людская ненависть смотрится.

Потому-то, хоть я судился да рядился с Янтоской, и не знал, куда деваться от нее, от ее бабьего крика да визга, и считал, что у нее ум меньше булавочной головки, меньше малой песчинки, теперь, под старость, когда мы друг друга поняли, есть у меня право сказать, что я научил ее своему мужицкому уму-разуму, а она меня — своему бабьему и что бабий ум ничем не хуже мужицкого. И все молитвы, какие только мне известны, а я много их узнал от птиц полевых, от трав самых разных, от вод, что текут терпеливо по нашей равнине,

от лесного зверья, что спасается от наших жадных рук, буду старческими губами читать, чтобы у моей Янтоски прощенье вымолить.

А еще вам скажу: до самой смерти буду проклинать мужиков, что рук своих удержать не могут и бьют своих жен, ой, смертным боем бьют, синяки им под глаза ставят, губы рассекают, за волосы по земле таскают и даже в живот пинают, в самую подбрюшину, откуда дитя родится, так что тело бабье похоже бывает на осенний терновник, заморозком прихваченный. Чтоб у вас у всех руки поотсохли и после смерти из земли торчали, чтоб ваши дети об них спотыкались и не могли дойти ни до кружки с водой, ни до буханки хлеба, ни до царствия небесного. Это — самое страшное проклятие, какое я в жизни узнал, и не проклял я им даже змею-гадюку, что у лесной дороги таится, а проклял во время войны только гестаповца, падаль живую, при жизни червивую.

Куда только ни гляну, всюду вас вижу. Заносите вы свои кулаки, похожие на гири, на комья земли замерзшей, на жернова мельничные, и бьете ими. А ваши головы смахивают на свиные пузыри, в которых свищет ветер и перекатывается пугливый умишко, маленький, меньше крохи высохшего птичьего помета. А душонка ваша — точь-в-точь нетопырь, что висит зимой под крышей вниз головой. И ничего-то она не видит, совсем ослепла и ничего-то не чувствует, и можно к ней привязать мельничный жернов и утопить ее в омуте, кучей навоза засыпать и вместе с ним по весне в песок запахать.

Детей своих в школы посылаете, в Чикаго ездите, табак и лук сажаете, сады разводите прямо райские, да только прокляты ваши доллары, ваши виллы, ваши каменные амбары, переполненные зерном, ваша праздничная одежда, в которой вы к алтарям ходите. Не засыпать вам долларами кручину жен ваших, не закрыть платками, шалями, шелковыми да шерстяными платьями синяки у них на теле и на душе. Проклята ваша еда. Не накормить вам ею ваших жен и детей, что вы породили.

Боже ты мой, травы мои, воды вы мои тихие, тише, чем полет духа чистого, простите мой гнев. Может, и я был бы таким же, если бы своих рук удержать не умел, если бы позволил затмиться своему разуму мужицкому, если бы хоть время от времени не видел, что Янтоска — такой же человек, как и я. Так не сердитесь на меня за эти слова горькие, забудьте о них, бросьте их вместе с дровами в печь, сожгите до серой золы. Только, на коленях вас заклинаю, на старых своих коленях, ревматизмом изуродованных, не бейте своих жен, не измывайтесь над ними. Хоть в воскресенье, когда сидите на пороге дома или у окна и смотрите в сад, на дорогу, в лес далекий, положите им на измученные головы свою скорую на расправу, к битью привыкшую руку и скажите им так, как я когда-то Янтоске сказал: «Янтось, Терезка, Зофийка, Марийка моя родная».

О скрипках

— Хворают люди, и звери хворают. Случается, и музыкальные инструменты хворают, а особенно — скрипки. Простой смертный, который никогда в жизни не имел дела со скрипкой, не обратит внимания в деревенском оркестре на такую скрипку — чахоточную, с хворью сердечной, а то и душевной, смертельной, неизлечимой. Она вроде бы и поет, старается держать шаг, а точнее — поддерживать голос кларнета, трубы, контрабаса, цимбал, но уже не так, как раньше, когда, бывало, с самого утра подхватывала охотно, что бы ни заиграли. А самое плохое и самое грустное — вовсе не хворь. А то, что неизвестно, откуда она взялась, что случи-

лось. Ведь еще на прошлой неделе скрипка не только пела во весь голос на свадьбе, но даже, когда кулаками разбили лампу под потолком и локтями выдавили оконные стекла, убегала вместе с тобой по кукурузе, по овсам, по лозняку, мокрому от росы, и у тебя под мышкой хохотала вместе с тобой, так все было здорово и весело. И позволяла брать себя в руки, когда ты уже сидел у реки, и разрешала играть до утренней зари, пока, темная, как вино, как уходящая из звериной жилы кровь, не стекала вода с дунаецкой равнины.

О хворых скрипках слышал я с малых лет. Рассказывал мой дед, рассказывали старые скрипачи, что всю жизнь со свадьбы на свадьбу ходили. Говорили об этом на свадьбах и вечеринках и даже на ярмарках и престольных праздниках, где продавались как раз такие недужные, чуть дышавшие скрипки. Как дед говорил, скрипки чаще всего чахоткой хворают. Это, конечно, не такая чахотка, как у людей, но знать о себе дает она тоже кашлем. Стоит нерадивому скрипачу положить спьяну раз-другой скрипку на осеннюю росу, на траву, прихваченную заморозком, пройти с ней бродом по шею в воде или пробиться сквозь метель, как несколько недель спустя у скрипки словно бы горячка начинается. На спине у нее выступает деревянная роса, горячечная скрипичная испарина. Правда, пока скрипка еще звучит, еще поет охотно, но видно, что хватит ее ненадолго.

Испарина после горячки становится все сильнее, а потом начинается кашель. Сначала совсем тихий, словно комар предвечернее небо сверлит, потом бухающий, будто во всей округе спускают по деревянным мосткам в осенние пруды тысячи бочек с огурцами, и, наконец, затяжной, вязкий, как глина, замешанная ногами всего прихода на кирпичи,— их потом сушат на солнце, чтобы из них костел выстроить. В отличие от людей у скрипки кровь горлом не идет, но ее замирающий звук пугает сильнее, чем кровотечение у чахоточного. И хоть следи за ней днями и ночами, хоть сиди над ней неотступно, хоть жги лампу керосиновую, лучинку, за образ заткнутую, все равно никогда тебе не увидеть, как она умирает, как навсегда расстается со скрипичным своим светом.

Скрипку не лечили, как людей лечат. По крайности, от чахотки. Не убивали ради нее деревенских собак и не вытапливали из них сала. Не надсекали весенних берез, чтобы напоить ее соком, не клали ее, завернув в мокрую простыню, на дубовые листья в горячую хлебную печь. Не поили скрипку ни козьим, ни коровьим молоком. Не заставляли ее пить сырые яйца и топленое масло. Не вливали в нее ни падевый, ни майский мед. Ее просто оставляли хворать. А если скрипач уж очень был к ней привязан, то не играл на ней больше, не мучил ее на вечеринках и гуляньях. Позволял ей дни и ночи напролет висеть на стене, а то клал ее в шкаф или в сундук, где она угасала потихоньку под бабьими платками.

Иногда пробовали чахоточную скрипку растирать канифолью, истертой в порошок смолой, сыпали в нее горячий песок или нагретое льняное семя. Но все это обычно не помогало. Скрипка от этого рассыхалась и умирала еще быстрее. И хоронить умершую скрипку было не принято. Ее вкладывали в специально сшитый диагоналевый мешок и выносили на чердак, где ей положено было после смерти наигрывать для вечно радостной и вечно живой деревянной души дома.

Хотя и реже, но случалось, что у скрипки болело сердце. Говорили, что сердечная хворь бывает только у той скрипки, которая слишком уж волнуется от своего собственного голоса, у скрипки беспокойной, заносчивой, чересчур зазнавшейся. Хворь эта не такая страшная, как у людей,— скрипки никогда от нее не умирают, ни разрыва сердца у них не бывает, ни удара,— так вот, хворь эта начинается внезапно во время игры. Особенно во время таких праздников

и свадеб, когда надо играть с самого рассвета, или во время свадеб победнее, если игру подслушивает первый скрипач чужого оркестра. Звук скрипки замирает, словно кто резаком хватанул по струнам. И ее, будто бы целехонькую, на вид здоровую, без всякой трещинки и царапинки, приходится вынимать из-под подбородка да на стол класть.

Сердечную хворь у скрипки лечить было можно. Времени это отнимало много, но если скрипка была хорошая, да еще старая, если переходила она из поколения в поколение, если пела, обыгранная, звонче, чем жаворонок в утренних небесах, стоило с ней повозиться. Конечно, скрипку лечили не так, как человека. Ее не заставляли ни землю есть, ни молоко с йодом пить. Просто-напросто выносили ее в июле на несколько часов к Дунайцу и клали на раскаленный добела песок. Носили ее туда целый месяц. Через месяц скрипка начинала подавать голос. Тогда для нее покупали в повятой лавочке самую дорогую канифоль. Понемножку, с каждым днем все громче, с беспрестанными канифольными притираниями, скрипка начинала петь.

С такой скрипкой можно уже было показаться на бедной свадьбе, а то и на свадьбе побогаче — если бросить в скрипку несколько серебряных монет, от которых голос у нее становился громче и веселее. И так вот, от праздника к празднику, при терпеливом уходе, скрипка пела все охотнее и охотнее. А если через несколько лет леченья скрипка из рук у скрипача вырываться начинала, это значило, что она совсем здорова, что играть на ней можно, пока рубаха от пота не взмокнет, пока утро не займется, пока не пойдет потеха с ножами и дрекольем, пока не придется удирать с хохотом через выбитое окно. А как сладко спалось с такой вылеченной после многих лет скрипкой. Обнимешь ее, бывало, и кажется тебе, что не скрипка хворать перестала, а в тебе самом зажила какая-то изболевшаяся частичка света, и этого и того, перестала кровоточить, дыхание тебе перехватывать, глаза дымом застилать.

Еще реже, чем сердце, болит у скрипок душа. Сам я такой хвори у скрипок не видывал, хотя в скрипичную душу верю больше, чем в свою человеческую. Но с малолетства я немало понаслушался рассказов про необычную эту хворь. От нее скрипка вдруг перестает слышать мелодии плясовые, веселые, за чуб хватающие все живое на белом свете. И ничего тогда не помогает. Не выдавит из нее ни одной веселой ноты скрипач самый знаменитый, всем мастерам мастер, всем цыганам цыган, всем евреям еврей. Не подкупить ее ни серебряными монетами, ни долларами зелеными, засунутыми под гриф, не поможет самая веселая девчонка, что поет и так и этак да покачивается и статью своей похваляется, аж у дедов колченогих то да се зеленеть начинает.

Моросит сперва из скрипки мелкий дождичек, жалобный такой— весь день, всю неделю, целый месяц. А как человек привыкнет к нему, тут польет дождик грустный, вязкий, словно ил, что к босым ступням прилипает. Заливает тот дождик глаза в чистом поле, стекает по загривку и вдоль позвоночника, пока не почувствуешь, как в тебе вся радость застыла. А после дождя приходят туманы да мгла. Не видать в них ни руки твоей, ни головы, ни кончика пальца. А после мглы да туманов мелодии хворой скрипки напоминают скулеж собачий, но не тот живой, на конуре, в поле, под яблоней, в запертом хлеву, а словно бы живьем закопанный под запаршивевшей яблонькой, чтобы ее накормить, укрепить, расшевелить для ежегодного урожая.

Скрипку с хворой душой не вылечить, как не вылечить землю от оврагов, реку от водоворотов и человека смертного от вечного преображения в траву да в лист зеленый, нас от зноя заслоняющий.

О следах

— Может, это и правда, что пение родится весной в густой траве, росой подбитой, в почках, что распускаются клейко, в майском дожде, что пахнет приторнее теленка, от которого так и тянет вязким молозивом. Но больше всего песен поют после первого снега, под инеем, когда воды на морозе твердеют и Большая Медведица на небе в сугробах вязнет. Тогда разматывается посконная и цветная пряжа наших вздохов. Из них, как и прежде, ткут все песни, какие нужны душе человеческой, чтобы она от тоски не почернела, от обиды, как восковая свеча-громница, не истаяла, от любви-злодейки, как мощи, не высохла, чтобы от ненависти не забылась и на свадьбе к ножу не потянулась.

Вот зима в моей памяти и неразлучна с прялкой, на нее целыми вечерами навивали конопляную да льняную нить. Пели при этом без устали, и казалось мне, что прялка вместо пряжи наматывает на веретено песню бесконечную. Если бы не эти песни, не выдержать было бы зимы. Не помогли бы ни разноцветные птицы, что залетали в низкорослый сад, ни воры, что пытались стянуть с жердей перины в красных наперниках, ни свадебные поезда, что неслись с колокольчиками, ни река, до самого песка в лед закованная и по ночам позванивающая, ни деревца, что на морозе до самой сердцевины трескались, ни молоденькие ведьмы, что пытались на метлах пролететь над самым ивняком, пробуя едва отросшие крылья перед майскими сборищами да игрищами бесовскими.

Именно зимней порой и вспоминали все рассказы, сказки и присказки. Из них складывали книгу крестьянскую, ее на память учить надо было, чтобы детям и внукам в дар передать. Из книги этой видно было: зимой не только ведьмы молодые летать учатся, зимой под замерзшей землей родятся упыри, оборотни, всякая нечисть поганая, что мужика всю жизнь мучает. Поэтому зимой не касались земли ни лопатой, ни киркой, ни ломом железным, не ранили деревьев ни ножом перочинным, ни топором. Деревья соломой кутали, дома — листьями, в лесу собранными и за ивовые плетни засыпанными, а землю, льдом скованную, вечерней молитвой благословляли.

Зиму я любил. Вставал рано, дышал на замерзшее стекло и сквозь дырочку смотрел на пустошь, засыпанную снегом, на неподвижные ракиты в инее, на поседелый лес за лугами. Надевал на себя овчинный кожух, сапоги и выходил на белый свет, снегом занесенный по колено, а то и по грудь. И шел себе, пока не согреюсь, пока не исчезнет из глаз деревня соломенная, сквозь белые сады едва видная. На промерзшем, твердом как лед снегу, чуть присыпанном пуховой, выпавшей ночью порошей, полно было звериных и птичьих следов. Следы эти пересекались, шли рядом друг с другом, петляли вдали от риг, от прудов, заросших ивняком да камышом.

Заячьи, лисьи и собачьи следы я узнавал без труда. Галочьи да сорочьи — тоже. Они были всюду. Но время от времени натыкался я на мелкие следы мыши, щегла, снегиря. Из-под ног у меня с шумом вспархивали оголодавшие куропатки, фазан, спасшийся от охотника. Часто прямо за околицей находил я след хорька и полевой куницы. У реки мне удавалось подстеречь выдру, что охотилась в проруби, ласку, что по льду пробегала. Раз в жизни видел я даже горностая — он вздоха белее. Пошел было я по его следу, но он затерялся в какой-то расселине, из которой сухой песок сыпался.

Зима своей шкурой белой выдавала тайны птиц и зверей. Шкура та была словно книга крестьянская, пером не тронутая, в которой неграмотные твари божьи расписывались коготками, когтищами, лапами, оброненными на лету перьями, шерстью, с брюха вырванной, кровью, в бою и в бегстве пролитой. Книгу эту я на память знал и

мог — хоть ночью меня разбуди — читать ее с закрытыми глазами. И чтил ее так же, как пророчества царицы Савской и молитвенник, который мне прадедушка в наследство отказал. Стоило мне пройтись по этой книге утром, и я видел, сколько крови невинной пролито, сколько горячих потрохов вырвано, видел, как замирало до последнего перышка голубиное крыло в когтях у ястреба, как застревало в горле последнее чириканье, последний писк мышиный.

Но я не считал, что в эту книгу надо старательно заносить все содеянные преступления и все вынесенные приговоры. Я в ней такие следы искал, чтобы они мне ни птицы, ни зверя не напоминали, а человека и подавно. Несколько раз удалось мне отыскать в лесу такие следы — их не мог оставить ни один известный мне зверь. Целыми часами шел я по ним, продирался сквозь занесенный по уши лес, останавливался на полянках, что сверкали вдруг, как раскрытый нож, и не мог выследить диковинного зверя. Ведь это не зверь, а сон о звере, сказанье старое, которое не было вместе со зверем убито и бродит теперь по лугу и по лесу.

Часто пробовал я идти и по человеческим следам. Хотелось мне узнать, кто шатался по заснеженной пустоши, кто заглядывал в замерзший колодец с журавлем, кто резал вербовую лозу, красную, будто ею только что Предвечного бичевали, узнать, кто, как медведь, кубарем с пригорка скатывался, птицей с подбитым крылом притворялся, кто на снегу дубинкой подписывался, кто горячей мочой на лугу ненавистное имя вывести пробовал. Часто доходил я до затерявшегося в чаще лесничества, чуть порошившего дымом, до хижины на краю деревни, до заброшенного костела, в котором тело божье так закостенело от мороза, что от него даже не пахло смертью и стеарином. Но чаще всего по таким следам доходил я до окрестных местечек, где торговали заячьими шкурами, краденым пером, конями, ворованными курами, вынесенными из хлева молочными поросятами.

Но бывало и так, что следы ног человеческих переходили постепенно в следы раздвоенных копыт, а копыта — в птичьи когти, хищно терзавшие все божье. Боялся я таких следов, не знал, что о них и подумать. Засыпал их свежевыпавшим снегом, втаптывал поглубже в снег подкованными сапожищами, читал над ними молитвы и уходил домой, поняв, что не все дано нам увидеть и узнать даже тогда, когда мы по четкому следу идем. Да и не только я тех следов боялся. Знавал я охотников потомственных, которые рассказывали, что хоть раз в жизни да встретились с призраком зимы, с духом русака, дикой козы, кабана. И притворялись, будто не видят его. А потом дома ружья свяченым маслом маковым чистили, глаза лепешкой рождественской протирали, отряхивали себя от пыли колдовской березовыми вениками из веток, в Успенье освященных.

Мне ни призрака зимы, ни духов зверья увидеть не довелось, хотя следы я встречал такие необычные, что умолкал над ними, словно вдруг в бочке с растопленным воском увяз. А идти по ним я даже и не пробовал, чтобы какой-нибудь беды себе не накликать. Ведь в нашей округе немало таких, которые ходили по тем следам диковинным и теперь места в доме найти не могут, по ночам кричат, будто с них живьем кожу сдирают, от ближних своих убегают или с ножом на них кидаются. Мне еще в детстве наказывали этих следов остерегаться, когда я с дедушкой ходил ставить силки на зайцев и куропаток, железные капканы на куниц, волосяные ловушки на щеглов. И с детства помню, как однажды утром вышел я в сад и остолбенел, увидав огромные следы, до самой земли в снегу протаявшие. Понять их я никак не мог. Только к полудню узнал я, что дед, поругавшись с бабкой, вынес горячий, прямо из печи хлеб в сад и побросал его в снег.

Теперь я уже тяжеловат стал на ногу, редко выхожу в зимние поля, в лес и даже в саду появляюсь не часто. В окошко только вижу я зверье, что записывает в книгу зимы песни свои ежедневные, птиц,

что теряют в ней перышко за перышком, ведьм, что пробуют с места на место перелетать над нею, мóроки сонные, сны наши, которые кричат, с которых кожу сдирают, которые просят, чтобы под старость не отказывали нам в куске хлеба, кружке молока, теплом углу на лежанке, милые вы мои, на лежанке, шкурами выстеленной.

О любопытстве

— Я человек не назойливый. Не суюсь, куда меня не звали, не приглашали, силой не затаскивали. Присматриваю, как могу, за своими пятью чувствами, чтобы они чересчур много себе не позволяли. Иногда только случайно гляну в колосящиеся хлеба, не сидит ли там на гнезде, полном яичек, фазанья курочка или куропаточка, а если окажется вместо нее пара, что, забыв по весне все на свете, тайные сладости пробует, я не колочу их палкой, не кричу, камнями не швыряюсь. Не лечу я сломя голову с пустоши на запах вареников с черникой, кролика жареного, из печи вынутого, курицы, что, не помещаясь в луженой кастрюле, заливает золотыми блестками докрасна раскаленную плиту. Особенно если вареники, кролик и курица — на чужой кухне, в чужом доме. Не смею я попросту, а ведь под старость кое-где и полагались бы мне за мои дела добрые да за беседы вечерние вареник, задняя нога от кролика или хотя бы куриное крылышко.

Труднее всего мне удержаться, когда задремываю я на скамье в костеле, а руки мои не хотят дремать со всем телом и двигаются то вправо, то влево. Сквозь сон чувствую, как они, помощницы мои работящие, словно на войне с патрулем в обход посланные (только не в военный обход, а в любовный), дотрагиваются до гладкой руки, опираются на бедра, временем не тронутые, на колено, что зеленого ранета круглее, и так мне, старику, сладко делается, и радуюсь я, что это еще есть, что оно еще не ушло от меня. Но за слабость мою единственную, за то, что не могу я удержаться, строгое бывает наказание. Если руки мои на молоденькую наткнутся (а я люблю садиться в костеле возле молоденьких), я по лапам получаю, а если нащупают дряхлость старушечью, все во мне с испугом и ужасом вечным содрогается.

Я не стою, как давненько уж другие делают, под чужими окнами, подслушивая тайные разговоры, перебранки, что тянутся слово за словом, или наговоры, сплетни, россказни бесконечные, что с ветки на ветку, как болтливая сойка, перескакивают и столько удовольствия осенью и зимой доставляют. Вот уже два-три года, как стал я удивительную вещь замечать. У моих ровесников в деревне уши нормальные, плотно к голове прилегают, а вот чем человек моложе, тем у него уши больше, а у некоторых даже трубочкой сворачиваются. Особенно это к хромому Анджею относится: он так привык подслушивать под окнами, что хоть собак на него спускай, хоть всякую дрянь выливай, хоть ямы волчьи выкапывай — ничего не помогает. В ямы он проваливается, собачьих зубов следы целыми неделями на себе носит, воняет от него, а он все равно подслушивает. Бог с ним. Пусть у нас в деревне других забот не будет.

Если я со своим нюхом справлялся, то с брюхом дело было похуже. Бывало, прежде чем обед поспеет, прежде чем праздничные коржи остынут, прежде чем колбаса дойдет в коптильне, я уже отрывал кусочек крылышка, выковыривал несколько изюминок, отламывал, обжигаясь, кусок колбасы. И на свадьбах и крестинах я тоже не мог удержаться. А когда пытался, выдавали меня слюнки, что по подбородку текли, кадык, что так и ходил ходуном, урчание и жалобные напевы в моем животе. Соседи мои по столу, видя, что со мной творится, говорили сочувственно:

— О, Якубек, ты, видно, опять самого себя проглотить хочешь. Побойся бога, кто же нам будет разные разности рассказывать, кто будет нам в беде помогать, кто нам будет стишки сочинять, на скрипочке наигрывать?

Вот я и говорю вам: из-за своего брюха не раз и не два я осрамился. После каждой свадьбы ходил я несколько дней сам не свой, словно меня кто-то наизнанку вывернул, словно все видят, чем у меня нутро выстелено и как моя утроба старается переварить меня, косточку за косточкой.

Вот до чего меня моя назойливость довела и по-прежнему доводит, хотя все реже. Другое дело — любопытство. Ведь это оно сделало меня на старости лет вашим говоруном воскресным, так что вы расстаться со мной не можете, если я не наболтаю с три короба, не наговорюсь, пока челюсти да руки у меня не заболят, ведь я и руками словам своим изо всех сил помогаю. Чего только я от любопытства, а лучше сказать — по его наущению, не узнал.

Перво-наперво заставило меня оно нырять в разнотравье, в хлеба колосящиеся, в сады, в леса окрестные. Навело оно меня на такие гнезда птичьи, какие вам и не снились. Видел я, как кормит птенцов жаворонок и как кормятся птенцы куропатки; только что из яиц вылупятся и тут же разбегаются потихоньку на соломенных ножках по хлебам. Видел я, как зайчиха котится и лань телится, как сбрасывают с себя ужи старую кожу и как гадюка откладывает пузырчатые яйца, в белые четки связанные.

Потом, через два-три года, попробовал я по дну реки походить. К водам неподвижным, а вернее сказать, колыхавшимся в берегах, к водам, текущим неудержимо, как песнь бесконечная, по нашей равнине, тянуло меня всегда. Любопытны они мне были, как первое сорочье перышко. Как только научился я плавать, так и стал нырять до дна, илистого, заросшего темными водорослями, засыпанного мелкой галькой, выстеленного сероватым песком, словно выцветшим шелком. Чего только не находил я на дне. Но бродил я по дну не из-за вещей и не из-за живности всякой. Больше интересовало меня то, чего на дне и не было никогда. Каждый раз, когда я под водой бродил, казалось мне, что вижу я на дне следы чьих-то ног огромных, пыль, что с планет сыплется, останки, прах почти что, падших ангелов, сны наши, терпеливо дождями смытые и год за годом в реку, в озеро, в пруд стекавшие.

Из любопытства, правда страхом подбитого, пошел я на войну — на одну и на другую. Там я и узнал все о человеке. Не только о его теле — убегающем, идущем в атаку, галопом на коне скачущем, но и о душе его. Душа-то и была для меня интереснее всего. Частенько я видел, как она противится делам рук и головы, как пытается вырваться из сосуда, в котором заключена. Но никогда это ей не удавалось. Оставалась она в том сосуде, даже когда сам сосуд был штыком пробит, конями затоптан, саблей рассечен, шрапнелью разорван. Стоило только глянуть в глаза, вековым дымом затягивающиеся, чтобы увидеть ее, угасающую, невесомую, как пушинка, почти незаметную, как наше дыхание в июльском воздухе.

Любопытство велело мне пчел завести, десятки плодовых деревьев посадить. У пчел, у деревьев плодовых учился я смирению, узнавал, сколько терпения нужно, чтобы дождаться капли меда, красного яблока, любви, людского признания, уважения. С ними я и сам незаметно становился пчелой, яблонькой шершавой, узловатой, лишайником покрытой. И даже теперь, когда я знаю уже, что во мне ничего не завяжется, а, наоборот, все понемножку развязывается, стараюсь я изо всех сил принести вам хотя бы тот плод, может, не такой сочный, как раньше, который вы сказкой называете.

Может, именно поэтому не верю я, что наших прародителей любопытство погубило. Любопытство-то, правда, было грешное. Но без

него не было бы ни нас, ни нашего света белого, ни нашей деревни, в долине затерянной, заплетенной в леса, в травы, испокон веку здесь растущие. Ей-ей, прародителей за что-то другое из рая выгнали. Может, это было посильнее назойливости, и не только все пять чувств сразу провинились, но и еще что-то в нас, чего не выскажешь и не назовешь. Словом, могу я вам сказать и не ошибусь: люди вы мои, люди, будьте любопытными. Без любопытства не получите вы ни хлеба, ни должности никакой, ни девчонки, которая мерещится вам бессонными ночами и с которой доведется вам жить и детей плодить, чтобы нас тешить да крестины без устали праздновать.

Письмецо

— Пишу я вам, потому что занемог и нет у меня сил, как прежде, поболтать с вами, посидеть на ступеньках у входа в лавочку, в ригу, полежать на пустоши, подстелив овчинный кожух, посмотреть в майское небо, посчитать в нем загорающиеся звезды, белые перья сполохов, искры, что сыплются из-под копыт неизвестных нам буланок. Вырвал я из тетради листы в клеточку и пишу на них, чтобы строчки у меня были ровные, чтобы не расползались, как муравьи черные. Давно, ой как давно никому Якубек не писал. Заморская моя родня поумирала, и во Франции брат помер, а те, что еще живы, не отзываются ни словом, ни зеленой бумажкой долларовой. Чернила у меня давно высохли, и пришлось их заново разводить, из чернильницы мух, комаров да всякую мошкару вытаскивать. И все равно на листах этих полно клякс да царапин от ржавого пера. Только слова мои, слова прямо из сердца,— без единого пятнышка, хоть и не так легко они льются, как в разговоре, когда и рукой покажешь, и улыбнешься, и помолчишь к месту, со значением, и вроде бы вопрос задашь...

Если верить уху, то слово «листы» — родня близкая слову «листья». И писать бы мне надо не на бумаге, а на широких листьях калиновых или кленовых, тайными письменами осени, знаками, которые на земле и в небе веками оставлены. Так я и хотел, когда писать вам задумал. Приготовил я себе несколько листьев, с деревьев опавших, засушил их в книге пророчеств царицы Савской, разгладил до последней жилочки, до последнего зубчика и хотел вам послать такими, как исписала их природа-матушка наша; она-то в сто раз дольше, чем мы, письма писать училась. Но вы стали бы голову ломать над каждой прожилкой, над каждым зубчиком надорванным, пятнышком ржавым, запахом затаенным, сном, никогда не снившимся о дереве осиротелом, о птицах покинутых, нотках божьих, спугнутых с ветвей первыми заморозками.

Немочь моя, слабость моя не от хвори какой-нибудь взялась. Разве что назвать хворью старость беспомощную, что захватывает неожиданно все части тела, а бывает — и саму душу. Вот я и лежу на кровати, которую Янтоска покинула, и о ней, о Янтоске-покойнице размышляю. Вижу ее как живую, с тысячью морщинок возле глаз, в платочке, под подбородком завязанном, как хлопочет она до последней минуты у плиты. Теперь только оценил я все, что было: как ей бог детей посылал, как она их под сердцем носила, как грудью кормила как задумывалась, когда в чьей-нибудь головенке искала или молитвенник вверх ногами держала, ведь ее, усталую, сон одолевал и на костельной скамье. Размышляю я о бедняжке моей, судьбой обиженной, сиротинушке моей горькой, и знаю, что виноват я больше, чем упрямый баран, что с утра до ночи свое отражение в пруду бодает.

Думаю я и о сынах моих, что по всей стране разъехались, и о дочерях. От этих дум мне легче становится. Я вроде бы чуточку молодею, и на душе у меня веселее: не все, мол, еще кончено. И в мыслях я в

далекий путь отправляюсь с узлами, а в них — колбаса деревенская, кольцами уложенная, мед падевый и июльский мед, терпеливо по бутылкам разлитый, яички свежие, только что из-под куриной гузки вынутые и в обрывки газеты завернутые, масло, ночью сбитое и в лист хрена закутанное, сыры, хорошо отжатые и на солнышке подсушенные, и большой каравай хлеба, прямо из печи, с отпечатками дубовых листьев, с черными угольками в корочке. Отправляюсь я в путь, еду всю ночь в поезде, хожу по малым и большим городам, известным мне только по названиям да по карте, которую я время от времени из сундука вынимаю и по частям разглядываю.

А когда я возвращаюсь от детей, когда в складках суконной моей одежи ни пылинки городской не остается, когда от меня опять пахнет навозом, лошадиным потом, линяющими кроликами, суягной козой, молоком, процеженным сквозь льняную тряпицу, квашеными сливами, соломой, слежавшейся в закроме, натертой для коров брюквой, тогда я думаю о моем доме — он старше меня, ведь он помнит, как отец мой на свет появился. Я думаю о нем почти как о вселенной надо мной. Мой дом — со мной, во мне, в памяти моей, во сне, в коже и под кожей, в молитве, в хребте моем, что ноет теперь невыносимо, в душе моей, где уже не так светло, как прежде. В моем доме я каждый уголок знаю, каждый сучок, каждую дырочку, короедом проверченную, мышами прогрызенную, ветром выеденную и дождем, что ветра прожорливее, и временем, похожим на моросящий дождь.

Мне давно чудно́ делается, как подумаю, что я никогда с вами о доме не разговаривал. Иногда толковал кое о чем, но сердечного разговора у нас не было. Может, потому, что вы, молодые, не очень-то дом любите. Бежите из него, словно это место зачумленное, тюрьма с наручниками, где гниешь и паршой покрываешься, где человеку так тошно, что дальше некуда. Я тоже не любил в горнице сидеть, на лежанке валяться, потолок бревенчатый разглядывать, по которому мухи ползают да пауки-крестовики, что за ними охотятся. На деревню убегал, к дружкам, к девчонкам-хохотуньям. Но бывало и так, что я целыми днями просиживал дома и не жаловался. Чинил дратвой разлезшийся хомут, вставлял в грабли зубья, подбивал сапоги, латал куртку, в которой с давних пор ездил на рубку леса да на ярмарки. Обо всем на свете забывал, когда случалось мне чинить льняной ниткой разорванный щукой сачок, вентерь из тоненьких прутьев, который ставили в озере на рыбу, на рака-чебурака, а может, и на то, что человеку снилось, во сне смутно виделось, не названное, не угаданное.

Приходилось и в порог, тысячами ног истертый, дубовый клин вставлять. На зиму окна конопатить, стены снаружи опавшими листьями обсыпать. А в саду сколько работы было: ветки подрезать, деревья соломой укутывать, у яблонек раны от зубов звериных, когтей птичьих, ветров осенних воском и смолой заливать. А когда сад уже приготовлен был к зиме, выходил я, бывало, на крыльцо и сквозь нижние ветки смотрел в седеющий неподалеку лес. А смотрел я так потому, что сквозь них лучше всего видны были первые синие раны на небе, предвещавшие приход снегов и морозов. А зима — это ведь книга вечная, открытая на рассказах правдивых и выдуманных, на песнях божественных, что слаще маковника, на напевах рождественских, только что родившихся, еще не обмытых от крика предвечного, не очищенных от последа и вод.

Пишу я вам, мои милые, даже не затем, чтобы вы мне ответили, навестили меня, хотя мне без вас ой как тошно. А потому, пожалуй, что письмо такое бывает вроде завещания, а частенько вроде камня граничного, глубоко в землю вкопанного, или зроде камня поважнее, который с неба упал, от планеты оторвался, от мира, человеческому существу еще неведомого. А вы примите это письмецо, как пирог свадебный, и между собой разделите, слово по слову. И не пишите в от-

вет. Подождите, и я сам к вам приду, как только перестанет ныть в боку, стрелять в колене, ломить в пояснице. Приду с первым народцем травяным, когда он на пустошь выглянет, приду, чтобы рассказать вам все то, что может рассказать человек пожилой, но с умом живым и сердцем горячим.

А еще сообщить вам хочу, что, пока я в постели да под периной без всякого дела валяюсь, народилось у меня в голове баек немало и я их все вам понемножку, как положено, расскажу. А из темных вод памяти моей множество небылиц, прибауток, словечек замысловатых выплыло, ими-то я с вами и поделюсь. Только бы здоровье меня не подвело, только бы не помутилась память моя ясная и душа моя, что ее слушается. А может, скрипку с собой принести? Не бойтесь, играть не стану. Пойдем всей ватагой на реку, сядем в тени тополиной, а скрипку на камень положим, чтобы за то время, пока мы с рекой говорить да молчать будем, скрипка досыта наслушалась тишины, что в камне родится, тишины, что так нужна не только болтливым, лающим непрестанно, кукарекающим на каждом колышке в плетне, стрекочущим под всеми травинками сразу.

Хотел я вам еще написать о том, что мне, старику, мерещится, что печалит меня, о чем я жалею, но как подумал еще раз, как обсмотрел все обстоятельно, так и уразумел, что ничего такого и нету. Кто из нас не любит ворчать, жаловаться, через левое плечо плевать, вороновы перья бросать, чтобы, упаси бог, не сглазить. Вот и я время от времени то же самое делаю. А не делай я этого, вы бы не приходили каждое воскресенье у меня в горнице посидеть да послушать, как старый Якубек рассказывает, что наяву да во сне приключилось с ним самим, с людьми и зверьем, с птицей легкокрылой и с травой-муравой зеленой.

Перевод В. ПЕРЕЛЬМАН

■

Из месяца в месяц

ПОЛЬША

С большим успехом в польских театрах идут спектакли по пьесам Александра Гельмана «Протокол одного заседания» («ИЛ» № 7, 1977), «Обратная связь» и «Мы, нижеподписавшиеся...». О последнем спектакле, поставленном в варшавском «Популярном театре», пишет в статье «Театр правды и гражданственности» в журнале «Театр» известный критик Роман Шидловский: «...Пока у нас нет подобных пьес, мы охотно обращаемся к советской драматургии, которая с удивительной честностью, смелостью и прямотой поднимает самые жгучие вопросы современности».

На снимке: сцена из спектакля «Мы, нижеподписавшиеся...».

(Журнал «Театр»)

ПЬЕР ГАМАРРА

Женщина и река

РОМАН

Перевод с французского Г. ЕРОФЕЕВОЙ

И взял мѝлоть Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: где Господь, Бог Илии,— Он Самый? И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей.
И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне, издали, и сказали: опочил дух Илии на Елисее. И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли.

(Четвертая книга Царств, гл. 2)

I

Вернь присел на корточки на корме лодки. Шест скользил почти горизонтально над самыми бортами, едва касаясь черно-зеленой воды. Течение гнало бесчисленные хлопья пены. В этих местах Гаронна поистине могуча. Лодка шла по внутреннему краю излучины. Быстрый поток, врезаясь в берег, размывал глину между сплетениями коричневых корней. Медленно кружились уносимые потоком сухие ветви.

От реки веяло прохладой, прохладный ветерок дул и от темного берега, такой же свежий, но напоенный запахом листвы, мяты и укропа. Там, на берегу, почти наступила тьма. Тесно переплетали свои кроны дубы и акации. Под их сенью трава казалась еще гуще. В наступающих сумерках причудливо заламывали свои руки корни.

На другом берегу догорало солнце. Каскад светлой ржавчины падал на отмели, ласкал каменистые пляжи. В последних лучах солнца на белых песчаных косах яркими пятнами сверкали фиолетовые головки чертополоха.

Вернь слегка приподнял шест и коснулся им дна у темного берега. Лодка заходила ходуном. Еще один толчок шестом вниз по течению, и лодка, покинув почти неподвижную заводь, ринулась в самую стремнину.

ПЬЕР ГАМАРРА — PIERRE GAMARRA (род. в 1919 г.).

Французский писатель. Автор многих романов, сборников стихов и рассказов, очерков, репортажей.
На русский язык переведены повесть «Пиренейская рапсодия» («ИЛ» № 7, 1964), романы «Дети нищеты», «Розали Брусс», «Школьный учитель», «Сирень Сен-Лазара», «Убийце — Гонкуровская премия», «Капитан Весна», несколько сборников рассказов. В этом номере мы начинаем публикацию романа П. Гамарра «Женщина и река», перевод которого выполнен по изданию 1977 г. («La femme et le fleuve». Paris, Les Editeurs Français Réunis).

Человек вытянул ноги и склонился низко над водой. Бесчисленные пузырьки пены лопались на выщербленных деревянных бортах. В последнем проблеске света из глубины вод на миг выглянуло чье-то лицо. Верньнагнулся еще ниже. Чье лицо промелькнуло там? Не его ли? А те водоросли, что виднеются в глубине реки, и впрямь водоросли или чьи-то волосы? Длинный корпус лодки скользил под склоненными ветвями. Глазастые пузыри пены лопались. Вернь снова сел, держа шест острием вперед, словно боевое копье. По временам он вонзал его в берег, отталкивая лодку подальше от суши. Течение проходило у самого берега. Оно билось как мускул в мягком теле реки.

Гаронна медленно поворачивала. Яркие блики солнца на синих и красных чертополохах уже успели погаснуть. Песчаные отмели становились все шире и шире. Лодка шла по самому краю стремнины.

За отмелями, на низком берегу, темнота спустилась на тропы в прибрежной роще. Ветер колебал высаженные ровными рядами высокие тополя, лохматил их листву.

Вернь остановил лодку перед последним изгибом реки, ведущим к мосту Мовер. Слышно было лишь журчанье воды и звук изредка падающих капель. Деревня осталась далеко позади.

Небо стало зеленым. Тополя вспыхивали узкими язычками серебряного пламени. Но ветер, колышущий их листву, не достигал высокого берега; он разгуливал лишь по низине, и Вернь не слышал ни шума ветра, ни шороха листвы, ни звуков, которые в этот поздний час могли долететь с дорог равнины. Он видел бледную трепещущую листву деревьев и угадывал ее песнь. Но вот что слышал Вернь...

Шест глубоко ушел в черную воду. Крутившаяся в водовороте тяжелая тина билась о борт. Лодку снова подхватило течением.

Перед мостом Мовер песчаные отмели на низком берегу исчезли. Окаймленная по обе стороны густой листвой Гаронна текла прямо к трем аркам из темного кирпича.

Вернь причалил к берегу, осторожно распутал цепь и привязал ее к корневищу. До моста оставалось еще метров пятьдесят. Нависшая листва укрывала лодку.

Солнце уже село, но небо сохраняло еще бледные краски. Под деревьями тонкими голосами перекликивались лягушки.

Вернь направился вверх по крутой тропинке, заросшей по обеим сторонам крапивой и молочаем. Его тяжелые, подкованные железом сапоги утопали в белой пыли.

На вершине склона высились тополя, но час, когда на их стволы падают косые лучи заходящего солнца, образуя полосы светящейся дымки, миновал. Наступала темнота, особенно густая под деревьями. Шуршали, словно бумага, листья, с треском ломалась иссушенная зноем трава.

Вернь сделал еще несколько шагов от реки, потом остановился, прислушиваясь. Порыв ветра проник под зеленую колоннаду, донеся запах воды и аромат аниса. Аромат был настолько сильный, что казалось, будто кто-то смял пучок аниса, разломав хрустящие сочные стебли, а влажный ветер усилил благоухание.

Такой запах нередко бывает летними вечерами у реки... Но Верню было наплевать на анис. Он шагал крупным шагом к мосту. Здесь роща кончалась, переходя в беспорядочные заросли из акаций, тоненьких дубков и колючего кустарника с изогнутыми ветвями. Дорога, ведущая через мост, была старым проселком, соединявшим разбросанные по этому берегу деревеньки. На другой стороне она доходила до Пантедьё, где сливалась с шоссе, пересекающим равнину.

Когда Вернь добрался до моста, спустились густые сумерки. Внизу под ним во тьме шумела река. Громко звучал лягушачий хор. По

всему берегу не умолкал шелест травы, и звук этот растекался по долине, сливаясь вдали с жужжанием ночных насекомых.

В темноте коротко тявкнула собака и тут же замолкла. Вернь свистнул сквозь зубы. Собака бросилась к нему. Он отшвырнул ее ударом ноги. Собака завизжала. На дороге послышался звук колокольца. Вернь разглядел двух медленно приближающихся к нему коров, казавшихся в потемках огромными, а позади — силуэт женщины.

Вернь еще раз свистнул. Женщина шла волоча ноги, вяло подняв хворостину над крупом животных. Она была молодая, с густыми черными волосами; старое полотняное платье подчеркивало высокую, колышущуюся грудь и гибкую талию.

— Поздно,— пробурчал сквозь зубы Вернь.

Женщина была уже совсем рядом. Можно было различить смуглую кожу ее крепкой шеи и рук. Коровы обошли человека и продолжали идти вперед, покачивая широкими задами. У них под ногами вертелась собака.

— Никак не могли напиться,— тихо проговорила женщина.

Она сделала еще шаг, ткнув хворостиной в круп отставшей коровы, чтобы подогнать ее.

— Анна!

Он взял ее за руку, потянул к себе.

— Поздно,— сказала в свою очередь женщина.

Но Вернь уже обнял ее. Она вырвалась. В ее горле прозвучал не то сдержанный смешок, не то протест. Вернь стоял опершись на парапет моста. Он отошел от него, сделал два шага вниз и снова оказался рядом с женщиной. Она прижалась к нему бедром. Вернь пробурчал что-то неразборчивое и обеими руками обхватил ее за талию. Женщина безвольно повернула к нему лицо. Он ощутил на своей груди тяжесть ее грудей.

Они углубились в заросли темных, измятых и влажных от вечерней росы трав, от которых поднимался сильный запах аниса и укропа.

На дороге коровы стучали копытами по сухой земле. Колоколец был уже едва слышен. Иногда глухо тявкала собака, перебегая от одной канавы к другой. Коровы перешли мост. Они постепенно удалялись меж двух рядов тополей, одна, скрытая темнотой, угадываемая лишь по звукам, другая — уже освещенная светом луны. Блики лунного света разбегались по трепетавшей листве.

Обширная роща со строгими рядами деревьев становится вдруг похожей на вымерший город с ровными пустынными улицами и потемневшими серебряными куполами. Луна начала свой ночной дозор. Длинные тени стволов пролегли по аллеям. Странный край призрачных видений, где сама тишина — обман. Кажется, будто видишь низенький дом, часовню или свод грота, а полосы света создают впечатление колоннад, но это не что иное, как светящаяся пыль. Пушистые головки чертополоха собрались группками на полянках. Точь-в-точь поджидающие кого-то тоненькие девушки с белыми волосами. У их ножек, будто бьющееся сердечко, мерцает яркий светлячок. Бледно-зеленый свет с проблесками холодного металла. Сухие травы вокруг светлячка превращаются в яркие язычки, словно их обрызгали медным купоросом.

Опершись на парапет, Вернь смотрел, как удаляется Анна. Она бежала в своих веревочных сандалиях, и широкая юбка открывала голые икры ног. Коровы уже далеко ушли по дороге под сенью деревьев.

Темень скрыла бежавшую женщину. Вернь стоял неподвижно, и ему казалось, что он все еще видит ее волосы, развевающуюся на вет-

ру ткань, смуглые руки. Но темнота поглотила неясные очертания ее фигуры. Звук колокольца между тополями смолк.

Вернь вытащил из кармана платок и обтер взмокшие лоб и затылок. Он снова спустился на берег. Вода плескалась о борт лодки. С веток падали капли. Он развязал цепь, изо всех сил оттолкнулся шестом от берега, и лодка выплыла на речной простор. Плыть против течения нужно было по мелководью.

Теперь мост был освещен луной. Вернь заметил это, обернувшись назад. Все три арки стали белыми. Время от времени дно лодки скрипело по гальке. Вернь стоял с полусогнутыми коленями, ссутулив спину. Шест вонзался между камней. За первым поворотом течение стало не таким бурным. Но пока он добрался до этого поворота, он без передышки работал шестом.

Гаронна надела на себя свой летний ночной убор — длинную вуаль из теней и каких-то неведомых металлов. С пляжей из белой гальки долетает ветерок, донося запах тины. С ивовых ветвей капли падают в неподвижную воду у самого берега. А там, где проходит течение, вода бежит журча, словно родник, или позвякивая, как разбитое стекло. Рыба подскакивает на гальке...

Но Вернь не замечал красот ночного пейзажа. Ему было не до луны, деревьев, бликов на воде. Он лишь упорно работал своим шестом, стараясь не сесть на мель. Руки его крепко вцепились в дерево шеста, но его ладони жаждали другого прикосновения. Когда он склонялся над черной водой, ему виделось там неподвижное лицо той женщины, которая уходила сейчас под темным сводом деревьев. Неподвижное лицо, окаймленное густыми черными волосами, с двумя прорезями глаз, тоже черных, блестящих и таких же непроницаемых, как вода в омутах у высокого берега. Ему слышалось, как она стонала под ним, но бестрепетно и без единого слова. Хотя бы слово любви, Вернь... Точно эта женщина была не женщиной, а лишь символом встречи, призраком, пришедшим на свидание к мосту: грудь — лунный свет, руки — листва, волосы — блики на воде. Она стонала почти беззвучно, и рот ее был не теплой плотью, а чем-то холодным, словно намокшее в воде полотно.

■

На правом берегу реки лежала Пантедьё. Деревня в пятьсот душ, с саманными и кирпичными домами, ступенями расположенными по косогору, у подножия которого проходило шоссе. У входа в деревню берега Гаронны соединял подвесной мост.

Шарль Вернь жил со своей женой на левом берегу в стоящем особняком доме с большим садом, который спускался к воде. Он купил его после войны. А до того времени Вернь содержал кафе в Монтобане. Про него говорили, что он удалился от дел в Пантедьё, скопив приличное состояние. Это походило на правду. Дом у него был просторный и удобный. Вернь возвел еще один этаж, заново оштукатурил весь дом, перед входной дверью построил террасу с широким крыльцом, позади дома — гараж, а на берегу реки — причал.

Ему было лет под пятьдесят, он был крепко сбит, высок ростом, с длинными и сильными руками. Родился он где-то в здешних краях, это выдавали его местный говор и повадки. Люди говорили о нем: это тот Вернь из Монтобана, что ушел на покой и живет за подвесным мостом. Никто особенно не интересовался им. Во всяком случае, не больше, чем другими.

Крестьяне обрабатывали свои поля на равнине, где росли пшеница, кукуруза и виноград. Деревня выглядела вымершей. Так казалось из-за узеньких улочек, зажатых неровными глиняными фасадами домов с прогнившими деревянными каркасными стенами. Дома и дворы были разбросаны в беспорядке среди пыльных или грязных тропинок.

По углам старых стен тянули вверх свои черные руки ползучий виноград и смоковница. С глиняных, усеянных галькой склонов преспокойно спускались вниз куры. На крышах ворковали голуби. Под виноградными лозами на грубо сколоченных скамьях спали старики. На фасадах домов синели пятна от медного купороса. За низкими дверьми виднелись черные проемы, ведущие в подвалы. В воздухе постоянно висел тяжелый запах вина и картофеля.

Насколько Верн был высок и крепок — красавец мужчина, по местным понятиям! — настолько его жена была худа и тщедушна, с уже изможденным лицом и волосами, уложенными на старинный манер в узел, с робкими движениями, говорившими о слегка наигранной покорности. Трудно было точно определить ее возраст, но она казалась старой, намного старше своего мужа. Она как бы слилась со стенами, обстановкой, природой, на нее никто не обращал внимания... Но только до тех пор, пока не замечали ее глаз, ясных голубых глаз молодой девушки. В этих краях голубые глаза встречаются редко. Их ясность и мягкость поражали. Наверное, когда-то она была хороша собой: брюнетка с голубыми глазами, довольно тонкая, суховатая. Она не принадлежала к породе женщин с пышной плотью широкими бедрами и высокой грудью, а была худой и узловатой, словно ветка смоковницы.

Верн говорил мало, а его жена и того меньше. Ее можно было встретить на воскресной мессе в церкви, в бакалейной лавке, у мясника или в булочной. Она быстро делала покупки и снова возвращалась к себе, за мост. Должно быть, дом отнимал у нее много времени и сил. Стирка, уборка, работа в саду... По вечерам видели, как она сидела у крыльца, штопала, вышивала или шила.

Верн вскапывал сад, обрабатывал два длинных поля с кукурузой и картофелем позади дома или уплывал ловить рыбу. Чаще всего можно было видеть, как он с шестом в руке скользил на своей лодке по мелководью у высокого берега. Время от времени, по воскресеньям или вечером, когда приходила охота, он отправлялся за мост, пересекал дорогу и поднимался к деревенскому кафе, чтобы пропустить по стаканчику с местными крестьянами.

Казалось, эта пара живет дружно. Иногда в погожие вечера с наступлением темноты они выходили прогуляться по дороге под платанами. Их приветствовали возвращавшиеся с полей люди. Верн отвечал тем же, произносил несколько слов о погоде или урожае. Жена молчала, скупо улыбалась. Поговаривали, что они богаты,— так оно, верно, и было.

Они удалились от дел и чувствовали себя хорошо в этой словно вымершей деревне между равниной и рекой. Крестьяне, у которых были в городе родственники или друзья, иногда спрашивали там о них. Ничего особенного они не узнали. Ну да, Верн — это тот, что содержал кафе возле крытого рынка. Он препоручил кому-то свое дело, а сам поторопился уйти на покой. И правильно сделал. Кафе было небольшое, но приятное, чистенькое. Сюда в базарные дни крестьяне заходили перекусить или выпить стаканчик-другой. Посетителей здесь бывало достаточно, и Верн смог поднакопить деньжат.

Он подтянул лодку к мосткам, привязал цепь и замкнул ее на большой черный железный замок.

Дом был погружен в дрему. Свет всюду погашен. Реймонда, должно быть, легла спать. Она ложилась рано.

Когда он поднимался на крыльцо, ему почудилось, будто слабо стукнула ставня на втором этаже. Там были окна их спальни. Возможно, Реймонда поджидала его возвращения...

Он остановился, задрал вверх голову и спросил: «Это ты?» Никто не отозвался. Она, наверное, уже спала. Он ведь сказал ей, что поужинает у Аллегров.

Войдя в кухню, он зажег свет и поискал под раковиной бутылку. Там было самое прохладное место. Он сел за стол и залпом один за другим осушил два стаканчика вина. Рука его машинально поглаживала короткие темные усы над верхней губой.

Кухня содержалась в чистоте и порядке. Все имело свои места. На белом буфете в вазе для фруктов лежали сливы и инжир, и их запах смешивался с запахом жавелевой воды. Пол из красных и белых плиток был недавно вымыт. Медные части плиты сверкали. Да, Реймонда отличная хозяйка!

Сверху не доносилось ни звука. Он привык к этому. Она всегда все делала бесшумно. Тихое создание. Как муха, что ползает по стеклу, или паучок — по воде.

Он выпил третий стаканчик и не спеша заткнул бутылку пробкой, затем вытер губы тыльной стороной ладони, еще раз погладил усы и склонился всем телом вперед, положив локти на колени, сжимая и разжимая пальцы... Он размышлял.

Ночные звуки едва слышно проникали в дом. «Она знает,— подумал он.— Знает, но ничего не говорит». Она никогда ничего не говорила, никогда не возражала. «Это — твое дело. Пусть будет так, как ты хочешь. Раз ты так решил. Тебе виднее...» Ее обычная манера. Взгляд у нее был ясен, как у ребенка. Что крылось за этим взглядом, для всех оставалось загадкой — и для Верня не меньше, чем для других. Она ходила из одной комнаты в другую, намывая, начищая, приводя все в порядок. Она не вздыхала и не жаловалась. И так день за днем, одна работа за другой. «Это ты? Хочешь есть? Хочешь пить?» Она слушала, что он говорит. Качала головой и быстро проводила указательным пальцем по виску, сгоняя воображаемую муху. Да, конечно, именно благодаря ей ему удалось кое-что скопить. Жена экономная, жена молчаливая... Она сожалела о том, что у нее никогда не было ребенка. Как-то раз она сказала ему об этом, потом улыбнулась, пожала плечами и снова принялась за свои спицы, а может, за метлу.

Вернь услышал скрип в прихожей со стороны лестницы. Казалось, кто-то идет, уже поставил ногу на первую ступеньку. Но нет, никого.

Реймонда спала наверху. Или делала вид, что спит,— все равно. Бодрствовала она или спала, ее лицо всегда оставалось одинаковым — неподвижной маской. Только под опущенными веками таился блеск ее глаз.

В спящих домах есть свои звуки. То скрипнет половица под натиском другой половицы, то осядет стена вместе с балкой, то дрогнет дом или черви примутся точить дерево. Все эти звуки слышны особенно отчетливо в тишине. Днем на них не обращают внимания, но ночью... Ночью тайные жалобы стропил и досок похожи на слова, мольбы, тихий шепот. Что там такое, Вернь? Ты слышишь, слышишь?

Но помимо этих таинственных шорохов вдалеке можно было услышать могучее дыхание реки, шум рощи и стрекот бесчисленных кузнечиков, сплетавших в ночи ткань из позвякивавших драгоценных камней, а дальше гулко звучали проемы мостов и спящие лодки глухо терлись одна о другую и подпрыгивали на бегущей волне.

В этих глубоких, таинственных ропотах ночи всегда можно распознать жалобы влюбленных женщин и дыхание преследуемых мужчин.

Вернь думал об Анне Дельпеш. Он видел, как она бежит, уносимая ветрами ночи. Она ускользала от него. Он не мог уследить за ее бегом. Он остался один в безликой тишине, где слышалось лишь потрескивание старых балок.

II

— Колокольчик! — сказал Жан-Мари Дельпеш.

— Она вышла из зарослей,— пробормотала мать, склонясь над огнем.

Она потрясла большую сковороду, где в кипящем сале плавали кружки картофеля.

Жан-Мари тяжело приподнялся, подтянул к себе бутылку и налил доверху стакан. Бутылка была холодная. Ее только что извлекли из колодца, и бока ее запотели.

Он пил медленно, прищелкивая языком, покусывая свои длинные седые усы.

— Сегодня вечером она снова запаздывает.

Он говорил мрачно, но беззлобно. Пожалуй, просто констатировал факт — вот и все. Однако Тереза знала, что старику хотелось поворчать. Он ворчал обычно до тех пор, пока дочь не приподнимала занавеску в дверях. Тогда он замолкал. Так бывало всякий раз. Уткнет нос в тарелку и будет крошить хлеб, подыскивая слова, которых так ни разу и не нашел.

— Пакость! — пробурчал он.

И непонятно было, с кем он разговаривал — со своим ножом или с отсутствующей дочерью. Он резал корку на мелкие кусочки, чтобы ее легче было разжевать. От зубов у него остались одни корни.

— И что она делает в зарослях ночью! Коровы могут переломать себе ноги. С кем она там?

Согнувшаяся над очагом женщина медленно выпрямилась, откинула падавшие ей на лоб седые волосы.

— Да ни с кем она, ни с кем. От луга до моста дорога не близкая, да и от моста сюда...

— Она слишком задерживается. Коровы так не могут. Им нужно спать.

— Да вот и она! — сказала Тереза, поворачиваясь к дверям.

Было слышно, как заскрипели ворота, звякнула цепь в хлеву и зашуршало сено в кормушках.

— Надо бы поаккуратнее с сеном,— сказал Жан-Мари.— Можно подумать, что у нас его — десять сеновалов. Коровы уже не голодные. Ей-то ведь наплевать. А что у нас на зиму останется?

— Ешь,— сказала ему Тереза.

Она наполнила тарелку мужа. От запаха чеснока и прожаренного сала у него затрепетали ноздри. Он подцепил на вилку сразу три кружочка картофеля и начал с трудом жевать.

Он сидел в углу во главе стола у окна, что выходило на реку. Испокон веков мужчины в этом доме сидели там. Во главе стола, устремив взгляд на Гаронну, протекающую внизу за лугом.

Голая лампочка без абажура на очень длинном шнуре, прикрепленном к балке, освещала печь. Тереза зацепила шнур за крюк для одежды. Когда она мыла посуду, то переносила лампочку к самой раковине.

Кухня была большая, выложенная красной плиткой, кое-где вздыбленной, кое-где ввалившейся, а то и разбитой. Стол стоял у дальней стены между окном и старым шкафом.

Справа почти всю стену занимала печка; слева стоял буфет с застекленным верхом, набитый всякой всячиной: жестяными коробками, склянками со старыми лекарствами, пакетами с семенами, выигранными на ярмарках гипсовыми статуэтками или безделушками, лоскутами тканей, катушками ниток, пыльными чернильницами... Пожелтевшие календари десятилетней или пятнадцатилетней давности висели по стенам один подле другого, а из-за них в беспорядке торчали обрывки веревок и какие-то бумажки. С потолочных балок свисали три полоски липкой бумаги от мух.

Оштукатуренные стены были когда-то в незапамятные времена покрашены голубой краской. От нее осталось лишь несколько светлых островков под потолком, внизу стены были сплошь покрыты грязью или исчирканы.

— Что она там делает? Я тебя спрашиваю! — ворчал Жан-Мари с набитым ртом.

Тереза пожала плечами.

— Тут же она. Пришла ведь...

— Потаскуха!

Тереза сделала вид, что не слышит. Полюбившееся старику словцо. Время от времени оно срывалось у него с уст. Целыми неделями он, казалось, не вспоминал о дочери, а потом вдруг принимался поносить ее. Конечно же, когда ее не было дома. Он долго подыскивал это слово и так и сяк вертел его во рту, пережевывая хлебные корочки, а потом тихо выговаривал. Будто ему хотелось и произнести его, и удержаться от этого. И тут же он еще ниже склонялся над своей картошкой, дул в тарелку и тянулся к стакану, медленно скользя рукой по куску клеенки, которая лежала посередине стола.

Что Анна там делает? Тереза знала. Она остановилась во дворе у смоковницы. Сегодня у смоковницы. В иные вечера около грядок с клубникой или голубятни, где придется. Словно ребенок, вздумавший поиграть или украдкой стащить плод. Словно ей не тридцать лет, а тринадцать. Например, она могла пойти погладить морских свинок, которых держали вместе с кроликами, или заглянуть в хлев. Но сегодня она остановилась около смоковницы.

Был уже поздний вечер, отец дожидался ее за своей тарелкой, а Анна взобралась на кривые ветви старого дерева и, ощупывая ворсистые бархатные листья, наполняла свой фартук спелыми плодами, которые никто не удосужился собрать...

■

Дом находился на правом берегу под косогором, на котором раскинулась деревня. Он сразу бросался в глаза, когда по дороге в Пантедьё пересекали шоссе. Метрах в ста от реки, одинокий, окруженный тополями, длинный и низкий, со старыми кирпичными стенами.

В основной части дома помещались кухня и три комнаты, а дальше — кладовая с погребом и хлев. Заканчивалось строение навесом на тяжелых столбах с дощатым настилом.

К реке полого спускался окаймленный деревьями луг, перед домом расположились птичий двор с высокой голубятней и сад без ограды, а дальше — снова тополя вдоль дороги, которая вела к шоссе.

Дом был очень старый. Самые древние старики в деревне помнили его еще с детства. Стоял он на бугре, оттого ему не слишком угрожали половодья. Тут и жили Дельпеши, одна из старейших семей в округе.

Филемон Дельпеш, дед Анны и отец Жана-Мари, в молодости был паромщиком. Он умер в начале войны. Когда-то ему принадлежал паром, на котором можно было перевезти повозку. В ту пору посадки деревьев на левом берегу были еще незначительны, и крестьяне из Пантедьё переправлялись за реку и сажали там кукурузу или картофель. Но на это уходило много сил и времени, да и рабочих рук не хватало, и они забросили эти места. Оставили лишь несколько пастбищ. Паром унесло в половодье...

Теперь, чтобы перебраться на другой берег, крестьяне из Пантедьё пользуются подвесным мостом или мостом Мовер.

И отец Филемона, и дед его тоже были паромщиками. Никто не помнит, чтобы рядом с домом Дельпешей жила другая семья или стоя-

ла другая усадьба. Дом скрывали деревья, защищавшие его от шума. С шоссе он виден не был.

Старики называли его домом на воде. Это говорило о многом. Прежде всего, что он стоял ближе, чем остальные, к реке, притом в наиболее опасном месте, на самой излучине, где берег размывается сильным течением. Затем он принадлежал семье, несколько отличающейся от других, людям, которые испокон веков жили возле воды, в вечной дружбе или сражении с ней.

Деревня же раскинулась на высоком косогоре, у края равнины, далеко от низкого берега, исстеганного потоком. Едва на Гаронне начинался паводок, островки с ивами уходили под воду, вода плескалась на тропах в роще, и только дом Дельпешей одиноко стоял на своем жалком холмике, хотя под тополями уже разливалось половодье.

Рассказывали, что Филемон вскоре после свадьбы — Жан-Мари в ту пору был еще грудным ребенком — просидел в доме безвыходно пять дней и пять ночей, покуда вокруг бушевала непогода. Вода в Гаронне прибывала очень быстро, и, когда первые волны подступили к верховью луга, семья успела покинуть дом. Только Филемон не захотел уйти. Ни уговоры, ни угрозы не помогли. Он уверял, что никакой опасности нет.

Когда вода поднялась еще выше, к дому подплыли на лодках мужчины из деревни и стали кричать Филемону, чтобы он выходил и ехал с ними в Пантедьё. На косогоре безопасно, а здесь, среди деревьев, у самой реки, дом может развалиться, как сахар в стакане отвара. Они кричали, они звали его изо всех сил. «Нет!» — отвечал Дельпеш, лежа на полу чердака. Он только ухмылялся и ничего не желал знать. Он был убежден, что дом крепкий и прекрасно выдержит напор воды. Так всегда говорили старики, а уж они-то знали это по собственному опыту.

Он запасся вином и окороком, из ларя на кухне взял огромную буханку хлеба. Он потрясал своими бутылками или окороком с видом полной уверенности. Пока вода осаждала дом, крестьянин пировал под покрытыми серой пылью стропилами, храпел на сене или с усмешкой посматривал на мутное море, разлившееся под деревьями.

В конце концов победа осталась за ним. Вода отступила. Когда в дом вернулись, он вычерпывал грязь из подвала и посмеивался в свои черные усы. «Гаронна не причинит нам зла,— говорил он,— надо только знать ее повадки и уметь дать ей отпор».

Он тоже всегда сидел во главе стола, у окна, наблюдая за потоком воды, рассматривая вдалеке заросший бледной мыльнянкой каменистый берег или полыхавшие серебром тополя. Здесь он и умер — спокойно, хлебнув перед этим по обыкновению вина. Услышали, как он что-то неразборчиво пробормотал, а потом, не выпустив, однако, из рук стакана, с широко раскрытыми глазами, уставленными на речной простор, упал лицом вниз.

Филемон прожил свою жизнь спокойно. В семидесятом году он был слишком молод, а в четырнадцатом слишком стар. И все же прослужил в армии семь лет и участвовал в африканской кампании. Он рассказывал об этом без конца. В пустыне ему довелось отведать мясо льва. Он рассказывал, как трудны были переходы, как мучила их жажда, как дешев был табак. На одно или два су в Блиде бакалейщик доставал его из мешка пригоршнями.

Больше всего Филемон горевал по парому. Лишившись парома, он перестал быть речником, кем до конца своих дней были его отец и дед, и превратился в крестьянина, выращивающего, как и другие, картофель, пшеницу и виноград. Для чего тогда жить у самой реки? Да и дом к тому же не богат. Земли было немного, и ее никогда как следует не возделывали.

Отца Филемона жизнь поначалу потрепала, но в конце концов и он стал паромщиком на реке. Филемон говорил, что погубила его, однако, не вода. Как-то вечером во время грозы на него упало сраженное молнией дерево. С кровоподтеком на лбу его нашли в отнесенной течением лодке.

Этот Дельпеш был человеком странным, и жизнь его была полна невероятных приключений. Вначале его призвали в армию. Он очень просил родителей купить ему замену. Но они уже сделали это для его старшего брата, парня мягкого и хилого, который уехал учиться. Мать пожала плечами, сказав ему на местном наречии: «Курица не несет по два яйца в одно утро». Так Дельпеш отправился в армию и сражался под Севастополем. Его взяли в плен и увезли куда-то в глубь России. Видимо, там ему понравилось, так как он прожил в тех краях семь лет, с пятьдесят четвертого по шестьдесят первый год. А потом уехал. Почему и как, теперь этого уже никто не знал. Он разъезжал по разным странам, работая столяром или плотником; этим ремеслом всегда владели в его семье.

И вот однажды в Брюсселе в одной харчевне из-за стола поднялся какой-то человек, чтобы разглядеть его вблизи.

— О, мсье,— сказал он ему,— если бы я не знал, что Дельпеш из Пантедьё умер, я принял бы вас за него...

Дельпеш ничего не ответил и не открылся ему, но встреча эта его взволновала. И он, должно быть, затосковал по родному краю. Он повидал много разных мест и разных рек, но всегда хранил в своей памяти тополиные рощи и зеленые острова Гаронны. Он снова и снова возвращался к ним в мыслях. И в конце концов вернулся домой.

Все оказалось не так просто. Его считали погибшим не только люди, но и закон. Ему пришлось всех убеждать: «Я — младший Дельпеш, признайте же меня». Отец его уже умер, старший брат тоже. Оставались лишь еще один брат, женатый, обосновавшийся в доме у воды, да сестра, вышедшая замуж в другую деревню далеко от этих мест. Младший Дельпеш хотел получить свою долю наследства. Пришлось признать его права. Но он требовал и дом у воды, а брат не хотел с ним расставаться.

К несчастью ли, к счастью ли, но случилось так, что как-то свирепой зимой брат сильно простудился и умер. Дельпеш взял вдову брата в жены, и от этого брака родился Филемон. Поговаривали, что он женился на доме, а не на женщине...

Вот несколько историй, связанных с этим домом, и Жан-Мари мысленно перебирал их, разжевывая картофель.

— Потаскуха! — пробурчал он снова.

Анны все еще не было. Они знали, что сейчас она войдет: полный подол инжира, волосы ниспадают на лицо, колени и загорелые крепкие икры оголены. Она подойдет к буфету, положит плоды в выщербленную вазу, стоящую среди коробок, склянок и пыльных лоскутов материи. Иногда она приносила гнездо или выпавшего из гнезда птенца...

Тереза разбивала яйца в сковородку с остатками картошки. Огонь ярко пылал. Ну почему Жан-Мари называет ее потаскухой? Как только дочь откинет занавеску на дверях, он не посмеет ничего сказать ей. Он ни разу не посмел ей что-либо сказать, ни разу. Он всегда относился к дочери с обожанием. Точно она была принцессой. Он восхищался ею еще тогда, когда она была крошкой, и так это и продолжалось. Некоторые утверждали, что любовь — слабость. А вот теперь он украдкой осыпал ее ругательствами, поносил, как последнюю из последних, но всегда в ее отсутствие, когда дома была одна Тереза.

Анна была его единственной дочерью. Он мог бы хотеть мальчика и с презрением относиться к этой единственной девчонке. До ее

рождения ему, конечно, хотелось мальчика. Но когда ему объявили, что на свет появилась «плутовка», Жан-Мари поднял руку. Пусть будет плутовка! И пошел взглянуть на нее.

Она уже тогда была хорошенькая, и какой-то удивительный свет озарял ее глаза. Война кончилась. Жан-Мари вернулся с фронта. Зима только вступила в свои права. Он был рад забыть окопы и все невзгоды войны и снова очутиться в доме своих родителей...

Этот свет, что зажегся тогда в глазах Анны, озарял их еще и сейчас. Рыжеватый, мягкий и живой свет, точно осеннее солнце или закат в тополях. Точно угли в огне перед тем, как им погаснуть, или кусок старого золотистого бархата.

Поначалу люди не замечали этого света, не обращали на него внимания, а потом он как бы падал на них и обволакивал их своим теплом.

Жан-Мари вернулся с фронта как раз к рождению дочери. Он удачно отделался, получив только пулю в мякоть плеча. «Отличное ранение»,— говорили люди. Оно ускорило его возвращение домой. Жан-Мари, правда, надышался еще и газами, но это были пустяки: от них осталась лишь одышка. Ребенок был зачат во время предыдущего отпуска, когда Жана-Мари отправили на отдых именно из-за этих газов...

В его отсутствие хозяйство вели Филемон и Тереза. Тогда у них было шесть коров и еще порядочно земли. Но с той поры их дом обеднел.

И снова, по случаю рождения Анны, Гаронна вмешалась в их жизнь. «Ну и ну,— говорил Филемон невестке, приглаживая руками свои усы,— Гаронна так же вздулась, как и ты». Он смеялся, но Терезе было боязно, да и Жан-Мари тоже беспокоился. С наступлением темноты он пошел в Пантедьё за повитухой или за кем-нибудь, кто знает это дело.

Вернувшись, спросил Филемона:

— Ну что, отец, вода все еще прибывает?

Старик заворчал, надел сабо и отправился взглянуть на луг. Воротился и сказал:

— Все еще прибывает, но скоро конец.

— Я, по крайней мере, не хочу добираться домой на лодке,— сказала повитуха.— Гаронна совсем подступила к дому.

— Да не бойтесь вы,— ответил Филемон.— Она спадет раньше, чем живот у Терезы.

И, громко смеясь, он полез в погреб запастись вином, чтобы было что выпить в ожидании родов.

Терезу уложили в самой большой комнате. Там разожгли жаркий огонь, и Жан-Мари подкладывал в очаг тяжелые кряжистые топляки, из которых вырывалось множество лиловых язычков пламени.

Повитуха расхаживала из комнаты в кухню, присаживалась на минутку поболтать с мужчинами. Пришла одна из сестер Терезы, чтобы закончить приготовление колыбели.

Женщина начала постанывать. Повитуха, не обращая на нее внимания, продолжала болтать. Сестра отошла от кровати роженицы выпить кофе. Полный кувшин его стоял в золе очага. Она рассказывала разные истории о родах, своих собственных и других женщин, в ее семье и в семьях соседей, о тех неотступных желаниях, которые одолевали беременных и оставляли свой след на ребенке. След клубники или кофе...

Крики Терезы стали громче. Жана-Мари по-прежнему беспокоила поднимающаяся вода. Неужели ребенок родится в разгар наводнения? Надвигалась ночь. В очаге тлели раскаленные угли, в доме было тепло и уютно, а вот за его стенами... Женщина кричала все громче и чаще. Теперь уже крики не прекращались.

Жан-Мари вышел взглянуть, что творится на лугу. С фонарем, который раскачивался у него в руке, он шлепал по грязи. Стояла настоящая зимняя ночь, ветреная, бурная. Трещали ветви. Ураган гнул деревья. Ледяные порывы ветра хлестали дом со всех сторон. Казалось, что несутся два потока — поток воды и поток ветра — и оба они, бесконечно разрастаясь, обрушиваются на него со всех сторон.

Жан-Мари спустился к Гаронне и увидел, что вода больше не прибывает. Его сабо вязли в мягкой тине, нанесенной водой на берег. Да, все оказалось точно так, как предсказал старый Филемон. Вода в Гаронне спадала, Гаронна не была больше вздутой, как говаривали в здешних местах, отчего можно было подумать, что она не просто река, а какое-то живое существо...

Когда он вернулся, ребенок уже появился на свет и кричал. Сестра Терезы подавала повитухе горячие пеленки, которые были расстелены перед огнем на кухне.

На кровати сучила ножками девочка. От ее животика, словно голубая змейка, тянулась пуповина. Волосенки у нее уже были черные.

Филемон, не желая больше ждать, наполнил стаканы вином и, хотя и был слегка разочарован, выпил за здоровье внучки.

В доме было жарко и пахло кофе, глаженными пеленками, сухими дровами. Все прошло хорошо. Тереза лежала бледная, закрыв глаза. Ее одолевал сон.

Женщины хлопотали по хозяйству. Филемон продолжал попивать вино, громко смеялся и, протянув стакан к огню, любовался игрой цвета.

— Вы вернетесь домой в своих сабо, моя милочка,— сказал он повитухе.

— Тем лучше, тем лучше, Филемон.

— Здесь распоряжается не Гаронна,— добавил старик, прищелкивая языком.

«Все примерно так и произошло, как он говорил,— думал Жан-Мари.— Как только девочка появилась на свет, река вернулась в свое русло».

Девочка была красивая и уже крепенькая. Филемон узнавал в ней черты своей матери, которая дважды выходила замуж — сначала за одного, а потом за второго Дельпеша, того, что вернулся из России. Но она была также похожа и на Филемона, и на него, Жана-Мари, и он этим гордился. У нее был тяжеловатый, почти квадратный подбородок, как у всех мужчин в семье, но черты были мягче. Удлиненные, узковатые глаза, широкие скулы, густые и черные брови, почти сросшиеся на переносице. Это выглядело забавно на лице ребенка, который только что родился...

— Она вырастет бойкой бабенкой, ей все будет нипочем,— говорил старик с блестящими от вина усами.

Та ночь канула в далекое прошлое, но Жан-Мари видел ее совершенно отчетливо. Точно только вчера ходил он от кухни к спальне, чокаясь с отцом, прислушиваясь к ночному гулу Гаронны.

Прежде чем уйти, повитуха попросила глинтвейна, и Филемон принялся его готовить. Запах лимона и специй в пенившемся вине распространился по всему дому. Тереза спала, спала и девочка, личико у нее было гладкое, розовое. Сестра Терезы ощипывала курицу, чтобы приготовить назавтра бульон для роженицы. Они выпили вино, и повитуха собралась домой.

Едва она открыла дверь, ветер занес в кухню шум и ледяное дыхание бури. Жан-Мари пошел проводить женщину. Когда он затворил

за собой дверь, буйный запах ветра тут же рассеялся. В старом доме с толстыми кирпичными стенами, где спала новорожденная, воцарилось спокойствие.

Запах сусла и жженого сахара создавал праздничную атмосферу, и Жан-Мари сохранил в памяти этот аромат и вкус.

А девочка вырастала такая же сильная и красивая, с густыми бровями и тяжелым подбородком. Старый Филемон ходил с ней в прибрежную рощу, на берег реки и даже брал с собой на лодку. Она была живой, смешливой и любила вечеринки и песни. Она не могла сидеть без дела или оставаться у себя в комнате. Пользуясь любым предлогом, мчалась в рощу или поднималась в деревню. Когда Жан-Мари возвращался с работы, первые слова привета были обращены к ней. Отец, подмигивая, говорил ему на это:

— Можешь не беспокоиться, Жан-Мари. Из нее вырастет бойкая бабенка.

В самом деле, бойкая...

■

— Ты что-то задержалась,— сказала мягко Тереза.

— Темнота наступила как-то неожиданно, застала меня врасплох,— ответила Анна тем же тоном.

Она опустилась на стул рядом с отцом и налила себе вина. Жан-Мари продолжал молча жевать, устремив взгляд в темное окно.

Тереза отошла от очага и подсела к ним.

— Ты никого не повстречала?

— Нет.

Анна подняла глаза на мать. Трудно было поверить, что она лжет. Взгляд был невинный, мягкий. Чтобы скрыть замешательство, Тереза подула на кончик вилки. Ну что тут скажешь, если она так на вас смотрит! Даже у ребенка не могло быть более ясного взгляда.

С кем она теперь крутит? Кто ее знает. Тереза раздумывала. Все тот же или уже другой? Надо бы выследить ее, подстеречь. Но ни у кого не хватало на это сил. Жан-Мари ел болтушку из яйца. Плечи низко опущены, локти тяжело упираются в крышку стола, сероватые веки изредка вздрагивают. Он посматривал то на дочь, то на окно, поворачивался к огню очага или к лампе, а затем машинально водил лезвием ножа по краю тарелки. Он казался совсем стариком, а ведь многие и постарше его не выглядели такими изможденными.

По ночам Тереза иногда просыпалась, прислушивалась. Она бесшумно вставала и шла взглянуть на спящую дочь. Анна спала в комнате по соседству с кладовой. За кладовой шел хлев. Анне было нетрудно улизнуть. Собаки узнают ее с первого шага, они на нее не залают. Окно ее комнаты выходило на луг. Ей достаточно лишь перешагнуть...

Когда дочь спала, маленькая комнатка заполнялась ее редким и ровным дыханием. Глубокий, спокойный сон. Она всегда спала так, с самого детства. Сон овладевал ею целиком. Ей повезло. Словно, когда она закрывала глаза, мир переставал существовать. Темнота и покой...

Но Тереза вспоминала о других ночах, когда Анна исчезала. Мать подходила к кровати в ее комнате, где царила тишина. Остывшие простыни отброшены. Спинка стула, на которую Анна вешала одежду,— пуста. Тереза шарила рукой в темноте. А когда на следующий день она спрашивала дочь, где та была, Анна пожимала плечами. Не спалось, вышла подышать свежим воздухом. В спальне было душно. Правда ли это, выдумка ли, кто знает.

Первым у нее был Эли. Они помолвились в начале войны, когда им было всего по двадцать лет. Родители советовали обождать со свадьбой, чтобы посмотреть, как будут развиваться события. Эли

опасался, что его заберут и отправят на работы в Германию. Наступили бесконечные зимние месяцы. Потом Эли скрылся. Люди запирались в своих домах и напряженно вслушивались в шаги и шум на улице, шептались по ночам, ожидали возвращения мужчин и подсчитывали тех, кто оставался. Эли ушел с другими своими сверстниками в леса, что раскинулись по берегам в низовье Гаронны. Там формировались отряды партизан.

Когда Тереза вспоминала о тех годах, они все казались ей одинаковыми. А ведь их нельзя было сбросить со счетов, да и воспоминание о суровых зимах прочно жило в памяти. Только почему-то все они слились в одну долгую зиму. Женщины часами стояли у порога в ожидании почтальона. Вздыхали перед пустыми полками в бакалейных лавках. Старухи смиренно кланялись друг другу на паперти церкви. Старики только и беспокоились о пшенице — той, что всходила на полях, и той, что была в амбарах. Глядя на идущих в школу детей, говорили: «Ну, эти, слава богу, еще маленькие. Им не грозит...»

Месяцы походили один на другой и времена года тоже, ведь горе неделимо. Оно не отступает ни зимой, ни летом, перемешивая все — цветы и снега.

Эли так и не вернулся. Вернее, вернулся, но не живой, а... Тереза помнила тот день, когда они узнали о случившемся. Сестра Эли прибежала из деревни. Это было в одно из тех утр, когда с реки наползает туман и деревья блестят от его влаги. По их стволам стекают капли. Кусты стоят мокрые, дороги покрыты грязью. Все тогда застыло в неподвижности. На широком мутном полотне тумана проступало всего лишь несколько стволов. Привычные деревенские звуки долетали до дома у воды глухими отзвуками. Туман поглощал все. Сестра Эли, Марта Аллегр, прибежала из деревни. Она мчалась изо всех сил. Бледная, точно смерть. Бросилась к дверям кухни и в спешке никак не могла справиться со щеколдой. Она звала:

— Анна, Анна...

Тереза приподняла занавеску на окне и сразу узнала Марту. Девушка обессиленно рухнула на первый же стул.

— Боже мой, боже мой, что случилось?

Анна была с отцом в хлеву. Они нагружали на телегу навоз. Услышав зов Марты, они вышли. Девушка плакала, лепетала что-то бессвязное, цеплялась за шею Анны.

Дверь кухни, выходящая во двор, осталась открытой, и плясавшие хлопья тумана проплывали в ее обрамлении. Жан-Мари тяжело опершись на вилы и оцепенел. Анна заплакала, беспомощно опустив вдоль тела руки. Волосы падали ей на глаза. Потом она подошла к столу, уронила на него голову и, закрыв руками лицо, глухо зарыдала. На дворе невидимые в тумане куры рыли землю и тонко кудахтали. Кудахтанье тоже походило на плач, и эти странные звуки перемешивались с журчаньем Гаронны, стуком падавших с тополей капель, точно весь этот уголок земли оплакивал покойного.

■

— Хотела сходить сегодня вечером к Марте, но что-то устала.

— Пора спать,— сказала Тереза,— завтра день будет долгий.

Назавтра они были приглашены к Аллеграм на молотьбу.

Год назад Марта Аллегр вышла замуж за парня из соседней деревни, и он переехал жить к ней. Дом их был расположен в верхней части деревни на самом краю равнины. В нем жили Марта с мужем, отец, папаша Аллегр, и старенькая бабушка.

— Пора спать,— повторил Жан-Мари.

Однако он не сдвинулся с места, взгляд его по-прежнему был устремлен в окно.

Женщины изредка перебрасывались короткими фразами. Делились друг с другом новостями. Анна видела утром Марту. Аллегры готовятся к молотьбе. Они довольны: пшеница уродилась на славу. Но стоящая уже давно засуха дала себя знать. От нее пострадал картофель, почти погибла кукуруза. Только виноград выдержал. Винограда немного, но зато он будет хорош...

Земли у Аллегров было порядочно. Собрали мало-помалу то, что перепадало им по наследству, тогда как у других, наоборот, хозяйства дробились. Не скажешь, конечно, что земли у них было много, но в этих краях крупных владений вообще не встретишь. Коммуна [1] выходила к самому берегу реки, и немалую площадь занимали прибрежные посадки.

Если бы Эли не умер и Анна стала его женой, часть земли Аллегров отошла бы им. Но Эли погиб. Имущество полностью перейдет Марте и ее мужу. Больше братьев у нее не было.

Жан-Мари дремал над пустой тарелкой. Анна аккуратно счищала кожуру с инжира. Тереза поднялась, чтобы раздуть огонь под котлом с водой для мытья посуды. Наступало время сна. Жан-Мари пыхтя добрался до своей постели. Было слышно, как он раздевается.

Спальня погрузилась в темноту, но в слабом свете, падавшем из кухни, на побеленной стенке в изголовье кровати неясно виднелись распятие, кропильница из самшита и сухая ветвь лавра, сохранившаяся с пасхи. Вокруг старой кровати из орехового дерева сгустился сумрак. Умолк шорох матраца, набитого листьями кукурузы. Из углов надвигались тени, тени воспоминаний, они склонялись над деревянной кроватью и красным стеганым одеялом, касаясь лица и закрытых век Жана-Мари.

Дельпеш возвращался из России, Филемон со своего чердака бросал вызов половодью, Анна бежала по ночным дорогам в поисках того, кто был уже мертв... Крупная красивая девушка, чертами лица похожая на других Дельпешей, смотревшая на мир их глазами — родителей, дедов и прадедов, чьи жизни, переплетаясь, уходили в глубь времен в вечных сражениях с землей и водой за хлеб, за вино с виноградников, за сено для скота, за жизнь...

И все это перемешивалось с сожалениями о том, что могло бы быть, что не свершилось, что осталось неизвестным. Сожалениями об иной жизни, не похожей на эту, бедную, однообразную, подчиненную ритму времен года, приносящих то холода, то жару...

Жан-Мари спал под отдаленный шум воды, под глухой шелест листвы. Он не слишком-то был крепок, Жан-Мари. Годы войны, да еще те газы, которых он наглотался в Аргонне, на всю жизнь подточили его силы. Ему пришлось продать часть земли, и теперь они жили, едва сводя концы с концами. Молоко от своих коров, картофель, кукуруза для свиней. Дом был стар, очень стар. Над ним тоже витали тени, и стропила стонали от воспоминаний и бедности.

Когда-нибудь эта девушка, наверное, решится выбрать себе мужа, который придет жить сюда, а может, они оба уедут куда-нибудь, кто знает...

Воды Гаронны тяжело бились о берег в жаркой ночи. Тополя колыхались на ветру. Дом погрузился в темноту.

III

У Аллегров, живших в большом доме на верху косогора, молотили пшеницу. Молотилку установили посередине просторного двора, откуда открывалась вся равнина. На фоне голубого неба в ореоле рыжей пыли тяжелая машина, ощетинившись колосьями и соломой, заглатывала без передышки снопы пшеницы. Наверху виднелись силуэ-

[1] Самая мелкая единица административного деления территории Французской Республики. *(Прим. перев.)*

ты двух стоявших на ней мужчин. Другие — мужчины и женщины — копошились на повозке со снопами и во дворе. Работа кипела с раннего утра.

Едва машина загудела, старая Жанна Аллегр вышла из кухни и приблизилась к содрогающемуся чудовищу. Она задрала голову к скрипящему транспортеру. Хлынула струя первой пшеницы. Жанна долго всматривалась в ее поток, потом, подставив темную ладонь, поймала в пригоршню несколько зерен и ощупала их. Так уж у нее было заведено. Она должна была подойти первой. И она поджидала эту минуту.

Пока мужчины устанавливали и смазывали машину, проверяли мотор, заливали масло, старая Жанна не покидала кухни, ощипывая последних кур, очищая дольки чеснока для фарша. Женщины суетились рядом и, смеясь, говорили ей: «Смотри, Жанна, уже запускают...»

Как только соломотряс начинал работать, она появлялась на пороге, невысокая, худенькая, дряхлая, с застывшей улыбкой на лице цвета высохшего каштана. Она пересекала двор под общий гомон: женщины вовсю хохотали, мужчины на ходу перекликались громкими голосами.

Старуха Аллегр брала в руки пшеницу. И сразу узнавала, хороша ли она, не примешался ли куколь, тяжело ли зерно. Она потряхивала зернами в своей морщинистой ладони, подбрасывала их вверх, растирала между большим и указательным пальцами. Затем выпускала зерно тоненькой струйкой и снова набирала, чтобы еще и еще раз хорошенько пощупать его.

Если пшеница оказывалась не такой, какой, по ее мнению, должна была быть, она кривила рот и покачивала головой. А улыбка ее оповещала о том, что урожай хорош, зерно тяжелое и чистое.

— Ну что ж, пожаловаться не на что, добрые люди,— говорила она, возвращаясь к себе на кухню.

Как правило, пшеница у Аллегров была превосходная. Папаша Аллегр, сын Жанны, славился своим зерном. «Пшеница Аллегра!» — говорили люди. И этим было сказано все. Его поля были хороши и удобно расположены, и Аллегр знал, как обработать землю и взлелеять злаки.

Иные в деревне гордились своим виноградом или кукурузой. Он же — пшеницей. Самое лучшее зерно, к чести их семейства, с давних пор произрастало на его землях. У него и свои угодья были не маленькие, а он еще брал изрядно земли в аренду. И на этих землях собирали хорошую пшеницу, но самая лучшая пшеница произрастала все же на старой земле Аллегров, той, которую приобрели старики и которая переходила от поколения к поколению.

Итак, в это утро, убедившись, что пшеница уродилась на славу, Жанна Аллегр ушла довольная. Мужчины посмеивались себе в усы. Механик, потрясая масленкой, крикнул:

— Ну, бабуся, раз вы довольны, мы-то и подавно! Желаю вам увидеть еще много-много таких урожаев...

Жанна улыбнулась, но головы не повернула и, мелко семеня, добралась до кухни, где ее внучка Марта вместе с другими женщинами готовила пиршество.

В такие дни снеди они не жалели. Помимо карпов и усачей, выловленных в Гаронне, были куры, мясо которых в это время года имеет привкус кукурузы и орехов, кролики, жареные и в соусе, две большие бараньи ноги и две фаршированные телячьи грудинки. Обедать собирались под навесом, прилегающим к дому.

Одна из женщин крошила мякиш хлеба и колбасу на фарш, разбивала яйца в эту массу, приправленную зеленью петрушки. Под колпаком очага на широком настиле из раскаленных углей выстроилась целая армия кастрюль, котелков и глубоких чугунных сковород. Марта большими ломтями нарезала ветчину.

Солнце уже освещало весь двор. Запах сухой пшеницы, горячей соломы и земли поднимался вверх, сливался с запахом дыма, прямым столбом поднимавшимся из трубы в небо. За машиной, позади персиковых и сливовых деревьев сада, расстилалась залитая солнечным светом широкая равнина. Красные и розовые дома, приземистые голубятни с плоскими крышами стояли среди желтых прямоугольников жнивья, изнемогающих от жары лугов и сверкающих на солнце виноградников.

Кто-то обнаружил крысу, забившуюся в колосья, и шумно объявил о своей находке. Застигнутая врасплох, она сжалась в остях колосьев.

— Да суньте ее в машину вместе со снопом! — крикнул папаша Аллегр.

Крыса, подхваченная на вилы, вместе с пшеницей отправилась в машину к транспортеру и веялке, парни хохотали, и только одна девушка с отвращением сказала: «Ну что вы за звери, бросьте ее мучить, лучше просто убейте...»

Папаша Аллегр от души смеялся. Он не был злой, нет, но пусть крыса погибнет вместе с зерном, на которое покушалась. От нее, разрубленной и перемолотой, не останется ничего, а пшеница будет течь своим путем.

Анна взобралась на молотилку, чтобы посмотреть на крысу. Она оперлась на плечо парня, который стоял там же с вилами в руках, и смотрела, как кончается зверек. Как и папаша Аллегр, Анна смеялась, показывая красивые крупные зубы.

Потом она взглянула на парня, и он помог ей спуститься вниз. Это был двоюродный брат мужа Марты. Он жил в деревне в двадцати километрах от Пантедьё. Накануне вечером приехал на велосипеде на несколько дней поработать. Говорили, что он каменщик и ремесло — почти единственное его достояние. Работал он поденно. Марта раза два или три упоминала о нем. Бертран, Бертран... как там его? Анна работала вместе с мужчинами у транспортера, с которого сыпалась пшеница. Она подставляла мешок, наполняла его доверху и отвозила на тачке к амбару.

Да, парня звали Бертран Лубанс.

Молотилка гудела. Солнце начинало припекать. Шум машины заглушал голоса и смех, разносился по равнине и спускался по склону, на котором ступенями раскинулась деревня. На белых от пыли дорогах равнины крестьяне приставляли ладонь к глазам, смотрели на окутавшее машину рыжее облако около дома Аллегров, на взлетавшие вверх снопы и говорили: «Смотри-ка, у Аллегров молотят...» На равнине их дом был виден издалека. В тот день такие же молотилки работали у пяти семей, но никому и в голову не приходило сказать, что молотят у Рикаров или у Морелей; нет, говорили: молотят у Аллегров...

Анна подняла голову. Высокая фигура каменщика вырисовывалась на фоне неба. Он стоял на молотилке и подкладывал снопы. Его худое смуглое лицо блестело от пота. Всякий раз, как он наклонялся, было видно, как ходят мускулы на его голых плечах.

По кругу передавали бутылки с вином. Об этом позаботился папаша Аллегр. Он поставил под навесом бочку и время от времени наполнял вином новые бутылки. Мужчины вытирали влажной рукой лоб, брали бутылку, прижав большой палец к горлышку, и, запрокинув голову, струей лили прохладное вино прямо в горло. «Попотели — надо и выпить»,— говорил папаша Аллегр.

У дверей амбара образовалась груда мешков. Было видно, как старая Жанна, выходя из кухни то за водой, то за петрушкой, останавливалась возле них и украдкой ощупывала их разбухшие бока.

Дельпеши пришли все трое. Жан-Мари работал на повозке со снопами, подавая их в машину. Тереза помогала на кухне.

Жанна поздоровалась с ней не без грусти, и все знали почему. Из-за Эли. Если бы Анна вошла в дом Аллегров, если бы Эли женился на ней, их семьи породнились бы. Папаше Аллегру хотелось, чтобы рабочих рук было еще больше. Дом достаточно просторен. В нем живут Марта с мужем. В нем стали бы жить и Анна с Эли. Две молодые семьи — иногда вполне достаточный повод для разногласий, но Аллегры славились своим миролюбием...

И вот — Эли нет в живых, а об Анне знают, что она сбилась с пути. «Ей нужно найти мужа»,— твердила все время старуха Аллегр. Мужа, но какого? Анна не хотела никого. После смерти Эли она жила словно безумная, набрасываясь на работу, как бросаются в воду. Прошло два года, наступил сорок шестой, и вдруг кто-то сказал: «Дочка Дельпеша забыла про свои несчастья». Видели, как она прогуливалась у прибрежной рощи с мясником из Монтека, человеком женатым. Точно никто ничего не знал, однако заметили, что мясник все чаще и чаще наезжал в деревню якобы для покупки скота. Многие смекнули, в чем тут дело, ведь его и Анну снова застали вместе около тополей. После него появился другой. Кажется, торговец, который разъезжал по деревням на велосипеде с чемоданом, набитым плохим мылом и дешевым бельем. В один прекрасный день торговец исчез. Кто же стал следующим?

Анна не поверяла своих тайн никому. Если кто-нибудь заводил с ней разговор о замужестве, она, не отвечая, принималась хохотать и тут же меняла тему разговора. Некоторые все равно пытались добиться ее благосклонности, ведь она была ловкая и смелая, красивая и работящая и умела управляться со скотом и с любой работой по дому. Но при первых же намеках на брак она уклонялась от разговора.

Ее приданое было невелико. Земли у Дельпешей было мало, но дом как-никак свой. Однако вот беда — она никого не хотела, и так проходили недели и месяцы, и люди ворчали про себя: какая жалость! Такая красивая и сильная девушка, а достаточно прогуляться с ней в роще, чтобы вскружить голову... Так шли годы. Скоро ей стукнет тридцать.

Но когда в ее присутствии произносилось имя Эли, улыбка тотчас же сбегала с ее губ, она склоняла голову и опускала глаза.

■

— А этот Вернь, что живет у моста, придет? — спросила на кухне одна из тех деревенских кумушек, у которых язык без костей.

Тереза, резавшая помидоры на краю длинного стола, бросила на нее быстрый взгляд. Уж эта-то чего лезет не в свои дела?

— Да, придет,— ответила старая Жанна.— Вчера вечером он принес нам рыбы. Отменный рыбак!

— Я видела, как он проплывал на лодке,— продолжала кумушка.— А жена его тоже придет?

— Вряд ли,— ответила Жанна.— Он говорил, что она неважно себя чувствует.

— Она редко показывается,— настойчиво продолжала кумушка.— Странные они люди.

Тереза нарезала помидоры неторопливыми и точными движениями. Она думала о лодке на Гаронне и о дочери, которая шатается где-то по ночам. Значит, люди уже знают, что Вернь крутится возле дома у воды. Пожилой человек, почти старик.

В дверях показалась Анна. Она откинула занавески, и яркий свет ворвался в кухню. Там стояла нестерпимая жара и пахло чесноком и петрушкой.

Анна поднесла руки к вспотевшим вискам и рассмеялась.

— Как вкусно здесь пахнет! Скоро вы нас покормите? Мужчины проголодались.

— Скажи им, что стол уже накрыт,— ответила старая Жанна.— Как только захотят, так и начнем...

— Я могу вам помочь...

— Нет, нет,— ухмыляясь, сказала кумушка, мешавшая у огня соус.— Здесь кухарок хватает. Иди обратно к мужчинам. Раз уж ты выполняешь мужскую работу...

Анна, все еще улыбаясь, разглядывала кастрюльки и котелки. Потом повернулась к старухе Аллегр:

— Ну, бабуся, вы наготовили человек на пятьдесят...

— Ну уж и на пятьдесят. Как раз столько, сколько нужно. Ведь люди работают, значит, должны вдоволь поесть.

Появилась Марта. Она сказала, что под навесами накрыт стол.

— Все готово,— добавила она.— Можно садиться.

Увидев Анну, улыбнулась ей.

— Отец просил меня принести холодной воды для анисовой водки. Сходишь вместе со мной? Где бутылка с анисовой?

Она порылась в большом черном ларе и вытащила оттуда бутылку. Потом они ушли.

— Бьюсь об заклад, что эту водку вам принес Верн,— сказала кумушка.

— Да,— сухо ответила ей Жанна.

— В прошлом году, мне помнится, он приносил игристое вино... Да, эти люди преуспели...

— В чем преуспели? — спросила Тереза.

— Поднакопили деньжат и теперь отдыхают. У них есть кафе, которое они сдают в аренду, и, конечно же, сбережения. А мы разве когда-нибудь отдохнем?

Старуха Аллегр пожала плечами:

— Ну, мы — другое дело.

Высокая худая женщина с седыми волосами, открывавшая банку сардин, вскинула голову.

— У крестьян все иначе. В восемь лет я уже ходила на речку стирать белье да еще варила суп. В доме было шестеро детей, и у матери не хватало времени...

— Да, жизнь в городе совсем не то, что в деревне,— сказала Тереза.— Только вот где лучше, здесь или там? Кому как повезет. Бедных хватает везде. Когда Жан-Мари вернулся с фронта, ему предложили работать в бригаде путейщиков на железной дороге в Монтобане или Тулузе. Он не знал, как поступить, да и я тоже... Думал, там будет полегче, чем обрабатывать землю. Уже в ту пору он был не совсем здоров. Наглотался газов. Но все же решил остаться в деревне. Уж не знаю, правильно ли поступил. Теперь получал бы себе спокойно пенсию. А это что-нибудь да значит! Твердая сумма каждый месяц, разве это не важно? Но что бы он делал в городе? Трудно себе представить.

И она привела в пример двоюродного брата, который жил в Тулузе. Теперь, верно, он уже вышел на пенсию. Но чего ему это стоило. Поступил на железную дорогу перед войной четырнадцатого года. Работа была тяжелая. Десять часов в день на путях в любую погоду. Начинал работать в семь утра, да еще дежурства по ночам: приходилось гнуть спину от зари до зари. Двадцать четыре часа без перерыва. Теперь-то стало полегче...

— Мужчин в нашей семье никогда не тянуло к земле. Тот же Жан-Мари предпочел бы владеть каким-нибудь ремеслом или просто возиться у воды. Лодка, рыбная ловля, вот так-то...

— Верно,— согласилась старуха Аллегр,— ваших мужчин земля не привлекает. Все норовят что-нибудь посмотреть, куда-то уехать. А у нас наоборот. Нашим только землю подавай. Не скажу, чтобы

больше, чем другим. Ведь в нашем краю богатых угодий нет. Но земля для них радость...

Жанна умолкла, но все поняли, что она хотела сказать. Конечно, она думала о сваленных у дверей амбара мешках с пшеницей, которые подтягивали на веревке с помощью блока к слуховому окошку. Знали, что в тот же вечер она еще соберется с силами, поднимется по крутой лестнице на чердак, чтобы собственными глазами увидеть весь урожай, и будет ходить от мешка к мешку до тех пор, пока их не увезут на грузовике. Так кто-нибудь подсчитывает свои доходы и свои сбережения, но для старой Жанны существовали только мешки, мешки с зерном, тесно сложенные один к другому, золотистая пшеница, гораздо более теплая и живая, чем деньги...

■

Вначале женщины подали огромные блюда с помидорами и перцем, политыми растительным маслом, украшенные по краю четвертушками яиц. Одновременно пошли по кругу большие коробки с сардинами. Мужчины подхватывали сардины концом ножа и сбрасывали на свою тарелку.

Папаша Аллегр сел во главе стола в глубине под навесом, позади него стоял бочонок с вином. Он следил со своего места за застольем, смотрел, чтобы ни у кого не пустовали стаканы и тарелки.

Мужчины уселись на его конце стола, а женщины — на противоположном, поближе к кухне. Впрочем, им сидеть почти не приходилось. Одна вставала, чтобы передать блюдо или бутылку вина, другая шла посмотреть, что делается на кухне. Так заведено в здешних краях. Тут до сих пор еще встречаются дома, где муж, возвратясь с работы, садится за стол и ждет, когда ему подадут суп и вино, а жена, стоя у очага, ест как придется, иногда держа тарелку на весу.

Время от времени из кухни показывалось морщинистое лицо старой Жанны.

— Садитесь, бабуся,— кричала ей молодежь.

Она пожимала плечами, внимательным взглядом окидывала сидящих, чтобы проверить, полны ли тарелки и хорошо ли работают челюсти, а затем мелкими шажками семенила на кухню.

Молотилка одиноко стояла в опустевшем дворе на самом солнцепеке.

Вернь сидел справа от папаши Аллегра. Он ел с аппетитом, широко расставив локти, немного ссутулясь и опустив голову; усы его блестели от жира.

Да и все остальные не отставали от него, клали в рот огромные куски, вытирая губы мякишем хлеба. Говорили мало, перебрасываясь короткими фразами. Кто-нибудь отпустит крепкую шутку, громко обратится к соседу. И тут же снова уткнется в свою тарелку. Еда сейчас была превыше всего. Поработали на славу и ели каждый за двоих. Уж известно, что у Аллегров все делается как положено. Ведь сегодня день молотьбы, такой день нельзя не отметить пиршеством.

— Ешьте, ребята,— говорил папаша Аллегр, наполняя по очереди стаканы,— все ваше, никто у вас не отнимет.

Его слова встречали одобрительным смехом и снова принимались жевать.

Жан-Мари Дельпеш ел опустив голову, не разделяя общего веселья. Он думал о другом пиршестве, которое могло бы быть, и о той трапезе, которая была вместо него.

О пиршестве, которое могло бы быть в день свадьбы Анны и Эли. Да, если бы она состоялась, папаша Аллегр вылез бы вон из кожи. На свадьбу Эли он пригласил бы всю округу, да еще родственников из дальних деревень. И это не только ради сына, но и ради самого себя, ведь женитьба Эли укрепила бы и продолжила род Аллегров.

Свадьба Марты — совсем иное дело. Сын умер, продолжения рода не будет. Скорбь чувствовалась до сих пор, несмотря на прошедшие годы.

А трапеза, которая была,— это поминки после похорон. Печальная тризна, в полном молчании; по старинному обычаю, подавали зеленую фасоль без мяса, кролика и кантальский сыр. Мужчины в тесных черных костюмах сидели склонив голову. Женщины тихо ходили вокруг, наливая вино. По второму разу на тарелки ничего не подкладывали. Короткими фразами, скупыми жестами отказывались от еды. Только снова и снова наполняли рюмки, чтобы придать себе немного бодрости. В гнетущей скорбной тишине, охватившей весь дом, было слышно лишь, как булькает разливаемое по рюмкам вино. По временам раздавался сдавленный голос старика или одной из женщин:

— Возьмите еще...

— Нет, нет, спасибо...

И снова бульканье вина, позвякивание рюмок и бутылок.

Затем папаша Аллегр встал. Внезапно, неожиданно для всех он распрямил согнутую спину. Глаза его были мокры от слез, руки дрожали. Все тоже поднялись вслед за ним, и, когда шум отодвигаемых стульев и скамеек стих, старик заговорил:

— Произнесем молитву за упокой...

Женщины, занятые кто у очага, кто у раковины, окружили старика.

— ...молитву за упокой души мальчугана.

Папаша Аллегр был не более верующим, чем остальные, но так уж полагалось. Нельзя же, чтобы сын был похоронен, как собака. Поэтому Аллегр сам прочитал отрывки из «Отче наш» и «Аве Мария»:

— Отче наш, иже еси на небесах! Да святится имя Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли... Аминь, аминь, аминь...

Женщины вторили ему быстрым сбивчивым речитативом. К их голосам примешивались низкие, непривычные к молитве голоса мужчин. Наконец старик сел. Молитва была окончена. Черный рой вторивших старику женщин рассеялся, шелестя юбками и сандалиями, и, нарушив наступившую тягостную, гнетущую тишину, кто-то взял в руки бутылку, и снова послышалось бульканье вина, разливаемого по рюмкам.

Вот как прошла та трапеза. Потом Жан-Мари сидел у очага с папашей Аллегром, а женщины по углам шептались между собой и плакали. Оба мужчины сидели молча, похожие в отблеске раскаленных углей на изваяния из дерева.

Все это отошло в прошлое, в воспоминания. Наступила новая пора. Времена года сменялись одно другим. Сына не было в живых, но дочь вышла замуж. Муж Марты оказался дельным, приятным парнем. Дом Аллегров не придет в упадок. В нем появится ребенок. На высохших губах Жанны и на губах папаши Аллегра опять затеплилась улыбка. Пшеница текла в амбар, и снова отмечали этот праздник урожая, собираясь у Аллегров, чтобы поработать, поесть и посмеяться...

Жан-Мари думал о своем доме у воды, старом, осевшем, одиноком доме, стоящем в низине у прибрежных тополей.

На поросшем ивами берегу Гаронна вышивает стальную, бело-голубую кайму. Огромная долина реки рождает гулкое эхо. Каменистые берега то вклиниваются в реку, то выгибаются ослепительными отмелями, где среди замшелых валунов трепещется мелкая рыбешка. Похожие на зеленые серные спички стрекозы кружатся вокруг бледных цветов мыльнянки, шмели-жужжальники с полосатыми брюшками замирают в воздухе над цветами чертополоха... Куда устремляется река, разве мы знаем? Этот протекающий мимо поток увидит совсем

других людей, не таких, как мы, людей, которые, быть может, знают то, чего мы так и не узнали... На реку и ее берега спускается покой. Покой занимающегося деревенского утра, покой звонких от полуденного стрекота просторов... Но ведь помимо покоя воды и деревьев нужен и иной покой. Покой человеческой души. О нем и думал Жан-Мари, мысленно представляя себе свой одинокий дом.

Он вздрогнул. Кто-то рассказывал потешную историю, и весь стол хохотал. Женщины разливали по стаканам кофе. Из рук в руки передавали бутылки с виноградной водкой. Горячий ветер смешивал запахи пыли и водки. Лица у всех раскраснелись.

■

Еще раз сели за стол поздно вечером, после того как окончательно завершили работу. Пшеница Аллегра была обмолочена. Люди устали, обувь у всех побелела от пыли, руки пересохли и загрубели от снопов и вил.

— Заведите музыку! — попросила одна из девушек.

Марта заколебалась. Музыка в их доме — это, пожалуй, чересчур. Но, в конце концов, нельзя же хранить печаль столько лет. Она включила большой старый приемник, купленный еще в начале войны. Он стоял у окна на кухне. Поискала танцевальную музыку. Если регулятор повернуть до отказа, будет слышно и под навесом.

Старуха Аллегр лишь пожала плечами и снова пошла к раковине на кухне. Что же, раз молодежь хочет музыки...

Закружились несколько пар. Муж Марты пригласил танцевать Анну. Пожилые мужчины столпились вокруг стола, скручивая цигарки или раскуривая трубки.

— Что же вы не танцуете, бабушка? — спросила Тереза выглянувшую из окна Жанну Аллегр.

В голосе Терезы чувствовалась принужденность. Она попыталась улыбнуться.

— Уж я свое оттанцевала, ох, оттанцевала,— усмехаясь, ответила старуха.

Она смотрела на Анну, которая легко кружилась в танце, поднимая ногами белую пыль на дворе. Разлетающаяся юбка открывала крепкие смуглые икры. Тереза перехватила взгляд Жанны и посмотрела туда же. Опустила голову, потом вскинула. Оглядела лица вокруг и увидела, что все мужчины смотрят на ее дочь. Глаза ее сузились. Она запахнула полы кофты, точно ей стало холодно.

Деревья вокруг дома уже колыхались под ветром. Солнце садилось на равнину. Тени персиковых и сливовых деревьев стали невероятно длинными и дотягивались до самой изгороди. Блестели верхушки стогов. Одинокие тополя озарились закатом, вдалеке, у самого горизонта, окрасились в яркую медь голубятни. Просторы равнины, прочерченные лиловыми линиями, готовились к ночи. Внизу, в улочках, ступенями спускающихся к реке, стуча копытами о гальку, брели на водопой коровы.

От реки веяло прохладой. Дом скрывал излучину, но ветер доносил речные запахи. Музыка смолкла. Что-то проговорил мужской голос, но разобрать слова было трудно. Приемник стрекотал. Кто-то в поисках музыки стал крутить ручки, и приемник заскрежетал, затрещал.

Танцы прекратились. Молодые женщины подсели к столу. Папаша Аллегр по-прежнему сидел в глубине под навесом, посасывая свою погасшую трубку. Вернь — рядом, и его тяжелая широкоплечая фигура расплывалась в темноте. На чуть бледном лице виднелись лишь узкие черные усы, глубоко посаженные глаза и лысоватый лоб. Он смотрел на Анну, потом взгляд его блуждал вокруг и снова возвращался к Анне, но их глаза ни разу не встретились.

Часть приглашенных уже распрощалась и ушла. Жан-Мари Дельпеш тоже ушел: пора было поить и кормить скотину.

Анна сидела возле Марты, опершись локтями на грубые доски стола. Еще можно было различить ее крепкие загорелые руки на старой стершейся крышке стола, словно последний луч солнца нарочно задержался на этом месте. Тут же покуривал свою цигарку каменщик Бертран Лубанс. Он не танцевал, не умел.

Анна видела, как парень поднял левую руку. Он поднес ее к губам, вынул изо рта цигарку. На руке было только три пальца. Не хватало указательного и большого. Анна не заметила этого раньше. Поднявшаяся из тени изуродованная рука на фоне закатного неба выглядела странно. Анна нагнулась к каменщику.

— Что у вас с рукой?

Парень улыбнулся.

— Это у него с войны,— объяснила Марта.

— Мина, в Эльзасе,— пояснил он с той же спокойной улыбкой.— Мне повезло. Сержант, что был рядом со мной, там и остался. Я же потерял всего лишь два пальца... Многие потеряли значительно больше.

— Да, да,— прошептала Марта.

И она почувствовала, как слегка задрожала рядом рука Анны.

— Вам, наверно, было очень больно?

— Не сразу. Сразу я ничего не почувствовал. Только подумал: что со мной такое? Почувствовал, как рука вдруг стала тяжелой, и тут же увидел кровь. А потом, что верно, то верно, приятного было мало, мне трижды вскрывали для дренажа рану. Ну теперь-то ничего. Я уже привык. Это как...

— Это ему не очень мешает,— сказала Марта.— У него и три пальца ужасно сильные. Стоят целой руки. Попробуй, сама увидишь, словно клещи...

Анна протянула парню руку и почувствовала, как три шершавых крепких пальца обхватили и сжали ее ладонь.

— И это он еще жмет не слишком сильно,— пояснила Марта.— Вот если бы захотел сжать как следует...

И она хихикнула. Анна отняла свою руку. Каменщик затянулся цигаркой, которая почти потухла. Кончик окурка вспыхнул, осветив худое длинное лицо.

— Вот что такое война,— сказал он.— Но мне-то еще повезло, раз я здесь. Сержанта рядом со мной превратило в кашу.

— Да, такова война,— грустно повторила Марта.

И она украдкой взяла руку Анны и погладила ее.

Под навесом папаша Аллегр обсуждал цены на пшеницу и всякие трудности, с которыми приходится сталкиваться. Удобрения, машины. Один из соседей рассказывал о том, как у него сдохла лошадь, прекрасная лошадь. А городские по-прежнему ничего не понимают. Говорят, будто крестьяне стали богаче. Пусть-ка приедут посмотрят...

Глухие от усталости голоса становились тише и речь — медленнее, словно шаги рабочего, возвращающегося с тяжелой работы домой. Гул то затихал, то нарастал. Одна из женщин жаловалась на цены. На все: на фартуки, на обувь, на рабочую одежду. «А что уж говорить о приданом для девушки,— вздыхала она,— известно, во что оно обходится. Еще ладно, если девушка остается в доме родителей. Но если уходит и должна взять с собой все необходимое, вот тогда расходы так расходы! А ведь есть такие, которые выходят замуж, не имея ничего».

Из темноты появилась старуха Аллегр. Должно быть, она какое-то время прислушивалась к разговору, не вступая в него.

— Да,— сказала она,— вот так вышла замуж и я. Когда приехала сюда, у меня кроме рубахи да пары простынь ничего не было. Простыни для свадьбы и для похорон — все заодно. Так говаривала моя

мать. Суровая была женщина. Всю жизнь только о работе и думала... В те времена жали серпом. О машинах знать не знали. В город ходили пешком. Это теперь напридумывали машин для чего угодно...

Она усмехнулась.

— Что ж, машины — это хорошо, бабушка,— сказал медленно каменщик.

— Да,— ответила старуха,— когда они служат для того, чтобы обрабатывать землю, а не убивать людей.

— Машины не должны применяться для убийства,— сказал каменщик.

— Да, конечно, но мало ли чего не должно быть, а вот есть. Никто не может этого изменить, никто...

Так же внезапно, как и появилась, Жанна Аллегр исчезла в кухне. Все соседи разошлись. Женщины выносили пустые блюда и груды тарелок. Небо потемнело. Вернь в последний раз чокнулся с папашей Аллегром и пошел. Проходя мимо кухни, он заглянул туда. Анны там не оказалось. Марты тоже. Они наверняка были где-нибудь вместе. Вернь еще раз попрощался и стал спускаться вниз по косогору. К нему присоединилось еще несколько человек. Разговор шел о погоде и о реке. Приближался сезон ловли карпа. Вернь время от времени украдкой оборачивался, чтобы взглянуть, нет ли где Анны и ее матери. Но они, очевидно, остались у Аллегров. И вернутся домой намного позднее.

Шедшие с ним по деревне люди постепенно расходились по своим домам. У выхода на шоссе около подвесного моста Вернь остался один. Он замедлил шаг и осмотрелся. Стало уже совсем темно. Позади, на косогоре, светились слабые огоньки. Впереди высились ряды раскачиваемых ветром тополей. Вернь перешел дорогу и медленно углубился в рощу.

Анна взяла Марту под руку и увлекла за собой в сад. Перед ними в легкой лиловой дымке расстилалась равнина. Анна сказала, что у нее разболелась голова и она хочет подышать свежим воздухом. Ведь днем стояла гнетущая жара, и воздух был пропитан запахами бензина и пыли.

Они шли по скошенной, похрустывающей под ногами траве. Небольшие деревья вырисовывались на горизонте чернильно-черными силуэтами.

— Что с тобой? — спросила Марта, когда Анна вдруг заплакала.— Ты плохо себя чувствуешь?

— Нет, не знаю...

Она положила голову на плечо подруги и зарыдала еще горше.

— Что-нибудь болит?

— Не знаю. Так просто. Устала.

— Ну что ж, поплачь, тебе станет легче. Это все из-за жары и солнца. Ты слишком много работала. Работала, как безумная. Я видела, как ты таскала мешки... Это мужская работа. Сумасшедшая...

Марта гладила ее лоб. Анна успокаивалась. Она положила обе руки на плечи Марты. Рыдания стихли. Она бормотала что-то бессвязное. Марта ничего не понимала. Она подняла голову Анны, вытерла мокрые щеки.

— Что ты говоришь?

Лицо Анны белело в темноте. Густые волосы обрамляли его словно рамкой, глаза запали, потускнели.

— Я думаю об Эли,— пробормотала она.— Я сошла с ума.

— Нет, ты не сошла с ума...

— Если бы Эли вернулся...

— Замолчи, замолчи. Лучше поплачь, и тебе полегчает...

Как послушный ребенок, Анна уронила голову на плечо Марты и снова зарыдала.

По другую сторону огромного двора слышались голоса. Муж Марты стоял в дверях кухни — ярком прямоугольнике света — и звал их:

— Марта, Анна, где же вы?

■

Анна лежала на кровати — руки вытянуты вдоль тела, волосы рассыпались по подушке. В спальне было темно. Лишь слабо светилось окно, выходившее на луг. Это лунный свет проникал сквозь прорези ставен.

Кровать стояла недалеко от окна. Изголовье примыкало к стене кладовой с погребом. Комната рядом была пуста. Бывшая спальня Филемона... Теперь в ней хранили картофель, обмолоченную кукурузу, семенное зерно, старую упряжь. Кровать задвинули в угол. Далее шла спальня родителей.

Анна не спала. Она слышала, как часы на колокольне пробили одиннадцать, потом двенадцать раз. Дверь была закрыта, створки окон распахнуты, но тяжелые деревянные ставни заперты на крючок.

Из хлева иногда долетали глухие звуки. Коровы шевелились во сне, а может, жевали. В ночной тишине лаяли собаки. Гаронны не было слышно. Река текла спокойно, вода в ней спáла. Порывами набегал легкий ветерок, донося лай собак и шелест листвы на деревьях, что росли возле дома.

Картины родного края сменяли одна другую под закрытыми веками лежащей женщины. Ей виделась прежде всего излучина реки, то черная, то прозрачная ее вода, окаймленная темной бахромой склонившихся к ней ветвей. Лунный свет мерцал на каменистом проселке, на песчаных отмелях, на извилистом шоссе. Пучки света цеплялись за тросы подвесного моста. Тихо журчала между его широкими быками вода.

Луна поднималась вверх по крутому склону деревни, высвечивая стены домов, остроконечные верхушки крыш, ветхие башенки. Пятна белого света резко контрастировали с тенью. Столбы из выщербленных кирпичей в лунном потоке становились вдруг похожи на изъеденные веками древние статуи. Чернильно-черные проемы входов зияли под белыми фасадами, казавшимися бархатными. Кругом царили безмолвие, неподвижность...

Запоздавшему путнику, что видит вечером эту деревню, погруженную в глубокий сон, невольно вспоминается одна из тех пустынных, заброшенных деревень, на которую можно набрести в горах или отдаленных местах. Проходят столетие за столетием, не принося никаких перемен. Заросли́ травой едва различимые тропинки, стены оседают или уже совсем осели. Кажется, будто ты попал в царство вечной смерти. Будто тяжелые своды старых арок чувствуют смену времен года, которые приходят и уходят, чувствуют силу времени, которое все побеждает. И люди приходят, и уходят, и вновь приходят. Но как мало значит их приход или исчезновение. Разве их присутствие изменило что-либо в этом неподвижном и грустном пейзаже? Никто этого не знает. Только иногда задумываются об этом. Белый свет луны на черных стенах — так было и так будет вечно.

Стена усадьбы Аллегров проходила по самому краю косогора и в лунном свете выглядела молочно-белой. Длинная прочная стена в стороне от извилистой дороги, разделявшей деревню снизу доверху на две части. От дороги к воротам Аллегров вела узкая крутая тропинка.

Мысленно Анна была там. Она пробралась сквозь непроницаемую темноту берега Гаронны, сквозь густые заросли, прошла по деревенским улочкам, окутанным обманчивым светом луны, и остановилась именно около этой высокой белой стены, что стояла на краю большой равнины.

Ей вспоминался прошедший день.

Марта сказала, что каменщик Бертран задержится еще на несколько дней, чтобы сделать на склоне лестницу, ведущую к большим воротам усадьбы Аллегров.

Старики издавна обходились без лестницы. Склон был не слишком высокий, но очень крутой. Зимой в гололед на нем ничего не стоило переломать руки и ноги. Марта надумала сделать здесь лестницу, и муж согласился. Старая Жанна вытаращила от удивления глаза. Лестницу? Господи, да зачем? Обходились же до сих пор без нее. Стоит ли тратить пять или шесть мешков цемента ради нескольких ступеней? Хватает и других, более насущных забот. Она, старуха, поднималась и спускалась по этой крутой тропинке сотни раз, то с ведрами в руках, то с корзиной на голове, то с узлом белья для стирки за спиной...

А папаша Аллегр все продумал. Работу Бертран выполнит просто так, по дружбе. Все равно ведь приедет на молотьбу. Дело-то и займет один-два дня, не больше. Гальки для раствора сколько угодно. Сам он с зятем будет у Бертрана на подхвате. Потратиться придется лишь на цемент. Ну что ж, раз хотят, пусть будет лестница.

Анна слышала голос каменщика. Он говорил негромко, размеренно, слегка гортанным голосом, растягивая на здешний манер окончания слов, но звучало это даже приятно, так как речь его была неторопliва и спокойна.

— Лестница — дело непростое. Это вам скажет любой каменщик или плотник. Лестница в доме — главное, будь она у входа или на верхние этажи. Даже если это всего несколько ступенек. Подумайте, сколько раз вы по ней пройдете. Ступени должны быть в размер ноги, не больше, как раз такие, чтобы удобно было поставить ногу и чтобы она не уставала. И высота ступеней тоже важна. На первый взгляд кажется — какая разница. Но сделай ступени на один или два сантиметра выше, и у вас сразу появится одышка. Вы удивитесь: что со мной сегодня, как я устал!.. Нет, просто это плохая лестница. Подумайте-ка, ведь вам придется подниматься и спускаться по нескольку раз в день! И на поворотах тоже надо делать площадки, чтобы дать ноге отдых. А то устанете еще больше.

Она почти не видела этого парня. Стояла с ним рядом, а смотреть не смотрела. Он был высок, выше ее, худощавый, ладный. Лицо припоминалось смутно. В памяти всплывали лишь темные волосы да толстоватые губы, на которых блуждала чуть грустная полуулыбка. Ей особенно вспоминалась его изуродованная рука, которую она взяла в свою, или, вернее, как эта рука сжала ее ладонь тремя сильными пальцами. Шершавая рука крестьянина-каменщика. В тот момент, когда она протянула ему свою руку над коленями сидевшей рядом Марты, их лица сблизились. Но было уже темно, и улыбка каменщика, который рассказывал о своем ранении, скрадывалась, стиралась в наступавшей темноте...

Анна приоткрыла и снова закрыла глаза. В доме Дельпешей царила тишина, но снаружи доносился какой-то шум.

Кто-то дергал ставни окна.

Ей показалось вначале, что ставня скрипит от ветра. Но нет, это был не ветер, чья-то рука скребла ставню, кто-то стучал по ней костяшками пальцев. Затем послышался глухой голос:

— Анна! Анна!

Она узнала голос Верня.

Вся усталость прошедшего дня вдруг сковала ее тело. Ей хотелось сейчас только одного — забыться в спокойной тишине дома, уснуть.

— Анна, Анна! — снова прозвучал голос более настойчиво, но все так же глухо.

Рука за окном пыталась открыть ставню. Крючок скрипел. «Надо ему сказать, чтобы он ушел,— думала она.— Он уйдет. Иначе же так и будет колотить по ставне».

Она не спеша встала и направилась к окну. Ее голые ноги шлепали по глиняным плиткам. Она подняла крючок и приоткрыла створки ставен. И тут же увидела почти весь луг, освещенный луной. Плотный, приземистый человек стоял в тени дома, подняв руки к подоконнику.

— А,— сказал он,— так, значит, ты здесь...

— Я устала,— сказала Анна совсем тихо.—Не мешай мне спать!

Но руки Верня еще тянулись к ней. Он сжал ее ладони.

На ней была ночная рубашка с короткими рукавами. Она высвободилась мягким неторопливым движением.

— Оставь меня сегодня в покое. Знал бы, как я устала. Да ведь ты и так прекрасно знаешь, что я страшно устала после такого дня. Иди домой!

— Я не смог сказать тебе ни единого слова. За весь день ни разу к тебе не подошел. Я...

Он оборвал себя на полуслове, но руки его тянулись к голым рукам Анны. Она отступила на шаг в глубь комнаты. Но когда он попытался открыть ставни, она нагнулась, чтобы притворить их. Ему показалось, что Анна склоняется к нему. Она почувствовала на своем лице его учащенное дыхание.

— Выйди хоть на несколько минут. Поцелуй меня...

— Нет, нет, не сегодня... Я устала. Пора спать.

На нем была темная рубашка с застегнутыми карманами. Ворот был широко распахнут, и в разрезе виднелся тяжелый подбородок. Мелкие капельки пота блестели на его висках. Глаза были широко открыты. Он пристально смотрел на нее.

— Выйди,— сказал он резче.

— Замолчи,— прошептала Анна,— ты разбудишь весь дом. Уже полночь.

Он снова повторил свою просьбу, и она прозвучала одновременно как приказание и как мольба.

Его правая рука опять протянулась к ней, и он ухватился за открытый ворот рубашки Анны. Зажав ткань в кулак, он потянул ее к себе. Захваченная врасплох, Анна не могла высвободиться, и ей пришлось подойти поближе. Сквозь ткань рубашки ее бедра ощутили холод каменной стены. Этот внезапный холод после комнатного тепла вызвал у нее дрожь. Вернь сжимал рукой ее голые груди.

— А ну, оставь меня!

Она попыталась оттолкнуть его руку, ставшую почти грубой.

Он приподнялся к ней.

— Послушай, я хотел тебе что-то сказать. Если ты захочешь, я все оставлю и мы с тобой уедем. Я все обдумал. Я давно уже думаю об этом. И вот решился...

— Ты с ума сошел,— ответила она, пожав плечами.

Она усмехнулась слегка презрительно, и он почувствовал это презрение. Его рука стала еще грубее.

— Нет, я не сошел с ума. Я знаю, что делаю. Мы уедем. Что бы ни...

— Ты сошел с ума. Оставь меня! Мы поговорим об этом в другой раз. Сейчас не время.

— У меня есть деньги. Мы можем уехать, спокойно жить, ты понимаешь. А здесь... Что ты здесь делаешь?

Она нахмурилась. Что хотел он сказать? Что ты делала сегодня вечером или же вообще что ты делаешь в этом краю? Что ты сделала со своей жизнью?

— А твоя жена?

— Не заботься о моей жене. Не заботься ни о чем. Мы можем уехать, когда захотим. Я богаче, чем думают. Ты будешь счастлива...

Он еще сильней притянул ее к себе, но теперь это было не грубостью, не злостью, а желанием. И тут неожиданно она словно когтями вцепилась в кулаки Верня.

— Оставь меня! Оставь же меня наконец! — прохрипела она.

Он застонал:

— Мне больно!

Ее ногти вонзились еще глубже, до крови.

Он отступил. Она проворно захлопнула ставни и заперла их на крючок.

Мужчина тщетно бил кулаком по плотному дереву ставен.

— Открой!

Он выкрикнул это громко. Сердце Анны заколотилось не то от страха, не то от радости, она и сама не знала от чего. Как будто этот крик мог сокрушить их дом и все остальное вместе с ним. Она все еще стояла голыми ногами на плитках пола, склонившись к окну с закрытыми ставнями. Свежесть ночи исчезла. Ее снова окружало спокойное тепло дома.

Она еще раз услышала крик Верня, но от гнева он звучал приглушенно. А может, он казался таким глухим из-за толстых ставен. Он становился все тише, и она уже не думала о нем. Мыслями она была настолько далека от него, что уже не узнавала его голоса.

— Шлюха, шлюха,— кричал он,— я знаю, с кем ты теперь. Знаю с кем, знаю...

Он упорно продолжал свое, и кулак его настойчиво бил по тяжелым старым ставням.

Она не отвечала. Сердце перестало гулко колотиться. Ей было наплевать на Верня и на шум, который он мог поднять. Она подошла к постели и снова легла.

В комнате была кромешная тьма. Даже лунный свет не проникал в прорези ставен. Она снова была во власти дома, снова принадлежала ему. Если старая Тереза проснется, она ей скажет: «Ты же видишь, я здесь, в комнате, сплю, засыпаю...»

Она погладила тяжелую копну своих распущенных волос. И даже если Жан-Мари встанет и придет к ней на своих слабых ногах, она тоже скажет: «Да я здесь, посмотри, я сплю...» И если тот, другой, придет к ней из ночи и приблизит к ее лицу свое страдальческое лицо, она сможет протянуть к нему руки и показать, что она одна, одна в спальне, как невинный ребенок, у которого нет прошлого. «Я сплю... Сплю...»

Перед тем как она погрузилась в глубокий сон, нечто похожее на смутное желание шевельнулось в ней, но разум ее блуждал в спокойном тумане.

Она слышала, как Вернь еще топтался под окном, потом выругался в последний раз, и дом погрузился в полную тишину. Он ушел.

Анна слышала проникавшие к ней звуки: стрекотанье кузнечиков и шум листвы на дороге от реки к белой стене дома Аллегров, что стоял там, наверху...

IV

В голове у Верня отдавался звук чьих-то шагов по камням мостовой. Камням, что лежали там с давних пор, образуя между сточными канавами и вспученными животами домов ямы, рытвины, колдобины.

Мрак давно спустился на город. Весь квартал спал, окутанный ноябрьскими дымами.

В такие часы кажется, что с наступлением ночи маленькие города пригибаются к земле. Почти сливаются с ней. Где-то в полях возникают ветер, дождь и туман и тяжело надвигаются на дома.

Серые, почти черные лавчонки, дремлющие вокруг площадей, еще больше темнеют и сливаются одна с другой. Двери домов хлопают от ветра. Ставни стонут на своих петлях. Лампы погашены или подкручены так, что на улицу не проникает даже слабый свет. Глазницы старых домов темны.

Силуэты случайных прохожих исчезают, проваливаются в пустоту. Их словно заглатывают темные коридоры улиц. Со стороны улиц, выходящих на берег Тарна, долетает скрип деревьев, все больше и больше теряющих свою листву. Ветер разносит по земле черные листья. Как он стар, этот осенний вечер, как стар! Как пронизан грустью, скорбью и бедами прошлого! Потеряв глаза, дома становятся еще ниже. Черепица превращается в свинец. Всем своим видом давит она на древние балки, голубятни, крытые переходы. Город сплющивается, пригибается к самой земле, исчезает в многовековой пыли.

Вокруг базарной площади под навесами лавок завывает ветер, неприбранные витрины молчаливо прижимаются друг к другу, словно старухи во время церковной службы. Кто там шепчет, кто плачет? Ветер, туман или какой-то неведомый призрак, терзаемый муками то ли прошлого, то ли настоящего? Что же произошло тогда, что сделало такими тяжелыми пыль и туман?

Стоял ноябрь. Облетала листва, от покрытой черной рябью реки веяло холодом.

Рано наступившие зима и ночь окрашивали дома этого квартала в скорбные тона.

Вернь сидел за кассой. Он только что закончил свои подсчеты. Сидел и скручивал себе цигарку. Скрутив, закурил, небрежно перелистывая газету. Реймонда еще возилась в их тесной кухоньке, где она, перемыв посуду и протерев мебель, как всегда вязала или штопала. Затем поднялась в спальню на второй этаж.

— Ты идешь?

— Да, сейчас,— ответил Вернь.

Он уже выкурил цигарку и сонным взглядом просматривал страницу газеты.

Цинковая стойка была чиста и мягко поблескивала. Справа стоял горшок с цветком, слева — высокий стеклянный бокал с тремя бумажными розами.

Зал был узкий и длинный. Стулья перевернуты на мраморные столики. Чтобы удобнее было мести пол. Вернь подметал его вечером или утром, как когда. Опрыскав зал водой, он разбрасывал опилки. В тот вечер пол был уже подметен. На нем просыхали темные извилистые дорожки.

Небольшое зеркало со скошенными краями и рекламные афиши украшали боковые стены. Горела только лампа на стойке. Зал кафе был погружен в полутьму. Лишь кое-где лежали блики света, отражаемые зеркалом. В потемках поблескивал какой-то плакат. На нем проступали странные слова «КИНА СОЛНЦЕ». Название аперитива. Золотые буквы сияли рядом с полным стаканом, из которого струились тоже золотые лучи. Чуть дальше, на темном фоне, виднелось женское лицо. Испанка с красной гвоздикой в волосах. Прижав к губам стакан аперитива, она скользила в легком танце. Ее гибкий длинный стан был изогнут... В памяти Верня она все так и скользила в этом танце.

Звук, который еще и по сей день стоял в ушах Верня, был топот человека, бегущего по острым камням переулка, что выходил на площадь.

В те вечера с улицы никогда не доносилось ничего, кроме легкого дыхания ночи и по временам — шагов патруля. Но патрули редко появлялись в этой стороне. Вернь слышал их два или три раза. Патрули не задерживались, они проходили быстро, точно чего-то боялись или были уверены в том, что не обнаружат ничего подозрительного.

В их поступи слышалось бряцание металла о камень — звук, в котором не было ничего человеческого. Патрули грубо врывались в вымерший квартал. Неужели это были люди из плоти и крови, как все вокруг, или же — железные роботы, какие-то страшные машины? Верню трудно было представить себе их лица. Патрули... Как будто стальные колуны стучат по липовым стволам. Потом над улицами и домишками снова брали свою власть прошедшие годы и туманы с ветром. Стук сапог постепенно затихал, словно последние раскаты грома.

Все вокруг спало в обманчивой тишине комендантского часа, да и Вернь тоже готовился идти спать, когда на улице послышались быстрые шаги.

Бежал человек.

Вернь закончил подсчеты и размышлял около своей стойки. Он неторопливо размышлял о днях грядущих и днях прошедших.

Никто не знал, что будет впереди, только гадали и ждали. И Вернь тоже ждал. В конце концов всему приходит конец.

Не может же эта война длиться вечно. Война, оккупация, пустынные по вечерам улицы, полные странных вздохов, беспокойства, эти посетители, на которых смотришь и спрашиваешь себя: «Что ему нужно? Откуда он и как с ним разговаривать?»

Сам Вернь не слишком страдал от войны. Бояться приходилось тем, у кого были дети, или тем, кто вел себя не слишком смирно. Бояться холода, плохого хлеба и всего остального. Вернь вел себя смирно. Дела его понемногу шли. В базарные дни ему кое-что перепадало. Выкручивался, слава богу. Кто-нибудь приносил кролика, либо дюжину яиц, либо муки. Вернь в обмен давал вино. В безалкогольные дни крестьяне, подмигнув, заказывали «настой». Вернь подавал на дне чашки немного виноградной водки.

Люди рассуждали об урожаях, пшенице, хлебе, скоте и реквизициях. Все были недовольны. Не хватало хлеба, прежде всего хлеба. Некоторые пекли блины из муки, которую тайком мололи в ручных мельницах. Но вот хлеб...

Вернь говорил мало. Он был любезен и услужлив. Не больше, не меньше. Разве знаешь, что тебя ждет? Посетители обсуждали положение, говорили о боях, которые шли в Киренаике и в России, гадали, чем все может кончиться. Но толком никто ничего не знал. Только вздыхали: ну что ж, надо надеяться, что...

В лесах и горах формировались отряды партизан. О них говорили полунамеками. Вернь слушал, поддакивал то одним, то другим, но сам никогда не высказывался.

Человек бежал по булыжной мостовой. Звук его шагов становился все отчетливей и отчетливей. Вернь знал, что через несколько секунд он пробежит мимо закрытых ставен кафе. А затем окажется перед пустынной ночной площадью. Куда он побежит дальше?

Направо, налево или все так же прямо? Может быть, он свернет под навесы? Или рискнет продолжить свой путь вперед, пересечет

открытое пространство площади, окруженной домами, и помчится дальше?

И вдруг Верн понял, что́ показалось ему странным в беге этого человека в ночи. Ведь человек был один, вот в чем дело.

Он погасил свет. Реймонда, конечно, уже уснула. Не дождалась его. Он найдет ее в постели — свернувшуюся комочком, щупленькую, невесомую. Проскользнет к ней под одеяло, но она не шелохнется. Даже дыхание ее будет едва слышно. Она засыпала сразу же. Да и вставала так же, как и ложилась, быстро, молча...

Город ей не нравился. Ей хотелось вернуться в деревню, на природу. Она родилась в отдаленном поселке департамента Лот. Когда еще девочкой осталась сиротой, ее пристроили в городе. Там она встретилась с Верном. Он тоже был одинок. Они купили это маленькое кафе почти даром и жили потихоньку-полегоньку. Детей у них не было.

Теперь молодость осталась позади. Они кое-что поднакопили, и им хотелось приобрести где-нибудь неподалеку в деревне дом, просторный и чистый, не то что их две небольшие пыльные комнаты, дом на берегу реки, так как Верн любил воду и рыбную ловлю...

Да, так и было, человек стучал в ставни кафе. Глухо, сдержанно, но очень сильно. Верн слушал в темноте.

Человек стучал безостановочно. Он с силой колотил по дереву. Наконец он прервал на мгновение стук и задыхающимся голосом крикнул:

— Откройте, откройте же мне!

Он кричал, и в то же время чувствовалось, что он боится кричать. Голос его напоминал звук ударов по ставне. Такой же глухой и такой же настойчивый.

Верн не двинулся с места. Он сидел на стуле выпрямившись, вытянув руки, уцепившись пальцами за край стойки. Он застыл словно каменное изваяние. Зал был погружен в темноту и безмолвие. Казалось, он стал огромным.

Когда Верн вспоминал об этой минуте, ему представлялось, что он тогда склонился над пропастью. Точно стены кафе вдруг раздвинулись, пол провалился, а входную дверь отбросило куда-то в бесконечную даль.

Стучавший был там, за этой дверью. Именно оттуда доносился шум. Барабанная дробь кулаков по старому дереву ставен. И дыхание незнакомца, его сдержанный, но требовательный, умоляющий, но настойчивый голос, голос человека, у которого нет иной надежды на спасение.

Действительно ли Верн слышал его дыхание? Или то был ветер, пробравшийся под навесы после того, как он исстегал облупленные стены домов соседней улицы? Почему человек стучался именно сюда? Не потому ли, что дом был последним перед площадью?

Голос выкрикнул еще раз:

— Откройте! Или...

Затем он смолк, и Верн больше не слышал его. Кулаки уже не стучали по ставням. Да, все произошло удивительно быстро. И тогда в наступившей мертвой тишине — Верню показалось, будто его поглотила черная глыба как бы застывшей, затвердевшей ночи,— послышался другой звук.

Ноги человека шаркнули по тротуару возле двери. Тротуар из мелкой желтой гальки, выложенной ровными полукружиями в бетоне. Человек развернулся на подошвах своих ботинок. Они заскрипели по бетону и гальке. И Верн понял, что человек снова бросился бежать. Побежал направо, вдоль домов, под навесы.

Но почему же все-таки он остановился у его дома? Может, знал Верня? Но Верню не был знаком его голос. Правда, в таких случаях все голоса становятся похожими. Впрочем, будь это его приятель или

знакомый, он, конечно, назвался бы и все объяснил. Он явно не хотел разбудить соседей, он хотел только, чтобы ему открыли скорей, как можно скорей...

И именно тогда возник этот тайный голос, далекий и в то же время близкий, как ветер в лесу: «Ты боишься, Вернь, ты не посмеешь ничего сделать, ты не сдвинешься с места...»

Человек убежал. Наступила тишина. Он, наверное, уже пробежал мимо домов, повернул за угол под навесы, а там бросился по первой попавшейся улице.

Позднее Вернь спрашивал себя, не слышал ли он еще какого-нибудь шума, еще чьих-то шагов, не слышал ли он грохота мотоцикла или машины, ну хоть чего-нибудь. Нет, в памяти у него четко запечатлелись лишь звук шагов бегущего человека и его задыхающийся голос. И все. Но смерть пришла не из таинственной темноты, не из пустоты. Она пришла из винтовочных стволов; ни тишина, ни густая чернильная темнота, окружавшая незнакомца, не могли породить ее.

Вернь не помнил, ему никак не удавалось вспомнить.

Человек идет, человек бежит, человек убегает. Все, что было за пределами этого — настоящее и вымышленное, подлинные воспоминания и игра воображения,— все перепутывалось. И, однако, смерть — не костлявая старуха с косой, которая, оторвавшись от стены, накинулась на бегущего человека. У этой смерти, как и у него, было и имя, и ноги, и пальцы рук.

Вернь рылся в глубинах своей памяти. Он оцепенел перед бездонной чернотой. Шарканье подошв, бег по бетону и камням. Безымянный человек появился из ночи и снова скрылся в ночи, покуда ослепительная молния не отбросила его в край вечного сна. Ночь, навсегда врезавшаяся в память.

Выстрел, внезапный, как удар бича, оглушительная очередь потрясли Верня. Его пальцы впились в край стойки. Губы дрожали. Ему показалось, что он видит, как вспышки молнии избороздили потемки синими и красными полосами, полосами чьей-то крови.

Это произошло на другой стороне площади, довольно далеко от его дома.

На следующий день часов в десять утра, когда Реймонда вернулась с утренними покупками, она принесла новость, которую ждал Вернь.

Человека, убитого в их квартале, в назидание повесили на площади Префектуры. Многие уже видели его. Труп висел на маленьком платане у края тротуара. На одном из тех хрупких деревцев, что одевают в ажурные платьица из металла. Ноги его касались земли. Руки были окровавлены.

Позже узнали, что за этим человеком, партизаном, начали охотиться, едва он появился в городе. И когда он догадался, что его выслеживают, они уже шли за ним по пятам. Это был совсем молодой парень.

Он пытался бежать и спрятаться. За ним гнались по путаным улочкам этого квартала, затем...

Несколько дней спустя, когда над ночным городом, обрушиваясь на жалкие хибары, бушевала зимняя непогода, Вернь стоял за стойкой; ставни и двери кафе были закрыты. Трудолюбивая, как муравей, Реймонда тихо и молча заканчивала перед сном свою работу.

Он долго прислушивался, и ему несколько раз показалось, что все начинается сначала. Порывы холодного ветра, прорывавшие пеле-

ну мелкого дождя и мокрого снега, воскресили в памяти шаги. Верню чудилось, будто в темноте кто-то бежит. Человек пробегал по улице. И вот уже он здесь, касается ставен. Но он больше не стучит. Он бежит в сторону галантерейной лавочки.

Его шаги звучат перед конторой Земельного банка. Домом с узким фасадом и двумя желтыми вывесками, на которых чернеют надписи: ВКЛАДЫ НАЛИЧНЫМИ, РАЗЛИЧНЫЕ ВКЛАДЫ, ССУДЫ КРЕСТЬЯНАМ, АВАНСЫ ЗА ЗЕРНО...

И дальше, у лавки скобяных изделий, потом у парикмахерской со скрипевшим на ветру помазком из ржавого листового железа и дальше, у отделения небольшого банка, которое работало по базарным дням: УЧЕТ И СБОР ТОРГОВЫХ ВЕКСЕЛЕЙ, ХРАНЕНИЕ ДЕНЕГ И ЦЕННЫХ БУМАГ, ОПЛАТА АКЦИЙ, ОБМЕН ДЕНЕГ, ВСЕ БАНКОВСКИЕ И БИРЖЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ...

Шаги кружат и кружат по площади, под всегда темными и гулкими столетними навесами. И до тех пор, пока его не одолевал сон, Вернь слышал, как бежит этот человек. Время от времени он останавливался. Его руки тянулись к закрытым ставням, а глухой и торопливый голос взывал к уснувшим людям:

— Откройте, откройте же мне!

Но голос тонул в тишине и тумане. Его не было слышно, слова срывались с губ беззвучно, как в тех снах, где раскрываются уста, но невозможно понять, что говорят.

— Откройте, откройте же мне!..

Но никто не открывал. Бег вокруг площади продолжался до тех пор, пока темноту ночи не пронзала молния цвета крови и темного вина.

В тот день после обеда Вернь отправился на площадь Префектуры. Издалека бросился в глаза труп, похожий на черную обгорелую куклу. Это был молодой парень лет двадцати двух—двадцати трех. Вернь увидел его склоненное бледное худое лицо. Слегка намечавшаяся бородка придавала ему сходство с Христом. У ног его были цветы— кажется, хризантемы,— которые кто-то постарался расшвырять. От них остались лишь лепестки и расплющенные головки, вдавленные сапогами в тротуар.

Позже выяснилось, что парень — из окрестной деревни. В газетах в черной рамке напечатали его имя и возраст. Его звали Эли Аллегр, он был из деревни Пантедьё.

V

Вот и лето уже уходит, углубляется в прибрежные заросли. Трава высохла. Зеленая и красная ежевика превращается в тяжелые фиолетовые алмазы. Ветви оголяются. От жары листья жухнут и опадают раньше времени. По краям луга лишь дикая морковь все еще тянет вверх свои жесткие белые зонтики, в которых прячется маленькая пунцовая капелька, похожая на каплю крови на кружке из тюля.

Выжженное солнцем жнивье протянулось по равнине до дрожащей в колеблющемся воздухе линии горизонта. Но виноградники еще полны жизни, зеленые листья лишь слегка тронуты красными пятнами, предвестниками осени. По утрам воздух напоен запахом плодов и влажной листвы. Когда солнце стоит высоко, засушливый зной простирает свои пыльные крылья над всем краем и прохладу можно найти только на берегу Гаронны.

В эти дни Вернь выходил из дома рано утром, отвязывал лодку и плыл по течению до моста Мовер. Иногда он возвращался к полудню и спал после еды, иногда же брал с собой что-нибудь перекусить

и проводил у воды весь день. Он ловил у моста карпов. Причаливал лодку в тени у дуба и забрасывал удочки. Тяжелые грузила из свинца прорывали зеленую воду. У Верня были излюбленные места, где он старательно закладывал свою приманку: зерна пшеницы, вымоченные в анисовой водке, шарики из глины и сыра.

Ловля карпа требует терпения. Натянутая леска косой линией уходит в спокойную воду. После того как грузило резким ударом прорвет покров реки и мелкие брызги звучно разлетятся по сторонам, все умолкает. И тут уж надо ждать часами, пока катушка спиннинга вдруг не запоет и не выведет вас из оцепенения. Вначале звук похож на хруст, и удилище начинает дрожать от конца до рукоятки. Дрожь передается руке. И вот уже гудение разматываемой лески оповещает о тяжелой добыче. Карп клюнул. Извиваясь своими муаровыми боками в темной глубине, он тянет за собой леску. Поначалу медленно начинается борьба. Потом, если держащая удилище рука умеет маневрировать мягко и осторожно, рыба становится податливее. Ожидая, когда клюнет карп, Вернь ловил мелкую рыбешку.

У моста Мовер редко встречались прохожие. Все вокруг заросло колючей ежевикой и тощими акациями. Лишь изредка можно было увидеть крестьян, идущих в соседнюю деревню, или проезжие машины, заплутавшиеся на деревенских дорогах. По вечерам быстро наступали сумерки. Они струились из прибрежных зарослей и обволакивали старые быки моста. Здесь не было видно никакого жилища, ничего, что говорило бы о присутствии человека. Только вода, изъеденные ею арки моста да шум листвы на деревьях.

Там, у моста, Вернь чувствовал себя отлично. Глубокие воды ласково омывали красновато-кирпичные арки. Тихое спокойствие роднило пучину и листву. Повсюду царила тишина. Даже журчанье воды не нарушало тишины и покоя. Не думалось ни о чем, да и не было желания думать. Леска в серебристых капельках легонько подрагивала на поверхности воды. Вдалеке солнце прогревало своим теплом гальку. Бледная вздрагивающая листва тополей окаймляла горизонт.

Однажды вечером в сумерках он впервые увидел Анну. Она шла по дороге, погоняя коров к деревне. Ветер разносил звон колокольца. Между деревьями прорисовывался неясный силуэт. Вернь не видел ее лица. Он не мог бы сказать, кто это — пожилая женщина или молодая девушка. Она вышла из кустов, где уже сгустились сумерки, наложившие на нее свои серо-черные тени, и направилась к ближайшим тополям. Он не был с ней знаком, не знал ее имени. Забрасывая свои удочки, он рассеянно взглянул на женщину, которая перегоняла через мост коров. Какая-то женщина, деревенская... Это было его первое лето в Пантедьё. Он еще почти никого не знал. По необходимости познакомился с мэром, секретарем мэрии, двумя-тремя соседями, вот и все...

Их планы осуществились не скоро. Кончилась война, прошел год, за ним еще один, а Вернь все поговаривал о том, что надо бы перебраться в деревню. Реймонда охотно соглашалась, но они не могли найти ничего подходящего. То запрашивали слишком дорого, то дом был слишком стар, разрушен и стоял далеко от воды. Жизнь шла своим чередом. Вернь забыл вечер погони, почти совсем забыл. Он, словно дурной сон, канул в прошлое вместе с остальным... Однажды Реймонда сказала ему:

— Кто-то говорил мне, что в Пантедьё продается дом.

Она излагала все на свой лад: неторопливо, спокойно, никогда не подразумевая ничего иного, кроме того, что говорила. Дом стоит на хорошем месте, старый, но вполне крепкий. Его продает пожилая женщина. Она только что похоронила мужа, и для нее одной дом

чересчур велик. А сама она перебирается жить к детям в той же округе.

— Пантедьё? — невозмутимо переспросил Вернь.

— Да, Пантедьё,— повторила Реймонда.— Дом стоит за деревней, около моста. У самой воды, но, кажется, в половодье вода до него никогда не поднимается.

— Надо посмотреть,— сказал Вернь.

Название деревни его не взволновало. Он знал о ней. Небольшая деревня, приютившаяся на краю равнины. Ее название он слышал десятки, если не сотни раз, как и названия многих других деревень этого края, случайно упоминавшихся в разговорах. Он подумал: «Пантедьё... ведь парень, которого они убили, был оттуда». Он озадаченно покачал головой. Надо посмотреть. Это в тридцати километрах от города, если ехать по шоссе вдоль реки.

Через несколько дней они сели в грузовичок и отправились посмотреть дом. Он оказался именно таким, как его описали. Дверь им открыла седовласая женщина. Комнаты были просторные и чистые. Женщина вздыхала. Она продает дом с тяжелым сердцем. Вернь расспрашивал ее о крае, о людях. Ничего особенного она сказать не могла. Деревня как деревня, тихая, край, как и все другие, и люди такие же, как всюду. Выращивают виноград, пшеницу, кукурузу, скота много не заводят, так как пастбища слишком пересыхают. Земля особенно хороша для садов. У нее самой — прекрасное персиковое дерево: персики желтые, с отстающей косточкой, виноград шасла, сливы. В общем, подходящее место для того, кто хочет уйти на покой. Рыбы сколько угодно. Карп, щука. Зимой под мостом рыбу вылавливают замерзшей. В ледяной воде она вытягивается, словно высохшие ветви. Муж у нее тоже был прекрасный рыбак. Здесь водится даже угорь. Можно ставить переметы.

Женщина ходила взад и вперед, расхваливая свой дом и землю. Она снова и снова вздыхала. Ей трудно расстаться с этим местом. Да что говорить, мы живем в нелегкие времена. Сын ее побывал в плену. Слава богу, что еще вернулся.

Тут Вернь спросил у нее, много ли деревенских побывало в плену. Да, есть такие. Погибло тоже немало. И прежде всего сын Аллегра Эли, которого убили, а затем повесили... И она рассказала, как привезли его тело много позже, уже после Освобождения. Отслужили мессу. Похоронили. Юноша был помолвлен с местной девушкой.

И рука старой женщины протянулась в сторону реки. За прибрежными посадками на другом берегу она указала на коричневокрасную крышу, высившуюся над разбросанной по склону деревней, на освещенную солнцем бетонную стену.

Рука женщины опустилась, она пробормотала что-то про себя, затем повела их в сад позади дома. На этом осмотр закончился. Вернь обещал дать ответ в ближайшие дни, и, перейдя мост, они направились в сторону деревни. Прошли несколько шагов по крутой тропинке, где кудахтали невозмутимые куры, а затем сели в машину и стали подниматься вверх по склону, чтобы выехать на дорогу, пересекавшую равнину.

С дороги Вернь увидел дом Аллегров под широкой крышей из выцветшей черепицы. Позади дома, на краю равнины, простирался большой двор. От всего веяло покоем. Древняя старуха сидела согнувшись на пороге и перебирала овощи. Мужчина с седыми усами чистил хлев. Было видно, как он медленно ходит туда и сюда, поднимая тяжелые вилы с навозом. Вокруг него ковыляли белые и зеленые утки. Весеннее утро клонилось к полудню. Дорога пролегала по равнине, над которой плавали хлопья легкого тумана; сквозь них проглядывали розовые кроны персиковых деревьев.

Вернь рассматривал двор, усатого человека, сгорбленную старуху. Издалека доносились крики пахарей.

— Мне здесь нравится,— сказала Реймонда.

Оставив ее слова без ответа, Вернь направил машину к спуску. Он думал о мальчике, который вырос в этом дворе, выбегал к дороге, что ведет через равнину, и взбирался на персиковые деревья в саду. В пронизанном солнцем тумане перед ним проплывало лицо ребенка, невидимое, бесплотное. И вдруг в памяти ожил голос: «Откройте, откройте же мне!» — и Верню пришла в голову мысль: «А что, если я вернусь, приду к этому мужчине и к этой старухе и скажу им: «Я слышал голос вашего сына перед тем, как его убили, он бежал мимо моего дома, но они настигли его дальше, на другой стороне площади...»? Что за безумие! Он пожал плечами. Кто мог знать об этом? Только одна ночь. По чистой случайности он, Вернь, собирается поселиться в этой деревне, где до сих пор оплакивают сына. Ну и что? Не единственная же это деревня на свете. Есть и другие. В ту ночь за ставнями домов спали или бодрствовали многие. А тот, кто бежал, давно мертв. Вернь слышал его шаги. Ну и что из этого?

Вот и лето уже уходит в прибрежные заросли. Яркий поток солнечного света по утрам выжигает листья. Только в конце дня можно почувствовать нежные запахи Гаронны, аромат укропа и аниса, смешанный с дыханием воды. Картофельная ботва высыхает. Кукурузные початки хрустят, точно бумага. На белых от пыли перекрестках дорог тянут вверх свои обгоревшие руки смоковницы, и листья их трепещут. Пахнет медом инжир. Сладкие переспелые плоды лопаются. Налившийся виноград в медно-желтой листве. По зеленым сплетениям виноградных лоз пролегли жилки кровавого цвета. Постепенно увеличиваясь, разрастаясь, они превращаются в причудливые пятна — алые, багровые, бронзовые. Когда поднимаешься по деревенским улицам, доносится глухой скрип чанов и бочек. Мужчины окуривают серой винные бочки, чистят бадьи, смазывают прессы. По воскресеньям старики бродят по дорожкам в виноградниках и, склонившись над лозами, пытаются угадать, какое будет вино.

Итак, они поселились в этом доме. Когда деньги были уплачены и акты подписаны, когда штукатуры и каменщики закончили ремонт и Верней встретило чистое и опрятное жилье, они почувствовали полное удовлетворение. Цель их жизни достигнута. Реймонда была счастлива. Она этого почти не выказывала, не такова она была, но по тому, как она ходила из одной комнаты в другую, открывала дверь, поднималась по лестнице наверх и снова спускалась, чувствовалось, что она довольна. Она без конца что-то надраивала или чистила щеткой. Натерла паркет и купила новые занавески на окна. Наверху в комнатах повесила широкие занавески на медных карнизах с двурогими концами. Время от времени она приподнимала занавеси, чтобы полюбоваться на речной пейзаж, на подвесной мост, на сад и террасу перед домом, а иногда даже слабым голосом фальшиво напевала какую-нибудь старинную песню. Вернь занимался садом, гаражом. На прилегавшем к дому участке земли он посадил картофель и кукурузу. Там росли также несколько виноградных лоз. Проходили недели. Вернь оклеивал обоями комнаты, навешивал полки в кухне, сооружал курятник. Реймонда бродила по саду с вязаньем в руках. Склоняясь над сеянцами, она смотрела, как цветет вдоль дорожки ирис. Вернь изучил берег, потом купил лодку и исследовал дно реки. Самые глубокие места оказались около моста Мовер. Там он облюбовал место для своих удочек, там и встретил Анну.

Он стоял у края воды, один в тиши деревьев. Над ним высилась серо-розовая громада моста. Откуда-то издалека долетел звук колокольца. Потом послышалось прерывистое дыхание собаки. Медленно, задрав морды, пощипывая справа и слева листья, брели коровы. За ними шла Анна, то поднимая, то волоча хворостину.

Вернь оказался на ее пути, он поздоровался. Она ответила ему почти шепотом и отвела взгляд. Вернь вернулся к своим удочкам. Коровы уходили в гущу шелестящей листвы. Темные волосы пастушки то пропадали в тени, то появлялись на солнце, их тяжелая копна постепенно исчезала среди ветвей кустарника.

Через несколько дней Вернь снова был там — сидел на траве, а может, стоял с удочками. Раздался звон колокольца. Вечерело. У парапета показались рыжие хребты коров, за ними торс одиноко бредущей девушки. Вернь слушал негромкие звуки природы, выписывавшие свой узор на пелене тишины: роняла капли в воду листва, прыгнула где-то лягушка, просвистел дрозд, насмешливо протараторила сойка.

Девушка брела за скотиной по безлюдной дороге. Он слышал ее слегка хриплый голос, когда она успокаивала собаку или понукала корову. Теперь он знал время, когда она появлялась. Он ждал ее. Поднимался к мосту, облокачивался на парапет и делал вид, будто выбирает место для рыбалки. Они обменивались короткими приветствиями. Он смотрел, как она почти тут же исчезала, растворяясь в тени ближайших деревьев. На другой день ее хриплый голос звучал уже издалека, из глубины кустов, словно она хотела оповестить его о своем приближении. Он знал, что она пройдет мимо на закате солнца, когда он обычно отвязывал лодку, готовясь плыть к дому. Солнце еще освещало мост, когда коровы выходили из рощи. Он знал также, что она водит их на водопой вниз по течению реки. Там пролегала пологая тропинка к заливу с песчаным берегом, и коровам было легко спускаться туда.

В памяти Верня образ девушки сливался с пейзажем. Глаза ее были темные, как вода в омуте. Крупные сочные губы то отливали золотом, то казались алыми, как гладкие камешки, сверкавшие на отмелях. Воздух, напоенный вечерними запахами и ароматами берегов, предвещал появление девушки. Казалось, это и был ее запах. Однажды он почувствовал непреодолимое желание оказаться с ней рядом, сжать ее в своих объятиях. Он думал о ее тяжелой груди, о копне волос. А там, в доме у деревни, старая бесцветная Реймонда терпеливо и экономно вела свои дела, вышивая или штопая в безмолвном мраке кухни или под навесом.

■

В конце дня он прилег на склоне, у самой воды. Солнце садилось за рощей. Медно-розовый луч все еще касался моста. В бледном зеленоватом небе, как всегда по вечерам, затеяла свои игры пара сарычей. Два хищника взмыли вверх из зарослей, раздалось три пронзительных крика, повторившихся еще и еще раз. Один сарыч, тот, что пронзительно свистел, взлетел высоко в небо, другой тяжело хлопал по воздуху крыльями над верхушками тополей. Резкие крики из трех протяженных звуков «рри... рри... рри...» слышались снова и снова. Взлетевший ввысь сарыч расправил крылья и стал планировать. Солнце окрасило его в бронзу.

«Они меня видят,— думал Вернь.— У них такие глаза, что они видят все».

Оба сарыча сблизились, переплетая свои искрометные виражи. И снова разлетелись в стороны. Один скользил медленно, по дуге. Другой камнем упал вниз, раскрыл крылья над самыми ветвями и начал свой причудливый танец по верхушкам деревьев. «Они видят все, — думал Вернь,— видят уже рыскающих кроликов, заблудившихся кур, вышедших слишком рано и ослепленных светом кротов...»

Монотонный троекратный крик сопровождал пляски сарычей. Вернь не мог отвести от неба глаз. Солнечный свет постепенно угасал, покидая мост, высокий берег, скользя по гальке, словно сеть, собира-

ющая сокровища. Сарычи все еще продолжали свою игру. Но теперь уже это была не игра. Теперь они выискивали добычу. Желтые бусины глаз жадно высматривали что-то на последних озерцах солнца. Наконец птицы исчезли. Скользнули наклонно в синеватом воздухе, как бы собираясь слиться с водой, но длинный вираж отбросил их в бесконечную даль. Последний пронзительный крик — и в зеленоватом небе остались лишь две подпрыгивающие черные точки.

И вот тут-то Вернь поднялся с земли и направился к мосту. Он слегка задыхался. Он чувствовал, как колотится его сердце. Чтобы успокоиться, он сжал кулаки в карманах и с силой прижал их к бокам. Он шел тяжелым шагом.

Перейдя через мост, он спустился вниз по течению к водопою. И там, прислонясь к дубу, стал ждать. Трава и листья уже покрылись росой.

По земле глухо отдавался стук коровьих копыт. Едва почувствовав воду, коровы заспешили. Позади них тявкала собака. Она заметила стоящего неподвижно человека и, заворчав, подбежала к нему. Обнюхала его сандалии, потом бросилась к воде. Коровы уже жадно пили воду.

На вершине склона показалась Анна. Она услышала, как заворчала собака.

— Добрый вечер,— сказал из темноты Вернь.

Голос его прозвучал совсем глухо.

Девушка вздрогнула, потом нервно рассмеялась:

— О! Вы меня напугали...

Вернь направился к ней, по-прежнему держа руки в карманах и с силой сжав кулаки. Если бы он вытащил их и разжал пальцы, было бы видно, как они дрожат.

— Пора возвращаться,— сказал Вернь.

Он произнес первые попавшиеся слова, и собственный голос показался ему чужим.

— Было слишком жарко,— сказала спокойно девушка.— А теперь...

— Да, возвращаться домой не хочется. Лучшее время дня.

— Ваша лодка здесь?

Он неловко протянул руку:

— Там, за мостом.

Анна, стоя на склоне, поигрывала хворостиной, теребя ею бледные головки молочая. Опустив голову, он пошел к ней. Он взбирался по склону. Девушка стояла у высокого дерева, и ее почти всю скрывала тень. Лишь светлые пятна рук и лица покачивались в легком, зыбком тумане. Черная копна волос словно увеличивалась, расстилалась. Казалось, будто они уже у самых губ Верня, и он ощущает терпкий вкус их струящихся прядей.

У него возникло желание ринуться к ней, чтобы, прижав к себе эту нелюдимую девушку и уложив ее на осеннюю листву, унять, наконец, дрожь своих рук.

Он так и не сможет припомнить потом, что именно сделал он в последний миг и хотела ли женщина убежать или нет. Он оказался вплотную к ней и подтолкнул ее к дубу. Он прижимался к ней изо всех сил. Он чувствовал, как вначале она вся сжалась, потом ее тело обмякло. Он прижимался к ней все сильнее. Она рванулась в сторону. Вернь потерял равновесие и упал, увлекая ее за собой.

Его обдал запах земли и влажной травы. Руки Верня перестали дрожать, стали уверенными, грубыми. Она больше не сопротивлялась. Она казалась ему одновременно и мертвой, и живой. Она безвольно отдавалась...

Коровы уже шли по дороге к деревне, собака глухо лаяла в тенистых зарослях.

Вернь не знал, кто эта женщина. Она сказала ему: «Я живу с отцом и матерью у реки, по другую сторону моста». Больше он ни о чем не расспрашивал. Да ему и не надо было ничего другого, он хотел лишь встречаться с ней и сжимать ее в объятиях. Однако прошла целая неделя, пока он снова увидел ее. Все это время он поджидал ее у моста, но коров на водопой гнала не она, а тощий сутулый человек с седыми усами, ее отец. Вернь здоровался с ним, но разговора не заводил. Где же была Анна? Болела? Или боялась его?

Наконец однажды вечером он снова услышал вдалеке ее хрипловатый голос. Как всегда, уже спустились сумерки. Он бросился к ней. Она остановилась. Ее губы раздвинулись в слегка принужденной улыбке. Нет, она не болела. Помогала молотить у соседей в деревне. Вместо нее коров на водопой водил отец. Вернь сразу взял ее за руку. Она почти не сопротивлялась. Он притянул ее к себе. Его рука сжимала ее плечо под материей блузки.

И снова их слияние было быстрое и грубое.

В памяти Верня их встречи были как бы окутаны дымкой, поднимавшейся от травы. В ней смешались запах воды и запах трав, особенно острый по вечерам. Над ним и Анной — полог из ветвей и листьев. На сумеречном зеленоватом небе вырисовывался кружевной узор листвы: тесные соцветия акаций, сердцевидные листья тополей. Потом Анна вставала, торопливо приводила в порядок свои густые волосы и взбиралась вверх к дороге, ведущей на мост.

А Вернь шел к берегу, где была причалена лодка. Он медленно разматывал цепь. Звук колокольца и лай собаки в глубине рощи становились все глуше. Отталкиваясь шестом, Вернь подплывал к низкому берегу, чтобы приблизиться к ним. Но он ничего не видел. Широкая песчаная полоса отделяла его от прибрежных деревьев.

Дно лодки поскрипывало, задевая за большие камни. Вернь выплывал ближе к середине. Наступала ночная темнота. Он держал путь к деревне.

Вернь не чувствовал усталости. В ушах звучало журчанье воды, и он не слышал ничего, кроме этого монотонного звука, который сливался с его мыслями. Перед его глазами стояло ложе с пологом из ветвей и кустов и крупное, тронутое золотистым загаром лицо женщины, лежавшей в траве. Неподвижной, почти всегда безмолвной.

Вначале это молчание беспокоило его. Он подумал, что она не в своем уме. Но нет, она не была безумна, просто неразговорчива. Он пытался расспросить ее о прошлой жизни, и она рассказала ему старые байки про Филемона и Жана-Мари. Она сообщала ему кое-какие деревенские новости. Такой-то продает землю. Скончалась женщина, что живет около площади, родилось двое детей. Школьный учитель через несколько дней уезжает. Засуха подпортила кукурузу. Но вот о ней самой он, по правде говоря, ничего не знал. До войны она была помолвлена с одним местным парнем. Но семьи, сказала она, меж собой не поладили... Она была бедна...

Эта странная девушка, не предупредив его, пропадала по нескольку дней. Вернь метался от одного берега к другому, кружил вокруг усадьбы Дельпешей, но ее не видел. Она запретила ему подходить слишком близко к дому. В один из вечеров она появлялась снова. Он слышал доносившийся из глубины рощи ее глухой волнующий голос. Пора дождей и зимней непогоды разъединила их. Вернь вернулся в дом, к печальной Реймонде. Она не раз беспокоилась по поводу его поздних возвращений, но не докучала ему расспросами, не приставала. Брала у него из рук садок с рыбой, вываливала ее в раковину. И тут же принималась чистить. Запах болота и мокрой травы наполнял кухню. Вернь вздыхал и, налив себе стакан белого сухого вина, садился за стол.

— Ну вот ты и нашел себе дело,— говорила жена.

— Да, здесь отличное место,— отвечал он лицемерно.

В одно из ноябрьских воскресений он познакомился в деревенском кафе с папашей Аллегром. Верню надо было купить дров, и хозяин кабака вызвался помочь. Он знал, что у Аллегра было несколько лишних кубометров сухих дров. Поладили быстро. Аллегр назвал свою цену. Вернь согласился и выставил выпивку. Старик редко ходил в кафе. Без повода туда не заглядывал. Он расспросил Верня о его делах.

— Ну вот, теперь поживаете спокойно,— сказал он.

Вернь кивнул головой. Денег у него немного. Но есть огород и куры — жить можно. Папаша Аллегр упомянул о кафе в Монтобане. Он был там как-то раз, но теперь уже давно никуда не ездит.

Вернь засунул руки в карманы своей куртки. Вот сейчас старик и заговорит о своем сыне. Но тот только покрутил в рассеянности стакан с вином, затем выпил и обтер усы. Вернь почувствовал себя уверенней. Пронесло. Папаша Аллегр смотрел на него с симпатией. Ему нравилось лицо Верня. Но вдруг старик пристально взглянул на него.

— Они убили моего сына у Крытого рынка,— сказал он.— Это было неподалеку от вас...

— Да,— ответил Вернь, судорожно сглотнув.— Неподалеку, я помню.

— Об этом говорили по всей округе,— добавил старик.

— Я помню,— повторил Вернь.

— Вот так-то,— сказал старик почти покорно. И он склонил голову над стаканом.

Один из деревенских, приветствуя старика, сжал ему рукой плечо. Зал уже был полон и гудел. Около двери, где было посветлей, расположились картежники.

Аллегр встал. Вернь вышел его проводить. Они прошли вместе несколько шагов по площади. Аллегр смотрел на небо, предвещавшее скорый дождь. Они поговорили о погоде и о том, где лучше ловится рыба. Старик рассказывал, что в молодости он, бывало, ставил сети около низкого берега.

— У нас рыбы больше, чем нужно,— сказал Вернь.— Я могу иногда приносить вам...

Аллегр поблагодарил. Это доставит ему удовольствие. Он любит жареную рыбу. И тут же предложил Верню дойти до его дома, взглянуть на купленные дрова. Они поднялись по крутой дороге, ведущей к краю равнины. Вернь познакомился с Мартой Аллегр и ее мужем. Они выпили на кухне по стаканчику вина. Старая Жанна сидела на корточках перед очагом, жарила на сковороде картошку. Она только что вернулась с мессы.

Вернь неторопливым шагом возвращался к себе домой. Был обеденный час, и деревня выглядела вымершей. Заморосил мелкий дождь. Время от времени неожиданные порывы ветра ворохами наносили на шоссе листья платана. Взбухшая Гаронна вздыбила свою спину и текла черно-зеленым потоком, по которому хлестал дождь. Все вокруг было по-зимнему грустно. Проходя через подвесной мост, Вернь взглянул на дом у реки. Он виднелся за голыми деревьями, трава под которыми пожухла. Одинокий дом, в стороне от деревни. Где Анна? На завтра у них было назначено свидание у моста Мовер. Мягкий моросящий дождь стекал по лицу Верня. От тоскливой погоды ему стало грустно. Вдруг показалось, будто в этих потоках дождя и порывах ветра есть какая-то тайная сила. Что-то неведомое, от чего дождь становился еще серее, а ветер — еще резче. То ли тоска, то ли смутная боль — понять было трудно. А может, всему виной ноябрьская непогода и эти жалкие хризантемы, промокшие и трепещущие на ветру за оградой...

Именно в тот день Реймонда сообщила ему об этом. Они были на кухне. Только что кончили обедать. Вернь стоял у окна, курил сига-

рету и смотрел на дождь. Реймонда убрала со стола, вытерла его и вымыла посуду.

— Иди пить кофе,— сказала она мягко.

Она подошла к нему, подняла занавеску еще выше.

— Зарядил на целый день,— проговорила она.

— Да,— пробурчал Верн, отходя от окна.

Реймонда продолжала смотреть в окно.

— Тихо они там живут, на той стороне.

— Кто?

— Да в доме напротив. Их фамилия Дельпеш. Может, ты их когда и видел. Отец, мать и дочь. Еще молодая. Лет тридцать или того меньше...

— Да,— сказал Верн.

Он подошел к столу и помешал ложкой кофе.

— Она была помолвлена с тем парнем, которого повесили во время войны. Люди говорят, что теперь она сбилась с пути. Гуляет...

Верн пил кофе маленькими глотками. Он все еще слышал голос жены. Глухой спокойный голос кружил по кухне, словно надоедливая муха. Его сердце вдруг заколотилось. Ах, вот что. Все они это знали. Анна была невестой Эли. Человек, который бежал тогда ночью, человек, за которым гнались, любил эту девушку.

— Странная девушка. Анна, ее зовут Анной.

Вкрадчивый голос Реймонды продолжал звучать в темной кухне. Казалось, что наступила ночь. Дождь бороздил оконные стекла.

«Боже,— думал Верн,— как же все переплелось. Анна была невестой Эли. Тот парень, которого они повесили, любил девушку из Пантедьё. А почему бы ему не любить девушку из собственной деревни? Это вполне естественно. Останься он жив, вернулся бы домой, Анна вышла бы за него замуж. Стала бы его женой».

Реймонда все еще говорила. О чем она? О дожде, о том, что Гаронна поднимается, о ценах на картофель. Она купила картофеля. Своего им не хватит.

Она сидела склонившись над работой. Вязала для Верня свитер из толстой шерсти.

Эли не вернулся. Анна сбилась с пути. Об этом, наверное, болтали кумушки в бакалейной лавке или возвращаясь из церкви. Такая мужественная красивая девушка, и вот вам. Отдается первому встречному. И ему, Верню, отдалась, как отдалась бы любому другому. Она ничего не знала. Она не могла знать о том, что произошло однажды ночью, когда Верн прислушивался к шагам человека, за которым была погоня. Вот как может повернуться судьба. В жизнь Верня вошло нечто роковое. Тот парень был из Пантедьё. И именно в Пантедьё Верн приехал, удалившись от дел, и здесь, в лесу, он встретил женщину, предназначенную тому, другому.

В этот день нечто похожее на страх вкралось в душу Верня и мурашками пробежало по спине. До самого вечера эти мысли не выходили у него из головы. Ему вспоминались летние вечера и молчаливая загорелая девушка, которая выходила из зарослей кустарника. Запах реки, звуки тихого летнего вечера пробивались сквозь потоки ноябрьского дождя.

Он сказал себе: больше я ее не увижу, не надо. Но он прекрасно знал, что лжет самому себе. Знал, что снова начнет метаться от одного берега к другому, от акаций к тополям, чтобы разыскать эту женщину...

С тех пор прошли месяцы, был и снег и дождь и снова снег — роняли свой цвет сливовые и персиковые деревья. Опять пришло лето. Верн вернулся в прибрежные заросли. Но теперь он один. Эта жен-

щина не желает его больше. Свиданий отныне не будет, он это знает. Он любил женщину, которая предназначалась тому, убитому, а теперь она выбрала другого. Ты же старик, Вернь.

Лето идет, постепенно углубляясь в леса. Засуха свирепствует на раскаленных дорогах, проложенных в прибрежных зарослях, корежит листья, созывает осенние и зимние ветры с отдаленных верхушек холмов. Летний зной выжигает голые поля. Пшеница уже собрана в амбары. Листья виноградников окрашиваются в пурпур. Словно потоки крови текут по долине. Недалеко то время, когда земля сбросит свои плоды и снова замолчит под снежным покровом.

VI

Бертран Лубанс делал лестницу для Аллегров. На ней будет двенадцать ступеней, ровно двенадцать. Двенадцать ступеней — это пустяк, если уметь их сложить. Ступеньки будут удобные. Они пройдут по склону, сделают подъем легким. «Самое главное,— объяснил каменщик,— это начало».

Он усмехнулся: как и в других делах, строя лестницу, надо уметь начать. Длина должна строго соответствовать высоте. А иначе будешь строить, не зная, где остановиться, да и цемента уйдет масса. И себе доставишь хлопот, и те, кто будет ходить по лестнице, тоже помучаются.

Он мешал цементный раствор во дворе на ровной площадке возле старой крутой тропинки. Большая с закругленными краями лопата со скрежетом вонзалась в желтый песок. Бертран рассекал мешок острием, высыпал цемент и смешивал его с песком. Лопата ловко ходила в его руках. Эта работа требует аккуратности: размешай цемент плохо — бетон местами получится слабый, пористый.

Сделав углубление пошире, он налил туда воды, потом скрутил себе маленькую самокрутку.

— Пусть хорошенько пропитается,— сказал он.— Времени хватит.

Крупинки цемента и песка потихоньку впитывали в себя мутную воду. Когда уровень воды снижался, круглый край лопаты осторожно подравнивал края. Но вот вся вода впиталась, и каменщик поднял первую лопату, наполненную влажным месивом. Лопата ходила взад и вперед. Бертран, как косец, раскачивался на широко расставленных ногах. Он вонзал лопату в черную, похожую на коврижку смесь и снова поднимал ее, чтобы получше перемешать.

Приготовив раствор, он поставил опалубку и начал делать ступени. Слой раствора, слой камней. Их у папаши Аллегра было запасено предостаточно в углу двора. Он насобирал их в своем саду. Выбирая камни покрупнее, он наполнял ими старое ведро и относил каменщику.

Время от времени во двор выходила старуха — взглянуть, как продвигается работа. Она осторожно подходила к краю склона и, видя, что каменщик работает на солнце по пояс обнаженным, кричала ему:

— Ты не замерзнешь?

Он обтирал рукой лоб.

— Не знаю, бабуся, а коли замерзну, так приду за стаканом глинтвейна!

Проворный мастерок заполнял раствором каждую щель. Если посмотреть на мастерок — ну что в нем такого, простой железный треугольник! Но в руке каменщика он плясал, как язык болтуна. Он выгибался, поворачивался, был удивительно гибок. Он собирал рассыпавшиеся остатки раствора, накладывал слой, разглаживал его, соединяя с камнями. Затем Бертран поливал серую блестящую массу водой и утрамбовывал соколком. Смеясь, он поворачивался к старухе:

— Они будут пошире вашей ступни, бабушка. Я сделал их достаточно широкими, но если вы собираетесь на вечеринку, погодите пока ступать по ним.

— Нет-нет, не бойся, я их не испорчу.

Неподалеку папаша Аллегр подрезал колючий кустарник. Раствор еще оставался, и он попросил проложить дорожку к дому.

— Ну вот,— говорила старуха,— еще немного — и он построит нам новый дом!

— Ну уж нет,— отвечал каменщик,— я скоро уйду, у меня дома полным-полно работы.

— Да я вовсе не к тому, чтоб ты уходил; приятно смотреть, как трудятся твои руки...

К концу первого дня Анна зашла навестить Марту и взглянуть на лестницу. Работа над ней заканчивалась. Наклонные рейки поддерживали последние доски опалубки. Сооружение принимало законченный вид.

На краю склона собрались все: старая Жанна, Аллегр, его дочка с зятем и Бертран, который стоял положив руки на бедра. Они рассматривали белые плиты первых ступенек. Затем каменщик взял ведро воды и вылил его на лестницу.

— Вы ее поливаете водой? — удивленно спросила Анна.

— Да, конечно, нельзя, чтобы она высыхала слишком быстро. Раствор должен схватываться постепенно.

Жанна вздохнула:

— Я таскала здесь вверх и вниз такие тяжести! И никому в голову не пришло построить лестницу.

— Вот так и бывает, бабуся,— серьезно сказал каменщик.— Вначале никому в голову не приходит, а потом кто-то берется и делает.

Папаша Аллегр покачал головой. Он был доволен и этой лестницей и бетонированной дорожкой, сделать которую предложил он. Дом от этого выиграет в цене. Он смотрел на крепкие руки парня с отцовским восхищением. Повернувшись к зятю, спросил:

— А ты смог бы это сделать, Арман?

— Пожалуй,— ответил тот.— Я же видел, как работает Бертран. Но тут нужна сноровка.

Глаза старика уставились в потемневшую даль долины. Он думал о том, что и Бертран мог бы стать ему хорошим зятем. Правда, он не слишком разбирается в земледелии, но зато — хороший каменщик и механик. Ну ладно, стоит ли думать о том, чего нет. Его зять ему вполне подходит.

Они вошли в кухню. Каменщик в углу складывал инструменты в свой ящик. Марта взяла Анну за руку.

— Может, ты останешься с нами поужинать... Твои догадаются.

Папаша Аллегр достал из буфета бутылку анисовой. Марта расставила для мужчин стаканы. Анна взяла кувшин и пошла за свежей водой. Каменщик посмотрел ей вслед.

Папаша Аллегр, садясь за стол, перехватил взгляд Бертрана. Он открыл рот, словно хотел что-то сказать, но лишь поднес руку к усам и погладил их, не произнеся ни слова. Он неторопливо разлил анисовую водку, взял кувшин из рук Анны и наполнил большие граненые стаканы... Анисовую он делал сам, смешивая виноградную водку собственного приготовления с каким-то аптекарским снадобьем. Они чокнулись.

— Нет ничего лучше анисовой,— сказал старик, посасывая ус.

Вечер был теплый. Но в открытую дверь начинало веять прохладой. Вдалеке слышался шелест листвы.

Аллегр повернулся к каменщику.

— Что ты теперь собираешься делать?

— Работы хватает. Надо зацементировать чан одному заказчику из Монтека. Там хотят, чтобы я приехал побыстрее, до сбора винограда. Ну, а потом неподалеку просят надстроить амбар, да и всякой мелкой работы полным-полно. Больше, чем я смогу сделать...

— Это хорошо,— сказал задумчиво Аллегр.— У тебя есть земля, которая тебя кормит, и доходное ремесло.

— Ну, земли у меня совсем мало, на ней и делать-то особенно нечего.

— Ты мог бы и прикупить,— продолжал старик, блестя глазами,— взять себе компаньона. Надо думать, когда-нибудь и женишься.

— Ну,— сказал Бертран,— это я еще посмотрю.

— Не хочешь жениться?

— Я этого не сказал. Надо посмотреть. Время пока еще есть.

— Да, но когда припасешь немного деньжат, надо будет подумать и об этом. Твои родители уже в годах. Одному-то жить худо.

Он умолк и, опустив глаза, рассматривал мутную жидкость на дне своего стакана.

Прикупить — это было его любимое слово. Он говорил его и себе и другим. Не из гордости или честолюбия, а ради удовольствия и радости видеть, что дела идут хорошо. Он заходил иногда в мэрию и рассматривал кадастровый план в папке с медными гвоздиками. Подолгу стоял, склонившись над клеточками плана. Когда кто-нибудь прохаживался с ним по окрестности, он показывал на участки, один за другим, и объяснял: «Вот эта земля принадлежит тому-то, она досталась ему от отца, а эту купил тот-то...» — и он указывал на межи и изгороди. В этих краях участки часто обсаживают айвовыми деревьями. Попадаются шельмецы, которые высаживают кусты с таким наклоном, что, разрастаясь, они захватывают несколько сантиметров чужой земли. А по всей длине участка это немалая прибавка. Папаша Аллегр повторял это, расхаживая по полевым тропкам. Он получал удовольствие, увеличивая свои земли, но никогда не прибегал к хитрости или обману. Нет, он честно приобретал один участок за другим. Это удавалось ему редко, ведь здесь наделы были невелики, и каждый держался за свой участок. Но три или четыре раза видели, как он возвращался домой, потирая руки. Сделка была заключена. Еще один клочок присоединится к остальному. И в конце жизни, несмотря на все беды, его мысли были обращены к земле.

— Одному жить худо,— повторил он задумчиво.— Вот женишься — и все в твоем доме станет тебя радовать.

— Я не спешу,— сказал Бертран.

— Твое ремесло приносит тебе доход, а земля кормит,— снова сказал старик, не слушая его.

Старик, верно, мечтал о доме, полном дочерей и зятьев. Где один умеет возделывать землю, другой — управлять машинами, а третий — класть цементный раствор. Амбары ломились бы от зерна. Он был по-своему жаден, как бывают жадны те, кто знает, какой ценой и каким трудом дается урожай, любой урожай — плохой ли, хороший. Он жалел деньги, которые уходили из дома. По его разумению, все должно было делаться в хозяйстве. Он испытывал муки, когда пшеница уходила из дома и возвращалась к нему в виде хлеба, а он не видел тех рук, которые его испекли. Он вспоминал о том времени, когда его мать пекла на две недели огромные караваи хлеба, которые хранили в прохладном месте, завернув в холст. Его неистовая ненависть к оккупантам родилась прежде всего оттого, что они отбирали пшеницу. Он приходил в страшную ярость — сжимал до боли кулаки. Когда надо было давать сведения об урожае, он шел к секретарю мэрии. Секретарь и без того занижал цифры, но старик смотрел на его колонки и вычисления с ужасом.

— Это много, слишком много.

— Нет,— говорил тот,— нельзя вызывать у них излишние подозрения такими данными.

— Ну что ж, если хочешь, отправляй бумаги, но пшеница туда не попадет.

И поддельные бумаги направлялись в субпрефектуру, а пшеница исчезала в тайниках или переправлялась тем, кто скрывался от немцев.

Когда старику объявили, что Эли мертв, он испустил ужасный вопль, потому что на этот раз у него отняли самое дорогое зернышко. Это было студеным утром. Он стоял возле хлева, где только что закончил возиться со скотиной. Дом был окутан туманом, поднимавшимся с полей. Человек, который принес ему эту страшную весть, появился внезапно на середине двора, точно призрак, пришедший сюда и неведомо как перемахнувший через изгородь. Старик окликнул его. Ему вначале показалось, что это сын, ведь тот уже появился однажды таким же образом. Но стоило ему увидеть глаза пришельца, и он все понял. Едва тот приблизился — с перекошенным ртом, с вытянутыми вперед руками,— грудь отца ожгло предчувствие, и он потряс в воздухе вилами.

— О-о! Проклятье, проклятье!

Изо рта у него пошла пена. Женщины уложили его в постель. Они опасались удара. Тощий, бледный, с всклокоченными волосами, он дрожал, как загнанный кабан. Потом внезапно успокоился. Только лицо осталось белым, как воск. Он сел у огня на низенький стул. Склонился над очагом, и с уст его слетали тихие бесконечные жалобы и стоны. Есть он не мог. Так и просидел перед огнем весь день и всю ночь. На следующее утро встал со стула и в обычное время пошел задать сено скотине и отвести ее на водопой. Несколько недель он почти не разжимал губ и смотрел на плачущих женщин так, словно все это его не касалось...

Зять отправился в хлев доить коров. Анна и Марта потащили охапки люцерны для кроликов. Около навеса ела свинья. Слышно было, как она фыркает, роясь в своем корыте, а потом трется о дверцу свинарника. Старуха возилась с котлом у очага. Папаша Аллегр и Бертран остались вдвоем за столом.

— Еще по одной? — предложил старик.

Каменщик отказался. Аллегр ради приличия предложил еще раз, потом аккуратно заткнул пробкой бутылку с анисовой.

Они скрутили цигарки. Полотняная занавеска, прикрывавшая дверь, колыхалась. Близился вечер. По углам кухни и в углублениях между балками лениво жужжали сонные мухи. Куры и петухи уже спали. Снизу, из деревни, долетали негромкие звуки. Скрипнула дужка ведра с молоком в девичьей руке, какая-то женщина ломала хворост.

Старая Жанна мелкими шажками подошла к дверям и завязала узлом занавеску. Они увидели первые тени во дворе, простор равнины за оградой, Анну и Марту около хозяйственных пристроек.

Старуха вернулась к очагу.

— Анна останется с нами ужинать? — спросил старик.

— Да,— ответила Жанна.— Марта пригласила ее.

— Правильно сделала.

Он погладил свои усы.

— Вот крепкая девушка, хороша и как хозяйка, и как работница в поле. Только...

Каменщик посмотрел на него, но не сказал ни слова.

— Позволяла себе вольности. Но кто в этом виноват? Здесь ее не осуждают...

— Это несчастье сбило ее с пути,— сказала Жанна.

Наступило молчание. Старуха сгребла золу вокруг котла. Дверца свинарника громко хлопнула, и фырканье смолкло.

— Она сильная,— пробормотал старик.— Справляется с мужской работой. Если бы Эли не...

Он опустил голову и говорил, опершись подбородком на сложенные руки.

— Кому все это было нужно? Я тебя спрашиваю. Война... вся страна истекла кровью. Если бы Эли не погиб, у меня был бы сын и невестка. Разве мы чего-нибудь просили? Ничего не просили. У нас хватало работы на земле. Если бы нас оставили в покое...

— В том-то и дело,— сказал Бертран,— что нас не оставили в покое. Если бы нас оставили в покое, все было бы проще.

— Никто не хочет войны,— сказал старик,— никто. И все же она нет-нет да и вспыхнет, так уж повелось...

Он сжал кулаки и положил их на стол. Стоявшая у огня старуха обернулась и посмотрела на мужчин долгим взглядом.

— Война всегда была и всегда будет,— произнесла она.— Те, кому повезет, возвращаются, кому не повезет — нет. Так вот. И снова принимаются работать, кто как умеет. А несчастье может обрушиться на каждого. Кому какая судьба.

— Нет, нет,— сказал Бертран и приподнялся.

Старуха пожала плечами.

— Неверно говорите, бабушка. Война не с неба падает. Есть люди, которым она нужна.

— И другие, которые не хотят ее,— добавил Аллегр.

— Правильно, другие не хотят. Я подорвался на мине. От сержанта рядом со мной осталась кровавая каша. И Эли не вернулся. Как и многие другие. Вот они ее не хотели...

Жанна встала и засеменила к столу.

— Ну и что ж из этого? Ты мне не рассказывай, паренек! Никто не хочет войны, да только она нас не спрашивает, хотим мы ее или нет. Она начинается, и все тут. Ты хочешь остановить ее? Но чем? Своими руками? Ты, может, и Гаронну захочешь вычерпать своими руками. Только они у тебя отсохнут, а Гаронна все так же будет течь.

— На каждого, кто откажется воевать,— сказал Аллегр медленно, словно отчеканивая каждое слово,— найдется тысяча покорных. Возьмут однажды и скажут: собирайте-ка свои мешки и шагом марш. Так всегда и начинается, а уж дальше идет само собой. Тот, кто вернется,— точно подарок получил. А дареному коню в зубы не смотрят.

— Так рассуждать нельзя,— проговорил Бертран.— Пусть-ка мне снова предложат идти на фронт, я откажусь. Да и остальным скажу: не ходите! И если даже сейчас услышат голоса всех тех...

Теперь он говорил, сжав зубы.

— Они отняли у вас Эли. Они могут отнять и других. С тех пор родились дети, которые, придет день, станут взрослыми. И что, они тоже, как и Эли, пойдут на войну и, как Эли, погибнут? Я говорю на это — нет!

— Ты — да, допустим! А остальные? Много ли толку, если ты — один или даже если вас наберется с десяток!

Старик поднял руку, потряс ею над головой. Косые тени на стенах и балках повторили его жест, придав ему гротескность...

— Если бы я знал, что станется с моим сыном, я предпочел бы задушить его в колыбели. Понимаешь, когда он уходил, я сознавал, что он идет не на свадебную гулянку, что рискует оставить там свою голову. И я его отпустил, не стал удерживать. Война, ты же понимаешь, хоть ее и не хотят, все равно вспыхивает. А уж коли она началась, то распоряжается она, а вовсе не ты!

Старая Жанна снова копошилась у очага. Слышно было, как она хмыкает сквозь зубы. Будто бы смеется и жалуется одновременно.

Ветер колыхал узел занавески в черном проеме двери. Бертран вздрогнул. Ему показалось, кто кухня вдруг опустела и перед ним никого нет. Лишь два силуэта, пришедшие из дальнего далека, две

недвижимые фигуры с тусклыми глазами, одеревенелыми руками, почти две тени цвета земли и пыли. Еще несколько минут назад они были здесь, допивали анисовую водку — и вот уже ушли в далекое прошлое, в те мертвые годы цвета взрытой земли, осеннего дождя, стеблей сгнившей кукурузы. Тех самых стеблей, которые выбрасывают, оставляя початки для будущего посева. Эти стебли превратятся в клейкую гниль и перемешаются с глиной, а потом на них вырастут новые злаки, которые тоже срежут и стебли которых тоже сгниют...

В глубине двора у сада послышались голоса Марты и Анны. Зять прошел мимо двери, толкая перед собой последнюю тачку. Папаша Аллегр сидел молча, опершись локтями о стол, уставив взгляд на дно своего стакана.

— Пора есть,— сказала старуха.

Она расставила большие белые фаянсовые тарелки на лежавшей посередине стола квадратной клеенке.

Сначала они ели мягкую золотистую картошку, всю пропитанную жиром. Старая Жанна суетилась вокруг стола с огромной черной сковородой в руках. Каждый протягивал ей тарелку и получал свою порцию. Затем Аллегр снял подвешенный к балке початый окорок. Умело минуя кости, стал нарезать длинные ровные куски. Нарезал столько кусков, сколько было сидевших за столом, и еще один лишний, который, когда все вежливо от него отказались, положил каменщику.

Потом Марта принесла огромную миску, полную салата, сухой козий сыр и банку варенья. Тарелки перевернули, и каждый положил себе на донышко по ложке варенья, глядя, как оно медленно стекает, капля за каплей. Ели не спеша, почти молча. Скажет несколько слов один, потом другой. Больше говорили о лестнице, о том, какую службу она сослужит. И о том, какая будет погода.

Воздух был теплый, но по временам сквозь полуоткрытую дверь резко тянуло прохладой.

— Чувствуется, что недалек сбор винограда,— сказала Марта.

Тут Аллегр заговорил о своих виноградниках. У него — три хороших участка на косогоре. В ближайшие дни надо бы проверить, в каком состоянии винные бочки.

Марта говорила о своем любимом сорте винограда «отелло». Он мутноватого цвета, с довольно толстой кожицей, и, когда лопается на зубах, мякоть вылетает целым сгустком. Вкус у него тоже необычный: люди уверяют, что он отдает клопами. А Марта очень его любит. Аллегр пожал плечами. Этот сорт был из дешевых, так как его легко поражал грибок.

Зять припоминал, как приятно собирать виноград ранним утром, пока еще не чувствуется усталости. И завтрак ранний при росе — сардины из бочонка и натертый чесноком хлеб, который обмакивают в оливковое масло. Даже вспоминая об этом, он облизывал от удовольствия губы.

Старая Жанна рассказала, как собирали виноград в старину, когда бедные девушки из разных деревень приходили наниматься на большие виноградники в долине. В двенадцать лет она шла в одном ряду со взрослыми женщинами. Приходилось спешить. Только поспевай. Хозяин шел за ними следом. Если находил пропущенные или оброненные кисти, заставлял возвращаться, и тогда ты невольно отставала от других. Надо было очень быстро распутывать усы и высвобождать виноградные гроздья, зацепившиеся за проволоку. Секатор резал руки. Зарабатывала она всего несколько су в день, получала на обед тарелку похлебки и для дома — немного вина, а по вечерам как подкошенная валилась на солому в амбаре, где спали работницы. Наутро все начиналось снова, хотя поясница была словно деревянная, не разогнешь...

Ужин закончился. Аллегра клонило ко сну. Женщины убирали со стола, оставив мужчинам стаканы и полбутылки недопитого вина. Старик, зевая, допил последний стакан и с трудом поднялся, чтобы добраться до постели.

Зять, Марта и Бертран вышли проводить Анну. Женщины кутались в платки, так как воздух становился все прохладнее.

Они прошли через двор. Вся лестница была освещена луной. Они задержались, чтобы еще раз полюбоваться работой, а затем спустились в деревню.

На улочках было пустынно. Тусклый фонарь поскрипывал на углу на площади между мэрией и школой. Оттуда шла улица в сторону шоссе, а за ней уже слышался шум рощи и реки, от которой поднималась прохлада. Над изгородями садов ветер шелестел листвой деревьев.

Тараторившая без устали Марта вдруг умолкла. Взяла под руку своего мужа. Анна неторопливо шла рядом с каменщиком. Они остановились у края шоссе.

— Мой дом там,— сказала Анна, протянув руку в сторону рощи.

— Да, знаю,— сказал Бертран.— Его видно сквозь деревья.

— Ну сейчас-то нет, а вот зимой, когда нет листвы, пожалуй. Наш дом стоит на отлете. Старики говорят, что он всегда выдерживал наводнения.

— Да,— сказал рассеянно каменщик.

Он огляделся вокруг. Увидел темные кусты, уходящую вдаль дорогу, над ней — раскинувшуюся по косогору деревню. Освещенный луной, дом Аллегров стоял на вершине косогора, но с того места, где они остановились, виден не был.

— Как забавно,— сказала Марта, подходя к ним,— твой дом стоит у самой воды, а мой — на самом верху.

— Деревню построили на косогоре,— объяснил каменщик,— чтобы уберечься от наводнений. Но только моста в ту пору не существовало, поэтому нужно было, чтобы кто-нибудь работал на пароме, вот кто-то и строился возле самой Гаронны. Может, с самого начала там поселились предки Дельпешей, а может, до них кто другой. Это надо бы проверить по документам в мэрии.

— Всегда кому-нибудь приходится начинать,— сказала Марта.— Но теперь мост построен и паромщики...

Она не закончила фразы.

— Проводите меня еще немного,— тихо сказала Анна.

Она обращалась ко всем, но получилось так, будто ее слова предназначались тому, кто стоял подле нее и смотрел на темный контур леса.

Они пересекли дорогу и пошли по тропинке меж рядами тополей. Чем ближе они подходили к дому у воды, тем явственней в шелесте листвы слышался гул Гаронны, тем ощутимее чувствовалось течение и дыхание воды, шум волн, которые набегали на песчаный берег и разбивались среди корней, весь этот огромный шелковый шлейф, то разрывающийся, то сплетающийся снова. Сюда уже долетал гул быстрых вод, бурно устремившихся под арки моста,— бег реки к своему низовью.

— На рыбалку ходите? — спросила Анна.

— Иногда бывает,— ответил Бертран,— вот только времени маловато. Работа кончается в сезон дождей или с наступлением заморозков, да и то не всегда. Находится и тогда работенка в домах, к примеру штукатурить...

Дорожка завернула, деревья расступились, и на фоне светившей луны показался дом. Низкий и длинный, он словно прилег у подножья прибрежных деревьев.

— Вот где бы для тебя нашлась работа,— засмеялась Марта.— Дом хороший, но руки, наверное, там нужно приложить, да еще как.

— Да, дом старый,— проговорила Анна.— Я и не припомню, чтобы говорили, будто был когда-то другой.

— Да не галдите вы,— сказал муж Марты.— Они ведь уже спят.

— А я бы побоялась спать так близко от воды,— продолжала Марта.— Я всегда думала об этом. Как-нибудь утром проснешься, а у тебя под кроватью — вода Гаронны...

— Отец говорит, что такого быть не может. Дом выдерживал много наводнений...

— Тогда дом был поновее, да и от берега стоял подальше. Но я не хочу тебя пугать. Уж сегодня-то вечером Гаронна в любом случае не разольется!

— Ну что ж,— сказал каменщик,— пора и спать.

Анна толкнула шаткую калитку, ведущую во двор. Справа стояла смоковница. Виднелись неясные контуры старых деревьев, во все стороны раскинувших свои заломленные руки.

Женщины поцеловались. Анна протянула Бертрану руку. Она ощутила прикосновение его шершавой и горячей ладони. Трое медленно пошли назад, под сень деревьев.

Анна остановилась около смоковницы. У хлева немного поворчала и потом затихла собака. Огромные листья слегка вздрагивали под легким ветерком.

Анна стояла у самого дерева. Плечом и бедром она ощущала такой знакомый ей узловатый ствол. Она погладила его обеими руками. Ей хотелось воскресить в памяти другое прикосновение — ладони, потрескавшейся от цементного раствора...

Во дворе было совсем темно. Шаги и звуки голосов удалялись в сторону дороги. Прежде чем пересечь двор, Анна немного помедлила. Лунный свет освещал весь фасад и площадку около двери. Кто-нибудь мог спрятаться в темноте и, заметив ее, броситься к ней.

Она медленно двинулась вперед.

Ночь была тиха. Слышался лишь гул воды и жужжанье насекомых. Собака уже, верно, признала ее. Жан-Мари спал в своей темной спальне. Приближаясь к старому дому, Анна чувствовала, как он становится все больше, солиднее, надежнее.

Никого.

Со склона деревни донесло ветром чей-то голос.

Анна подняла большую расшатанную щеколду. Из кухни на нее повеяло запахом сухой кукурузы, вареного картофеля, дыма, сена...

Она проскользнула в темноту и закрыла дверь на засов.

В доме наверху, лежа на своем матраце, старый Аллегр открыл в темноте глаза. Сон его был недолог. Он попытался думать о завтрашних делах. Первое, что приходило на ум,— это дом, навес, хлев, амбар... Лестница к утру высохнет. Прежде чем уйти, каменщик забетонирует дорожку. На сбор винограда он снова приедет, обещал. Кто знает, может быть, к этому времени в доме для него отыщется еще какая-нибудь работенка. Не мешало бы завести хороший цементный чан. Но с этим можно и погодить. Хороший чан...

Он живо представлял себе ряды виноградников за окном. Восходящее солнце сверкает на листьях цвета меди. Руки сборщиц ловко срезают гроздья. Виноград из корзин высыпают в бадью. Давят ручным прессом. Пенящееся сусло вздымается над месивом из раздавленных ягод. Вечернее солнце пламенеет в остатках перемолотых кистей винограда.

Старик выходит из дома и идет побродить по деревне. Резкий кислый запах плывет из каждого подвала, где делают вино. Под руками Аллегра подрагивают металлические бока пустых бочек, которые постепенно теряют свою звучность. Бочки наполнены, делу конец. Молодое вино с первыми каштанами он попробует в конце осени.

В полусне старику видятся желоба пресса, по которым течет красный и фиолетовый сок. Вино, похожее на кровь, потоки вина, потоки крови земли.

Виноградники всего края тянутся стройными рядами под переменчивым октябрьским небом, а там, дальше, на фоне светлых облаков, тяжело шагают мужчины с переполненными корзинами за спиной. Тачки, подпрыгивая, катятся к погребам. Земля отдает свою кровь. Вино и кровь окрашивают октябрьский туман, дымки сновидений и сна...

Из темноты выходит человек и кричит: это кровь Эли! Кровь Эли в доме, во всех домах, она течет по улицам. Кровь Эли вернулась. Давят виноградные кисти, зернышки и мякоть. Винная гуща кипит и пенится...

Откуда-то из далекого прошлого появляется драгун Аллегр, поглаживающий конский хвост своей каски. Он шагает по городскому бульвару с другими драгунами, своими земляками. Идет вразвалку, кривые ноги в тяжелых сапогах. Пройдя вдоль длинной стены казармы, они выходят на оживленный перекресток, где город действительно приобретает городские черты: повозки, подводы, запряженные парой или четверкой лошадей, фиакры, коляски. Ломовые извозчики перебраниваются между собой по дороге к окраинным складам. В витринах горят газовые рожки. Драгуны подходят к небольшому кафе. Перед входом пританцовывает от холода продавец каштанов. На жаровне вокруг каштанов пляшут голубые огоньки. На су — каштанов и на су — вина; потом драгуны идут обратно в своих тяжелых сапогах по туманным улицам, в мерцании газового света, с потеплевшей душой и потемневшими от каштанов руками. Вино было доброе, хозяин кафе доставал его где-то в округе. Он знал свой край и понимал толк в винах. Когда вино попало на язык Аллегра, ему показалось, что он почувствовал запах родных берегов. Желтые берега Гаронны, гладкая галька, илистая почва прибрежных зарослей, поскрипывающий песок, красная земля садов, виноградников...

То были хорошие времена. Аллегр служил ординарцем у капитана. Ухаживал за лошадью, чистил сапоги, бегал в город по поручениям его жены. В деревне его поджидала невеста и в родном доме — старики родители. Мать сновала взад и вперед по большому двору, спускалась по крутому косогору постирать в реке белье, отнести молоко...

Аллегр вернулся домой, женился, прошли годы — и появился ребенок. В день крестин звонили колокола... Аллегр поднимает руки, чтобы отогнать видения и взглянуть на высокую кирпичную колокольню. Для кого звонили в тот день колокола? Не только для его сына, они звонили для всех. Колокола возвещали не о рождении ребенка, а о кровопролитии. Старики выходили из домов. Крестьяне бросали работу в полях и спешили в деревню, а гул бронзовых колоколов, прорывая прозрачные дали, нарушал тишину прибрежных зарослей, заглушал речное эхо. Набат предвещал огромный урожай кровавого вина. Женщины бледнели, дети испуганно замолкали. Школьный учитель говорил об Эльзасе. Крестьяне склоняли головы и смотрели на свои натруженные руки, сжимавшие ненужные теперь мотыги и рукоятки плугов.

Аллегр вспоминает свою каску, свой полк, былые безмятежные солдатские вечера... На су — каштанов, на су — вина. В городе горят газовые светильники. Уходят годы. Драгуны смеются на улицах, глазеют на красные и зеленые витрины, мерцающие в ночи...

Ну и вино получилось тогда, и как его давили!

Человек появляется из тени, выходит на середину двора в рваной, разодранной в клочья, не по росту большой шинели: это вино Эли! Это вино Эли!

И от крика этого человека туман расходится, обтекая его, как река обтекает остров, делясь на рукава, а шинель пришельца в лучах солнца кажется пылающим танком. Вот какое вино получилось тогда!

Женщины с исцарапанными, изрезанными руками бросают виноградные гроздья в дробилки. Дробилки крутятся. Они безостановочно гудят. Цилиндры вертятся, мелькают колеса зубчатой передачи. Гроздья перекручиваются и разрываются. Из раздавленных виноградин течет сок. Сок земли, пузырясь, пенится. Мужчины переносят вино, кровь земли, в подвалы. И вот оно уже покоится в домах. Старухи бесшумно бродят вокруг ларей и амбаров, прислушиваются сквозь стены, как оно бродит. И эти звуки бродящей крови земли возрождают их былую молодость.

Запах деревни ранним утром, когда крестьянки в платках выходят работать в виноградники, острый крепкий запах открытых чанов... Красные листья блестят от росы. Платаны роняют листву под порывами ветра, дующего с Гаронны. В чанах бродит вино. Крики женщин и девушек разносятся по равнине.

Аллегр приподнялся. Его руки снова стараются отогнать тени прошлого, спустившиеся словно для того, чтобы окутать его и закрыть пеленой глаза.

Из темноты появляется старуха.

— Война всегда была,— говорит она,— и всегда будет! Ты хочешь вычерпать Гаронну своими руками?

— Да, да,— кричит каменщик.

VII

Когда Верн очнулся от послеобеденного сна, было почти темно. Он приподнялся на локте, вытер взмокший от пота лоб и прислушался к звукам, что доносились снаружи.

По дороге ехала повозка. Ее медленно тащили быки. Затем скрип колес стал слышней. Повозка въехала на мост. Кто-то низким голосом понукал животных. Где-то раскричался, а потом принялся громко хохотать ребенок. Скрип повозки постепенно стихал, она подъезжала к деревне. Сквозь смех ребенка слышался чей-то строгий голос.

В комнате было темно. Перед тем как лечь, Верн закрыл ставни.

— Что с тобой? — спросила его Реймонда.— Ты болен?

Нет, он не болен. Просто его клонит в сон, ему надо выспаться. Жена ничего не сказала. Пошла заниматься своими обычными делами, склонив голову, засунув руки в карманы черного фартука.

За несколько дней до того Верн вспахивал большой участок земли за домом. Сосед одолжил ему пару быков и в первый день помог сам. А потом Верн сказал ему:

— Не беспокойтесь, дальше справлюсь один. Ведь родился-то я не в городе.

От зари до глубокой ночи Верн понукал животных на своем уединенном поле позади дома. Время от времени к нему выходила Реймонда.

— Ты работаешь как безумный,— говорила она.— К чему такая спешка, у тебя впереди целая неделя... Отдохни хоть немного. Ты загонишь бедных животных.

Но он ее не слушал. В конце борозды он резким движением разворачивал плуг. Быки беспомощно топтались, с испуганным видом вы-

тянув свои взмокшие морды. Вернь ни на что не обращал внимания. Он бранился, потрясал стрекалом, не давал покоя животным. Сосед, зайдя посмотреть, как идет работа, покачал головой:

— Работаете вы быстро, мсье Вернь, но сноровку потеряли.

Он показал на извилистые линии борозд:

— Я, конечно, не хочу вас обидеть...

Закончив работу, Вернь вернулся домой. Он молча поел и лег. Реймонда забеспокоилась.

— Ты слишком спешил все закончить. Ты уже не в том возрасте, когда...

На следующий день он встал поздно и бесцельно бродил возле дома: то пойдет к гаражу, то завернет в сад. Потом снова отправился в спальню.

И вот теперь он проснулся в темноте, прислушиваясь к звукам, доносящимся снаружи. Встал, раздвинул ставни. Было уже темно. Ветер принес запах дыма. Как обычно осенью. По другую сторону склона уже жгли сухую траву и листья. Сбор винограда приближался к концу. Повозки скрипели по всем проселкам и по шоссе. Было слышно, как на другой стороне реки они ползут вверх, к деревне.

Скоро туман и тьма окутают весь край. Останутся видны кое-где лишь отдельные островки трав, мечущиеся черным вихрем на фоне темного неба. Над косогором небо все еще слегка розовело.

Вернь оделся и вышел.

Реймонда стояла на кухне около раковины. Она повернула к нему голову:

— Может, сходишь в огород за салатом? Если еще видно...

Вернь вырвал один кочешок салата, отряхнул землю с корней, сорвал несколько увядших листьев. Вернулся в кухню к жене.

— Как ты себя чувствуешь? — спросила Реймонда.— Я не стала тебя будить.

— Вполне нормально,— мягко ответил Вернь.

Он направился к дверям.

— Ты уходишь?

— Пойду пройдусь немного.

— Оденься потеплей. Прохладно.

Но его уже не было в кухне. Он шел к реке. Лодка покачивалась у причала. Вернь посмотрел на нее, зажигая сигарету. Прямо перед ним в легкой дымке высился подвесной мост. По нему брела женщина, толкая перед собой старую детскую коляску, полную люцерны. Вернь направился вдоль реки, потом стал взбираться по крутой тропинке к шоссе. Он тоже пересек мост, но не пошел по шоссе в сторону деревни, а опять зашагал вдоль реки, уже по противоположному берегу. Там на отлогом склоне лежали луга, кое-где перерезанные рядами акаций, за ними виднелись тополя. За лугами косогор поднимался к краю равнины уже более круто.

Отойдя довольно далеко от деревни, Вернь повернулся спиной к Гаронне и пошел вверх. Вначале он шагал очень быстро, размахивая руками и ссутулив спину. Сигарета его потухла. Тяжело дыша, Вернь перекидывал ее из одного угла рта в другой. Он остановился, чтобы перевести дух, лишь когда поднялся на вершину косогора. Потом он миновал длинную живую изгородь, тянущуюся по краю луга. Трава становилась все реже, и он ощущал под ногами растрескавшуюся глину равнины.

Под деревьями вроде бы еще сохранялось тепло. Но на равнине в лицо ударил ветер. Она пролегла далеко на запад, где еще местами розовело небо. Деревня осталась слева, на склоне. Ее уже не было видно.

Вернь снова зажег сигарету. Он нагнулся, чтобы прикрыть пламя зажигалки. Сделал затяжку, даже не распрямив спины, и стал вглядываться в поля, протянувшиеся до самого горизонта. Тут были вино-

градники, вспаханные и скошенные поля, слабо прочерченные линиями деревьев и плетней. В темноте виднелось несколько огоньков: то были стоявшие особняком хутора или отдаленные деревушки. Вернь остановился в раздумье. Он вышел из дома, не зная, куда направить свои стопы. Он мог возвратиться по той же дороге, по которой пришел, пройти вдоль берега и пересечь мост. Мог свернуть в сторону деревни, но он знал, что первыми полями на его пути будут поля Аллегра. Достаточно было пройти еще каких-нибудь двести — триста метров по проселкам среди полей, чтобы увидеть дом на краю косогора.

За неделю до этого он повстречал папашу Аллегра, и старик сказал ему:

— Скоро мы начнем сбор винограда, и если у вас будет желание...

Вернь поблагодарил его, но твердо ничего не обещал.

— Приходите хотя бы в последний день попробовать сусло!

Папаша Аллегр засмеялся и добрым спокойным взглядом оглядел Верня с головы до пят.

— Я знаю, что вам нравится сбор урожая. Ну что ж, вы правы. Собирать урожай значительно приятнее, чем сеять. Ты, по крайней мере, знаешь, что́ у тебя будет в доме. А во время сева никогда не известно, что получится. Для нас сбор урожая тоже удовольствие.— И он дружески похлопал его по плечу.— Эту радость дает нам земля, мсье Вернь. И надо пользоваться ею, пока можно. Вы такой же крестьянин, как и мы!

Теперь сбор урожая у Аллегра закончился. Сегодня был последний день. По дороге через равнину на телегах свозили бадьи к подвалам старика. Засуха сделала виноград сладким. Вино будет хорошее.

Вернь представил себе, как там, за сгустившимися тенями равнины, в доме Аллегра идет застолье: папаша Аллегр сидит, положив кулаки на стол, усы его мокры от свежего виноградного сока, бутылки с мутной жидкостью переходят из рук в руки; тут все соседи, помогавшие собирать урожай, и среди них, как всегда, старый Жан-Мари, каменщик, который снова должен был прийти, женщины, вечно ворчащая и озабоченная Жанна Аллегр, Марта, Тереза и Анна...

Ленивыми порывами набегал ветер. Он был холодный, но разносил еще столько разных запахов, что не думалось о зиме, которую он предвещал. Думалось о земле, о ее плодах, о фруктах и зерне. Пахло увядшей картофельной ботвой, оставшейся на полях фасолью, не снятыми еще гроздьями винограда, и ароматы эти примешивались к запаху развороченной первой вспашкой тяжелой и жирной земли, запаху, который еще больше обостряла вечерняя роса.

Да, он такой же крестьянин, как и они. Он вырос в деревне. Как много лет прошло с тех пор. Его отец был поденщиком. После его смерти мать Верня уехала в город и отдала сына в учение к каретнику. После войны он купил кафе и преуспел в делах. Ну что ж, пусть будет крестьянин...

*

Он пересек большое сжатое поле, и острое, жесткое жнивье щекотало его голые щиколотки. Колючая изгородь преградила ему путь. Он прошел вдоль нее до первого прохода. Затем пересек виноградник. Как ему показалось, виноградник Аллегра. Облетевшие листья шелестели у него под ногами. Он ощупал рукой кусты и не нашел ничего, кроме листьев и раскачивающихся ветвей. Здесь, наверно, сбор закончили недавно.

Небо было неспокойно, по нему быстро неслись большие облака, которые по очереди высвечивались светом луны.

Вернь шел по краю поля, и вдруг на фоне едва светлеющей части неба возник дом Аллегра. Дверь была заперта, но по обе стороны ее светилось два окна.

И вот тут-то Вернь заметил тень. Она прошлась под освещенными окнами. Раз, два...

Она пригибалась к земле. Руки ее раскачивались в такт шагам. Вернь резко остановился, медленно поднял руки к лацканам своей толстой драповой куртки и судорожно ухватился за них. Он почувствовал, как окурок ожег его губы.

Был слышен лишь шум ветра, раскачивавшего вдали деревья. В доме было тихо, оттуда не долетало ни звука. Он стоял неподвижно, словно прижавшись к земле. Можно было подумать, что в нем все вымерло, если бы окна его не светились красноватым огнем. Как будто там, за стеклами, тлела груда раскаленных углей.

Тень появилась посредине двора. Черная на черном фоне, она постояла, дрожа, и тут же слилась с темнотой. Она исчезла внезапно. Вернь увидел, как ее локти прижались к телу, будто у человека, который готовится бежать. Потом она исчезла.

Вернь рухнул на колени. Перед его лицом высилась сухая трава, стебли дикой моркови. Длинные стебли вырисовывались на фоне красных стекол окон. Дом стоял на своем месте.

Вернь выплюнул изо рта окурок. Огненные искры рассыпались по мокрой траве и погасли.

Ветер, гнавший по небу облака, казалось, спустился и теперь дул над самой землей. Под его долгими порывами раскачивались травы и листья виноградных кустов, что росли неподалеку. Ветер достигал Верня, обволакивал его едва заметными шорохами. Он то затихал, то поднимался вновь, устремляясь по равнине или снова поворачивая к дому.

Вернь оперся руками о землю, словно бегун на старте. Но куда бежать?

Снова послышались шелест и дыхание травы. Но то был не ветер. Ветер носился наверху, там, где плыла луна, или над водой, где текла Гаронна. У самой травы ветра не было. Там слышались чьи-то шаги.

Кто-то шел прямо к Верню. То раздастся громкий или тихий хруст ветки, то сорвется с дерева и закружится лист.

Это была тень. Она надвигалась на Верня со стороны дома. Она знала, что он здесь. Она видела его. А если даже и не видела, это не имело значения. Ей, может, и не надо было его видеть. Она знала дорогу, которая ведет к нему.

Вот тень оторвалась от стены дома, и тогда Вернь увидел ее на фоне пылавших окон.

Вернь стиснул зубы и закрыл глаза. Он по-прежнему стоял на четвереньках, упершись руками в землю и выставив вперед голову. Его отяжелевшие плечи тянуло к земле.

Трава заколыхалась еще сильнее. Вернь не смог сдержать крика. Его пальцы судорожно впились в глину. Шаги приближались. Вернь внезапно отпрянул назад. На какой-то миг он поднял голову. Дом исчез. Окна больше не светились в вечерней темноте. Он добрался на четвереньках до темной изгороди и под ее укрытием быстро пополз дальше. Наконец он поднялся. Вокруг стояла кромешная тьма. Дома не было видно. Вернь бросился бежать, а потом с отчаянно колотившимся сердцем упал в траву.

От росы его одежда насквозь промокла. Он дрожал. Никто за ним не гнался. Вокруг царила ночная тишина. Луна вышла из облаков. Огромный диск плавал посреди неба. Вернь лежал у края картофельного поля. В лунном свете он видел поломанную, увядшую ботву.

Страх пропал. Вернь совсем закоченел. Все тело сковала усталость. Ему страшно хотелось оказаться по ту сторону реки, дома. Который же час? Вероятно, девять. Обеспокоенная Реймонда, должно быть, ждет его, готовит на краешке стола салат, а может, подходит к окну и, подняв занавеску, всматривается в темноту.

Что он делает здесь, лежа на земле, как бродячий пес? Если бы кто-нибудь его увидел, то принял бы за сумасшедшего. Разве ему чего-нибудь не кватало? Дома, хозяйки в нем, вложенных в дело сбережений, дров в сарае или вина в погребе?

Он думал о теплой кухне, запахе кипящего кофе, распространяющемся по всему дому, о Реймонде, которая наполняет грелку потрескивающими горячими углями, чтобы согреть постель. Всю свою жизнь они терпеливо работали с утра до позднего вечера, чтобы обрести этот покой. Долгие вечера просиживали без сна в своем темном кафе при свете газового рожка или тусклой лампы... Вернь рассмеялся коротким нервным смешком, впился зубами в сжатые кулаки. И вот что произошло. Однажды вечером появилась тень. Она постучалась в ветхие ставни.

— Откройте, откройте же мне!

Тогда Вернь затаил дыхание и не тронулся с места.

— Откройте, откройте же мне!

Потом тень исчезла. Ее поглотила ночь. Но вот сегодня она вернулась. Не привидение, не дух... Человек с пудовыми руками, с тяжеленными ногами. Не воспоминание, не сон... Реальность, которая заставила его, Верня, согнуться в три погибели и броситься бежать без оглядки.

Ночные шорохи словно сливались в один голос, который шептал: «Что, Вернь, ты захотел узнать мой секрет, так я тебе скажу его, слушай...» Голос повторял: «Слушай, слушай... Вот моя деревня, вот мой дом, теперь ты их знаешь...».

В памяти Верня всплыло лицо Анны, неподвижное, спокойное. Живое лицо, на котором оставила отпечаток смерть любимого. В горящих глазах этой женщины застыла боль, словно лед, подернувший озеро в августовскую жару.

Он встал и пошел прямо вперед. Капельки моросящего дождя падали ему на лоб. Оставив деревню слева, он плутал в поисках дороги. Наконец он оказался на краю косогора, но совсем не в том месте, откуда пришел. Он бросился наугад по склону в поля и виноградники. Луна то появлялась, то исчезала. По-прежнему моросил мелкий дождик.

Он вышел на шоссе. Мимо промчалась машина с притушенными фарами, потом тяжелый грузовик с прицепом, нагруженным ящиками с овощами.

Вернь бросился в рощу. Он направлялся теперь прямо к дому Дельпешей по чуть заметным тропинкам, протоптанным между деревьями.

Ветер утих. Ветви деревьев не колыхались. Слышно было только, как тихо и нудно стучал по листьям дождь, но это был спокойный, умиротворяющий звук. Дождь ласкал тополя, словно мать, гладящая личико спящего ребенка.

Долетел шум Гаронны. В мелкой дроби дождя Вернь расслышал всплески воды.

Страх прошел. Близость воды успокаивала. Просвет между стволами означал, что берег рядом, потом на середине поляны показался дом Дельпешей. Вернь узнал изгородь сада. Света в доме не было, он стоял темный и безмолвный, как в те вечера, когда Вернь бродил вокруг него, поджидая Анну. С той ночи, когда она прогнала его, Вернь возвращался сюда несколько раз, но больше к низкому окну не подходил.

В голове Верня назойливо вертелась одна мысль. Его губы беззвучно шевелились, но он и сам не мог бы сказать, какие слова вот-вот сорвутся с них. Он стоял, прижавшись к стволу тополя, и рассмат-

ривал дом, хлев и навес с кирпичными опорами. Напрашивалось одно слово, настойчивое, как муха, что крутится вокруг головы: «мертвый»; да, дом выглядел мертвым. И у всех у них в глазах было одно и то же: мертвенный цвет, неподвижность смерти. Старого Жана-Мари нельзя было назвать живым человеком. Да и маска, за которой скрывалось лицо Анны, походила на маску смерти. Он вдруг подумал: «Меня околдовали, в этом месте есть что-то роковое. Эта Анна приворожила меня к себе, и теперь я не способен ни на что, могу лишь бродить вокруг, бродить и ждать...»

Он сжал кулаки, и злость вместе с желанием обожгла его щеки. Он увидел уже не лицо женщины, а ее тело, гибкое и горячее под грубой тканью платья. Дождь вдруг исчез, и жаркие дни, пахнущие мятой, вернулись на берега реки.

— Нужно... нужно...— бормотали губы Верня.

Он пробирался к дому, перебегая от дерева к дереву. Он был уже на краю поляны, в нескольких метрах от сада, когда из-под навеса до него долетел приглушенный смех. Вернь отступил назад. Схватился рукой за засохшую ветку. В тишине раздался треск сухого дерева.

Зоркие глаза Верня шарили в темноте между столбами. Он заметил обнимавшуюся пару. Анна... .

Мужчина и женщина скрылись за столбом. Он хотел подойти поближе, но луна вдруг высветила широкую полосу у самых его ног. Он отступил к кустам. Его сердце гулко билось, он задыхался.

Он понял, что никто его не услышал. Звуки, показавшиеся ему чересчур громкими, слились с ночными шорохами. Он мог пройти и дальше, обогнуть освещенное место, подойти поближе к обнимавшейся паре.

Дождь кончился, но по небу плыло столько туч, что через несколько минут луна должна была скрыться снова.

Ему уже не хотелось ни прижать Анну к себе, ни убить, а просто увидеть близко ее и того, кто сжимал ее в своих объятиях.

В лунном свете показалась тень. Вернь задрожал с головы до ног. Тень направлялась прямо к нему. Он отступил, и ветви громко затрещали. Он продолжал пятиться. В просветах между листвой тень увеличивалась, разрасталась. Он опрометью бросился в рощу. Позади тяжело звучали шаги. Они отзывались в голове Верня. Казалось, что на него наступают одновременно со всех сторон: и справа, и слева, и с берега реки, и со склонов равнины, словно в погоню за ним пустился десяток теней. Смех Анны послышался снова. Он доносился из-под навеса, словно бубенчик, звеневший в тумане.

«Все они со своими мертвыми лицами преследуют меня,— думал Вернь.— У всех у них одно лицо, они похожи друг на друга...».

Он шел к подвесному мосту. Там он рассмотрит все хорошо. Они не отважатся преследовать его так далеко. На мосту лучше всего можно увидеть, осмеливаются ли они еще идти по его пятам.

Слова и смех продолжали звучать в его ушах. «Откройте, откройте же мне!». Вернь задыхался, он прижал руки к груди. Его ноги сгибались и разгибались, будто тяжелые шатуны.

Он услышал, как на ветру гудят тросы моста, а внизу под ним бурлящая вода закручивается в глубокий водоворот.

Добравшись до левого берега, он остановился. Здесь местность была иная, погруженная в какое-то другое, более глубокое молчание. Деревьев росло меньше, а голос Гаронны у подножья высокого берега звучал громче и торопливей.

Мост позади Верня был пуст. Толстые тросы, натянутые так высоко, что до них невозможно было дотянуться, дрожали в воздухе.

Вернь увидел свой дом, и свет, мерцавший в кухонном окошке, успокоил его.

Лодка подпрыгивала на волнах у причала. Вернь медленным шагом пошел на звук побрякивающей цепи.

В темноте снова появилась тень, и на этот раз Вернь беспомощно опустил руки.

Тень бежала к нему навстречу.

— Ты здесь? Ты здесь?

Это была Реймонда. Она цеплялась за его руки. Он увидел ее бледное, увядшее лицо. Ее старая шерстяная кофточка пахла травой и дождем. Ладони были холодные. Он мягко отстранил ее.

— Да, это я... Вот пришел.

— А я-то думала, где ты...

Он не отважился снова отстранить ее, и она потянула его к дому.

Они вошли. Реймонда закрыла дверь и опустила засов. В прихожей слабая лампочка едва освещала вешалку. В маленьком зеркале Вернь увидел свое лицо. Оно было опухшим и бледным, заросшим черной с проседью щетиной... Жена повела его на кухню, где стол был уже накрыт. Он молча сел, прикрыл веками усталые глаза. Сквозь отворенную дверь в дом проникли туман и дождь. Реймонда, одетая как всегда в черное, мелкими шажками семенила по кухне. Туман обволакивал стол, спускался на руки Верня.

«Это я мертвый, я...» — подумал он.

Он попытался прислушаться к тому, что происходило за окном. Снова припустил дождь. Его барабанная дробь смешивалась с гулом воды.

VIII

В ноябре начались проливные дожди. Что ж, обычная осенняя погода, жаловаться не приходилось. Наступила, как всегда, пора дождей, и они пошли.

Дома́ под почерневшей черепицей, казалось, прижались к косогору. Воды Гаронны вздыбились. Песчаные отмели, что были летом, скрыло водой. По берегам, не выдерживая напора реки, обрушивались большие глыбы глины. Так бывало каждый год. Поток, вгрызаясь в берега, затопил островки с тополями. Цвет воды изменился, она стала кремово-желтой. Дождь стучал по увядшим листьям и размывал свежие борозды в полях.

Свадьба Бертрана и Анны Дельпеш состоялась в начале месяца, как раз когда наступила пора дождей. Все свершилось быстро и без особого шума. Из Пантедьё на свадьбу никого не пригласили, ее отпраздновали в семейном кругу в родной деревне жениха. А затем молодожены поселились в доме у воды.

Старухи, что чесали языки около церкви, остались довольны. Бертран слыл серьезным, работящим парнем. Анна стала на правильный путь. Замужество не принесло ей богатства, но зато дало мужские руки. Мужские руки — именно так и говорили. Каменщик приведет в порядок дом. Найдет себе работу в округе. Истощенная земля Дельпешей будет содержаться в порядке. Об этом говорили, и это сбылось, Анна стала теперь хозяйкой дома. У них появятся дети. Старики, наконец, успокоятся.

Говорили кумушки и о другом. Мол, что прошло, то прошло и больше не вернется. И через несколько лет разве только кто вспомянет: «Анна Лубанс, это та, знаете, что вначале была невестой бедного сына Аллегра...»

А потом пройдет еще время. Старикам на смену придут новые старики, и имена сотрутся в тумане памяти...

К середине ноября дожди не прекратились. Гаронна, как говорили, начала вздуваться. Примерно так бывало каждый год. Пожалуй, в этом году воды было больше обычного, и воронки около моста закручивались еще стремительней.

Обработав землю, мужчины возились под навесами, в сараях, занимались мелкими поделками в домах. Женщины начали откармливать гусей. Они жаловались, что кукурузы на початках мало и она мелковата. Дожди, которых не было все лето, теперь шли беспрестанно.

К вечеру женщины усаживались с гусем в подоле на низенькие скамейки под навесом у входа на кухню. Они вставляли воронку в клюв отчаянно глотавшей птицы и проталкивали в нее кукурузу, помогая ей проходить по горлу ловким скольжением сомкнутой на горле руки. Гусь бился, пыхтел. Женщина еще сильнее сжимала колени. Рыжие капельки кукурузы прыгали в воронке. Когда птицу, наконец, отпускали, она с трудом ковыляла к своей поилке.

Старики, что читали у окна газеты, пользуясь последними светлыми мгновениями, поднимали головы и провожали гусей подозрительным взглядом, стараясь рассмотреть, увеличился ли со вчерашнего дня комок жира между их лапами.

В это время года мужчины успевали почитать газеты. Они принимались за чтение тотчас же после полуденной похлебки, потом перед ужином и после ужина. Читали неторопливо, начиная с третьей страницы, где печатались кантональные и деревенские новости, сообщения о смертях и свадьбах, о рождении детей, о ценах на ярмарках и рынках, приветствия вновь назначенным чиновникам.

Затем переходили к первой странице, пробегали глазами заголовки и начинали обстоятельно и добросовестно, не пропуская ни слова, читать какую-нибудь статью.

Кто-нибудь спрашивал:

— Ну что, папаша, сегодня нового?

Старик качал головой:

— Да все одно и то же. О том, что жизнь подешевеет, не пишут...

— Ну, а что-нибудь произошло? Интересное?

Тогда старики пожимали плечами, что означало ни да, ни нет, скорее беспокойство и боязнь высказать свое мнение. Но иногда все же заходил разговор о разных событиях: о выборах, о новых налогах, о поездках министров, о конференциях, о перевооружении Германии, о войне...

Это слово всегда вкрадывалось в разговоры. Каждый раз все неизбежно сводилось к нему. О чем только не толковали, а заканчивали всегда войной. Один из новобранцев прислал письмо, другой вскоре отправится в армию. Подсчитывали, сколько парней еще последует за ним. И слово «война» выползало, как паук из темного угла.

— Надо же столько всего пережить, чтобы дождаться того же!

Дождь стекал по крышам, в желобах клокотала вода, на откосах озябшие деревья дрожали под серой пеленой влаги.

В конце ноября дождь прекратился. На край обрушился шквальный северный ветер. В течение нескольких дней по утрам пронзительно завывало. Мужчины вышли на работу в поля и в леса. А потом ветер стих и в чистом небе проглянуло солнце. Простояло несколько почти жарких дней, но в прибрежных зарослях чувствовалась сырость, ноги увязали в грязи, земля была еще насквозь пропитана водой. Гаронна снова изменила свой цвет. Стала серой с синевато-стальными проблесками и уже не была такой вздувшейся, как во время дождей, но оставалась по-прежнему стремительной и грузной.

В деревне обсуждались самые разные новости. Кое-кто из стариков умер, кое-кто лежал на смертном одре. Как обычно, осенью и зимой. Каждый год именно в эту пору школьный учитель вписывал красивым почерком в регистры мэрии три или четыре имени, а то и

более. К этому уже привыкли. Дожди, первые холода, вслед за которыми выглядывало обманчивое солнце, застигали стариков врасплох. Они ложились спать, ни на что особенно не жалуясь, а на другой день уже едва могли подняться. Кашляли, молча лежали и постепенно отходили в край, откуда не возвращаются. В спальнях разводили огонь, стариков придвигали поближе к пылающим углям, но все шло своим ходом...

Вернь, бывший владелец кафе, что жил по другую сторону подвесного моста, заболел. Жена говорила, что у него воспаление легких. Он пролежал весь ноябрь, несколько раз его навещал врач. Потом он поправился. Видели, как он бесцельно бродил, греясь на солнышке. «Как сильно сдал этот Вернь, что живет у моста!» С повязанным вокруг горла шарфом, в пиджаке, болтавшемся на плечах, похудевший, высокий, с согбенной спиной и седыми волосами, Вернь, казалось, постарел лет на пятнадцать. «Это вода не пошла ему впрок,— судачили кумушки.— Все лето на лодке, ноги в воде...»

Когда наступила хорошая погода, Бертран Лубанс начал приводить в порядок дом Дельпешей. Он подремонтировал стены, подновил рамы в окнах, покрасил ставни. Планы у него были большие: кладовая над погребом велика, там можно отгородить еще одну комнату, потом перекрыть амбар, оштукатурить или побелить все комнаты, проложить бетонированную дорожку, построить птичник и свинарник вместо теперешних прогнивших развалюх...

Ему помогал старый Жан-Мари. Они работали, подолгу не раскрывая рта. Каменщик молча лавировал между досок, переходя от цементного раствора к стене, которую он ремонтировал. Время от времени он посвистывал, иногда перебрасывался парой слов с Жаном-Мари или выкуривал небольшую самокрутку.

«Зятек не слишком разговорчив, но дело свое знает»,— думал про себя Жан-Мари.

Как-то осенним вечером Анна объявила ему о своем намерении выйти замуж. Они как раз сели за стол, и Жан-Мари уже успел проглотить первую ложку горячей похлебки.

— Я выхожу замуж за Бертрана Лубанса,— сказала она просто.

— За каменщика?

— Да.

Ложка застыла над полной тарелкой, затем медленно опустилась. Старик вытер мякишем хлеба губы и налил себе стакан вина.

— Он хороший работник,— сказала Тереза.

— Каменщик,— словно бы недовольно проворчал Жан-Мари,— ну да для дома полезно...

Он немного подумал:

— Ведь его родители еще живы? Вы поселитесь у него или здесь?

И он вдруг разразился смехом. Конечно же от радости и волнения.

— Э, и ты еще спрашиваешь моего совета! Вы ведь договорились, к тому же ты уже не девчонка...

Он склонился над тарелкой.

— Мы поселимся здесь,— сказала Анна.— Места хватит.

— Места, пожалуй, достаточно.

— Да, места сколько угодно,— подтвердила Тереза.

— Земли у него не больше, чем у нас, а может быть, и поменьше. Но зато есть ремесло,— пробормотал Жан-Мари.— Ну что ж, если вы договорились, пусть переезжает! Работа ему найдется, начать хотя бы с ремонта дома.

И вот свадьба состоялась.

Теперь Бертран и Жан-Мари приводили дом в порядок. Именно этого и хотел отец. Каждая крупица цементного раствора, которая ложилась на стену, радовала его сердце, и ему даже легче дышалось.

Вечером он садился за ужин на свой стул у окна и говорил о том, как идет работа. Он хлопал по плечу зятя.

— Ну, Бертран, вот порадовал стариков! Настоящих каменщиков здесь сроду не бывало. В прежние времена каждый строил для себя сам, как мог. Каждый был и пахарем, и штукатуром, в зависимости от времени года. Но тот, кто обучен мастерству, делает все намного лучше.

Бертран рассказывал о своем ремесле. Перечислял заказы, прикидывал сроки, рассчитывал точно, сколько времени уйдет у него на выполнение того или иного подряда.

— Не надо тебе так надрываться,— говорила Анна, с любовью поглядывая на него.

— Да не надорвусь я,— смеялся Бертран.

Он встряхивал головой и барабанил своими тремя пальцами по краю стола.

— Работать так работать! Я делаю все быстро, но не халтурю. Научился не тратить времени даром. Я и так немало потратил его попусту.

И тут он переходил к своей службе в армии и к тем временам, когда был на фронте. Он склонял голову и теребил в руках газету.

— Может, я сейчас был бы уже богатый. Имел бы свое дело и компаньонов. А что у меня есть? Только мое ремесло, вот я и ношусь по заказам то туда, то сюда. Конечно, некоторые пострадали еще больше, я не жалуюсь, ведь многие просто не вернулись. Тот, кто умеет работать, у кого есть руки, может надеяться на удачу. Но главное — нам нужна не удача, а мир.

Он смотрел на мешки с цементом, сваленные около двери, подальше от раковины.

— Да, конечно, мир. Руки человека могут строить дома и разрушать их. Я заявляю всем, кому угодно меня выслушать. Если мне еще раз прикажут: «Шагом марш», я откажусь. А если у меня будет сын, я предпочту убить его собственными руками...

Голос его становился сухим и резким, три пальца барабанили по краю стола. Жан-Мари поддакивал ему. Женщины смотрели на него, но не отваживались вставить слово.

За окном стояла тихая и теплая ночь, какая бывает в погожую осеннюю пору. Они вслушивались в нее. В дверь веяло теплом.

— Да, верно,— помолчав немного, добавлял Жан-Мари,— на деньги, которые идут на войну, можно было бы построить дома.

— И не только дома,— подхватил Бертран,— а все что угодно. Вот вы здесь, например, живете, боясь наводнений. А кто-нибудь подумал о том, что можно поднять этот берег, сделать дамбу или, наконец, подсадить еще деревьев? Гаронна потечет там, где вы захотите. Только нужно для этого поработать!

Он протягивал свою трехпалую руку к стакану, до половины наполненному вином, Жан-Мари то брал свой стакан, выпивал, а потом улыбался:

— Ну, лиха беда — начало. Ты уже переделал нам дом. Настанет время и для остального.

— Да, если об этом позаботиться,— говорил зять.

— Ну что ж, нет худа без добра,— шептались кумушки.— Если бы Эли вернулся с войны, он никогда не стал бы жить у реки. Папаша Аллегр поселил бы молодоженов в своем доме, на верху косогора. А старый Жан-Мари и Тереза остались бы одни на берегу Гаронны. Так и жили бы до конца своих дней в старой развалленной хибаре. А каменщик не испугался и вон что из нее сделал — любо-дорого посмотреть.

— А я не стала бы там ничего делать,— говорила другая.— Разве это место для дома? Гаронна — не мельничный ручеек. Строить так

строить, лучше было бы попытать удачу где-нибудь повыше. Но раз им это нравится и они довольны, пусть будет по-ихнему, только в таком случае надо быть готовым к беде...

К какой же беде? К тому, что Гаронна разольется и затопит берег? Но уже столько лет не было настоящего наводнения. Разве что тогда, при Филемоне...

Наступили холодные, ясные дни, которые обычно предшествуют рождеству. Старики, сидя по домам, теперь следили, как откармливают уже не гусей, а свиней. Гусей к тому времени забили, прокипятили в собственном жиру, и, разрубленные на маленькие кусочки, они покоились в глиняных горшках.

Свиньи прибавляли в весе. Каждый вечер, когда их приходили кормить, они все тяжелее наваливались на дверцу клети. В этом году их собирались забивать раньше, так как кукурузы для откорма не хватало. Им давали больше капусты и свекольной ботвы, чем муки. А в последние недели их следовало бы кормить как можно лучше. Те, кто мог, так и поступали. Остальные — приближали дату убоя и праздника. И вот однажды утром на припорошенной серебристым инеем дороге появился человек, на плече которого висела сумка, полная ножей. В тишине раннего зимнего утра отчаянный визг свиней, которым вспарывали горло, поднимался к бледному диску заходящей луны.

Были и другие новости. Анна Дельпеш ожидала ребенка, и Марта Аллегр тоже. В деревне к весне ожидалось несколько новорожденных. Женщины вели им счет, предварительно подсчитав умирающих стариков.

Дети в школе учили рождественские тропари, песенки о снеге и птицах. Мальчишки готовили сани. Едва наступали сумерки, было слышно, как, выходя из школы, они наперебой орут, как девочки распевают старинные песни Прованса:

И вот на рассвете
Звуки над миром поплыли:
Золоченые трубы
О рожденье Христа возвестили [1].

Мелодии прованского края, в которых слышались трели дудок и позванивание леденцов, плыли в воздухе над первым ледком. На берега Гаронны, на застывшую грязь в прибрежных зарослях с остатками рыжих листьев на ветках надолго спускалось безмолвие.

Ожидали великого чуда — снега. В этих местах он выпадает редко и быстро сходит. Здесь наперечет годы, когда он пролежал несколько недель.

В воздухе кружились почти невидимые снежинки. Сероватая пыль припудрила крыши. Потом ветер одним порывом согнал все, и над равниной, косогором и долиной неожиданно затрещал мороз. Неподвижный воздух казался крепким, как алмазный резец. Звуки сухо дробили его на части. Удары топора на крестьянском дворе рассекали небо и землю. Каждый шаг отдавался эхом в пустынной дали. С крыш падали сосульки. Коровы склонялись к замерзшим поилкам, и из ноздрей их клубами шел пар.

В один из таких морозных дней, в воскресенье спозаранку, старая Жанна Аллегр отправилась к первой утренней мессе. Она вышла из дома, закутавшись в огромную черную шерстяную шаль. Еще не рассвело. В сумеречном свете блестела равнина. Когда Жанна надевала на голову платок, мужчины — они пили у очага кофе — пожали от удивления плечами:

[1] Перевод Г. Ярославцева.

— Не ходите сейчас, бабуся! Сегодня ночью мороз все сковал. Пойдете попозже, к дневной мессе...

Жанна ничего не ответила и скрылась за дверью.

Над белыми крышами плыла луна. Дым стелился над деревней. Жанна на минуту задержалась около дома. Коровы мычали в коровниках, расположенных в нижней части прижавшихся друг к другу домов, и кто-то глухими сильными ударами уже колол дрова.

Жанна направилась к бетонированной лестнице, которую построили летом. Под сабо хрустел иней. Немного помедлив, она ступила на первую ступеньку. Лестница была удобной, она это знала. Ее построил каменщик, что женился на Анне. Тот каменщик, который заменил Эли. Он хорошо поработал. Нога ступала спокойно, и спускаться было легко. Легко, Жанна Аллегр...

И тут из темноты всплыла зеленая звезда, похожая на блестящий лист сирени, а за ней вторая, твердая, как железо или лед, вся в колючих ледяных иголках.

Зеленая звезда плясала вокруг головы Жанны. Железная звезда вонзилась в ногу и кромсала ей кожу. Жанна застонала. Жгучая боль нарастала. Жанна крикнула, громко, пронзительно. Голова билась о скользкие ступеньки. Шерстяная шаль связывала ей руки.

Церковный колокол гудел где-то в голове. Звонарь тянул за веревку. Было видно, как он прыгает с одной ноги на другую. Безликие тени двигались от паперти до алтаря и обратно. То были старухи со свечами в руках. В ледяной ризнице облачался кюре. Кто-то тихо шептал: «Куда ты идешь, Жанна Аллегр?» — «Сколько раз я спускалась по склону, и мне ни к чему была эта бетонная лестница».— «Куда же ты идешь, Жанна Аллегр?» — «В церковь, к первой мессе помолиться за своего внука».— «Но ведь ты плохо видишь, а на дворе темно. Останься у очага, пойдешь попозже, когда над равниной рассветет, и тогда молись, если тебе хочется молиться».— «Нет, нет, у меня еще хватает сил. Сотни раз я спускалась и поднималась по этому склону до того, как здесь появился каменщик».— «Ты могла бы помолиться и у очага не ходя в церковь. Разве ты не достаточно уже находилась? Ты так же хорошо помолишься за него, оставшись дома с мужчинами...»

Зять услышал крик и выбежал из дома. Старуха лежала у подножия лестницы. Черная шаль закрывала ее лицо. Жанна поскользнулась на ступеньке и упала.

«Она не выживет»,— подумал он.

Жанна стонала, не размыкая губ. Он взял ее на руки. Папаша Аллегр тоже прибежал, а за ним и Марта, которой уже начинал мешать ее живот. Зять шел быстро. Старуха была легкой, как перышко. И зять, неся ее, думал про себя: «Вот я несу Жанну Аллегр, а кажется мне, что в моих руках целая жизнь, но я не чувствую ее тяжести...»

— Ей же говорили, чтоб сидела в тепле, ей же говорили,— причитала Марта.

Старуха продолжала стонать, а когда зять, кладя ее на постель, случайно коснулся правой ноги, она принялась браниться на местном наречии. И они сразу поняли, что у нее неладно с ногой.

— Не трогайте ее,— сказал зять папаше Аллегру.— Она наверняка сломала себе ногу. Я схожу на почту вызвать врача.

Старая Жанна неподвижно лежала в постели. Она закрыла глаза и больше не стонала. Жгучая боль, казалось, куда-то отошла.

Врач приехал на машине и установил перелом ноги. В таком возрасте это серьезно. Кроме перелома, он ничего, правда, не обнаружил, но кости у старух срастаются очень медленно.

Папаша Аллегр пошел в сарай за дровами. Он думал о том, что матери уже не встать. Во время гололеда такие случаи нередки. От

долгого лежания кровь приливает к голове. Кость, может, и срастется, а вот тело станет совсем немощным.

Погода помягчала. Выпал снег. По всей равнине раздавались крики ворон. Оставшиеся в огороде кочаны капусты казались огромными цветами. Жанна Аллегр дремала в постели; нога ее была в гипсе. Почтальон тащил свой велосипед по снежным колеям, заглядывая то в один, то в другой дом, чтобы обогреться у огня или выпить глоток виноградной водки. Дети распевали свои песенки. Вечера становились долгими, а ветер, словно голодный волк, рыскал по лиловатым просторам. Куницы и крысы шныряли около птичников. Можно было узнать их легкие, осторожные следы: извивающаяся ниточка — крысы, три легких прикосновения — куница.

В доме Дельпешей пахло свежей штукатуркой и краской. Марта с мужем пришли навестить их и рассказать о бабушке.

— Зять у нас не очень разговорчив, но работать умеет,— говорил им вполголоса Жан-Мари.

Анна была спокойна и счастлива. Как и Марта, она ожидала рождения ребенка. Она говорила, будто он уже шевелится.

— Да что ты, еще рано,— отвечала ей смеясь Марта.— Я ничего не чувствую. Тебе, наверное, кажется. Или у тебя будет какой-нибудь необыкновенный ребенок!

Деревня погрузилась в глухое молчание, охватившее весь край. На шоссе появлялись лишь редкие грузовики. «Снег, снежок»,— выходя из школы, распевали дети старинные песенки, в которых рассказывались простенькие истории этого края, к примеру, о том, как разные птицы — трясогузки, соловьи, дрозды и малиновки,— надев белые жилетки, явились в чудотворные ясли со своими дарами — руладами.

В представлении детей таинство рождественских снегов связывалось с соблазнительными запахами: апельсинов и жареной кровяной колбасы, шоколада и кукурузного пирога, испеченного на сковородке, лепешек, пахнущих горячей печью, и потрескивающих в огне сухих дров...

По другую сторону серой реки одиноко стоял дом Верня. На дорожках сада не было почти никаких следов. Реймонда тщательно подметала порог дома. Вернь не покидал теплой кухни. С утра до ночи он что-то читал. Раза два-три в воскресные дни видели, как он играл в карты в деревенском кафе. Домой он возвращался засветло, тихим спокойным шагом, одетый в широкое пальто, воротник которого он предусмотрительно поднимал, трижды обмотав шею шарфом.

Под холодным небом Гаронна катила в далекие края свои мутные воды цвета железа и сажи, бесконечные молчаливые воды, бесшумно размывающие берега. Иногда у берегов обламывались льдинки. Их уносило потоком. Высокие голые деревья гнулись над унылой водяной дорогой.

Под налетевшим южным ветром сошел снег, и воздух стал мягче. С деревьев и крыш закапали слезы. Едва исчез снег, стала пробиваться нежная травка. Южный ветер просовывал свои проворные теплые руки в двери, покрывая влагой каменные плитки пола. На святого Луку день, как говорится, прибавился на блошиный скачок, а потом — еще чуток, и в сумерках остро пахло весенним лесом. Пришедшие вслед за влажным южным ветром робкие дожди слизали последние островки снега. Старухе Аллегр стало лучше. На полях зазеленела пшеница. Дождь продолжал лить.

IX

Запах сырости и воды внезапно вторгся в кухню, где пахло вареной капустой.

— Не подхвати какой-нибудь хвори! — крикнула Тереза.— Закрой-ка дверь!

Дверь хлопнула. Жан-Мари Дельпеш, натянув на голову старый клеенчатый капюшон, прошел под окнами и направился по лугу в сторону Гаронны. Вода плескалась в каких-нибудь пятидесяти метрах. Лил мелкий дождь. Небо заволокли низкие облака. Под сабо хлюпала пропитанная водою земля.

Дойдя до середины луга, Жан-Мари обернулся. Дом выглядел так, будто его только что построили. Ряды новой черепицы весело блестели под струями дождя. Сирень, высаженная вдоль забора, раскачивала своими свежими блестящими листьями.

Жан-Мари рассмеялся, поглаживая от удовольствия усы. Да, дом был хорош. Крепкий, ладный, он выделялся на фоне серого неба и зеленой листвы. Настоящий новый дом!

Жан-Мари гордо выпрямился, и взгляд его прищуренных от смеха глаз устремился в пасмурное небо.

На берегу кто-то окликнул его. Метрах в пятидесяти вниз по течению реки стоял крестьянин.

— Привет, Жан-Мари,— крикнул он.— Ты видел? Она снова поднялась.

— Привет, Луи...

Дождь падал с неба прямыми струями. Спокойные блестящие нити дождя соединяли небо с Гаронной. На поверхности воды лопались мелкие пузыри. Вода прибывала, растекалась. Уже не было видно ни островков, ни песчаных пляжей. Ничего, кроме воды, желтого потока, текущего между зеленеющими деревьями. Пузыри на воде, сетка дождя, ровный разлив реки. Даже водовороты пропали. Однообразная полоса воды, прорезающая туманный пейзаж, и только беспрестанный вальс пузырей свидетельствовал о том, что эта полоса движется.

Крестьянин исчез среди колышущихся под ветром тополей, и Жан-Мари услышал скрип повозки. Человек прикрикнул на лошадь, и ее копыта мягко захлюпали по мокрой земле. Он вышел из рощи. Это был толстый сутулый мужчина лет сорока, в грязных тяжелых башмаках.

— Настоящий паводок, Жан-Мари. Если дождь не прекратится, вода зальет рощу...

— Посмотрим.

— Точно! Со вчерашнего дня она поднялась на двадцать сантиметров. Почва уже не выдерживает. Она больше не впитывает воду.

Жан-Мари по-прежнему смотрел на разлив реки.

— Где твой зять? — спросил крестьянин.

— В Гризолле. Цементирует гараж.

— Хороший он у вас парень. А как дела у дочки?

— Уже скоро,— ответил Жан-Мари.

— Верно,— повторил тот,— уже скоро.

Жан-Мари повернулся к нему:

— Не часто ты заглядываешь сюда, Луи.

— Да у меня же вся земля наверху. В прошлом году я продал здесь последний участок. Остался лишь кусок леса, что выходит на Мовер. Вчера я ездил туда и вот еду посмотреть снова. Там уже вода. Что ты на это скажешь?

— Да, может, еще остановится.

— Вряд ли, черт побери! Ни к чему этот теплый дождь! А вслед за ним потекут талые воды. Наверху уже тает. Это плохо.

— Да, верно,— согласился Жан-Мари.— Если пойдет талая вода, будет совсем плохо.

— Ты не боишься?

— А чего бояться? Дом выдерживал и не такое. Что ж, пусть и теперь вода прибывает...— Он усмехнулся:— Ты, кажется, еще не бывал у нас после ремонта. Бертран все сделал заново.

— Да, я уже видел,— сказал Луи, кивнув головой.

— Заходи, выпьем по стаканчику по этому случаю.

Крестьянин заколебался:

— Разве что на минутку.

— Брось,— воскликнул Жан-Мари,— куда тебе спешить! Твой лес не затопит, пока ты опрокинешь стопку. Да к тому же чем ты сможешь помочь?

— Чем помочь? Если паводок пойдет туда, то хуже и быть не может. Лучше уж все срубить. Вот я и думаю...

— С ума ты сошел! Лес, которому двадцать лет! Потерять такой лес ради трех лишних поленьев!

— Вот я и думаю...

— Зайди все же выпить.

Жан-Мари уже пошел, но вдруг остановился:

— Срубить? Нет, ты сошел с ума. Срубить лес у берега, чтобы на следующий год вода прошла еще дальше! — И он стал объяснять ему, протянув руку к реке: — Вот что думает зять. Надо соорудить здесь дамбу. Поднять берег. Можно подсадить еще деревьев, и тогда паводок пройдет стороной, через песчаные отмели. Главное— это сажать деревья, наступать на воду. Заметь, в нашем доме старики понимали это. Они всегда говорили, что перед водой отступать нельзя. Только отступишь, она продвинется дальше...

Прежде чем войти в чистую белую кухню, они сняли сабо. Раковина была выложена крупной красной плиткой. Пахло свежей краской. Анна с вязаньем сидела у огня. Вошедший взглянул украдкой на ее талию.

— Кого ты хочешь, Анна? Вы уже выбрали имя?

— Нет еще. Времени достаточно.

И пока Тереза подавала им вино, Луи рассказывал о том, как они выбирали имя сыну. Секретарь мэрии трижды заходил к ним, чтобы узнать, что они решили. Ему надо было подписать акт, ибо как раз подошло время отправить книгу записей в супрефектуру. Но в семье никак не могли прийти к соглашению. Деды с той и другой стороны хотели дать ребенку свои имена, но мать колебалась. В конце концов его назвали, как и отца, Луи, вот и все. В будущем, правда, это сулит затруднения. В документах может возникнуть путаница...

Он поднялся, за окном все так же уныло лил дождь; Жан-Мари отправился со своим гостем, чтобы еще раз взглянуть на берега Гаронны. Прощаясь, он снова крикнул ему вслед:

— Ни в коем случае не руби лес около воды!

Матери запретили детям приближаться к берегу. В домах только и разговоров было, что о наводнении. Кто-то сказал, что вода уже залила мост Мовер. Но нет, до настила было еще далеко.

Дождь шел по-прежнему. Можно было прийти в отчаяние. С раннего утра до позднего вечера он прочерчивал воздух спокойной серой бархатистой сеткой, мягко стекал по лицу, забирался в рукава. Земля была пропитана водой насквозь. В колеях стояла вода. Луга пестрели желтыми лужами. В роще вода доходила до щиколоток.

В деревне без конца спрашивали всех, кто поднимался снизу, от реки:

— Ну что, она все еще прибывает?

— Да, не спадает, да и как она может спасть, если дождю нет конца!

Только один дом находился под угрозой — дом Дельпешей. Для других опасности не было. Даже если зальет дорогу и подступы к мосту, все равно деревня отрезана не будет. Поэтому все разговоры крутились вокруг дома Дельпешей и того, что с ним может статься.

— Они не уйдут, не хотят. Все из-за Жана-Мари...

— Если мэр им прикажет...

— А зять-то на заработках в Гризолле. Неужели он не слышал о наводнении? Вместе бы быстрей решились.

— Бедная Анна, ведь она ждет ребенка!

Но в конце концов дом построен на бугре. В худшем случае вода окружит его, как это случалось и раньше, но все же...

— Вы не знаете, какая сила у воды,— говорили старики.— Тот, кто не видел, и представить себе не может. Она сметает все. Когда вы видите Гаронну спокойной, вам кажется — прекрасная река для рыбалки. Но когда разбушуется, против нее ничто не устоит. Мчится напролом словно стадо разъяренных быков, круша все на своем пути. Ломает тополя, рушит дома. Размывает берега, затопляет пастбища, ползет вверх. Вы скажете: опасность можно предвидеть. Как бы не так! В семьдесят третьем году людей сносило потоком с порогов домов. Не успевали повернуться и убежать. Вода поднялась одним махом... Вы не представляете себе, какая сила у воды,— повторяли старики.— Сто лет назад в Тулузе наводнение разрушило тысячу домов, а в семьдесят третьем — семь тысяч.

Наступил апрель, и Жанна Аллегр начала вставать с постели. Сломанная нога, к счастью, срослась, и старушка семенила мелкими шажками от кровати к очагу и от очага к кровати. «Она у нас железная»,— утверждал зять. Но она уже почти не могла говорить и только, размышляя о чем-то — о чем, никто не знал,— трясла головой и шевелила губами.

Однако разума она не лишилась. Хорошо помнила, когда что нужно делать. Тянула руку в сторону коровника, когда приходило время доить или поить коров. Показывала на очаг, если не хватало дров. Просила добавить ей подушек, чтобы сесть в постели и заняться какой-нибудь работой.

Когда однажды утром Марта чистила возле нее картошку, она показала жестом, что хочет помочь. Молодая женщина положила ей в подол несколько картофелин и дала нож. Старуха попробовала чистить. Картошка в ее фиолетовых руках дрожала. Нож выпал из рук. Смотреть на нее было жалко, и Марта ласково улыбнулась ей. Но старуха откинула голову на подушку и со вздохом скрестила руки, словно хотела сказать: увы, даже этого я не могу, какая теперь от меня польза...

Лицемерный теплый дождь продолжал лить. Молоденькие листья на блестящих ветках прижимались друг к другу. Гаронна поднялась еще и понеслась. В потоке мелькали пучки свежей травы, цветущие ветки, кусты, гнилые доски какой-то халупы, очевидно стоявшей на самом берегу и разнесенной на части водой.

Как-то утром посередине потока проплыли большие стволы тополей. Их темные бока то скрывались под грязной водой, то вновь появлялись. Их принесло с лесопилки, расположенной в верховье. Как они попали в воду? Как подхватило их течением? Никто не знал. Река текла с глухим протяжным рокотом, но стоило постоять немного на берегу, и ухо человека переставало улавливать шум. Широкий поток желтой воды казался спокойным, почти неподвижным.

Однако достаточно было вглядеться в него попристальней и проследить взглядом за несущимися по нему пузырями и листьями, что-

бы заметить, как он стремителен. Гаронна разлилась так широко, что взгляд не задерживался у берега. Его притягивала далекая середина потока, а там, казалось, царило спокойствие, могучее величие...

Дождь немного стих. Однажды утром даже прошел слух, будто вода спадает. Пошли посмотреть на опоры моста. И верно, вода больше не поднялась, но была уже у самой дороги. Еще немного — и река залила бы дорогу, перекрыв путь к мосту и отрезав деревню и равнину от другого берега.

Крестьяне потянулись к своим участкам в прибрежных зарослях. Выше и ниже дома Дельпешей Гаронна далеко вклинилась в рощу. За тополями воды уже не было, но между ними текли длинные желтые ручьи. По их поверхности плавали прошлогодние листья. Если человек спешил и не проверял почву палкой, то иногда проваливался по самое колено. А чуть ближе к берегу стояла непролазная желтая грязь, в которой тут же увязали сабо. К счастью, лучшие земли располагались на косогоре.

— Ну, как вода? — спрашивала каждое утро старуха Аллегр.

В тот день Марта ей ответила:

— Все, бабушка, начала спадать.

Улыбнувшись, она добавила:

— Да если б она поднялась и больше, нам-то бояться нечего. Мы выше всех в деревне!

Подбородок Жанны задрожал.

— А Анна?

— У Анны все в порядке, и дом у нее крепкий. Вода до него не поднимется. Ведь я же вам сказала: все кончилось!

— Тебе надо было бы позвать ее сюда,— пролепетала Жанна Аллегр.— Ведь она ждет ребенка....

Она говорила, будто читала по складам. Останавливалась, что-то бормотала, подыскивая слова. Речь ее стала очень медленной.

— Ее ребенку ничего не угрожает. Говорю же вам, все кончилось. Уж будьте уверены, я предлагала ей перебраться к нам. Вот было бы забавно, если б два ребенка родились в одно время!

— Два ребенка...— повторила старуха.

Она опустила подбородок на грудь и, вздохнув, закрыла глаза.

Марта подумала: «Уж не потеряла ли она память? Она все путает и думает, что ребенок, который родится возле реки, наших кровей, от Эли. Она все забыла...»

Казалось, что старуха задремала. Лишь когда появились мужчины с последними новостями, она открыла глаза. Мэр сказал, что опасность миновала, но все же надо быть начеку. Накануне приехал Бертран Лубанс, решил сам посмотреть, что происходит. Работу свою он, правда, еще не закончил. И поскольку вода спадала, он собирался уехать обратно.

Старуха зашевелилась на подушке, и губы ее задвигались. Все обернулись в ее сторону.

— Если муж Анны снова уедет в Гризолль, приведите ее сюда. Пусть Жан-Мари и Тереза остаются одни, если им так хочется.

Старуха явно была в здравом уме. Она немного отдышалась.

— Раз ей скоро рожать, не дело оставаться в доме у самой воды.

Папаша Аллегр подошел к ней.

— Но ведь уже нет никакой опасности!

— Они привыкли, и Анна не боится,— подтвердил зять.— Сама родилась во время такого же наводнения, вы ведь знаете. Повитуха не хотела идти к ним. Боялась, что дом затопит.

— Надо уходить, раз подступает вода,— бормотала старуха.— Если она подошла, с ней не справиться.

Ее оставили дремать под треск огня в очаге и тиканье черных настенных часов.

На улице сверкало солнце, и ветер просушивал листву. Воздух над косогором был напоен острыми весенними запахами, и от солнечного света река стала ослепительно белой.

X

Кто услышал рев воды?

Те, кто еще не спал, услышали его ясно. Он прозвучал в глубине ночи, словно внезапный удар цинкового ведра о стенку глубокого колодца.

Это был рев воды, прозвучавший где-то далеко-далеко, рев безумия, донесенный до деревни ветром.

На что походил он? Быть может, на выстрел. На оглушительный выстрел, словно где-то ухнула пушка. Или вдруг произошел обвал. Или на крик животного: так может взреветь понесшая лошадь, либо бешеный бык, либо какой-нибудь хищник.

Потом наступила тишина, но трудно представить себе, что может еще существовать тишина после того, как ты услышал рев воды. Он долго звучит в твоих ушах. Он настойчиво стоит там, разрастаясь подобно гигантскому цветку в страшном сне.

Он похож на дыхание чудовища. Представьте себе, что десятки или сотни разъяренных лошадей вдруг поднимут к небу свои морды и выплеснут в темноту свое дикое ржание.

Да, правы те, кто говорил о неукротимой силе Гаронны. Она ужасна.

Жанна Аллегр услышала рев с вершины косогора.

То был предутренний час, когда старики, если только они спали до этого, пробуждаются и начинают прислушиваться к тому, что шепчут тени. Их память блуждает среди навесов и крыш, проходит сквозь изгороди участков. Они пытаются отгадать, на кого разлаялась собака, какая ветка скрипнула и чьи шаги тревожно звучат то там, то здесь.

Другие тоже наверняка услышали этот рев, но Жанна Аллегр была первой. Она услышала его в тишине своей спальни и с ужасом вздохнула. Боль в ее окаменевшей ноге мучила ее, как никогда.

Вернь вскочил.

Окно, выходящее в сторону верховья реки, было открыто, и оттуда донесся рев воды. Он обрушился на дом Верня так же, как сама вода обрушилась на все, что оказалось на ее пути.

Реймонда еще спала. Но бесшумно ворочалась во сне. Она была уверена, что их берегу вода не угрожает. Его защищает крутой склон сада. Ну, а Вернь никуда не денется. Он уже не выходит больше, он стар и немошен.

Однако Вернь быстро одевался. Он уже повязывал шарф вокруг шеи. Реймонда приподнялась на постели.

— Куда ты? Что случилось?

— Мне кажется, вода поднимается. Пойду выгляну в кухонное окно.

— Только не выходи!

— Не выйду, не выйду,— покорно пробормотал Вернь.

— Ни в коем случае не выходи,— снова повторила жена.

Она тоже стала одеваться. Но ступени лестницы уже скрипели под тяжелыми шагами Верня. Она не осмелилась броситься за ним, взять его за руку, удержать. Но в любом случае сегодня он не сможет уйти слишком далеко.

Светила яркая полная луна, и небо было ясное. В прозрачном воздухе тонко прочерчивалась линия берега.

Вернь открыл дверь.

Его тут же оглушил гул воды. Рев, который он услышал раньше, превратился в грохот. Кроме него ничего не существовало. Точно Вернь шагал не по своему освещенному луной саду, не по вязкому берегу, а весь, с головы до пят, погрузился в этот грохот, у которого не было ни начала, ни конца.

Грохот заполнял все. Казалось, он лезет тебе в руки, забивает рот, уши и глаза. Казалось, что ты идешь, пробиваясь сквозь этот грохот.

Ветки деревьев в воде, стволы в пене, ивы согнуты, склонены, клокочущая вода выламывает корни, земля исстегана, раскрошена, неумолимый поток гонит к низовью вырванные из земли черные руки деревьев,— казалось, что под натиском воды долина уходит глубже в землю, а земля разверзается, образуя бездну. Не было больше ни дубов, ни ясеней, ни лип — ничего, кроме теней неведомых деревьев, склонившихся к взбаламученным, мутным водам Гаронны, смертельно надломленных рассвирепевшими волнами.

Затем поток принес новые звуки. Казалось, кто-то рвал на куски огромные полотна атласа и шелка.

Вода все прибывала, она была уже под ногами Верня. В глазах у него рябило. Несмотря на ясный свет луны, он ничего не видел. Все лезло в глаза разом. Колышущиеся на поверхности воды языки серебристого пламени слепили его.

С бешеным ревом воды сливался шум ветра. Со скрипом выкручивало тросы моста.

Вернь заметил вдруг, что стоит по икры в воде. Земля уходила у него из-под ног. Он на четвереньках вскарабкался по склону к дому. Ему показалось, будто его зовет Реймонда, но за спиной снова с нарастающей силой послышалось гудение тросов моста и рев Гаронны. Он ринулся к кусту и уцепился за нижние ветки, чтобы взглянуть на правый берег.

И тут он увидел, что дом Дельпешей окружен водой. Луг залило водой. Вода подошла к кухне.

Он принялся кричать.

— О-го-о... о-го-о... о-го-о...

Окно было закрыто, ставни опущены. Больше Вернь ничего не видел. Луна освещала заново побеленный фасад, новую черепицу. В одиноком опрятном доме не было признаков жизни.

Вода устремилась к дому. Луг скрывался под все прибывающей водой, превращаясь в залив. Казалось, что с самых гор вода, как на свою добычу, ринулась на штурм этого дома.

Вернь снова закричал. Но крик его потонул в завываниях ветра. Он был каплей в океане окружавшего его грохота.

Наверху в деревне не было видно ни души Вернь кусал губы. Страшный сон. Вода наступает на дом. А в деревне не слышно ни звука; и в самом доме — ни звука. Даже света нет. Он вдруг понял. «Ясно,— подумал он,— столбы не выдержали, нет тока, а они ничего не слышат».

Ждать дальше было невозможно.

Он побежал к мосту. Мост раскачивался. Тросы его дрожали, как бы перекликаясь с бурлившей, поднявшейся к самому мосту водой.

Продвигаясь вперед, держась рукой за перила, Вернь заметил у другого конца моста тяжелый цеп, опускавшийся вниз, вздымавшийся и снова опускавшийся... Казалось, кто-то молотил на току. Вернь видывал не раз такую молотьбу. Воспоминание настойчиво лезло в голову. Цеп с кожаным ремнем в лучах солнца. Он изгибается, отлетает назад, кружится и ударяет по снопу. Какой-то великан молотил у другого конца моста, потрясая своим орудием, тяжело опуская его на темные снопы.

Но это был не человек, а дерево. Большая плакучая ива в четком ритме то выпрямляла свой гибкий ствол, то снова пригибала его, оку-

ная в воду концы ветвей и позволяя потоку каждый раз на мгновенье увлекать их за собой.

Значит, Гаронна залила дорогу по другую сторону моста. Вернь уже не мог перебраться на правый берег. На середине моста он глянул вниз. Луну затянуло облаками, и он не мог различить, насколько высоки волны. Все так же казалось, что шуршит и разрывается на части шелк,— то был треск увлекаемых водой стволов или досок, а в нескольких метрах от Верня, там, где дорога круто спускалась от моста к шоссе, огромная ива продолжала свою мрачную молотьбу в разбушевавшемся потоке.

Повернувшись к деревне и невидимым домам, Вернь изо всех сил закричал:

— Вода! Вода! Поднимается вода!

Он кричал, не замечая, что грохот заглушает его слова. С этого места на мосту дома Дельпешей не было видно, и ему вдруг представилось, что наводнение уже смело стены и пол дома и увлекло за собой спящих людей: старого Жана-Мари, Терезу, каменщика и Анну. Анну, носящую в своем чреве сына. И теперь всех их несет вода.

— Нет, нет,— простонал Вернь...

И он снова закричал:

— О-го-о! О-го-о! Наступает вода, наступает вода...

Но почему же все, все вокруг молчат? Просто они еще не поняли, что происходит. Разбушевавшийся поток уже прошел сквозь рощу и подступил к косогору. Гул нарастал. Те, кто жил по краям шоссе, у кого были лодки в заливных лугах, уже привыкли к нему. Они знали этот гул, знали повадки реки.

«Я переведу, я переберусь на ту сторону»,— твердил про себя Вернь.

И он бросился к своей лодке, продолжая кричать:

— Вода, вода наступает... я...

Тереза Дельпеш приподнялась на постели.

Огромная лопата проскребла по лугу. За скрежетом последовало позвякивание каскада хрустальных капель.

«О,— подумала она,— они решили, что все уже кончилось. На самом же деле все только начинается. Вода уже тут...»

Она склонилась над Жаном-Мари. Тот глухо храпел, лежа на боку у края кровати.

— Жан-Мари, Жан-Мари, вода... Ты слышишь? Наводнение!

Она откинула назад волосы и вскочила с постели. Сухие листья кукурузы, которыми был набит матрац, зашуршали.

— Анна! Анна! — крикнула она.— О, да они все спят... Вода!

— Ну и что же из того, что вода? — спросил Жан-Мари хриплым со сна голосом.

Тереза уже успела открыть окно. В комнату ворвалось тяжелое и холодное дыхание воды.

— Анна, быстрей! — простонала женщина.— Как назло нет Бертрана! О, я так и знала, что-то говорило мне, что вода в конце концов нахлынет. Надо срочно уходить!

Она повернула выключатель.

— Света нет, быстрей!

— Что ты хочешь делать?

— Уйти отсюда!

— Зачем уходить,— спросил спокойно Жан-Мари,— когда твоя дочь в таком положении?

— Вот именно в таком положении. Ты хочешь дождаться, когда вода зальет дом? Посмотри!

Он подошел к окну, стал с ней рядом.

— Но ведь вода в нижней части луга. Кто тебе сказал, что она поднимется выше?

— Ты что, не слышишь? Я уверена, что она поднимается... Анна!

Анна вышла из своей комнатки:

— Что случилось?

— Ты ничего не слышишь? Вода!

Анна выглянула в окно. Она была в ночной рубашке. Ее распущенные густые черные волосы ниспадали на плечи. Она повернулась. В свете луны вырисовывались ее грудь и высокий живот.

— Накинь-ка что-нибудь и не стой там! — сказала мать.

Она зажгла свечу. Три тени заплясали на низких балках.

Жан-Мари спокойно сел на край кровати. Он взял свой кисет с табаком.

— Бертран будет беспокоиться,— сказала Анна.— Ведь он хотел остаться. А я настояла, чтобы он закончил работу в Гризолле.

— И правильно сделала,— сказал Жан-Мари.— Сделал дело — гуляй смело.

— Слушайте! — воскликнула Тереза.— Она все поднимается...

По комнате разгуливал холодный, промозглый ветер. Пламя свечи металось во все стороны.

— Так что? — спросила Анна.

— Надо уходить,— сказала Тереза.— Если дорогу зальет, мы окажемся отрезаны.

— Ну и что из того? — отозвался Жан-Мари.

— С ума ты сошел. Ты еще начни нам рассказывать о том, как бывало при стариках. Но как поступали старики — это их дело. А мы...

— Дом у нас крепкий,— ответил ей муж, подчеркивая каждое слово.— И сегодня ночью он не развалится.

— Дом-то, может, и не развалится, но вода проникнет под двери. А твоя дочь, повторяю тебе, в таком положении...

— И ты хочешь, чтобы она бежала по этакому холоду? Вода еще далеко...

— Не так уж и холодно. Надо только потеплей одеться и уходить.

— Нет,— упрямо сказал Жан-Мари.— Нам ничего не угрожает. Уж я-то знаю.

И тут он вспомнил о другой ночи, о зимней ночи вскоре после той, первой войны, когда родилась Анна. Повитуха боялась идти. Ее пугало наводнение. Уже слышался гул воды. Но тогда, конечно, паводок был послабей, чем в этот раз. Сегодня вечером хлынули воды таявших снегов, но и без них река сильно поднялась от весенних дождей. А в доме снова ожидали ребенка. Не с минуты на минуту, нет, но он спал в чреве матери. Он должен был родиться еще через несколько недель или несколько дней, но он уже был.

Теперь времена не те. Минули многие годы. Перемешались беды и радости. Бед, конечно, больше, намного больше. И все же на этот раз Жан-Мари не боялся. Он испытывал смутную радость от того, что не уступает воде, как до него не уступали старики. От того, что скоро на свет появится ребенок и продолжит их род, от того, что мужчина — настоящий мужчина! — пришел в их семью и надежно отремонтировал весь дом.

Остаться или нет? Тереза тащит его в деревню. Права ли она? Жан-Мари колебался. Вода, конечно, проникнет под дверь, и даже если стены выстоят, мебель и людей может унести поток, в том числе женщин и ребенка в материнской утробе. Он колебался. С одной стороны, ему было радостно бросить вызов воде, с другой — он опасался за ребенка, который должен был родиться.

— Пошли же, пошли,— звала жена.— Не заставишь же ты нас лезть на чердак!

— Чердак под крышей, и в нем теплей, чем на дороге.

— У нас пока еще есть время добраться до деревни. А потом будет уже слишком поздно.

Жан-Мари снова почувствовал, как его охватывает гнев. Такой же гнев испытывали в свое время старики. Гнев против нелепой беды, гнев тех, кто знает, что такое несчастья...

— Пойдем,— сказала жена.

Анна молчала. Она сидела, положив обе руки на свой тяжелый живот.

С луга долетала протяжная журчащая песня разливающихся вод...

В темной спальне дни текли незаметно. Жанне Аллегр хотелось взять их, собрать в узелок и запрятать под кофту поближе к сердцу. Она тянула к ним руки. Ей казалось, что она тянет к ним руки.

Эту вереницу воспоминаний о былом пробудило ржание лошадей. Одни страхи порождали другие, одно воспоминание влекло за собой другое, за горестными днями вспоминались дни радости.

За домом начинался склон, на котором лежала деревня. Старая Жанна смотрела на расстилавшуюся равнину. Молотилка выбрасывает золотую пыль. Тянутся ряды виноградников. Тяжелые колосья пшеницы нового урожая и запах вина предвещают смену времен года.

И внезапно наступают туманы. В роще завывает зима. В глубине улиц семенят женщины, похожие на каких-то насекомых. Церковь разверзает свою черную пасть. В тишине звонят колокола. Жанна видит, как они раскачиваются в ажурных стенах звонницы; один глухой, другой звонкий, серебристый. Между беловато-зелеными тополями струится вода. Вода меняет цвет. Она теряет свою летнюю ласковость, она вздувается, поднимается выше к небу. И вдруг, как смерч, льет потоком от горизонта, словно десятки, нет, сотни скачущих галопом коней, словно стадо чудовищ.

Грудь Жанны вздымается и опускается под тяжестью му́ки. Жанна разглядывает согбенную старуху, стоящую перед потоком. А мужчина вопит ранним темным утром:

— О-о! Проклятье, проклятье! Наш мальчик...

Они схватили его и повесили. Вода надвигается. Кони мчатся еще стремительней, грудь в пене, обезумевшие морды вскинуты, кони встают на дыбы, выставив вперед копыта и окровавленную грудь. Гигантская волна сметает все на своем пути.

— Это война, это война,— бормочет Жанна.

Ее осипший голос едва-едва звучит, словно сухой орех перекатывается в банке. И она чувствует, что не может крикнуть громче. Если люди не услышали рева воды, ей не суметь сказать им, что кони уже прискакали и теперь там, внизу, угрожают ребенку, что находится в чреве Анны.

Волна поднимается все выше. Она уже заполнила комнату. Зловещие лошадиные морды высовываются из-под балок. Железная звезда разрывается в сломанной ноге. Голос Жанны оборвался. Ей нечего было больше сказать. Голосу старой женщины не остановить смерть. Ее охватила мелкая дрожь, потом она погрузилась в дремоту.

Какое-то мгновение Верн постоял в нерешительности, затем наклонился к лодке и толкнул ее в залитую водой траву. Под ногами хлюпала вода.

Там, где он стоял, ее было еще не слишком много, но стоило ему сделать три шага, как вода уже доходила до щиколоток, а чуть дальше — до икр.

Лодка ходила ходуном. Верн держал в руках цепь и шест. Он бросил шест на дно лодки. Цепь вдруг натянулась и ободрала кожу на его руках. Лодку затягивало течением.

Он прошел еще немного вперед. Теперь вода уже доходила ему почти до бедер. Вверх по спине пробирался холод. Наконец, он впрыгнул в лодку. Она закачалась.

Пока Вернь, нагнувшись, отыскивал шест, лодку толчком бросило к течению. Шест взлетел вверх, опустился и достал скользкое, вязкое дно.

Казалось, что лодка все еще на прежнем месте. Она медленно кружилась, но журчание воды у бортов становилось все звучнее. И снова ее стало затягивать течением...

Вернь был совершенно спокоен. Он уже различал противоположный берег и залив, образовавшийся от паводковых вод. Ему надо было лишь присесть на корточки и оттолкнуться шестом в ту сторону. Но могучая сила потока отбросила его в противоположном направлении.

Шест уходил в воду все глубже и глубже. Плечи Верня промокли, но страшные усилия, которые ему приходилось прилагать в борьбе с водоворотами, разогрели его.

Он уже достиг середины реки, дно пропало. Шест заходил по тяжелой и мутной воде, затем лодка стала обрастать со всех сторон какими-то обломками и ветками, которые, кажется, еще сильнее потянули ее вниз по течению.

Прижавшись грудью к борту лодки, Вернь порывисто дышал, глядя на медленно удаляющийся от него берег.

И тут он увидел огни на косогоре. Крошечные, прыгающие, они походили на птиц, стремительно перелетавших с одного дерева на другое.

Из горла у Верня вырвался хрип. Значит, люди там наверху поняли. Они спускаются, наконец, к реке. Но что они смогут сделать, если дорога отрезана и дом стоит в воде?

Впрочем, все просто. Они так же, как и он, возьмут лодку и переберутся к дому через затопленные заросли.

Он не видел больше дома. На берег спустился туман. Но, может, это был не туман, а пелена брызг от разбушевавшейся реки.

На фоне неба вырисовывалось множество плывущих ветвей. Словно причудливые суда с перепутанными мачтами. Верню бросилось в глаза что-то длинное и вздутое с блестевшими в приоткрытой пасти зубами. Это был труп барана. В водоворотах кружились доски.

Вернь поджидал, когда появится дно. Погрузив обе руки в воду, он пытался нащупать его шестом, чтобы снова управлять лодкой. Но дна не было. Шест в руках Верня ходил ходуном. За него цеплялись гонимые течением сплетенные ветви. Лодку несло по середине Гаронны, все дальше и дальше от деревни и дома Дельпешей. Вернь встал и разразился проклятьями, но они потонули в шуме ветра и воды. Резкий удар отбросил его назад. Он попытался грести руками. Напрасно, лодка ему не повиновалась. В бушующей пучине Гаронны руки болтались беспомощно, как тряпки.

Тереза взяла под руку дочь и вывела ее на тропинку, проторенную среди прибрежных деревьев.

— Ой, да я же не больная,— запротестовала Анна.— Я могу идти сама.

— Да, к счастью, не больная... Закутайся в шаль.

— А как коровы?

— Их отведет отец.

Обе женщины скрылись за деревьями. Жан-Мари остался дома. Он перенес на чердак все, что могла испортить вода: продукты, груды белья. Посадил в клетки кур и кроликов.

— Не задерживайся,— крикнула ему, уходя, Тереза.— У тебя же дочь...

Старик пробормотал:

— Да, да, иду...

Он-то знал, что у него дочь. Но ведь она могла идти и сама, здорова же...

Теперь он закрывал дверь на двойной запор, точно опасался воров. Дверь прилегла плотно. Аккуратно закрыл ставни.

Женщины уже исчезли за деревьями, и Жан-Мари один стоял во дворе, около смоковницы. Он смотрел на дом.

Это был его родной дом. Он покидал его, и ему было тяжело. Он смотрел на амбар, хлев, погреб, новый фасад.

Рядом с ним, повернув морды в сторону тропинки, в ожидании стояли обе коровы. Они уже несколько раз порывались пойти по ней. Он останавливал их коротким окриком. Они шумно дышали, обеспокоенные тем, что их подняли в этот холодный и туманный ночной час.

Они принялись жалобно мычать, он подошел к ним, погладил ноздри, бока.

— Тише, тише...

Ему хотелось услышать, не подошла ли вода к стенам дома.

И вот раздался удар. Коровы замычали. Он пригрозил им палкой, но они, тяжело развернувшись задами, толкнули его. Их мычанье перемешалось с громким рокотом воды.

Коровы пустились во всю прыть по тропинке, и он побежал за ними, опасаясь, что они потопчут женщин.

Он пытался их успокоить словами. Но коровы бросились в кусты и замедлили шаг. Он стал хлестать их изо всех сил и заставил выйти на тропинку.

Позади длинный язык воды протянулся до самой площадки перед домом. Деревья легонько трепетали, на земле едва шелестели опавшие листья.

Вода наступала.

«Не стоило мне покидать дом,— подумал он.— Если его унесет наводнением, пусть бы унесло и меня! Беда...»

Коровы добрались до дороги, что вела вверх. Вот он, косогор! С луга послышались голоса, и Жан-Мари увидел свет раскачивающихся фонарей.

— Эй, Жан-Мари! Жан-Мари!

Не ответив на зов, он повернулся к дому. Он увидел, как по воде несутся диковинные нагромождения, разломанные балки, сорванная с деревьев листва. Течением несло вниз целое дерево. Тяжелая ветвь тянулась к низовью, словно шея гигантского змея.

— Вон коровы,— произнес кто-то.

— Эй, эй!

— Я здесь,— крикнул Жан-Мари.

Мужчины собрались у края дороги, намереваясь спуститься к воде. Перебирали названия деревень в верховье, гадая, какие из них могли пострадать от паводка. Как только показался Жан-Мари, они радостно закричали. Значит, все живы.

По телефону звонил мэр. Дорога около подвесного моста на небольшом участке оказалась под водой.

Анна с матерью вошли в первый из домов. Им предложили лечь, но они отказались. Они сидели у очага, кутаясь в шали. Анна была бледна и молчала.

— В ее-то положении! — восклицали женщины.— Но почему же вы не ушли из дома раньше? Вы же знали, что это такое!

— Да все Жан-Мари,— объясняла Тереза.

И она вставала, снова садилась, в тревоге подходила к дверям.

— Он говорил, что опасности нет, дом крепкий...

— Крепкий-то крепкий,— говорили женщины.— Но всегда нужно опасаться худшего...

Появился Жан-Мари. Он подошел к дочери.

— Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо,— спокойно ответила Анна.— Только тревожусь за Бертрана.

— Он еще ничего не знает...

— Ну как он может не знать,— сказала одна из женщин.— Во всех деревнях подняли тревогу.

Жан-Мари вернулся к мужчинам, стоявшим у самой реки, насколько это позволял разлив. Дома не было видно. Его скрывали деревья, но все смотрели туда, ибо именно ему сейчас угрожала опасность. Все люди были целы и невредимы, оставался лишь этот пустой дом.

— Я перетащил всех кур на чердак,— объяснил Жан-Мари.

Мужчины качали головами:

— С ума ты сошел, Жан-Мари. Нельзя было столько ждать...

— Зато все хорошо заперто, потери будут невелики.

— Надо надеяться, но ведь вода проникает всюду.

Кто-то громко воскликнул:

— Это ты, Бертран? Откуда ты явился?

Действительно, это был каменщик. Он приехал на велосипеде по дороге, пересекавшей равнину. Кое-где в низинах дорога оказалась перерезана. Он назвал несколько деревень в верховье реки, которые находились под угрозой.

Прежде всего он разыскал Анну. Жители деревни сказали ему, где она. Он застал ее в компании Терезы и соседок. Все были целы — и это главное. Теперь он спустился взглянуть на реку поближе.

Он спросил у Жана-Мари:

— Как дом?

— Дом выстоит.— Старик засмеялся чуть напряженно и добавил: — Дом каменщика должен выстоять. На полу, конечно, останется слой грязи, но метла сделает свое дело...

Старика окружали встревоженные люди. Но только он один смеялся, протягивая руку в сторону прибрежных зарослей и реки, что текла внизу.

Удар пришелся по корме лодки. Огромное бревно, бешено гонимое течением.

Вернь лег плашмя на живот. Концы его шарфа намокли. Он развязал его и бросил на дно лодки. Лицо тоже было мокрое, но он и сам не знал, был ли это пот или вода Гаронны.

Руки его по-прежнему находились в воде. Он держал ими шест, пытаясь нащупать дно.

Вдруг шест на что-то наткнулся и стал крепко. Он уперся в скалу. Лодка остановилась. И на нее тут же обрушилась вся сила течения.

Вернь перевел дух, прежде чем решился сделать следующее движение. Ему надо было приподнять шест и снова воткнуть его подальше, чтобы направить лодку наискось, к затопленному берегу.

— Надо, надо,— твердил Вернь, сжимая зубы,— надо во что бы то ни стало... Я буду первым, я заберу Анну, вывезу ее на дорогу. Анну и ее ребенка, которого она носит...

Шест выгнулся. Вернь больше не чувствовал своих рук. Он так сжимал шест, что они онемели.

Какое-то время он колебался. Если он встанет, то все пропало, он потеряет опору.

Наконец он решился. Приподнял шест. В этот момент сзади набежала высокая волна. Точно огромная метла прошлась по воде; у Верня дрогнуло сердце. Он снова погрузил шест и опять почувствовал под ним твердую почву. Берег был уже близко. Сквозь гул воды долетал шум листвы. Снова набежала тяжелая, неторопливая волна.

Затем раздался грохот.

Вернь невольно пригнул голову. Ему показалось, что грохот обрушился с неба. Потом у него мелькнула мысль, что он исходит из глубин Гаронны. В обезумевшей пучине реки обрушился какой-то дворец.

Шест больше не находил опоры.

Вернь в ярости закричал. Он снова не мог править лодкой. Беззащитный челн болтало из стороны в сторону.

Сквозь шелестящую листву и водяную пыль проникла другая пыль — едкая и белая. Вернь неистово завопил:

— Дом, обвалился дом...

На косогоре и на берегу суетливо двигались огни. Да, так оно и есть. Дом Дельпешей обвалился. Он не устоял против последнего напора воды. Фундамент не выдержал. И стены и новый бетон, падая в грязь, рассыпались в порошок. Красная плитка и белая известка — все обращалось в пыль. Именно в пыль... Одна из балок, словно чья-то тощая рука, еще тянулась к небу, потом медленно рухнула. Не было больше крыши, не было стен, не было больше дома. Одна пыль.

Память Верня ожгло лицо Анны.

Старый Жан-Мари упал в траву и плакал, прижав руки к лицу.

Анна еще не знала. Только мужчины, собравшиеся на берегу, увидели, как клубится пыль. И Вернь тоже увидел. Анна сидела, бледная, у пылавших углей, прислушиваясь к неясным болям в животе. Наверху, в тишине спальни, старуха Аллегр слушала завывания ночи, подводя итог своим дням и своим бедам.

Фонари раскачивались на ветру.

Бертран Лубанс смотрел на то место, где только что стоял дом. Желтая вода струилась между светлыми листьями деревьев. В небе брезжил слабый утренний свет.

Дома больше не было. Среди тополей журчала вода. Все так же кружилась пыль. Мужчины подошли поближе. Жан-Мари продолжал плакать. Плечи его вздрагивали. Все молчали. Слышался только голос Жана-Мари, слабый, как голос плачущего ребенка.

Бертран поднял свою искалеченную руку. Три пальца выделялись на бледном занавесе рассвета. Рука опустилась.

— Здесь потребуется не один каменщик,— сказал Бертран,— но мы одолеем Гаронну.

Кто слышал эти слова? Бертран произнес их тихо, самому себе да еще плачущему старику. Мужчины склонили головы и сгрудились тесней, словно им было холодно.

Верня несло по реке. Течение безудержно тянуло его в пучину разбушевавшейся стихии. Волны вздымались и падали. Вернь дрожал. Зубы его стучали. Грудь и живот сковал ледяной холод. Хоровод трав, корней и балок кружился вокруг обреченной лодки. Гаронна устремлялась прямо на настил моста Мовер. Лодку бешено гнало вперед. Вернь чувствовал, что голова его вот-вот разлетится вдребезги. Тысячи красных кирпичей, россыпи миллионов кровавых пятен расцветили эту последнюю ночь. Вернь думал о любви, о запахах прибрежных зарослей, о лете, звеневшем на виноградниках косогора, о молчании плодородной земли.

■

ЕРОФЕЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

Советская переводчица с французского и английского языков. Переводила произведения Т. Драйзера, П. Руане («ИЛ» И 8, 1973), А. Труайя («ИЛ» № 8, 1975), Ж. Жубера («ИЛ» № 8, 1978) и др.

ИРВИН ШОУ

Богач, бедняк...

РОМАН

Перевод с английского ИДЫ БАСАВИНОЙ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава I

1963 год

Когда она подъехала к дому, шел дождь — бурный тропический калифорнийский ливень,— он приминал цветы, серебряными пулями отскакивал от черепичных крыш, размывал оставленные бульдозерами кучи земли на склоне холма и нес эту землю в сады и бассейны соседей. Прошло два года с тех пор, как умер Колин, но она машинально заглянула в открытый гараж, чтобы посмотреть, не там ли его машина.

Оставив учебники в своем стареньком «форде», она побежала к входной двери, и, хотя надо было пробежать всего несколько ярдов, дождь вымочил ей волосы насквозь. Войдя в дом, она сбросила плащ и тряхнула мокрой головой. Было только полпятого, но дом тонул в темноте, и она включила в холле свет. Билли ушел с друзьями на выходные в горы, и она надеялась, что в горах погода лучше, чем здесь, на побережье.

Она сунула руку в почтовый ящик. Какие-то счета, рекламы и письмо из Венеции— почерк Рудольфа.

Она прошла в гостиную, на ходу включая всюду свет. Скинула мокрые туфли, плеснула в стакан чуть-чуть виски, разбавила содовой и, забравшись на диван, поджала под себя ноги, с удовольствием ощущая тепло освещенной комнаты. Ей удалось одержать победу над бывшей женой Колина, и она намеревалась остаться жить в этом доме. Суд постановил, чтобы до окончательного определения размеров состояния Колина ей выплачивалось временное пособие в счет ее доли, и теперь она уже не зависела от Рудольфа.

Она распечатала письмо. Длинное Живя в Америке, он предпочитал звонить по телефону, но сейчас, путешествуя по Европе, писал ей письма. Надо полагать, у него масса свободного времени, потому что писал он часто.

«Дорогая Гретхен,— читала она,— в Венеции идет дождь. Джин ушла фотографировать. Она говорит, что в дождь можно наиболее удачно поймать настроение Венеции — и снизу вода и сверху вода. Я же уютно устроился в нашем номере и не испытываю никакой тяги к прекрасному. А еще Джин готовит тематические серии фотографий и снимает людей в самых плачевных обстоятельствах. Она утверждает, что лишения и старость, а желательно и то и другое вместе, особенно хорошо раскрывают характер людей и страны. Я даже не пытаюсь с ней спорить. Сам-то я предпочитаю красивых молодых людей и солнечный свет, но я ведь всего лишь ее муж-обыватель.

Бесконечно наслаждаюсь чудесными плодами праздности. После всех этих лет суеты и напряженной работы я обнаружил, что я ленив и мне для счастья более чем достаточно посмотреть за день два шедевра, бесцельно бродить по чужому городу,

Окончание. Начало см. в № 8, 9, 10.

а то и часами сидеть за столиком в кафе, точно я какой-нибудь француз или итальянец, или делать вид, будто я понимаю толк в искусстве, и торговаться в картинных галереях, закупая полотна новых художников, о которых никто никогда не слышал и чьи работы скорее всего превратят мою гостиную в Уитби в комнату ужасов.

Джин самая прелестная женщина на свете, а я — жутко любящий муж и потому ношу за ней ее фотоаппараты, лишь бы каждую минуту быть рядом. Конечно, когда нет дождя. У Джин удивительно острый глаз, и за шесть месяцев, проведенных с ней в Европе, я узнал больше, чем узнал бы за шестьдесят лет, путешествуя в одиночку. У нее нет никакого вкуса к литературе, она даже газеты не читает, а театр наводит на нее скуку, так что эту сферу жизни я беру на себя. А еще она отлично водит наш маленький «фольксваген», и у меня есть возможность любоваться природой, видами Альп и долиной Роны, не боясь свалиться в пропасть. Мы с ней заключили соглашение: она водит машину с утра, а за обедом выпивает бутылку вина, и после этого машину вожу я, трезвый.

Мы теперь не останавливаемся в фешенебельных местах, как делали во время медового месяца, потому что — так говорит Джин — «сейчас у нас уже настоящая жизнь». Нам не бывает плохо и тоскливо. Она очень общительная, и с помощью моего французского, ее итальянского, а также нашего родного английского, на котором говорят почти все, мы неожиданно для себя заводим знакомства с самыми разными людьми: с виноградарем из Бургундии, с массажистом с Биарицского пляжа, с регбистом из Лурда, с художником-абстракционистом, с многочисленными священниками, рыбаками, с актером, снимающимся в эпизодах во французских фильмах, со старыми англичанками, путешествующими в туристических автобусах, с бывшими десантниками английской армии, с американскими солдатами, размещенными на базах в Европе, и даже с членом парижской палаты депутатов, который утверждает, что единственная надежда мира — это Джон Фицджеральд Кеннеди. Если случайно увидишься с Кеннеди, не забудь ему это передать».

Зазвонил телефон, Гретхен отложила письмо, встала с дивана и сняла трубку. Звонил Сэм Кори — старый режиссер по монтажу, работавший вместе с Колином над всеми его тремя картинами. Сэм, преданная душа, звонил ей по меньшей мере три раза в неделю, и иногда она ходила с ним в студию на просмотры новых фильмов, которые, по его мнению, могли ее заинтересовать. Сэму было пятьдесят пять, он был давно и счастливо женат, и она чувствовала себя с ним легко и просто. Он был единственным человеком из окружения Колина, с кем она продолжала поддерживать отношения.

— Гретхен,—сказал Сэм,—сегодня мы смотрим очередную ленту Nouvelle Vague[1]. Только что получили из Парижа. А потом я приглашаю тебя поужинать.

— Извини, Сэм, но я не смогу пойти. Ко мне сегодня должен приехать заниматься один из моих сокурсников.

— Занятия, занятия,— проворчал Сэм.— Старые добрые школьные годы.— Он бросил школу в девятом классе и не испытывал никакого благоговения перед высшим образованием.

— Как-нибудь в другой раз, Сэм, хорошо?

— Что за разговор, конечно,— ответил он.— Твой дом еще не смыло с холма?

— Почти.

— Чего еще ждать от Калифорнии.

— В Венеции сейчас тоже дождь,— сказала Гретхен.

— Откуда ты достаешь такую сверхсекретную информацию?

— Я сижу и читаю письмо от брата. Он сейчас в Венеции. И там дождь.

Сэм познакомился с Рудольфом, когда тот вместе с Джин гостил неделю у Гретхен. Когда они уехали, Сэм сказал, что Рудольф хороший парень, только слишком уж помешан на своей жене.

— Будешь писать ему,— сказал Сэм,— спроси, не хочет ли он вложить пять миллионов в одну дешевую картину, которую я собираюсь поставить.

Сэм, много лет вращавшийся в обществе невероятно богатых голливудских дельцов, был убежден, что люди, у которых на счету в банке больше ста тысяч долларов, существуют лишь для того, чтобы их доили другие. Исключение составляли лишь богачи, наделенные талантом. А талант бывает только один, считал Сэм,— снимать кино.

---

[1] «Новой волны» *(франц.)* — течение во французской кинематографии начала 60-х годов.

— Уверена, что он будет просто счастлив это сделать,— сказала Гретхен.

— Ладно, смотри там не промокни,— сказал Сэм и повесил трубку.

После смерти Колина Сэм долго беседовал с Гретхен и предупредил ее, что, если она будет просто крутиться в Голливуде, ничего не делая, оставаясь всего лишь вдовой, ей грозит жалкая участь. Он достаточно хорошо познакомился с ней за время съемок трех фильмов и знал, что Колин очень считался с ее мнением, и не без оснований. Сэм предложил ей поработать с ним и обещал научить ее всему, что знал сам. «В этом городе для одинокой женщины самое лучшее место — монтажный стол в студии. Ты не будешь целыми днями предоставлена сама себе, не будешь неприкаянной, а будешь работать методично, аккуратно и будешь видеть результаты своей работы — это все равно что каждый день выпекать по пирогу».

Гретхен ответила ему тогда: «Спасибо, нет», потому что не желала даже в мелочах извлекать выгоду из репутации своего покойного мужа, а кроме того, уже подала заявление в университет. Однако после этого каждый раз, когда она разговаривала с Сэмом, у нее возникало сомнение — не поспешила ли она с ответом? Люди, окружавшие ее в университете, были слишком молоды, жили в слишком стремительном темпе, интересовались вещами, которые ей казались бесполезными, схватывали на лету и мгновенно переваривали массу информации, в то время как ей приходилось неделями мучительно сражаться с одним и тем же материалом.

Она вернулась на диван и снова взяла письмо Рудольфа. Он в Венеции. В Венеции, с красивой молодой женой, которая совершенно случайно оказалась к тому же богатой. Вечное везение Рудольфа.

«Из Уитби доносится недовольное ворчание,— читала она.— Старик Колдервуд весьма неодобрительно относится к моему затянувшемуся турне по Европе, и даже Джонни, скрывающий за внешностью холеного развратника пуританскую совестливость, деликатно намекает мне, что я устроил себе слишком долгий отпуск. А я вовсе не считаю это отпуском, хотя никогда до сих пор не проводил время с таким удовольствием. Эта поездка для меня — продолжение моего образования, то самое продолжение, которое я не мог себе позволить, когда окончил колледж, потому что был слишком беден и должен был начать постоянно работать в универмаге.

По возвращении домой мне придется многое для себя решить, и уже сейчас я размышляю обо всех этих вещах, даже когда гляжу на полотна Тициана во Дворце дожей или пью кофе на площади Святого Марка. Боюсь, что это прозвучит выспренне, но прежде всего я должен решить, как строить свою жизнь дальше. Мне тридцать пять лет, и у меня достаточно денег — я имею в виду и основной капитал и годовой доход,— чтобы жить прекрасно до конца моих дней. Даже если бы мои вкусы отличались крайней экстравагантностью и даже если бы Джин была бедна, нам бы все равно хватило с лихвой. В Америке, если уж ты разбогател, надо быть гением или патологически алчным, чтобы вновь вернуться к нищете. Мне претит мысль о том, чтобы остаток своей жизни посвятить купле-продаже и стремиться увеличить мой более чем солидный капитал.

Конечно, я мог бы заняться филантропической деятельностью и раздавать деньги заслуживающим того беднякам или заслуживающим того художникам или ученым, но хотя я и сейчас, как мне кажется, делаю щедрые пожертвования в различные фонды, я не представляю себя в роли арбитра, решающего, кому следует помогать, а кому — нет. Да и, кроме того, этот вид деятельности никак нельзя превратить в основной и единственный — по крайней мере, мне это не подходит.

Тебе, наверно, смешно, впрочем, мне и самому смешно: кто-то из Джордахов волнуется, что у него много денег; но зигзаги жизни в Америке слишком непредсказуемы — вот я и попал именно в такую ситуацию.

И еще одно осложняющее обстоятельство — я люблю свой дом в Уитби да и сам этот городок. Мне действительно не хочется жить ни в каком другом месте. Джин недавно призналась, что ей тоже там нравится, и сказала, что, если у нас когда-нибудь будут дети, она предпочла бы воспитывать их в Уитби, а не в Нью-Йорке. Ну что ж, постараюсь, чтобы у нас были дети или хотя бы один ребенок. Но в Уитби нельзя жить, ничего не делая. Соседи немедленно решат, что я ненормальный, и город потеряет для меня привлекательность. Я не хочу превратиться в какого-нибудь Тедди Бойлана.

Может быть, вернувшись в Америку, я куплю свежий номер «Таймс» и просмотрю объявления о найме на работу.

Только что пришла Джин, насквозь промокшая, счастливая и чуточку пьяная. Дождь загнал ее в какое-то кафе, и два учтивых венецианца накачали ее там вином. Она передает тебе привет. Письмо получилось длинное и абсолютно эгоистичное. Жду от тебя такого же. Отправляй его в Париж. Пока не знаю, когда мы там будем, но будем обязательно, наверно, недели через две. Целую тебя и Билли.

Рудольф.

P. S. Пишет ли тебе Том? Со дня похорон мамы я ничего от него не получал».

Гретхен подошла к окну и посмотрела вниз. Дождь все лил и лил. Город у подножья холма растворился в воде.

Она размышляла о письме брата. В письмах они относились друг к другу теплее, чем при встречах.

В письмах Рудольф обнаруживал те черты, которые ему обычно удавалось скрывать: какую-то неуверенность, отсутствие честолюбия и самонадеянности. Сквозь строчки проступала широта его натуры, готовность все простить, и это качество было особенно привлекательным — ведь он его не афишировал и никогда не намекал, что знает о проступках, которые следует простить. Билли рассказал ей о том, как оскорбил Рудольфа, когда тот приехал к нему в школу, но Рудольф ни разу и словом не обмолвился об этом эпизоде и относился к мальчику тепло и заботливо. В каждом письме обязательно в конце писал: «Целую тебя и Билли».

«Я должна научиться душевной щедрости»,— подумала она, глядя на дождь.

Она не знала, как ей ответить Рудольфу про Тома. Том писал ей не часто, но держал в курсе своих дел. Так же как в свое время с матери, он взял с нее слово не давать его адреса Рудольфу. Сейчас, именно в этот день, Том тоже был в Италии. Правда, на другом конце полуострова и значительно южнее, но в Италии. Всего несколько дней назад она получила от него письмо из города Порто-Санто-Стефано на Средиземном море, южнее Рима. Том и его приятель, некто Дуайер, наконец подыскали устраивающую их яхту за приемлемую цену и всю осень и зиму возились с ней на верфи, чтобы к первому июня подготовить ее к плаванию. «Мы все делаем сами,— писал Том крупным детским почерком на линованной бумаге.— Перебрали дизели, и теперь они как новые. Сменили всю электропроводку, очистили корпус и законопатили щели, отрегулировали гребные винты, починили генератор, сделали новый камбуз, покрасили корпус и каюты, купили подержанную мебель и тоже покрасили ее. У Дуайера обнаружился настоящий талант декоратора — ты бы только посмотрела, как теперь выглядят салон и каюты! Мы работаем без выходных по четырнадцать часов в день, но это себя оправдывает. Чтобы не тратить деньги на гостиницу, живем на яхте, хотя она сейчас стоит на опорах на земле. И Дуайер и я никудышные повара, но мы не голодаем. Когда начнем ходить в рейсы, придется взять повара. Я прикинул и решил, что команда будет всего из трех человек, считая меня и Дуайера. Если Билли захочет, пусть приезжает к нам на лето. Ему найдется место, а работы всегда хватит. Когда я его видел, мне показалось, что ему будет полезно как следует поработать летом на воздухе. В плавании капитаном будет Дуайер, хотя судно купили на мои деньги. У него есть диплом третьего помощника, и он умеет водить яхту. Но он меня учит, и в тот день, когда я сам без всякой помощи сумею завести яхту в порт, ни на что не наткнувшись, капитаном стану я.

Еще раз напоминаю тебе о твоем обещании ничего не рассказывать Руди. Он лопнет от злости, если узнает, что я не придумал ничего лучше, чем купить на сколоченные им для меня деньги дырявую посудину на Средиземноморье. Он ведь считает, что деньги существуют для того, чтобы их хранили в банке. Что ж, каждому свое. Когда у нас все наладится и я начну делать деньги, приглашу его с женой в круиз. Бесплатно. Пусть тогда сам увидит, такой ли уж болван у него брат.

Ты мне пишешь о себе не слишком подробно, но из твоих писем у меня сложилось впечатление, что жизнь у тебя не особо веселая. Сочувствую. Может, тебе бросить то, чем ты сейчас занимаешься, и взяться за что-нибудь совершенно новое? Если бы мой приятель Дуайер больше походил на мужчину, я бы попросил тебя выйти за него замуж и стать нашей поварихой. Шутка!

Если у тебя есть какие-нибудь богатые знакомые, которым захочется этим летом поплавать по Средиземному морю, порекомендуй им меня. Это уже не шутка.

Когда окажешься в Нью-Йорке, сделай одолжение, попробуй выяснить, где моя жена, чем она занимается и как там мой сынишка. Я не скучаю по милой родине со всеми ее прелестями, но очень скучаю по сыну.

Пишу тебе такое длинное письмо, потому что дождь льет как из ведра и мы пока не можем второй раз покрасить рубку (она у нас будет голубая). Не верь, когда тебе скажут, что на Средиземноморье не бывает дождей.

Дуайер готовит обед и кричит, чтобы я шел есть. Не представляешь себе, как жутко воняет его стряпня.

Люблю, целую. Том».

Всюду дождь. Дождь в Порто-Санто-Стефано, дождь в Венеции, дождь в Калифорнии. Джордахам не везет с погодой... Но по крайней мере двоим из их семьи везет со всем остальным, пусть даже это везение продлится недолго.

— Самое паршивое время суток — пять часов дня,— вслух сказала Гретхен. Чтобы избавиться от жалости к себе, она задернула шторы и налила в стакан еще виски.

На следующее утро она не пошла на две воскресные лекции. Вместо этого позвонила в студию Сэму Кори и спросила, можно ли приехать к нему поговорить.

Глава 2

Хотя Джин была беременна, она каждое утро обязательно спускалась вниз, чтобы позавтракать вместе с ним.

«Я хочу к концу дня уставать не меньше, чем ты,— говорила она.— Не желаю быть похожей на тех американских жен, которые весь день валяются в постели, а когда мужья возвращаются с работы, каждый вечер обязательно вытаскивают бедняг из дому, потому что самим некуда девать энергию. В большинстве случаев семьи распадаются не из-за измен, а именно из-за отсутствия «энергетической» гармонии».

В окно струилось бледное апрельское солнце. Они сидели за столом, ожидая, когда Марта принесет кофе. После смерти его матери Марта просто преобразилась. Ела она ничуть не больше, чем раньше, но заметно пополнела, стала степенной и домовитой. Резкие складки на лице разгладились, на губах, прежде нервно поджимавшихся, играло какое-то подобие улыбки. От смерти тоже бывает польза, подумал Рудольф, наблюдая, как Марта осторожно поставила кофейник перед Джин. В былые времена она бы этот кофейник бухнула на стол, как обычно проклиная свою несчастную судьбу.

Беременность округлила лицо Джин, и она уже не походила на упрямую школьницу, твердо решившую любой ценой стать первой в своем классе. Умиротворенное и женственное, ее лицо мягко светилось под лучами солнца.

— Ты сегодня похожа на святую,— сказал Рудольф.

— Конечно, станешь святой, если два месяца ни с кем не грешишь,— ответила она.

— Надеюсь, ребенок будет стоить этого.

— Да уж хотелось бы.

— Как он себя сегодня ведет?

— Хорошо. Правда, что-то растопался и, по-моему, топает в тяжеленных сапогах, а в остальном — хорошо.

— А что, если будет девочка?

— Тогда придется мне внушить ей, что нельзя заводить роман сразу с двумя,— сказала Джин. Оба рассмеялись.

— Что ты собираешься сегодня делать? — спросил Рудольф.

— Придет наниматься няня, и мне надо с ней поговорить. Потом привезут мебель для детской, и мы с Мартой будем ее расставлять. Потом я должна принять витамины, потом взвеситься... одним словом, дел много. А у тебя какие планы?

— Мне надо съездить в университет. Там сегодня совет попечителей. Еще нужно заглянуть в контору...

— Надеюсь, ты не позволишь этому старому чудовищу Колдервуду снова ворчать на тебя?

С тех пор как Колдервуд узнал о намерении Рудольфа в июне уйти из бизнеса, он при каждой встрече брюзжал: «Кто уходит на покой в тридцать шесть лет?»

«Я»,— однажды ответил ему Рудольф, но старик не желал в это верить. По натуре очень мнительный, Колдервуд подозревал, что Рудольф на самом деле хитрит, чтобы добиться полного контроля над деятельностью корпорации; вот почему старик

неоднократно намекал ему, что, если Рудольф никуда не уйдет, все будет как он хочет. Больше того, Колдервуд даже предлагал перевести их центральную контору в Нью-Йорк, но Рудольф сказал, что давно уже не собирается жить в Нью-Йорке. Джин сейчас полностью разделяла его привязанность к старому фермерскому дому в Уитби и обсуждала с архитектором планы его расширения.

Дорога в административный корпус университета вела мимо спортплощадки, и Рудольф увидел там Квентина Макговерна. Одетый в серый тренировочный костюм, Квентин бежал разминочным шагом по дорожке. Рудольф затормозил и вышел из машины. Квентин подбежал к нему — высокий серьезный молодой человек с блестящим от пота лицом. Рудольф пожал ему руку.

— У меня занятия начинаются в одиннадцать,— сказал Квентин,— а сегодня отличный день. Грех не побегать, особенно после того как всю зиму просидел с учебниками в четырех стенах.

Они больше уже не бегали вдвоем по утрам. После женитьбы Рудольф, чтобы сделать приятное Джин, начал заниматься теннисом.

— Ну как успехи, Квентин?

— Неплохо. Двести двадцать ярдов бегаю за двадцать две и восемь десятых секунды. Тренер обещает попробовать меня на дистанции в четыреста сорок ярдов, а заодно и в эстафете.

— Что же теперь по этому поводу говорит твоя мать?

Квентин улыбнулся, вспомнив те холодные зимние утра.

— Говорит, чтобы я не слишком задавался. Матери, они все одинаковы.

— А как занятия? — спросил Рудольф.

— Наверно, получилась какая-то ошибка. Меня включили в список лучших студентов.

— Что же говорит твоя мать по *этому* поводу?

— Говорит, это потому, что я цветной и администрации хочется продемонстрировать свою либеральность.— Квентин едва заметно улыбнулся.

— Если мать и дальше будет тебя пилить, скажи ей, чтобы позвонила мне.

— Обязательно, мистер Джордах.

— Ну, мне пора ехать. Передавай привет отцу.

— Мой отец умер, мистер Джордах,— спокойно сказал Квентин.

— Прости,— Рудольф сел в машину. Черт возьми, подумал он. Отец Квентина работал у Колдервуда по крайней мере лет двадцать пять. Кто-то должен был сообразить и оповестить начальство о его смерти.

После разговора с Квентином утро уже не казалось ему таким чистым и приятным.

Все места на автостоянке перед административным корпусом были заняты, и Рудольфу пришлось поставить машину в стороне, почти в пятистах ярдах от здания. Он проверял, захлопнулся ли замок двери, когда вдруг услышал:

— Привет, Джордах!

Его окликнул Леон Гаррисон, член совета попечителей, направлявшийся на совещание. Гаррисон был высоким, представительным мужчиной лет шестидесяти, с благородной сенаторской сединой и обманчивой сердечностью в обращении. Он издавал местную газету, которую унаследовал от своего отца вместе с большими участками земли как в самом Уитби, так и в его окрестностях. Рудольф знал, что газета Гаррисона постепенно хиреет, но ничуть не жалел об этом. Редакция газеты состояла из горстки низкооплачиваемых опустившихся пьяниц, которых вышибли из газет других городов. Рудольф взял за правило не верить ни одному слову в этой газете, даже сообщениям о погоде.

— Как дела, дружище? — спросил Гаррисон, обнимая Рудольфа за плечи и шагая вместе с ним к административному корпусу.— По обыкновению, приготовились подложить взрывчатку под нас, старых консерваторов? — Он громко рассмеялся, показывая, что настроен вполне мирно.

— У меня все те же стандартные предложения,— ответил Рудольф.— Например, сжечь здание факультета естественных наук и таким образом отделаться от профессора Фредерикса.

Фредерикс был деканом факультета, но Рудольф знал, что может позволить себе этот выпад: преподавание естественных наук велось хуже, чем в любом другом университете того же уровня. Фредерикс и Гаррисон были закадычными приятелями, и

Фредерикс часто публиковал в газете Гаррисона свои научные статьи, читая которые, Рудольф краснел от стыда за университет.

По меньшей мере трижды в год на первой полосе газеты появлялись статьи Фредерикса, сообщавшие, что найден новый метод лечения рака.

— Ох уж эти мне бизнесмены,— сокрушенно вздохнул Гаррисон.— Вам никогда не оценить роль чистой науки. Вам важно одно — каждые шесть месяцев получать прибыль со своих капиталовложений. Вы ждете, что из каждой пробирки вам тут же посыплются доллары.

Когда это его устраивало, Гаррисон помнил о своих обширных земельных участках и о своем капитале в банке и действовал как заправский хладнокровный бизнесмен. В других ситуациях, будучи всего лишь издателем и разбираясь разве что в типографской краске, он выступал как просветитель-литератор, протестовал против отмены выпускных экзаменов по латыни и ополчался на новую программу по английской литературе, потому что она предусматривала слишком поверхностное знакомство с творчеством Чарльза Диккенса.

Дорлэкер, новый президент университета, был моложавым энергичным человеком с гарвардским дипломом. Он не давал воли совету попечителей и не плясал под его дудку. С Рудольфом его связывали хорошие дружеские отношения, и Дорлэкер часто приезжал с женой к Джордахам и вел с Рудольфом вполне откровенные разговоры, не скрывая своего желания отделаться от большинстаа членов совета попечителей. Дорлэкер терпеть не мог Гаррисона.

Совещание шло по давно заведенному порядку. Председатель финансовой комиссии сообщил, что, хотя денежные пожертвования растут, расходы растут еще быстрее, и рекомендовал повысить плату за обучение, а также ограничить число стипендий. Окончательное решение было отложено до более глубокого изучения вопроса.

Гаррисон высказал свое беспокойство по поводу редакционной статьи в студенческой газете, призывавшей провести демонстрацию с требованием запретить испытания ядерного оружия. На редактора следует наложить дисциплинарное взыскание, заявил он, за вовлечение студентов в политику и за неуважение к правительству Соединенных Штатов Америки. Дорлэкер сказал, что, как ему кажется, университет не самое подходящее место для попрания свободы слова в Америке. Голосованием постановили не налагать на редактора никакого дисциплинарного взыскания.

— Совет уклоняется от выполнения своих обязанностей,— прорычал Гаррисон.

Рудольф был самым молодым членом совета попечителей и на заседаниях говорил тихо и почтительно. Тем не менее, благодаря дружбе с Дорлэкером и умению выбивать пожертвования из бывших выпускников университета и различных организаций (ему даже Колдервуда удалось убедить внести пять тысяч долларов на пристройку нового крыла к библиотеке), а также благодаря своей осведомленности о жизни Уитби и о взаимоотношениях между городком и университетом, пользовался наибольшим влиянием в совете и сам знал об этом.

— Вам известно,— тем временем говорил Дорлэкер,— что сегодня мы должны рассмотреть вопрос о кандидатах на вакантные должности на следующий учебный год. Пока что не занята должность декана экономического факультета. Мы долго подыскивали подходящего человека, советовались с сотрудниками факультета и сейчас хотим вынести на ваше одобрение кандидатуру человека, некогда возглавлявшего в бывшем колледже в Уитби объединенную кафедру истории и экономики, человека, который в течение нескольких последних лет работал в Европе и накопил там ценный опыт. Я имею в виду профессора Лоуренса Дентона.— Произнося имя профессора, Дорлэкер как бы случайно повернулся к Рудольфу и едва заметно подмигнул. Рудольф переписывался со своим старым учителем и знал, что Дентон мечтает вернуться в Америку. Судьба не заставила его превратиться в человека без родины. Рудольф рассказал Дорлэкеру все о Дентоне, и Дорлэкер принял это близко к сердцу. Дентон же укрепил свои позиции, так как за время пребывания в Европе написал получившую высокие отзывы книгу о возрождении немецкой экономики.

— Дентон...— сказал Гаррисон.— Я помню это имя. Его выставили за прокоммунистическую деятельность.

— Я внимательно просмотрел его досье, мистер Гаррисон,— сказал Дорлэкер,— и обнаружил, что профессору никогда не предъявлялось никаких обвинений и

его деятельность не подвергалась официальному расследованию. Профессор Дентон подал в отставку, чтобы поработать в Европе.

— Он был коммунистом или что-то вроде этого,— упрямо заявил Гаррисон.— В университете и без того хватает всяких оголтелых крикунов, и нечего еще выписывать их из-за границы.

— В те времена,— мягко сказал Дорлэкер,— над страной висела тень маккартизма и немало уважаемых людей пострадало безвинно. К счастью, все это уже далеко позади и мы теперь можем судить о человеке просто по его способностям. Лично я буду счастлив доказать, что университет Уитби руководствуется лишь строго академическими соображениями.

— Если вы примете сюда этого человека, моя газета не станет молчать,— пригрозил Гаррисон.

— Я считаю ваше замечание недостойным, мистер Гаррисон,— спокойно сказал Дорлэкер,— и уверен, что, поразмыслив, вы откажетесь от этого намерения. А теперь, если никто не хочет ничего добавить, я полагаю, можно перейти к голосованию.

— Джордах,— нахмурился Гаррисон,— надеюсь, ты не имеешь никакого отношения к этому делу?

— Откровенно говоря, имею,— ответил Рудольф.— Когда я здесь учился, лекции профессора Дентона были самыми интересными. Кроме того, я считаю его последнюю книгу просто блестящей.

— Ну что же, голосуйте, голосуйте,— буркнул Гаррисон.— Не понимаю, чего ради я вообще хожу на эти заседания.

Гаррисон был единственным, кто проголосовал против, и Рудольф решил сразу же после заседания послать изгнаннику телеграмму в Женеву.

В дверь постучали.

— Войдите,— сказал Дорлэкер.

Вошла его секретарша.

— Простите, что я вас отрываю,— сказала она,— но мистера Джордаха просят к телефону. Я сказала, что идет заседание, но...

Рудольф вскочил со стула и вышел к телефону в приемную.

— Руди, пожалуй, тебе лучше приехать домой. И быстро. У меня начались схватки.— Голос Джин звучал радостно и спокойно.

— Сейчас буду,— ответил он, положил трубку и повернулся к секретарше.— Извинитесь за меня перед президентом Дорлэкером и членами совета: я должен отвезти жену в больницу. Кстати, будьте добры, позвоните туда, пусть они сообщат доктору Левину, что миссис Джордах приедет через полчаса.

Весь этот долгий день он просидел в больнице у постели Джин, держа ее за руку. Рудольф не мог даже представить себе, откуда у нее силы терпеть. Доктор Левин был спокоен. Это в порядке вещей при первых родах, сказал он. Спокойствие доктора Левина действовало Рудольфу на нервы. Доктор время от времени заглядывал в палату Джин с таким видом, словно наносил светский визит. Когда он предложил Рудольфу спуститься вниз в кафетерий и поужинать, Рудольф был шокирован. Неужели доктор думает, что он может оставить жену мучиться, а сам пойдет чревоугодничать?!

— Я отец, а не акушер,— с негодованием ответил он.

— Между прочим, отцы тоже едят. Они обязаны поддерживать свои силы,— рассмеялся Левин.

Сукин сын, бесчувственный материалист. Если когда-нибудь им взбредет в голову дикая мысль завести второго ребенка, они наймут настоящего врача, а не робота.

Ребенок родился почти в полночь. Девочка. Когда доктор Левин вышел из родильного отделения сообщить, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо, Рудольфу захотелось объясниться ему в любви.

На улице было холодно. Утром, когда Рудольф уезжал из дома, было тепло, и он не взял с собой пальто. Пока он дошел до машины, его начала бить дрожь.

Он чувствовал, что слишком возбужден, и знал, что не заснет. Хотелось позвонить кому-нибудь и отпраздновать за рюмкой свое отцовство, но был уже второй час ночи, и он не мог позволить себе будить кого-либо.

Он включил в машине обогреватель и успел согреться, пока доехал до дома. В окнах горели огни — Марта оставила ему свет. Шагая через лужайку к входной двери, он заметил, что в тени крыльца кто-то пошевелился.

— Кто здесь? — резко спросил он.

Фигура медленно вышла на свет. Вирджиния Колдервуд. Серое, отороченное мехом пальто, на голове — шарф.

— О господи, Вирджиния! — удивился он.— Что вы здесь делаете?

— Я уже все знаю.— Она подошла совсем близко. С ее бледного худого хорошенького лица на него пристально глядели большие темные глаза.— Я несколько раз звонила в больницу. Я сказала, что я твоя сестра. Я все знаю. Она родила. Моего ребенка.

— Вирджиния, вам лучше пойти домой.— Рудольф отступил назад, чтобы она не могла дотронуться до него.— Если ваш отец узнает, что вы бродите здесь ночью, он...

— Мне наплевать, кто что узнает,— сказала она.— Мне не стыдно.

— Давайте я отвезу вас домой,— предложил Рудольф. Пусть уж ее собственная семья разбирается, в своем ли она уме. Не его забота. Да еще в такую ночь.— Вам сейчас нужно как следует выспаться, и вы...

— У меня нет дома,— прервала его Вирджиния.— Я принадлежу тебе. Отец даже не знает, что я в городе. Я принадлежу тебе, и мое место здесь, рядом с тобой.

— Нет, ваше место не здесь, Вирджиния,— с отчаянием сказал Рудольф. Привыкший во всем руководствоваться рассудком, он был сейчас беспомощен.— Я живу здесь со своей женой.

— Она соблазнила тебя и украла у меня. Разбила настоящую любовь. Я молилась, чтобы она сегодня умерла в больнице.

— Вирджиния! — До этого Рудольфа никогда по-настоящему не пугали ни ее слова, ни поведение. Она могла раздражать его, смешить или вызывать жалость, но это уже переходило все границы. Впервые он понял, что она опасна. Как только он войдет в дом, надо будет позвонить в больницу и предупредить, чтобы Вирджинию не подпускали к отделению новорожденных и к палате Джин.

— Послушайте,— сказал он мягко,— садитесь в мою машину, и я отвезу вас домой.

— Не обращайся со мной как с ребенком,— сказала она.— Я давно не ребенок. У меня тут рядом стоит моя собственная машина, и мне не нужно, чтобы меня куда-то подвозили.

— Вирджиния, я страшно устал и должен хоть немного поспать,—сказал он.—Если вы на самом деле хотите о чем-то со мной поговорить, позвоните мне завтра утром.

— Я хочу спать с тобой,— заявила она, не двигаясь с места и держа руки в карманах. На вид обычная, нормальная девушка, хорошо одетая.— Я хочу сегодня быть с тобой. И знаю, ты тоже этого хочешь. Я с самого начала прочла это в твоих глазах.— Она говорила торопливым монотонным шепотом.— Ты просто не осмеливался. Как и остальные, ты боишься моего отца. Возьми меня. Не пожалеешь. Ты думаешь, я все та же маленькая девочка, какой ты увидел меня в первый раз у нас дома. Не волнуйся, я давно не девочка. Я успела кое-чему научиться. Может быть, конечно, у меня меньше опыта, чем у твоей драгоценной супруги, водившей шашни с тем фотографом... О, ты удивлен, что я об этом знаю?! Я все знаю и могу тебе еще не то рассказать.

Но он уже открыл дверь, захлопнул ее за собой и запер на замок, оставив Вирджинию на крыльце. Она стучала в дверь кулаками. Войдя в дом, он запер все двери и окна на первом этаже. Когда он вернулся к парадной двери, яростный стук маленьких женских кулачков уже смолк. К счастью, Марта так и не проснулась. Он выключил свет над крыльцом. Потом позвонил в больницу и устало поднялся наверх в их с Джин спальню.

«С днем рождения, дочка, ты родилась в тихом респектабельном городке»,— подумал он, уже засыпая.

Бар загородного клуба пустовал, потому что была суббота и большинство членов клуба еще не вернулись с гольфа и тенниса. Рудольф в одиночестве пил пиво. Джин переодевалась в женской раздевалке. Она вышла из больницы всего пять недель назад, но уже сумела выиграть у него два сета в теннис. Рудольф улыбнулся, вспомнив, с каким ликующим, победоносным видом она уходила с корта.

Поджидая жену, он взял лежавший на стойке свежий номер «Уитби сентинел» и тут же пожалел об этом. На первой странице газеты была напечатана статья о пригла-

шении в университет профессора Дентона, изобиловавшая все теми же инсинуациями и сфабрикованными ссылками на пожелавших остаться неизвестными лиц, которые выражали беспокойство в связи с тем, что впечатлительная молодежь университета подвергнется весьма сомнительному влиянию.

— Ну и сукин сын ты, Гаррисон,— вслух сказал Рудольф.

— Вам что-нибудь подать, мистер Джордах? — спросил бармен, читавший газету в другом конце бара.

— Пожалуйста, еще пива, Хэнк,— сказал Рудольф. Он отбросил газету прочь. И в эту самую минуту к нему пришло решение: если удастся, он перекупит у Гаррисона его газету. Это будет его лучшей услугой всему городу. Кстати, перекупить ее довольно просто. Уже по меньшей мере три года газета не приносила Гаррисону никакой прибыли, и если он не будет знать, что газету хочет купить именно Рудольф, то с удовольствием продаст ее за сходную цену. Надо в понедельник поговорить о технических деталях этой операции с Джонни Хитом.

Он потягивал пиво, решив не думать о Гаррисоне, когда в бар вошел вернувшийся с гольфа Брэд Найт со своими тремя партнерами. При виде его оранжевых штанов Рудольф поморщился.

— Ты что, записался в участники женского турнира? — спросил он Брэда, когда мужчины подошли к стойке.

Найт хлопнул его по плечу и рассмеялся:

— Природа, Руди, всегда наделяет самцов более ярким оперением, чем самок, а по выходным дням я сливаюсь с природой,— и, обратившись к бармену, объявил: — Всех угощаю я, Хэнк. Сегодня я в большом выигрыше.

Один из партнеров Брэда, Эрик Сандерлин, возглавлял в клубе спортивный комитет и сейчас, оседлав любимого конька, уже рассказывал о своем проекте расширения и улучшения площадки для гольфа. К территории клуба прилегал большой лесной участок земли, на котором стояла заброшенная ферма, и Сандерлин распространял среди членов клуба письмо с предложением выпустить заем и купить этот участок.

— Тогда наш клуб попадет в разряд первоклассных,— говорил Сандерлин.— Мы могли бы даже замахнуться на участие в турнире АПГ [1]. Число членов клуба наверняка бы удвоилось

В Америке все всегда стремится «удвоиться» и попасть в разряд повыше, неприязненно подумал Рудольф. И тем не менее он был рад, что в баре говорят о гольфе, а не о статье в «Сентинел».

— А ты, Руди? Подпишешься на заем вместе с нами?— спросил Сандерлин.

— Я еще не думал об этом,— ответил Рудольф.— Дай мне недельки две на размышление.

— А чего, собственно, тут размышлять? — агрессивно сказал Сандерлин.

— Старина Руди не принимает поспешных решений,— вмешался Брэд.— Даже если ему надо постричься, он обдумывает этот шаг две недели.

— Будет очень кстати, если нас поддержит такая видная фигура, как ты,— настаивал Сандерлин.— Я от тебя так просто не отстану.

— В этом я не сомневаюсь, Эрик,— заметил Рудольф. Сандерлин засмеялся этому признанию своей напористости и вместе с двумя другими мужчинами пошел в душ.

Брэд остался в баре и заказал себе еще виски. Лицо у него всегда было красным, и нельзя было определить, от солнца это или от спиртного.

— Такая видная фигура, как ты,— повторил Брэд.— В Уитби все говорят о тебе так, будто ты ростом с каланчу.

— Поэтому-то я и прижился в этом городе,— сказал Рудольф.

— Ты собираешься остаться здесь и после того, как уйдешь из бизнеса? — спросил Брэд, не глядя на Рудольфа, и кивнул Хэнку, поставившему перед ним стакан с виски.

— А кто говорит, что я решил уйти из бизнеса? — Рудольф не посвящал Брэда в свои планы.

— Ходят слухи.

— Кто тебе это сказал?

— Но ты ведь действительно собрался выйти из игры?

— Кто тебе это сказал?

— Вирджиния Колдервуд.

[1] АПГ — Ассоциация профессиональных игроков в гольф.

— А-а.

— Она слышала, как ее отец говорил об этом с матерью. Мы с Вирджинией часто последние два месяца встречаемся. Хорошая она девушка.

— М-да-а.

— Вы со стариком уже обсудили, кого поставить вместо тебя?

— Да, у нас был разговор.

— Ну и кто же это будет?

— Мы еще не решили.

— Ладно! — Брэд улыбнулся, но лицо его покраснело больше обычного.— Надеюсь, ты сообщишь об этом своему старому однокашнику хотя бы за десять минут до того, как узнают все?

— Обязательно. А что еще говорила тебе мисс Колдервуд?

— Ничего особенного,— небрежно сказал Брэд.— Говорила, что любит меня. И всякое другое в том же роде. Ты ее давно видел?

— Давно.— Рудольф не видел ее с той ночи, когда родилась Инид. Шесть недель — это давно.

— Мы с ней все смеемся! У нее обманчивая внешность. Она очень веселая.

Новые грани в характере этой особы. Любит смеяться. Веселая. Бурно веселится в полночь под чужими дверями.

— Откровенно говоря, я собираюсь на ней жениться,— сказал Брэд.

— Почему? — спросил Рудольф, хотя догадывался почему.

— Надоело шататься по бабам,— сказал Брэд.— Мне скоро стукнет сорок, и я уже не тот, что раньше.

«Нет, ты мне говоришь не все,— подумал Рудольф.— Нет, мой друг, это далеко не все».

— А может, на меня подействовал твой пример,— продолжал Брэд.— Если женитьба пришлась по вкусу даже такой фигуре, как ты,— он ухмыльнулся, здоровый, краснолицый,— то, думаю, мне тоже будет неплохо. Рай супружеского счастья!

— Первый раз ты в этом раю, кажется, недолго задержался.

— Это точно,— согласился Брэд. Его первый брак — он женился на дочери одного нефтепромышленника — продлился всего полгода.— Но тогда я был моложе. К тому же моя первая жена была не из такой приличной семьи, как Вирджиния. Ну и потом, может, на этот раз мне повезет.

Рудольф глубоко вздохнул.

— Нет, Брэд, тебе не повезет,— спокойно заметил он. Потом рассказал ему все о Вирджинии Колдервуд. О ее письмах к нему, о телефонных звонках, о засадах у его дома, о последней отвратительной сцене шесть недель тому назад.

Брэд слушал молча, а потом сказал только:

— Наверно, просто здорово, когда тебя так любят, дружище.

Через две недели Рудольф с утренней почтой получил приглашение на бракосочетание мисс Вирджинии Колдервуд с мистером Брэдфордом Найтом. Церковный орган заиграл свадебный марш, и Вирджиния под руку с отцом двинулась по проходу между скамьями. В белом подвенечном платье она казалась хорошенькой, нежной, хрупкой и спокойной. Проходя мимо Рудольфа, она не взглянула на него, хотя он и Джин стояли в первом ряду. Жених, потный и красный от июльской жары, ждал у алтаря вместе с Джонни Хитом — тот был шафером. Все вокруг удивлялись, почему Брэд не выбрал шафером Рудольфа, но сам Рудольф этому не удивлялся.

«Это все дело моих рук,— думал Рудольф, рассеянно слушая мессу.— Я пригласил его сюда из Оклахомы. Я ввел его в корпорацию. Я отказался от невесты. Все дело моих рук. Но несу ли я за это ответственность?»

Свадьбу справляли в загородном клубе. На длинном столе под тентом стояли закуски, а по всей лужайке под яркими зонтами расставили маленькие столики. На террасе, где играл оркестр, жених и невеста, уже переодевшиеся к отъезду в свадебное путешествие, танцевали свой первый танец, вальс.

После венчания, как и полагалось, Рудольф поцеловал невесту. Вирджиния улыбнулась ему точно так же, как улыбалась всем остальным. Может быть, все теперь позади, подумал он. Может, теперь она угомонится.

Рудольф и Джин подошли к столу, взяли по бокалу шампанского и заговорили с отцом Брэда, приехавшим на свадьбу из Техаса. На нем была широкополая фетровая

шляпа. Худощавый, с обветренным лицом и глубокими морщинами на загорелой шее, он никак не походил на человека, который приобретал и терял целые состояния; он скорее напоминал снимающегося в эпизодах актера, которого пригласили на роль шерифа в ковбойском фильме.

— Брэд много рассказывал о вас, сэр,— сказал старый Найт Рудольфу.— Да, мистер Джордах, мой сын перед вами в неоплатном долгу, и не думайте, что он сам этого не знает. Когда вы позвонили и предложили ему здесь работу, он едва сводил концы с концами в Оклахоме. Я сам в то время, чего уж тут скрывать, был в крайне стесненном положении, не мог наскрести денег даже на ржавую буровую вышку, чтобы помочь моему мальчику. Сейчас я, скажу без ложной скромности, снова стою на ногах, а тогда было похоже, что бедному старику Питу Найту — крышка. Мы с Брэдом жили в одной комнате и для поддержания сил ели жгучий перец три раза в день. И вдруг, как гром среди ясного неба, звонок от его друга Руди. Когда Брэд вернулся из армии, я сказал ему: «Послушай меня, воспользуйся тем, что предлагает правительство, и поступай в колледж, пока для демобилизованных льготы, потому что теперь в нашей стране такое время, что, если человек без образования, всем на него наплевать». Брэд, он у меня хороший парень, у него хватило ума послушаться старика отца, а теперь поглядите-ка на него.— Он с сияющей улыбкой посмотрел в ту сторону, где его сын, Вирджиния и Джонни Хит пили шампанское с группой гостей помоложе.— Хорошо одет, пьет шампанское, впереди у него прекрасное будущее, женат на красивой молодой женщине, которую ждет большое наследство. И если он когда-нибудь станет отрицать, будто всем этим обязан своему другу Руди, его старый отец первым назовет его лжецом.

Брэд, Вирджиния и Джонни подошли засвидетельствовать свое почтение Найту, и старик тут же повел Вирджинию танцевать, а Брэд пригласил Джин.

— В понедельник Гаррисон даст ответ,— сказал Джонни, когда они с Рудольфом остались одни.— Думаю, он согласится и ты получишь свою игрушку.

Рудольф кивнул, хотя у него вызвало раздражение, что Джонни, не понимавший, как можно сделать большие деньги на газете «Сентинел», называет ее игрушкой. Но независимо от своего отношения Джонни тем не менее, как всегда, сумел все устроить. Он нашел некоего Хэмлина, который надумал прибрать к рукам газеты в нескольких мелких городах и согласился купить «Сентинел», а через три месяца перепродать газету Рудольфу. Хэмлин, прожженный делец, потребовал за свои услуги три процента от покупной стоимости газеты, но он сумел так сбить первоначальную цену, запрошенную Гаррисоном, что стоило пойти на его условия.

У стойки бара Рудольфа хлопнул по плечу Сид Гроссет, который до последних выборов был мэром Уитби, каждые четыре года ездил делегатом на съезд республиканцев. Добродушный, дружелюбный человек, по профессии адвокат, он успешно пресек слухи о том, что, занимая пост мэра, берет взятки, но затем все-таки предпочел не выставлять свою кандидатуру на последних выборах. И правильно сделал, говорили в городе.

— Привет, молодой человек,— сказал Гроссет.— О вас нынче много говорят.

— Хорошее или плохое? — спросил Рудольф.

— Никто никогда не слышит ничего плохого о Рудольфе Джордахе,— сказал Гроссет. Политическая карьера научила его дипломатии.

— Вот она, истина,— улыбнулся Джонни Хит.

— Привет, Джонни.— Гроссет всегда был готов пожать руку любому. Впереди будут еще выборы.— Из авторитетного источника,— продолжал Гроссет,— мне стало известно, что вы в конце месяца уходите из «Д. К. Энтерпрайсиз».

— Кто же этот источник?

— Мистер Дункан Колдервуд.

— По-видимому, волнения сегодняшнего дня отразились на рассудке бедного старика,— сказал Рудольф. Ему не хотелось говорить о своих делах Гроссету и отвечать на вопросы о дальнейших планах.

— В тот день, когда у Дункана Колдервуда какие-нибудь волнения отразятся на рассудке, кликните меня, и я тут же прибегу,— улыбнулся Гроссет.— Он утверждает, будто ему ничего не известно о ваших планах на будущее. Более того, говорит, что не знает, есть ли у вас вообще какие-нибудь планы. Но в том случае, если вы ждете каких-либо предложений... Может быть, нам имеет смысл поговорить на днях?

— На следующей неделе я буду в Нью-Йорке.

— Впрочем, зачем нам играть в прятки? Вам никогда не приходило в голову заняться политикой?

— Когда мне было лет двадцать, я подумывал об этом,— сказал Рудольф.— Но сейчас я уже старый и мудрый...

— Не говорите ерунды,— резко оборвал его Гроссет.— Политикой мечтают заниматься все. И особенно такие люди, как вы. Вы богаты, пользуетесь популярностью, добились огромного успеха, у вас красивая жена. Такие люди стремятся завоевывать новые миры.

— Только не говорите мне, что вы хотите, чтобы я выдвинул свою кандидатуру в президенты, раз Кеннеди уже нет в живых.

— Я понимаю, что вы шутите,— серьезно сказал Гроссет,— но как знать, будет ли это шуткой лет через десять — двенадцать. Нет, Руди, вы должны начать свою политическую карьеру на местном уровне, здесь, в Уитби, где вы всеобщий любимчик. Я прав, Джонни? — Он обернулся за поддержкой к шоферу.

— Точно. Всеобщий любимчик,— кивнул Джонни.

— Родом из бедной семьи, окончил колледж в этом же городе, красивый, образованный, интересуется общественной жизнью...

— Мне всегда казалось, что я больше интересуюсь своей личной жизнью,— сказал Рудольф, чтобы оборвать поток восхвалений.

— Хорошо, можете шутить дальше,— продолжал Гроссет.— Но достаточно вспомнить все бесчисленные комиссии, в которые вы входите. И у вас нет ни одного врага.

— Не оскорбляйте меня, Сид.— Рудольф получал удовольствие, поддразнивая этого настойчивого низкорослого человечка, но при этом слушал его внимательнее, чем могло показаться со стороны.

— Я знаю, что я говорю.

— Вы даже не знаете, демократ я или республиканец. А если вы спросите Леона Гаррисона, то он скажет вам, что я коммунист.

— Леон Гаррисон — старый болван,— сказал Гроссет.— Моя бы воля, я бы объявил подписку и на собранные деньги купил бы у Гаррисона его газету.

Рудольф не удержался и подмигнул Джонни Хиту.

— Я знаю, что вы собой представляете,— наседал на него Гроссет.— Вы республиканец типа Кеннеди. А это беспроигрышный вариант. Нашей партии нужны именно такие люди.

— Раз уж вы воткнули в меня булавку с ярлыком, Сид, можете теперь поместить меня под стекло.— Рудольф не любил, когда его относили к какому-либо разряду, неважно к какому.

— Я хочу поместить вас в муниципалитет Уитби,— сказал Гроссет.— В кресло мэра. И готов поспорить, что мне это по силам. Как бы вы к этому отнеслись? А потом вы зашагаете наверх, ступенька за ступенькой. Вам, наверно, совсем не хочется стать сенатором? Сенатором от Нью-Йорка? Это, наверное, задело бы ваше самолюбие, да?

— Сид, я вас просто дразнил,— мягко сказал Рудольф.— Я польщен вашим предложением. Действительно польщен. На следующей неделе я обязательно к вам заеду, обещаю. А сейчас нам не мешает вспомнить, что мы на свадьбе, а не в прокуренном гостиничном номере. Я иду танцевать с невестой.

Он поставил свой стакан, дружелюбно похлопал Гроссета по плечу и пошел искать Вирджинию. Он еще не танцевал с ней, и, если хоть раз не пригласит ее, наверняка пойдут сплетни. Уитби — маленький городок, и тут все быстро замечают.

Преданный приверженец партии демократов, потенциальный сенатор, он приблизился к невесте. Скромная и радостная, она стояла под тентом, ласково и изящно положив руку на плечо своему новоявленному супругу.

— Могу я просить оказать мне честь? — спросил Рудольф.

— Все мое — твое,— сказал Брэд.— И ты это знаешь.

Рудольф вышел с Вирджинией на террасу. Она танцевала с достоинством целомудренной невесты, ее прохладные пальцы неподвижно застыли в его руке, ее прикосновение к его плечу было невесомо, воздушно, голова гордо откинута назад — Вирджиния знала, что все на нее смотрят: девушки завидуют ей, мужчины — ее мужу.

— Желаю вам счастья. Много, много лет счастья,— сказал Рудольф.

Она тихо засмеялась.

— Я буду счастлива,— сказала она и чуть прижалась к нему бедром.— Не сомневайся. Брэд будет мне мужем, а ты — любовником.

— О господи,— вздохнул Рудольф.

Она укоризненно прижала к его губам пальчик, и они дотанцевали в молчании. Подводя ее обратно к Брэду, он уже понимал, что был излишне оптимистичен. Эта история никогда не кончится. Даже через миллион лет.

Рудольф не бросал рис вместе с другими гостями вслед новобрачным, когда те отбыли на машине Брэда в свадебное путешествие. Он стоял на ступеньках клуба рядом с Колдервудом. Тот тоже не бросал рис. Старик хмурился — то ли от собственных мыслей, то ли от бившего в глаза солнца. Гости вернулись к столу выпить перед уходом по бокалу шампанского, но Колдервуд остался на ступеньках, вглядываясь в затуманенную летней дымкой даль, в которой исчезла его последняя дочь со своим мужем. В начале свадьбы Колдервуд сказал Рудольфу, что хочет с ним поговорить, и сейчас Рудольф махнул рукой Джин: мол, я подойду к тебе потом, и она оставила мужчин наедине.

— Ну, что скажешь? — наконец нарушил молчание Колдервуд.

— Прекрасная свадьба.

— Я не о том.

— Трудно сказать, как у них сложится совместная жизнь,— пожал плечами Рудольф.

— Он рассчитывает занять твое место.

— Это вполне естественно.

— Я ему не до конца доверяю,— покачал головой Колдервуд.— Мне крайне неприятно говорить так о человеке, который честно работал у меня и к тому же женился на моей дочери, но я не могу избавиться от этого предубеждения.

— За все время с тех пор, как он у нас работает, он не сделал ни одного неверного шага,— сказал Рудольф. «Кроме одного,— мысленно добавил он.— Не поверил мне, когда я рассказал ему все про Вирджинию. Или еще хуже — поверил, но все равно женился».

— Конечно, он твой друг,— продолжал Колдервуд.— И хитер как лиса. Ты знаешь его много лет, и уж если ты вызвал его сюда и поручил большой, важный, ответственный пост, значит, ты в нем достаточно уверен, но есть в нем что-то такое...— Колдервуд снова покачал своей большой головой. На его угрюмом желтоватом лице уже лежала печать приближающейся смерти.— Он пьет, он бабник — не возражай, Руди, я знаю, что говорю, он любит азартные игры, он родом из Оклахомы...

Рудольф хмыкнул.

— Понятно, я стар и у меня есть свои предрассудки. Тут уж ничего не поделаешь. Наверно, ты меня избаловал, Руди. Никому в жизни я не доверял так, как тебе. Даже когда ты склонял меня поступать вопреки голосу моего разума — а ты бы удивился, узнав, как часто это бывало,— я верил, ты никогда не сделаешь ничего такого, что, по твоему мнению, повредит моим интересам, или попахивает интригой, или невыгодно отразится на моей репутации.

— Спасибо, мистер Колдервуд,— сказал Рудольф.

— Мистер Колдервуд, мистер Колдервуд,— брюзгливо передразнил его старик.— Ты что, так и будешь называть меня мистером Колдервудом, пока я не лягу в гроб?

— Спасибо, Дункан.— Это далось Рудольфу с трудом.

— Теперь я должен передать дело всей моей жизни в руки этого человека...— В надтреснутом голосе Колдервуда звучала старческая обида.— Даже если это случится после моей смерти, мне все равно это не нравится. Но если ты так считаешь...— Он сокрушенно замолчал, не закончив фразы.

Рудольф вздохнул. Всегда приходится кого-то предавать, подумал он.

— Я так не считаю,— сказал он спокойно.— В нашем юридическом отделе работает один молодой юрист. Его фамилия Мэтерс.

— Знаю я его,— перебил Колдервуд.— Такой бледный, в очках. У него двое детей. Он из Филадельфии.

— До того, как он поступил на юридический в Гарвард, он окончил Уортонскую школу бизнеса. У нас он работает уже больше четырех лет. Знает дело как свои пять пальцев. В любой юридической конторе Нью-Йорка он мог бы зарабатывать гораздо больше, но ему нравится жить здесь.

— Хорошо,— сказал Колдервуд.— Объяви ему новость завтра.

— Я бы предпочел, чтобы вы сделали это сами, Дункан.— Он второй раз в жизни назвал Колдервуда по имени.

— Как всегда, мне не хочется делать того, что ты советуешь, но я, как всегда, знаю, что ты прав. Я скажу ему сам. А сейчас пойдем, выпьем еще шампанского. Видит бог, я заплатил за него немало и вполне имею право тоже выпить.

О новом назначении было объявлено накануне возвращения молодоженов из свадебного путешествия.

Брэд принял новость спокойно, как и подобает джентльмену, и не выспрашивал Рудольфа, кто принял такое решение. Однако спустя три месяца ушел из корпорации и вместе с Вирджинией уехал в Талсу, где отец взял его в партнеры в свою нефтяную компанию.

Брэд регулярно писал Рудольфу. Бодрые, шутливые, дружеские письма. Дела у него идут хорошо, писал он, зарабатывает он больше, чем когда-либо раньше. В Талсе ему нравится: тут играют в гольф по-крупному, и три субботы подряд он выигрывал по тысяче долларов с лишним. Вирджинию все здесь любят, и у нее уже масса друзей. Она тоже увлеклась гольфом. Брэд советовал Рудольфу вложить вместе с ним кое-какие деньги в нефть. «Дело беспроигрышное. Будешь стричь купоны, как цветочки»,— писал он. По его словам, он хотел как-то отплатить Рудольфу за все, что тот для него сделал, и это была подходящая возможность.

Чувствуя себя виноватым перед Брэдом — Рудольф не мог забыть тот разговор с Дунканом Колдервудом на ступеньках загородного клуба,— он стал приобретать акции нефтяной компании «Питер Найт и сын». Джонни Хит навел соответствующие справки и, установив, что у компании «Питер Найт и сын» высокая кредитоспособность, вложил в ее акции ровно такую же сумму, что и Рудольф.

Глава 3

1965 год

I

Сидя на корточках на палубе и что-то насвистывая, Томас драил до блеска бронзовую катушку якорной лебедки. Хотя июль только начался, было уже тепло, и он работал босиком и без рубашки. Плечи и спина у него загорели до черноты, и он стал не менее смуглым, чем самые смуглые итальянцы, служившие на пароходах в порту Антиба. Тело его уже не было таким жилистым, как раньше, когда он занимался боксом. Мышцы не выпирали буграми, а стали более мягкими и сглаженными. Если он, как сейчас, покрывал шапочкой облысевшую макушку, то выглядел моложе, чем два года назад.

Снизу, из машинного отделения доносился стук молотка — Пинки Кимболл и Дуайер чинили насос. Завтра яхта выходила в первый в этом сезоне рейс, а во время пробного запуска левый двигатель перегрелся. Пинки, работавший механиком на «Вега», самом большом судне в порту, предложил разобраться, в чем загвоздка. Небольшие неполадки Дуайер и Томас исправляли сами, но, когда был необходим сложный ремонт, им приходилось обращаться к кому-нибудь за помощью. К счастью, Томас зимой завязал дружбу с Кимболлом, и тот помог им привести «Клотильду» в порядок и подготовить ее к летнему сезону. Томас не стал объяснять Дуайеру, почему решил так назвать яхту, когда они в Порто-Санто-Стефано переименовали ее из «Пенелопы» в «Клотильду».

Про себя он тогда подумал, что, если яхта должна носить женское имя, почему бы ей не быть «Клотильдой»? Во всяком случае, называть ее «Терезой» он не собирался.

Они уже успешно отплавали на «Клотильде» два сезона, и, хотя ни Томас, ни Дуайер не стали богачами, у обоих на счету в банке были кое-какие деньги на черный день. Предстоящий сезон обещал быть даже удачнее, чем два первых, и Томас, надраивая бронзовую катушку и видя в ней отражение солнца, испытывал умиротворение. До того, как он связал свою жизнь с морем, ему и в голову не приходило, что простая, бездумная работа — например, начищать до блеска какую-то железяку — может доставлять ему удовольствие.

Впрочем, все, что приходилось делать на судне, доставляло Томасу удовольствие. Он, который не вымыл в своей жизни ни одной тарелки, теперь часами скреб в камбу-

зе кастрюли и сковороды, следил за тем, чтобы в холодильнике была безукоризненная чистота, мыл конфорки и духовку. Когда на борту были пассажиры, Томас, Дуайер и нанятый на рейс повар ходили в светло-коричневых шортах и белоснежных теннисках с оттиснутым на груди синими буквами названием яхты. По вечерам или в холодную погоду команда носила одинаковые толстые темно-синие матросские свитеры. Он научился готовить коктейли и подавал их, как полагалось,— со льдом, в чуть запотевших красивых бокалах. Сам он пил редко, в основном пастис и иногда пиво. Когда арендовавшие яхту пассажиры поднимались на борт, он встречал их в капитанской фуражке с позолоченной кокардой. Он чувствовал, что это добавляет круизам морской экзотики.

Он выучил несколько фраз по-французски, по-итальянски и по-испански, так что мог объясниться во время прохождения портовых формальностей, но, конечно, его знаний не хватало, когда возникали какие-то споры. Дуайеру языки давались легче, и он вовсю болтал с кем угодно.

Томас послал Гретхен фотографию «Клотильды», в облаке брызг взмывающей на волну, и Гретхен писала, что поставила снимок на камин в гостиной. «Когда-нибудь,— написала она,— я приеду в Антиб и попутешествую вместе с тобой». Она писала, что очень занята какой-то работой на киностудии. Она подтвердила, что держит свое слово и не говорит Рудольфу ни где Томас, ни чем он занимается. Гретхен одна связывала Томаса с Америкой, и, когда ему было тоскливо, когда он скучал по сыну, он писал только ей. Он уговорил Дуайера написать в Бостон той девушке, на которой Дуайер, если ему верить, по-прежнему собирался жениться, и попросить ее при случае съездить в Нью-Йорк в гостиницу «Эгейский моряк» и встретиться с Пэппи. Но девушка пока не ответила.

Скоро, через год-два, несмотря ни на что он сам поедет в Нью-Йорк и попытается разыскать сына.

После поединка с Фальконетти он еще ни разу ни с кем не подрался, Фальконетти по-прежнему продолжал сниться ему по ночам. Томас уже не слишком переживал давнюю историю, но ему было жаль, что Фальконетти погиб, и, хотя прошло немало времени, он не избавился от сознания вины в смерти этого человека.

Стук в машинном отделении прекратился, и вскоре из люка появилась рыжая голова Кимболла, вслед за ним вылез на палубу и Дуайер. Кимболл вытер руки и выбросил пучок ветоши за борт.

— Теперь все должно быть в порядке, капитан.

У Кимболла, туповатого англичанина, было веснушчатое лицо, которое никогда не загорало и все лето оставалось ярко-розового цвета. Кимболл, как он сам говорил, был слабоват по части выпивки. Напиваясь, он становился задиристым и затевал ссоры в барах. Он неизменно скандалил с начальством и редко задерживался на одном пароходе больше года, но, поскольку был отличным судовым механиком, без труда находил новую работу.

С Томасом они поладили с самого начала — встречаясь на набережной, приветливо здоровались, угощали друг друга пивом в маленьком баре при въезде в порт. Кимболл догадался, что Томас бывший боксер, и Томас рассказал ему о нескольких своих матчах, о том, каково быть профессионалом, о победе в Лондоне и о последующих двух поражениях и даже о своей последней схватке с Куэйлсом в номере лас-вегасского отеля — эта история особенно пришлась по душе драчливому Кимболлу. Но Томас ничего не рассказал ему о Фальконетти, а у Дуайера хватило ума, чтобы тоже об этом помалкивать.

Дружбу Томаса и Кимболла скрепил случай, произошедший однажды вечером в небольшом портовом баре в Ницце. Дуайер и Томас забрели в этот бар совершенно случайно. У стойки никто не толпился, потому что там зачял оборону пьяный Кимболл и что-то громко выкрикивал, обращаясь к группке французских матросов и крикливо одетых молодых людей с бандитскими физиономиями — Томас давно научился распознавать подобных субъектов и избегал их: это были мелкие хулиганы и гангстеры низкого пошиба, выполнявшие на Лазурном берегу работу для шефов крупных банд, чьи штаб-квартиры находились в Марселе. Инстинкт подсказал Томасу, что они, вероятно, вооружены — если не пистолетами, то по крайней мере ножами.

Пинки Кимболл орал им что-то на ломаном французском, и Томас не понимал его, но по тону Кимболла и по мрачным лицам парней было ясно, что Пинки их оскорбляет.

Кимболл в пьяном виде терял всякое уважение к французам. Когда он напивался в Италии, то терял уважение к итальянцам. Когда напивался в Испании, то начинал оскорблять испанцев. А кроме того, напившись, он, казалось, напрочь разучивался считать, и тот факт, что он один, а против него — по меньшей мере пятеро, лишь подзадоривал его, и он еще пуще давал волю своему красноречию.

— Он доиграется. Его сегодня прирежут,— прошептал Дуайер, понимавший большую часть из того, что орал Кимболл.— И нас тоже, если узнают, что мы его приятели.

Том крепко схватил Дуайера за руку и потащил за собой к тому месту, где стоял Кимболл.

— Привет, Пинки,— бодро сказал он.

Пинки резко повернулся, готовый встретить новых врагов.

— А, это вы. Очень хорошо. Я вот тут решил кое-что растолковать этим maquereaux [1] для их же пользы...

— Кончай, Пинки,— оборвал его Томас и повернулся к Дуайеру.— Я хочу сказать пару слов этим джентльменам. А ты переведешь. Четко и вежливо.— Он дружелюбно улыбнулся остальным посетителям бара, стоявшим зловещим полукругом.— Как вы уже поняли, господа, этот англичанин — мой друг.— Он подождал, пока Дуайер, нервничая, перевел его слова. Выражение лиц окружавших стойку французов нисколько не изменилось.— К тому же он пьян,— продолжал Томас.— Естественно, никому не хочется, чтобы его друг пострадал, пьяный он или трезвый. Я постараюсь заставить его не произносить здесь больше никаких речей, и неважно, что он сейчас говорит или говорил до этого,— сегодня здесь не будет никаких скандалов. Сегодня я — полицейский в этом баре и буду следить за порядком. Пожалуйста, переведи,— приказал он Дуайеру.

Дуайер, заикаясь, перевел, а Пинки брезгливо заявил:

— Что за дела, капитан?! Перед кем приспускаешь флаг?!

— Более того,— снова заговорил Томас,— я хочу сейчас угостить всех присутствующих. Бармен, прошу! — Он улыбался, но чувствовал, как напрягаются его мышцы, и был готов в любой момент броситься на самого здорового из всей компании — корсиканца с квадратной челюстью, одетого в черную кожаную куртку.

Те, к кому он обращался, неуверенно переглянулись. Но ведь они пришли в бар не драться! И, слегка поворчав, они по очереди подошли к стойке и выпили за счет Томаса.

— Тоже мне боксер,— презрительно фыркнул Пинки.— У вас, у янки, все войны состоят только из перемирий.— Но через десять минут спокойно разрешил увести себя из бара.

Придя на следующий день на «Клотильду», он принес бутылку пастиса.

— Спасибо, Томми. Если бы не ты, через две минуты они раскроили бы мне череп. Не понимаю, что на меня находит, стоит мне пропустить пару стаканчиков. И ведь не то чтобы я когда-нибудь побеждал... За мою храбрость меня наградили одними шрамами — с головы до пят.— Он рассмеялся.

Томас не знал, какое событие в жизни Пинки повлияло на него так, что стоило ему выпить, и из дружелюбного, пусть даже неотесанного, но приветливого человека он превращался в свирепого зверя. Может, когда-нибудь Пинки сам расскажет ему о себе.

Пинки вошел в рубку, поглядел на приборы, придирчиво послушал тарахтение дизелей.

— Ну, вот вы и готовы к летнему сезону,— сказал он.— На своем собственном судне. И я вам завидую.

— Готовы да не совсем,— ответил Томас.— У нас нет повара.

— Как? — удивился Пинки.— А где тот испанец, которого ты нанял на прошлой неделе?

У испанца были хорошие рекомендации, и он, нанимаясь на «Клотильду», запросил немного. Но однажды вечером, когда испанец сходил на берег, Томас увидел, как он засовывает себе в сапог нож. «А это зачем?» — спросил Том. «Чтоб меня уважали»,— ответил испанец. На следующий день Томас уволил его. Ему не нужен был на борту человек, который носит в сапоге нож, «чтобы его уважали».

— Я списал его на берег,— сказал Том Кимболлу и объяснил почему.— Мне снова нужен повар-стюард. Две недели это терпит. Моим пассажирам яхта будет нужна только днем, и они сами будут приносить еду. Но на лето понадобится повар.

[1] Сутенерам, сводникам *(франц.)*.

— А ты не думал нанять женщину? — спросил Пинки.

Томас поморщился.

— Кроме стряпни и прочей ерунды на «Клотильде» немало тяжелой работы.

— Можно взять *сильную* женщину,— сказал Пинки.

— Большинство неприятностей у меня в жизни произошло именно из-за женщин,— заметил Томас.— И из-за сильных, и из-за слабых.

— Ты подумал, сколько дней ты теряешь каждое лето в разных тухлых портах, ожидая, пока постирают и погладят белье пассажирам, а они в это время ворчат, что зря тратят свое драгоценное время?

— Да, это большое неудобство,— согласился Томас.— У тебя есть кто-нибудь на примете?

— Так точно. Она работает горничной на «Веге», и ей это уже осточертело. Она помешана на море, а все лето видит только стиральную машину.

— Хорошо,— неохотно сказал Томас,— приведи ее, я поговорю с ней. Но предупреди, чтобы она оставила свой нож дома.

В шесть часов он увидел Пинки на причале с какой-то женщиной. Невысокая, плотно сбитая. Волосы заплетены в две косы. На ней были джинсы, синий свитер и сандалии на веревочной подошве. Перед тем как подняться по трапу, она сбросила сандалии.

— Это Кейт,— представил женщину Пинки.— Я рассказал ей о тебе.

— Привет, Кейт.— Томас протянул руку, и она пожала ее. У нее была слишком мягкая рука для женщины, работающей в прачечной и готовой выполнять тяжелую работу на судне. Как и Пинки, она была англичанкой, родом из Ливерпуля. На вид лет двадцать пять. Рассказывая о себе, говорила тихо. Сказала, что умеет готовить, стирать и может помогать в любой другой работе на борту. Говорит по-французски и итальянски — «не бог весть как», сказала она улыбаясь,— но понимает метеосводки на обоих этих языках. Может стоять за штурвалом и держать курс, готова нести вахты. Умеет водить автомобиль — вдруг понадобится. Согласна работать за ту же плату, что и уволенный испанец с ножом. Ее нельзя было назвать красавицей, но она была налитой, цветущей, приятно смуглой женщиной и смотрела собеседнику прямо в глаза. Зимой, если ее списывали на берег, она возвращалась в Лондон и устраивалась работать официанткой. Она не была замужем, не была помолвлена и хотела, чтобы к ней относились просто как к члену команды, не хуже и не лучше.

— Она у нас дикая английская роза,— сказал Пинки.— Правда, Кейт?

— Брось свои шуточки, Пинки,— ответила девушка.— Я хочу здесь работать. Мне надоело мотаться по Средиземному морю в накрахмаленной белой форме и белых чулках, точно сестра милосердия, и откликаться на «мисс» или «мадемуазель». Я давно поглядывала на вашу яхту, Том. И она мне нравится — не слишком большая, не то что у этих воображал из Британского королевского яхт-клуба. Зато чистая и симпатичная. И уж конечно, на борту не будет избытка дам, и мне не придется целый день в Монте-Карло маяться, наглаживая их бальные платья, чтобы они вечером смогли щеголять в них на балу во дворце.

— Как знать,— попытался защитить респектабельность своих пассажиров Томас.— Мы в общем-то возим не бедняков.

— Вы понимаете, о чем я говорю,— сказала девушка.— Кстати, я не хочу, чтобы вы покупали кота в мешке. Вы уже поужинали?

— Нет.

Дуайер в это время уныло возился в камбузе, пытаясь что-то приготовить из рыбы, которую он купил утром, но Томас по шуму, доносящемуся из камбуза, легко определил, что пока ничего еще не готово.

— Я приготовлю вам ужин,—сказала девушка.— Прямо сейчас. Если вам понравится, возьмете меня на «Клотильду». Я схожу на «Вегу», заберу свои вещи и сегодня же перейду к вам. А не понравится, вы все равно ничего не потеряете. Если останетесь голодными, сходите в город, в ресторан—они открыты допоздна. Пинки, оставайся, поужинаешь с нами.

Они ужинали на корме, за рубкой. Кейт накрыла стол, и почему-то он выглядел красивее, чем у Дуайера. Она откупорила две бутылки вина и поставила их в ведерке со льдом на стул. Она приготовила тушеную рыбу с картошкой, луком, чесноком, по-

мидорами, тмином, белым вином и ломтиками бекона. Мужчины умылись, побрились, переоделись в чистое и пока сидели на палубе, вдыхая аромат, несущийся из камбуза, выпили по две рюмки пастиса.

Кейт принесла большую миску с рыбой. Хлеб и масло уже стояли на столе рядом с салатом. Положив всем рыбы, она села за стол, спокойная и уверенная. Томас на правах капитана разлил вино по бокалам.

Томас, первым начавший есть, сосредоточенно жевал, Кейт, опустив голову, тоже принялась за еду.

— Пинки,— сказал Томас,— ты настоящий друг. Ты задумал сделать из меня толстяка? Кейт, ты принята на работу.

Она подняла глаза и улыбнулась. Они выпили за нового члена команды.

Даже кофе был похож на кофе.

После ужина, пока Кейт мыла посуду, мужчины сидели на палубе, вбирая в себя тишину вечера, и, покуривая сигары, принесенные Кимболлом, смотрели, как из-за лиловых складок приморских Альп поднимается луна.

— Дуайер,— сказал Томас, откинувшись на спинку стула и вытягивая ноги,— это и есть то, о чем мы мечтали.

Дуайер не стал возражать.

Дуайер переселился в каюту Томаса, где была вторая койка, а в своей бывшей каюте постелил для Кейт чистые простыни. Томас по ночам храпел — на ринге ему перебили нос. Но Дуайеру пришлось с этим смириться. По крайней мере временно.

Неделю спустя он снова вернулся в свою каюту, потому что Кейт перешла к Томасу. Она сказала, что храп ей не мешает.

Гудхарты, пожилая супружеская чета, каждый год в июне жили в отеле «Дю Кап». Гудхарт владел несколькими текстильными фабриками в Северной Каролине, но уже передал все дела сыну. Гудхарт был высоким крупным мужчиной с копной седоватых волос. Он держался прямо, двигался медленно и походил на полковника в отставке. Седовласая миссис Гудхарт была немного моложе своего мужа, и фигура еще позволяла ей носить брюки. В прошлом году Гудхарты зафрахтовали «Клотильду» на две недели, и поездка им так понравилась, что еще в начале зимы они списались с Томасом и договорились повторить двухнедельный отдых на его яхте в этом году.

Гудхарты были весьма непритязательными пассажирами. Каждый день ровно в десять часов утра Томас ставил яхту на якорь как можно ближе к берегу, напротив отеля, и Гудхарты подплывали на катере. Они привозили с собой массу всякой еды из ресторана отеля и корзины с завернутыми в салфетки бутылками вина. Том заводил «Клотильду» в какой-нибудь узкий пролив между Леренскими островами, лежащими в четырех тысячах ярдов от побережья, и бросал там якорь на весь день В этих местах почти всегда было безветренно, глубина не превышала двенадцати футов, и вода была настолько прозрачна, что можно было разглядеть, как на дне шевелятся водоросли. Гудхарты надевали купальные костюмы и загорали на надувных матрасах, читали или дремали, иногда ныряли и плавали.

И мистер и миссис Гудхарт говорили тихо и были чрезвычайно вежливы друг с другом и со всеми остальными.

Ровно в половине второго Томас смешивал им по коктейлю. Их вкус не отличался разнообразием — они всегда заказывали «Кровавую Мэри». Потом Дуайер натягивал над палубой тент, и Гудхарты обедали тем, что привозили с собой из отеля. Обычно на стол ставились холодные лангусты, ростбиф, рыбный салат или холодная рыба с приправой из зелени, дыня с копченой ветчиной, сыр и фрукты. Они всегда привозили так много провизии, что даже когда с ними обедали их друзья, еды оставалось вдоволь и для команды — не только на обед, но и на ужин.

Единственным хлопотным делом для Томаса было приготовление кофе, но с тех пор, как на яхте появилась Кейт, эта проблема перестала существовать. В первый же день рейса, когда она вышла из камбуза с кофейником, в белых шортах и белой, туго обтягивавшей ее пышную грудь теннисне с выведенным на ней голубыми буквами словом «Клотильда» и Томас представил ее, мистер Гудхарт одобрительно заметил: «Капитан, на вашем корабле плавание с каждым годом все приятнее».

Однажды Гудхарт спросил:

— Капитан, в этих краях много людей с фамилией Джордах?

— Я, честно говоря, не знаю. А что?

— Вчера я упомянул вашу фамилию в разговоре с помощником управляющего отелем, и он сказал, что в «Дю Кап» иногда гостит некий Рудольф Джордах с супругой.

— Это мой брат,— нехотя ответил Томас. Он чувствовал, что Гудхарт смотрит на него с любопытством, и догадывался, о чем тот думает.— Наши дороги с ним разошлись,— сказал он коротко.— В нашей семье он всегда считался самым умным.

— Как знать,— задумчиво сказал Гудхарт.— Может быть, именно вы оказались самым умным. Я работал всю свою жизнь и, только когда состарился и ушел на покой, могу позволить себе провести недельки две, как сейчас.— Он печально усмехнулся.— Между прочим, меня в семье тоже считали самым умным.

Круиз в Испанию прошел неплохо, хотя у мыса Крус они попали в шторм и им пришлось простоять в порту целых пять дней.

«Клотильду» зафрахтовали два пузатых парижских бизнесмена с двумя молодыми женщинами, определенно не их женами. Пары то и дело перетасовывались, но Томас обосновался на Лазурном берегу не для того, чтобы учить французских бизнесменов хорошему поведению. До тех пор, пока они платят деньги и не разрешают своим дамам расхаживать на высоких шпильках, оставляющих вмятины на палубе, он не собирался препятствовать их развлечениям. Женщины загорали лишь в трусиках. Кейт это не очень нравилось, но у одной из француженок действительно была потрясающая грудь, а кроме того, это не слишком мешало «Клотильде» идти своим курсом, хотя, если бы на пути встретились рифы и если бы за рулем стоял Дуайер, они скорее всего сели бы на мель.

Девица с потрясающим бюстом недвусмысленно дала понять Томасу, что не прочь наведаться ночью к нему на палубу и слегка позабавиться, пока ее Жюль храпит в каюте. Но Томас сказал ей, что арендована только яхта и его услуги не предусмотрены. И без того хватает нервотрепки с этими пассажирами.

Из-за вызванной штормом задержки обе французские пары высадились в Марселе, чтобы успеть на поезд в Париж. Бизнесмены должны были в Париже забрать поджидающих их жен и остаток лета провести в Довилле.

Они возвращались в Антиб без заходов в порты, и Дуайер нес ночью восьмичасовую вахту, чтобы Томас и Кейт отоспались. В Антиб они прибыли до полудня. Томаса ждало два письма — одно было от брата, а второе написано незнакомым почерком. Вначале он распечатал письмо Рудольфа.

«Дорогой Том,— читал он.— Наконец-то я кое-что узнал о тебе, и, судя по всему, дела у тебя идут хорошо. Несколько дней назад мне позвонил мистер Гудхарт и рассказал, что плавал на твоей яхте. Как выяснилось, у нас с его фирмой есть кое-какие общие дела, и, полагаю, ему было любопытно узнать, что представляет собой твой брат. Они с женой пригласили нас к себе на коктейль. Как ты сам знаешь, Гудхарты очень милая пожилая пара. Они очень тепло отзывались о тебе, восторженно говорили о твоей яхте и о твоей жизни на море. Не исключено, что ты сделал лучшее капиталовложение века, так употребив деньги, вырученные за акции корпорации «Д. К.». Не будь я слишком занят — а похоже, я дам себя уговорить и выставлю этой осенью свою кандидатуру на выборах в мэры Уитби,— я не задумываясь взял бы с собой Джин, сел в самолет и прилетел бы поплавать на твоей яхте по синему морю. Может, в следующем году мне это удастся. А пока что я прошу тебя сдать на один рейс «Клотильду» (как видишь, Гудхарты рассказали мне все, и я знаю даже название твоей яхты) моему другу, который скоро женится и хотел бы провести медовый месяц на Средиземном море. Ты, наверное, его помнишь — Джонни Хит. Если он будет действовать тебе на нервы, посади его на надувной плот, и пусть себе путешествует сам.

Ну, а говоря серьезно, я очень рад за тебя и хотел бы, чтоб ты написал мне. Если я чем-нибудь могу быть тебе полезен, пиши без всяких колебаний.

Любящий тебя Рудольф».

Прочитав письмо, Томас нахмурился. Ему не понравилось, что Рудольф напомнил ему, кому он обязан покупкой «Клотильды». Однако письмо было дружелюбным, погода стояла прекрасная, летний сезон проходил отлично, и глупо было портить себе

настроение, вспоминая старые обиды. Он аккуратно сложил письмо и положил его в карман.

Второе письмо было от друга Рудольфа. Хит интересовался, может ли он рассчитывать на «Клотильду» с пятнадцатого по тридцатое сентября. Сезон подходил к концу, других предложений у Томаса не было и еще один рейс был весьма кстати. Хит писал, что хочет поплавать вдоль побережья между Монте-Карло и Сен-Тропезом. Два пассажира на борту, короткий круиз — конец сезона будет нехлопотным.

Томас сел за стол и написал Хиту, что встретит его пятнадцатого либо в аэропорту в Ницце, либо на вокзале в Антибе.

Узнав, что стараниями Рудольфа у них будет еще один рейс, Кейт заставила Томаса написать брату благодарственное письмо. Томас уже собрался запечатать конверт, когда вспомнил, что брат предлагал ему писать без колебаний обо всех своих нуждах. «А почему бы и нет? — подумал он.— От этого никто не пострадает». И в постскриптуме приписал: «Ты можешь оказать мне одну услугу? По ряду причин я до сих пор не могу вернуться в Нью-Йорк, но, возможно, эти причины отпали. Несколько лет я не получаю никаких известий о своем сыне и даже не знаю, где он, как и не знаю, женат ли я вообще. Мне очень хотелось бы увидеть его и, если это возможно, на какое-то время взять к себе сюда. Может быть, ты помнишь тот вечер, когда вы с Гретхен зашли ко мне после матча? Тогда в раздевалке был мой менеджер, я еще представил его тебе. Его имя Герман Шульц. По моим последним сведениям, он жил в отеле «Бристоль» на Восьмой авеню, но, возможно, он там больше не живет. Если ты спросишь в конторе на Гарден, как тебе его найти, они выяснят, жив ли он еще и в Нью-Йорке ли. Он должен что-нибудь знать про Терезу и моего парня. Ты ему пока не говори, где я. Просто спроси, «держится ли накал». Он все поймет. Если разыщешь его, сообщи мне, что́ он тебе скажет. Этим ты окажешь мне по-настоящему большую услугу, и я буду тебе очень благодарен».

Глава 4

I

В отеле «Бристоль» никто не помнил Германа Шульца, но в бюро рекламы и информации на Мэдисон-Сквер Гарден кому-то все же удалось разыскать его адрес — меблированные комнаты на Пятьдесят третьей Западной улице.

Облупившуюся дверь цвета высохшей крови открыл шаркающий ногами согбенный старик в съехавшем набок парике. Даже на расстоянии от старика пахло плесенью и мочой.

— Мистер Шульц дома? — спросил Рудольф.

— Четвертый этаж, в конце коридора.— Старик отступил, пропуская Рудольфа в дом.

Поднимаясь по лестнице, Рудольф понял, что запах, исходивший от старика, пропитывал весь дом.

Дверь в комнату в конце коридора на четвертом этаже была открыта. Здесь, под самой крышей, стояла гнетущая жара. Рудольф узнал человека, которого Томас представил ему когда-то как Шульца. Шульц сидел на краю незастланной кровати, на грязных простынях, неподвижно уставившись в стену напротив.

Рудольф постучал о дверной косяк. Шульц медленно, с трудом повернул голову.

— Что вам надо? — спросил он. Голос его звучал резко и враждебно.

Рудольф вошел в комнату и протянул руку:

— Я брат Томаса Джордаха.

Шульц быстро спрятал свою руку за спину. На нем была грязная спортивная рубашка с потеками под мышками. Живот выпирал баскетбольным мячом. Шульц с трудом пошевелил губами, точно во рту у него были плохо подогнанные вставные челюсти. Он был совершенно лыс и выглядел больным.

— Я не пожимаю руки,— сказал он.— Из-за артрита.

Он не пригласил Рудольфа сесть, да, впрочем, и сесть-то, кроме кровати, было некуда.

— Сукин сын,— сказал Шульц.— Не хочу о нем слышать.

Рудольф достал бумажник и вытащил две ассигнации по двадцать долларов:

— Он просил меня передать вам это.

— Положите на кровать.— Злобное, змеиное выражение, застывшее на лице Шульца, нисколько не изменилось.— Он должен мне сто пятьдесят.

— Я заставлю его завтра же послать вам остальные,— сказал Рудольф.

— Давно пора. Что ему теперь от меня надо? Он что, опять кого-нибудь измордовал?

— Нет. У него больше нет никаких неприятностей.

— Жаль,— ядовито заметил Шульц.

— Он просил меня спросить вас, держится ли накал по-прежнему? — Произнося эти слова, он почувствовал, как странно они звучат.

Лицо у Шульца стало хитрым, таинственным, и он искоса взглянул на Рудольфа.

— А вы уверены, что он завтра пришлет мне остальные деньги?

— Безусловно.

— Что ж,— сказал Шульц,— в таком случае можете ему передать, что накал спал. Все давно позади. Этот лопух Куэйлс после того, как ваш вонючий братец избил его, не сумел ни разу выиграть бой. А я-то рассчитывал хорошо на нем заработать. Он был моим единственным шансом. Да, все уже позади. Все спокойно. Кто сыграл в ящик, кто в тюрьме. Никто теперь и не помнит вашего чертова братца. Так ему и скажите. И еще скажите: то, что я для него сделал, стоит гораздо больше ста пятидесяти долларов.

— Я обязательно ему это скажу,— пообещал Рудольф, стараясь говорить так, словно понимает, что имеет в виду старик.— У меня к вам еще один вопрос от него.

— За эти деньги он задает слишком много вопросов.

— Он хотел бы знать, как там его жена.

Шульц фыркнул:

— Это та шлюха? — Он произнес это слово, четко разделив его на два слога.— Ее фотография появлялась в газетах. В «Дейли ньюс». Дважды. Ее дважды арестовывали за то, что она приставала к мужчинам в барах. Она утверждала, что ее зовут Тереза Лаваль. Говорила, что она француженка. Но я сразу узнал эту стерву. Француженка, как же! Они все шлюхи, все до единой. Я мог бы вам немало порассказать, мистер...

— Вы знаете, где она живет? — Рудольфа не прельщала перспектива провести полдня в душной, зловонной комнате, выслушивая мнение Шульца о женщинах.— И где сейчас мальчик?

— Да кто теперь что знает? — покачал головой Шульц.— Я вот даже не знаю, где я живу. Тереза Лаваль. Француженка.— Он снова фыркнул.— Тоже мне, француженка!

— Большое спасибо, мистер Шульц,— сказал Рудольф.— Не буду вас больше беспокоить.

— Да какое же это беспокойство? Приятно было поболтать. А вы точно перешлете мне завтра эти деньги?

— Я вам гарантирую.

— На вас отличный костюм,— сказал Шульц,— но это еще не гарантия.

II

С телеграммой Рудольфа в кармане он сошел с самолета в аэропорту имени Кеннеди и вместе с сотнями других пассажиров миновал стойки санитарной и иммиграционной инспекций. Когда он здесь был в последний раз, аэропорт еще назывался Айдлуайлд. Пуля в голову — слишком дорогая плата за то, чтобы твоим именем назвали аэропорт.

Здоровенный ирландец со значком «Иммиграционная инспекция» посмотрел на него так, словно ему была неприятна даже сама мысль о том, чтобы пустить Томаса обратно в страну. Он долго листал большую черную книгу, отыскивая фамилию Джордах, и, казалось, был разочарован, когда не обнаружил ее там.

Томас прошел в зал таможенного досмотра и стал ждать свой багаж. Сколько народу! Как будто вся Америка возвращается из отпуска, проведенного в Европе. И откуда только у людей берутся деньги?!

Наверху, на застекленной галерее толпились встречающие. Он отправил Рудольфу телеграмму с номером рейса и временем прибытия, но брата в толпе на галерее не было видно. На мгновение в нем вскипела досада. Не для того он сюда прилетел, чтобы кататься по Нью-Йорку в поисках брата.

Когда он вернулся в Антиб после плавания с Хитом, его уже неделю ждала телеграмма от Рудольфа. «Дорогой Том,— прочитал он.— Можешь спокойно прилетать тчк Надеюсь очень скоро узнаем адрес твоего сына тчк Целую тчк Рудольф».

Увидев наконец свой чемодан, он подхватил его и встал в очередь к стойке таможенника. Инспектор заставил его открыть чемодан и долго в нем рылся. Томас не вез никому никаких подарков, и его благополучно пропустили.

Отказавшись от услуг носильщика, он сам понес свой чемодан к выходу. Стоявший в толпе Рудольф — он был одет, пожалуй, легче всех: без шляпы, в спортивных брюках и легком пиджаке — помахал ему. Они обменялись рукопожатием, и Рудольф хотел взять у него чемодан, но Томас не позволил.

— Хорошо долетел?— спросил Рудольф, когда они вышли из здания аэропорта.

— Нормально.

— Я поставил машину тут поблизости. Подожди меня здесь. Я мигом.

Когда Рудольф зашагал прочь, Томас заметил, что у брата все та же скользящая походка и он, как и в юности, при ходьбе совсем не двигает плечами.

Он расстегнул воротничок и ослабил узел галстука. Хотя было уже начало октября, стояла удушливая жара, пропитанная влажным смогом, пахнущая отработанным бензином. Он уже успел забыть, какой в Нью-Йорке климат. И как только люди здесь живут?!

Через пять минут Рудольф подъехал в голубом «бьюике». Том бросил чемодан на заднее сиденье и сел рядом с братом. В машине работал кондиционер и было прохладно.

— Ну, какие новости? — спросил Томас.

— Я разыскал Шульца,— ответил Рудольф.— Тогда-то и послал тебе телеграмму. Он сказал, что накал давно спал. Кто в тюрьме, кто умер. Я не стал спрашивать, что он имеет в виду.

— А что слышно о Терезе и о парне?

Рудольф подвигал рычажки кондиционера, нахмурился

— Даже не знаю, как начать...

— Говори, не бойся. Я крепкий, выдержу.

— Шульц не знает, где они. Но он сказал, что видел в газетах фотографию твоей жены. Дважды.

— Чего это вдруг? — На мгновенье Томас растерялся. Может, эта психопатка в конце концов действительно сделала карьеру на сцене или в ночном клубе?

— Ее задерживали за проституцию в барах. Дважды,— сказал Рудольф.— Мне очень неприятно, что именно я вынужден тебе об этом сказать.

— Да плюнь ты,— грубо сказал Томас.— Этого и следовало ожидать.

— Шульц сказал, что она назвала репортерам другую фамилию, но он все равно ее узнал. Я навел справки. Это точно она. В полиции мне дали ее адрес.

— А как парнишка?

— Он в военной школе. Я узнал об этом только два дня назад.

— Всю жизнь мечтал, чтобы мой сын стал солдатом!.. Как ты узнал все эти радостные новости?

— Нашел частного детектива.

— Он говорил с этой сучкой?

— Нет.

— Значит, никто не знает, что я здесь?

— Никто. Кроме меня. Я предпринял еще один шаг. Надеюсь, ты не будешь против?

— Что ты еще затеял?

— Я поговорил с одним знакомым адвокатом. Не называя никаких имен. Ты сможешь без труда развестись и забрать сына к себе. Из-за двух приводов Терезы.

— Хорошо бы ее заперли в тюрьму, а ключ выкинули.

— Слушай,— после паузы сказал Рудольф.— Мне сегодня надо вернуться в Уитби. Хочешь, поедем со мной или можешь оставаться здесь, в моей квартире. Там сейчас никто не живет. Каждое утро приходит горничная и вытирает пыль.

— Спасибо, я останусь здесь, в квартире. Ты не можешь устроить мне завтра утром встречу с этим твоим адвокатом?

— Конечно.

— Значит, у тебя есть ее адрес и ты знаешь название этой военной школы?

Рудольф кивнул.

— Отлично. Больше мне ничего и не надо.

— Сколько ты думаешь пробыть в Нью-Йорке?

— Ровно столько, сколько потребуется, чтобы уладить насчет развода и забрать парня с собой в Антиб.

— Джонни Хит писал мне, что очень доволен поездкой. Его невесте страшно понравилось у тебя на яхте,— заметил Рудольф.

— Как это она успела хоть что-то разглядеть,— с сомнением покачал головой Томас.— Она только и делала, что каждые пять минут переодевалась. У нее, наверно, было чемоданов тридцать. Хорошо, что на яхте не было других пассажиров. Мы заняли ее багажом две пустые каюты.

— Она из очень богатой семьи,— улыбнулся Рудольф.

— Сразу видно. Из нее богатство так и прет. А он, твой друг, в общем ничего. Не жаловался на плохую погоду и задавал столько вопросов, что к концу второй недели сам мог бы сгонять на «Клотильде» чуть не до Туниса. Он говорил, что собирается предложить тебе с женой отправиться вместе с ним в круиз на будущее лето.

— Если только у меня будет время.

— Ты что, действительно собираешься баллотироваться в мэры этой дыры?— спросил Томас.

— Уитби вовсе не дыра,— сказал Рудольф.— А чем тебе не нравится эта идея?

— Да я бы и гроша ломаного не дал за самого распрекрасного политика в этой стране.

— Быть может, мне удастся изменить твое мнение.

— В кои веки был у нас один хороший человек, так, естественно, его застрелили.

— Всех не перестрелять.

— Кому надо, попытаются,— упрямо сказал Томас.

— Том, неужели ты никогда не скучаешь по Америке?

— А что она для меня сделала? Вот сейчас покончу со всеми делами, уеду и думать о ней забуду.

— Ужасно, что ты так говоришь.

— Одного патриота на нашу семью достаточно.

— А как же твой сын?

— Что мой сын?

— Сколько ты собираешься его держать в Европе?

— Всю жизнь,— сказал Томас.— Разве что тебя изберут президентом и ты наведешь в этой стране порядок, посадишь в тюрьму всех жуликов, генералов, полицейских, судей, конгрессменов и дорогих адвокатов, да если к тому же тебя при этом не застрелят, может, тогда я пошлю его сюда погостить.

— А как же он получит образование?

— В Антибе тоже есть школы. И получше всяких вонючих военных школ.

— Но он же американец.

— Ну и что?

— А то, что он не француз.

— Он и не будет французом. Он будет Уэсли Джордахом.

— Он останется без родины.

— А где, по-твоему, у *меня* родина? Здесь? — Томас рассмеялся.— Родина моего сына будет на яхте в Средиземном море. Он будет плавать от одной страны, где делают вино и оливковое масло, до другой, где тоже делают вино и оливковое м

Рудольф не стал продолжать этот разговор, и остальную часть дороги до авеню, где была его квартира, они ехали молча. Швейцар подо[illegible] Томаса: воротничок расстегнут, галстук свободно болтается, синий к[illegible] широки брюками, зеленая шляпа с коричневой лентой, купленная в [illegible]

— Твоему швейцару не понравилось, как я одет,— усмехнулся Томас, когда поднимались в лифте.— Скажи ему, что я одеваюсь в Марселе, а всем известно, что Марсель — величайший центр мужской моды в Европе.

— Пусть тебя не волнует мнение швейцара,— сказал Рудольф, открывая Томасу дверь в квартиру.

— Ты недурно устроился,— заметил Томас, останавливаясь посреди огромной гостиной с камином и длинным, обитым бледно-золотистым вельветом диваном, торому с двух концов было приставлено по удобному мягкому креслу. На стол[illegible] в

вазах — свежие цветы, пол устлан светло-бежевым ковром, на темно-зеленых стенах — картины абстракционистов. Окна выходили на запад, и сквозь занавеси в гостиную лилось солнце. Мягко жужжал кондиционер, и в комнате стояла приятная прохлада.

— Мы приезжаем в Нью-Йорк реже, чем нам бы хотелось. Джин снова в положении и эти два месяца чувствует себя очень неважно, — сказал Рудольф, открывая буфет.— Вот тут бар. Лед в холодильнике. Если хочешь обедать не в ресторане, а здесь, скажи завтра утром горничной. Она отлично готовит.

Рудольф налил себе и Томасу по виски с содовой и, пока они пили, достал бумаги, полученные в полиции, и отчет частного детектива и передал все это брату. Потом позвонил адвокату и договорился, что тот примет Томаса на следующее утро в десять часов.

— Так,— сказал он, когда они покончили с виски,— что еще я могу для тебя сделать? Если хочешь, я съезжу вместе с тобой в школу.

— Со школой я справлюсь сам, не беспокойся.

— Как у тебя с деньгами?

— Куры не клюют. Спа ибо.

— В случае чего звони мне в Уитби,— сказал Рудольф.

— Договорились, господин мэр,— улыбнулся Том.

Они пожали друг другу руки, и Рудольф ушел, оставив Томаса у стола, где лежали бумаги из полиции и отчет детектива.

Военная школа «Хиллтоп» [1] действительно стояла на вершине холма, и в том, что школа военная, сомневаться не приходилось. Ее, как тюрьму, окружала высокая стена из серого камня, и, проехав в ворота, Томас из окна взятой напрокат машины увидел мальчиков в серо-голубой форме, маршировавших строем на пыльном плацу.

Он подъехал по вьющейся вверх по холму дороге к каменному зданию, похожему на небольшой замок.

Территория школы была ухоженная: аккуратные цветочные клумбы, подстриженные газоны, остальные постройки — больше, солиднее и из того же камня, что и замок.

«Тереза наверняка дерет с клиентов большие деньги за свои услуги, если может позволить себе держать парня в такой школе»,— подумал Томас.

Он вылез из машины и вошел в здание. В облицованном гранитом холле было темно и холодно. На стенах висели флаги, мечи, скрещенные ружья и мраморные доски с именами выпускников, погибших в испано-американской войне, в Мексиканской кампании, в первой и второй мировых войнах и в Корее. Холл походил на выставочный зал фирмы, рекламирующей свою продукцию. По лестнице спускался коротко подстриженный паренек с множеством затейливых нашивок на рукаве.

— Сынок, где здесь кабинет начальника? — обратился к нему Томас.

Парень вытянулся по стойке «смирно», словно Томас был генералом Макартуром:

— Сюда, сэр.

В военной школе «Хиллтоп» ученикам явно прививали уважение к старшим. Может, поэтому-то Тереза и определила Уэсли сюда. Ей было бы очень кстати, если бы сына заставили ее уважать.

Мальчик открыл дверь в большую комнату. За столами, огороженными небольшим барьером, сидели две женщины.

— Пожалуйста, сэр,— сказал паренек и, щелкнув каблуками, ловко повернулся кругом и вышел в коридор. Томас подошел к ближайшему столу. Женщина подняла глаза от лежавших перед ней бумаг.

— Что вам угодно, сэр?

— У меня здесь учится сын,— сказал Томас.— Моя фамилия Джордах. Мне хотелось бы поговорить с кем-нибудь из начальства.

Женщина странно поглядела на него, точно его фамилия говорила ей о чем-то не слишком приятном. Потом поднялась.

— Я доложу о вас полковнику Бейнбриджу, сэр. Посидите пока.— Она указала на скамейку у стены и прошла к двери в другом конце комнаты. Женщина была тучная. На вид лет пятидесяти. Чулки на ногах перекручены. В военной школе «Хиллтоп» не искушали молодых солдат женскими прелестями.

Через несколько минут женщина вернулась, открыла в барьере небольшую дверцу и сообщила.

[1] Вершина холма *(англ.)*.

— Полковник Бейнбридж ждет вас, сэр.— Она провела его в конец комнаты и, когда он вошел в кабинет, закрыла за ним дверь. В кабинете полковника Бейнбриджа по стенам тоже висели флаги, а еще висели фотографии генерала Пэттона, генерала Эйзенхауэра и самого Бейнбриджа, сурового воина в походном мундире, с биноклем на груди, в каске и с пистолетом. По-видимому, снимок был сделан во время второй мировой войны. Полковник, поднявшийся из-за стола, чтобы пожать руку Томасу, был сейчас в обычной военной форме. Он выглядел худее, чем на фотографии, был почти совсем лысый, носил очки в серебряной оправе, на нем не было ни оружия, ни бинокля, и вообще он походил на актера, играющего в пьесе про войну.

— Добро пожаловать в «Хиллтоп», мистер Джордах,— сказал Бейнбридж. Хоть он и не стоял по стойке «смирно», но создавалось именно такое впечатление.—Присаживайтесь.— На лице у него было несколько странное выражение, пожалуй, такое же, как у швейцара в доме Рудольфа.

«Если я задержусь в Нью-Йорке надолго, мне, наверно, придется сменить портного»,— подумал Томас.

— Не хочу отнимать у вас много времени, полковник. Я приехал повидать своего сына Уэсли.

— Да, конечно, понимаю,— сказал Бейнбридж, слегка запинаясь.— Сейчас будет перерыв в занятиях, и мы за ним пошлем.— Он смущенно откашлялся.— Очень приятно наконец-то увидеть в нашей школе кого-нибудь из семьи этого молодого человека. Я правильно понял, вы его *отец*?

— Да,— ответил Томас.— Я именно так и сказал вашей секретарше.

— Простите мой вопрос, мистер... мистер Джордах,— в замешательстве полковник глядел на портрет Эйзенхауэра,— но в заявлении о приеме Уэсли в школу было ясно сказано, что его отец умер.

«Дрянь,— подумал Томас,— подлая ничтожная дрянь!»

— Как видите, я жив,— сказал он.

— Да, я вижу,— нервно ответил Бейнбридж.— Вероятно, вкралась какая-то ошибка, хотя непонятно, как...

— Несколько лет я жил за границей,— перебил его Томас.— У нас с женой плохие отношения.

— Даже если так...— Бейнбридж суетливо похлопал ладонью по маленькой бронзовой пушке, стоявшей на столе.— Конечно, не полагается вмешиваться в семейные дела... Я не имел чести познакомиться с миссис Джордах... Мы с ней только переписываемся. Но она ведь *та самая* миссис Джордах, да? — безнадежно спросил Бейнбридж.— Та, что занимается антиквариатом? В Нью-Йорке?

— Возможно, среди ее клиентов есть и антиквары, я не знаю,— ответил Томас.— Короче, мне хотелось бы повидать сына.

— Через пять минут занятия кончатся,— сказал Бейнбридж.— Я уверен, он будет рад вас видеть. Очень рад. При сложившихся обстоятельствах... встреча с отцом, я полагаю, это как раз то, что ему нужно...

— Какие обстоятельства?

— Он трудный мальчик, мистер Джордах, очень трудный. У нас с ним много хлопот.

— А именно?

— Он чрезвычайно... мм... неуживчивый.— Казалось, Бейнбридж обрадовался, найдя подходящее слово.— Постоянно ввязывается в драки. С кем угодно, независимо от возраста и роста. В прошлом семестре он даже ударил одного преподавателя, и тот целую неделю не мог вести занятия. Ваш сын... он очень ловко... э-э... как бы это сказать... владеет кулаками. Конечно, в такой школе, как наша, мы лишь приветствуем, когда парень проявляет, так сказать, естественную агрессивность, но Уэсли...— Бейнбридж вздохнул.— Его агрессивность выливается не в простые мальчишеские драки, а... Нам пришлось нескольких ребят госпитализировать. Старшеклассников... Буду с вами предельно откровенным. У него, ну... в нем какая-то — я не могу подобрать другого слова — взрослая злоба, и мы, педагоги, считаем это очень опасным.

Кровь Джордаха, горько подумал Томас, проклятая кровь Джордаха.

— К сожалению, должен вам сообщить, мистер Джордах, что в этом семестре Уэсли дан испытательный срок — и без всяких снисхождений.

— Что ж, полковник, в таком случае у меня для вас есть хорошая новость,— сказал Томас.— Я намерен сам заняться Уэсли и всеми его делами.

— Рад слышать, мистер Джордах, что вы берете дело в свои руки. Мы неоднократно писали его матери, но она, видно, настолько занята, что даже не ответила.

— Я намерен забрать его из школы сегодня же,— сказал Томас.— Вы можете о нем больше не беспокоиться.

Рука Бейнбриджа, поглаживавшая бронзовую пушку, задрожала.

— Я не вижу необходимости в таких радикальных мерах, сэр,— сказал он неуверенно. Битвы в Нормандии и на Рейне остались давно позади, и он был просто стариком, нарядившимся в военную форму.

— Да, но зато я вижу в них необходимость,— заметил Томас вставая. Бейнбридж тоже поднялся из-за стола.

— Но это... это против наших правил. Нам необходимо получить письменное разрешение от его матери. Как бы там ни было, все дела мы вели с ней, и она заплатила вперед за полный учебный год. К тому же мы должны быть уверены в подлинности вашего родства с мальчиком.

Томас достал бумажник и выложил на стол перед Бейнбриджем свой паспорт. Полковник медленно открыл зеленую книжицу.

— Да, конечно, ваша фамилия Джордах. И тем не менее... Поверьте, сэр, я обязан связаться с матерью мальчика.

— Чтобы не отнимать у вас больше времени, полковник,— Томас вынул из внутреннего кармана пиджака справку полиции о Терезе Джордах-Лаваль и протянул ему,— прочитайте это, пожалуйста.

Бейнбридж прочитал, снял очки и устало протер глаза.

— Боже мой! — Он вернул бумагу Томасу, словно боялся, что если она еще минуту полежит на его столе, то навсегда попадет в школьную документацию.

— Вы по-прежнему хотите держать парня у себя? — спросил напрямик Томас.

— Конечно, это меняет дело,— сказал Бейнбридж.— Существенно меняет.

Спустя полчаса они выехали за ворота военной школы. На заднем сиденье лежал солдатский сундучок Уэсли, а сам он, все еще в форме, сидел впереди, рядом с Томасом. Паренек был не по возрасту рослый, бледный и прыщавый. Мрачные глаза и широкий решительный рот придавали ему сходство с Акселем Джордахом. Он был похож на деда, как сын бывает похож на отца. Когда его привели в кабинет полковника и он увидел там Томаса, он не проявил никаких эмоций; не менее безразлично отнесся он к сообщению, что его забирают из школы, и даже не спросил Томаса, куда тот его везет.

— Завтра,— сказал Томас, когда школа исчезла за их спиной,— оденем тебя как человека. И запомни, больше ты драться не будешь.

Уэсли молчал.

— Ты меня слышал?

— Да, сэр.

— Не надо называть меня так. Я тебе не сэр, а отец,— сказал Томас.

Глава 5

1966 год

За работой Гретхен на какое-то время совсем забыла, что сегодня ей исполнилось сорок лет. Она сидела на высоком стальном табурете перед звукомонтажным аппаратом, нажимала рычажки и внимательно смотрела на экран, совмещая звуковую дорожку с изображением. На руках у нее были заляпанные эмульсией грязные белые перчатки.

Она работала над монтажом уже третьей картины. Сэм Кори вначале взял ее к себе ассистентом, а затем, как следует обучив, расхвалил ее режиссерам и продюсерам и благословил на самостоятельную работу. Обладая высоким профессионализмом и творческой индивидуальностью и при этом отнюдь не стремясь стать режиссером и тем самым вызвать зависть окружающих, Гретхен была в студии нарасхват и могла сама выбирать себе работу.

Картина, которую она сейчас монтировала, снималась в Нью-Йорке, и после замкнутой, тесной, почти семейной атмосферы Голливуда, где все знали всё обо всех, Нью-Йорк пленил ее своей раскованностью и многоликостью. В свободные часы она пыталась продолжать политическую деятельность, которой отдавала много времени в

Лос-Анджелесе после гибели Колина. Со своей ассистенткой Идой Коэн она ходила на митинги, где люди выступали с требованиями прекратить войну во Вьетнаме и либерализовать школы. Она подписывала десятки разных обращений и старалась заполучить подписи влиятельных деятелей кинематографии. Все это помогало ей простить себя за то, что она бросила университет в Калифорнии. Кроме того, Билли уже достиг призывного возраста, и сама мысль о том, что ее сына могут убить во Вьетнаме, была для нее невыносимой. И она и Ида носили на блузках и лацканах пальто значки с лозунгом «Долой бомбу!».

По вечерам, когда не было никаких митингов, она часто ходила в театр, после стольких лет перерыва снова влекший ее к себе. Иногда она ходила вместе с Идой, безвкусно одевавшейся, язвительной маленькой женщиной, иногда с Эвансом Кинселлой, режиссером — с ним у нее был сейчас роман,— а иногда с Рудольфом и Джин, если они приезжали в Нью-Йорк, или с кем-нибудь из актеров, с которыми познакомилась на съемках.

Гретхен смотрела на маленький экран и морщилась. Кинселла снял картину так, что было трудно придать эпизоду ту тональность, которая, как ей казалось, была тут необходима. Если ей не удастся исправить дело с помощью изобретательного монтажа или если сам Кинселла не подскажет какую-нибудь новую идею, в конце концов придется переснимать целую сцену заново.

Гретхен прервала работу и закурила. Коробки из-под пленки, заменявшие им с Идой пепельницу, всегда были полны окурков. Там и здесь стояли пустые бумажные стаканы из-под кофе со следами губной помады на ободках.

«Сорок лет»,— затягиваясь, подумала она.

Никто сегодня пока не поздравил ее. А с чем, собственно, поздравлять? Тем не менее она заглянула в почтовый ящик в отеле, надеясь найти там телеграмму от Билли. Но в ящике было пусто. Иде она о своем дне рождения не сказала. Иде самой уже перевалило за сорок — не стоило лишний раз травить человеку душу. И, конечно же, она ничего не сказала Эвансу. Ему тридцать два. Сорокалетние женщины не напоминают тридцатидвухлетним любовникам о своих днях рождения.

Открылась дверь, и в комнату вошел Кинселла. Поверх вельветовых брюк, красной спортивной рубашки и тонкого шерстяного свитера на нем был белый плащ с поясом. Плащ был мокрый. Она уже несколько часов не выглядывала в окно и не знала, что на улице дождь.

— Привет, девочки,— сказал Эванс, высокий худощавый мужчина с взъерошенной черной шевелюрой. Подбородок у него отливал синевой, и от этого казалось, что он всегда плохо выбрит. Его недоброжелатели утверждали, что он похож на волка. Он уже сделал шесть картин, и три из них имели большой успех.

Он поцеловал в щеку сначала Иду, потом — Гретхен. Одну из своих картин он снял в Париже и там привык целоваться при встрече со всеми подряд.

— Ты готова? — спросил он Гретхен.

— Почти,— ответила она. Ей было досадно, что за работой она не заметила, как быстро пролетело время. Не мешало бы перед его приходом причесаться и подкраситься.

Они прошли в маленький просмотровый зал. Уселись в темноте и начали просматривать кадры, отснятые накануне,— один и тот же эпизод в разных ракурсах, снова и снова. Гретхен уже в который раз подумала, что необычный, чуть сумасшедший талант Эванса ясно ощущается в каждом метре пленки. Мысленно она прикинула, как начнет монтировать готовый материал.

Затем они просмотрели эпизод, над которым она работала сегодня целый день. На большом экране он показался Гретхен еще хуже, чем на монтажном столе. Однако, когда зажегся свет, Эванс заметил:

— Прекрасно. Мне нравится.

Гретхен работала с ним два года и уже сделала одну его картину до этой. Она давно поняла, что он нетребователен к себе.

— Я в этом не совсем уверена,— сказала она.— Мне хотелось бы еще немного повозиться с этим куском.

— Потеря времени,— отрезал Эванс.— Уверяю тебя, все прекрасно.

— Не знаю, но мне эпизод кажется немного затянутым.

— Именно этого я и добивался,— сказал он.— Я и хочу, чтобы он был затянутым.— Он спорил как упрямый ребенок.

— Все эти люди то входят, то выходят,— осторожно продолжала Гретхен,— за ними тянутся тени, а ничего зловещего так и не происходит...

— Не пытайся сделать из меня Колина Берка.— Эванс резко встал.— Не забывай, что меня зовут Эвансом Кинселлой, и я останусь Эвансом Кинселлой. Пожалуйста, запомни.

— Перестань вести себя как ребенок,— огрызнулась Гретхен.

— Где мой плащ? Где я оставил этот чертов плащ? — раздраженно и громко сказал он.

— Ты оставил его в монтажной.

В монтажной Эванс небрежно накинул плащ. Ида размечала пленку, с которой они сегодня работали. Эванс уже направился к двери, но вдруг остановился и вернулся к Гретхен.

— Я собирался пригласить тебя поужинать со мной, а потом сходить в кино. Ты можешь? — Он миролюбиво улыбнулся. Он не выносил, если кому-то не нравился даже минуту.

— Извини, не смогу. За мной заедет брат, и мы поедем на выходные к нему в Уитби.

У Эванса был подавленный вид. Настроение у него менялось каждую секунду.

— А я на выходные свободен как птица. Я думал, мы с тобой...— Он взглянул на Иду, надеясь, что она выйдет из комнаты. Но Ида продолжала невозмутимо работать.

— Я вернусь в воскресенье как раз перед ужином,— сказала Гретхен.

— Ладно. Мне остается лишь смириться. Привет твоему брату. И поздравь его от моего имени.

— С чем?

— А ты что, не видела его портрет в «Лук»? Он стал всеамериканской знаменитостью на эту неделю.

— А, ты вот о чем!

В журнале была опубликована статья под названием «Десять восходящих политических звезд, которым еще не перевалило за сорок». Две фотографии: Рудольф и Джин в гостиной их дома и Рудольф за столом в муниципалитете. «Молодой, красивый мэр Уитби, женатый на прелестной богатой молодой женщине,— писал журнал,— быстро завоевывает авторитет во влиятельных республиканских кругах. Умеренный либерал, энергичный администратор, он не принадлежит к числу политиков-теоретиков; всю свою жизнь он работал за жалованье. На посту мэра он проводит четкий курс, борясь с дискриминацией в жилищном строительстве, активно выступая против загрязнения окружающей среды отходами промышленных предприятий; он посадил за взятки бывшего начальника полиции и троих полицейских; выпустил заем для строительства новых школ; пользуясь своим влиянием в совете опекунов университета Уитби, способствовал введению совместного обучения. Дальновидный преобразователь города, он провел эксперимент, запретив по субботам во второй половине дня и вечером движение транспорта в центре города, чтобы горожане могли свободно прогуливаться, попутно заходя в магазины. Издаваемую им газету «Уитби сентинел» он превратил в рупор довольно резких выступлений, призывая органы как местного, так и национального управления работать честно. На съезде мэров в Атлантик-Сити выступил с яркой речью, которая вызвала бурные аплодисменты. В составе немногочисленной делегации мэров был на тридцать минут принят в Белом доме» .

— Читая эту статью, можно подумать, будто он сделал в Уитби все и ему осталось только воскресить мертвых,— заметила Гретхен.— Не иначе, это писала женщина, безумно в него влюбленная. Мой брат умеет очаровывать.

— Твои симпатии и привязанность к родным и близким нисколько не затуманивают ясность твоих суждений о них,— рассмеялся Эванс.

— Просто я надеюсь, мои родные и близкие не верят во всю ту чушь, которую о них пишут,— ответила Гретхен.

Рудольф не сказал ей «С днем рождения», когда они вместе спустились в лифте и вышли на Бродвей. Гретхен ему не напоминала. Рудольф нес маленький чемодан, который она упаковала с утра. Все еще лил дождь, такси нигде не было видно, и они двинулись пешком к Парк авеню. Утром дождя не было, и она не захватила с собой зонтик. Когда они дошли до Шестой авеню, она уже промокла до нитки.

— Нью-Йорку нужны по крайней мере еще тысяч десять такси,— сказал Рудольф.— Жить в этом городе — просто безумство.

— Энергичный администратор, умеренный либерал, дальновидный преобразователь города...— процитировала Гретхен.

— А-а, ты читала эту статью? Абсолютная галиматья,— рассмеялся Рудольф, но ей показалось, он доволен.

Они шли по Пятьдесят второй улице, и дождь лил еще сильнее, чем раньше. Поравнявшись с рестораном «Двадцать один», Рудольф взял ее за руку:

— Давай заглянем сюда и чего-нибудь выпьем. Потом швейцар поймает нам такси.

— Добрый вечер, мистер Джордах,— наперебой здоровались с Рудольфом швейцары, гардеробщицы, администратор, метрдотель и бармен. Было пожато немало рук.

— Как Джин? — спросила Гретхен в баре.

Вторая беременность Джин кончилась выкидышем, и Джин тяжело это переживала. Она выглядела подавленной, отрешенной, неожиданно резко прекращала начатый разговор, а иногда, не закончив фразы, вставала и уходила из комнаты. Забросила фотографию, и, когда однажды Гретхен спросила ее, собирается ли она снова начать фотографировать, Джин в ответ лишь неопределенно покачала головой.

— Джин? Ей лучше,— коротко ответил Рудольф.

Подошел бармен. Рудольф заказал себе виски, а Гретхен — мартини.

Рудольф поднял свой стакан:

— С днем рождения.

Оказывается, он помнил.

— Не жалей меня,— сказала она,— а то я заплачу.

Он достал из кармана продолговатую кожаную коробочку и положил ее на стойку перед Гретхен.

— Примерь.

На коробочке стояло название фирмы «Картье». Внутри лежали красивые золотые часы. Она сняла свои тяжелые металлические часы и защелкнула на запястье изящный золотой браслет. Единственный подарок за весь день. Едва сдерживая слезы, она поцеловала брата в щеку. «Я должна заставить себя лучше думать о нем»,— решила она.

— Что еще тебе сегодня подарили? — спросил Рудольф.

— Ничего.

— Билли звонил? — Он задал этот вопрос *слишком* небрежно.

— Нет.

— Два дня назад я случайно встретил его возле университета и напомнил ему.

— Он ужасно занят,— попыталась оправдать сына Гретхен.

— Может, он рассердился, что я напомнил ему о твоем дне рождения и посоветовал позвонить? Он не слишком жалует своего дядю Рудольфа.

— Он никого не жалует,— заметила Гретхен.

Билли поступил в университет в Уитби, потому что после окончания средней школы в Калифорнии заявил, что намерен поехать учиться в какой-нибудь восточный штат. Гретхен хотелось, чтобы он поступил в университет в Лос-Анджелесе или Южной Калифорнии и по-прежнему жил дома, но сын недвусмысленно дал ей понять, что жить дома больше не желает. Он был очень умным парнем, но занимался мало, и его отметки не позволяли ему поступить в какой-либо престижный колледж на востоке США. Гретхен попросила брата использовать свое влияние, чтобы Билли приняли в Уитби. Билли писал ей редко — иногда она ничего не получала от него месяца по два. А когда, наконец, приходило письмо, оно бывало коротким: он перечислял предметы, которыми занимался, и писал о своих планах на летние каникулы — он всегда предпочитал проводить их подальше от дома. Уже больше месяца Гретхен работала в Нью-Йорке, всего в нескольких часах езды от Уитби, но сын ни разу не навестил ее. До сих пор гордость не позволяла ей самой съездить к нему, но сейчас ей было уже невмоготу.

— Что с мальчиком происходит? — спросил Рудольф.

— Он меня наказывает.

— За что?

— За Эванса. Я старалась ничем себя не выдавать. Эванс никогда не оставался у нас ночевать, и я сама всегда возвращалась вечером домой, ни разу никуда не уезжала с ним на выходные, но Билли, конечно, все равно немедленно обо всем догадался и стал со мной очень холоден.

— Это у него пройдет. Обычная детская ревность, ничего больше.

— Дай бог. Он презирает Эванса. Называет его мыльным пузырем.

— А это на самом деле так?

Гретхен пожала плечами.

— Трудно сказать, до Колина ему далеко, но ведь и мне — тоже.

— Эванс не собирается на тебе жениться?

— В Голливуде преуспевающие тридцатидвухлетние режиссеры не женятся на сорокалетних вдовах, разве что те богаты или знамениты или и то и другое вместе. Я же ни то ни другое.

— Он тебя любит?

— Откуда я знаю?

— А ты его любишь?

— Тоже не знаю. Мне хорошо с ним в постели. Мне нравится с ним работать. Я к нему привязалась. Я обязательно должна быть привязана к какому-нибудь мужчине и чувствовать, что я ему нужна, так что Эвансу просто повезло. Предложи он мне выйти за него замуж, я согласилась бы не задумываясь. Но он не предлагает.

Войдя в квартиру, они услышали сильные удары молотка по металлу. Рудольф, а за ним и Гретхен вбежали в гостиную. Джин сидела на полу посреди комнаты, раздвинув ноги, как ребенок, играющий в кубики. В руках у нее был молоток, и она с методичным упорством крушила им лежавшую перед ней груду фотоаппаратов и объективов. На Джин были брюки и грязный свитер, немытые волосы прядями падали на лицо, когда она нагибалась, нанося очередной удар.

— Джин! — крикнул Рудольф.— Ты что, с ума сошла? Что ты делаешь?

Джин подняла голову и лукаво посмотрела на него сквозь свисавшие сосульками волосы.

— Достопочтенный мэр хочет знать, что делает его прелестная богатая молодая жена? Что ж, я могу объяснить достопочтенному мэру. Его прелестная богатая молодая жена превращает все это в кучу мусора.— Язык у Джин заплетался, она была пьяна. Она грохнула молотком по большому широкоугольному объективу, и он разлетелся вдребезги.

Рудольф выхватил у нее молоток. Она не сопротивлялась.

— Достопочтенный мэр забрал молоток у своей прелестной богатой молодой жены,— сказала Джин.— Ничего, дорогая куча мусора, не волнуйся. Можно найти и другой молоток. Ты будешь расти все выше и выше, и наступит день, когда ты станешь одной из величайших и прекраснейших в мире куч мусора, и достопочтенный мэр объявит тебя городским парком, созданным на радость жителям Уитби.

Не выпуская из рук молотка, Рудольф бросил взгляд на сестру. В его глазах был стыд и испуг.

— Господи, Джин,— сказал он жене,— ты разбила аппаратуры по крайней мере на пять тысяч долларов.

— Достопочтенной жене мэра она больше не нужна,— сказала Джин.— Пусть теперь фотографируют *меня*. Пусть фотографией занимаются бедняки. И талантливые люди. О-ля-ля,— она грациозно, по-балетному взмахнула руками.— Принесите же мне молотки! Руди, дорогой, тебе не кажется, что ты обязан дать своей прелестной богатой молодой жене чего-нибудь выпить?

— Ты уже достаточно выпила.

— Рудольф,— сказала Гретхен,— я, пожалуй, уйду. Все равно сегодня мы уже не поедем в Уитби.

— Прекрасный Уитби! — продолжала Джин.— Город, где прелестная богатая молодая жена достопочтенного мэра с одинаковой улыбкой встречает и демократов и республиканцев; где она открывает благотворительные базары и неизменно появляется под руку со своим мужем на банкетах и политических митингах; где ее все должны видеть на выпускных церемониях, на празднике Четвертого июля, на соревнованиях студенческих футбольных команд, на торжественном открытии новых лабораторий, на закладке новых жилых районов с настоящими уборными для цветных...

— Прекрати, Джин! — резко оборвал ее Рудольф.

— Нет, мне действительно лучше уйти,— повторила Гретхен.— Я тебе позвоню и...

— Сестра достопочтенного мэра, куда вы так спешите? — повернулась к ней Джин.— Кто знает, может быть, когда-нибудь ему понадобится и ваш голос. Оставай-

тесь, и мы уютно, по-семейному посидим и выпьем. Оставайтесь и послушайте. Это может оказаться для вас поуч... поучительным.— Она заикалась.— Всего за сто уроков вы можете узнать, как превратиться в до... в до... в довесок к собственному мужу. Я закажу себе визитные карточки: миссис Джордах, некогда профессиональный фотограф, а ныне довесок. Один из десяти самых многообещающих довесков в Соединенных Штатах. Специализируется на паразитизме и лицемерии. Читает курс лекций на тему: «Как успешно превратиться в довесок».— Она хихикнула.— Любой чистокровной американке гарантирован диплом.

Гретхен повернулась и тихо вышла из комнаты. Рудольф ее не удерживал. Он неподвижно стоял в мокром плаще, держал в руке молоток и пристально глядел на пьяную жену.

Вернувшись в «Алгонквин», она позвонила Эвансу, но никто не подошел к телефону. Она попросила телефонистку на коммутаторе передать Эвансу, что миссис Берк никуда не поехала на выходные и весь вечер будет у себя в отеле. Потом она приняла горячую ванну, переоделась, спустилась в ресторан и поужинала.

Рудольф позвонил ей на следующий день в девять утра. Она была одна. Эванс так и не объявился. Рудольф сказал, что вскоре после того, как она ушла, Джин легла спать, а наутро со стыдом вспоминала о случившемся. Сейчас все уже в порядке, они собираются в Уитби и ждут Гретхен.

Одеваясь, Гретхен раздумывала над вчерашней сценой и вспоминала не такое буйное, но не менее странное поведение Джин во время предыдущих встреч. Все постепенно прояснялось. Раньше Джин удавалось скрывать это от Гретхен, потому что они не часто виделись. Но теперь все было понятно — Джин алкоголичка. Понимает ли это Рудольф? И что он намерен делать?

Было уже без четверти десять, а Эванс так и не позвонил. Гретхен спустилась в лифте и вышла на залитую солнцем Сорок восьмую улицу. Она зашагала вперед — высокая стройная женщина с красивыми ногами. Мягкие черные волосы, прекрасная светлая кожа. Твидовый костюм и шелковая блузка — именно то, что следует надевать, когда едешь отдохнуть на выходные за город. Лишь значок «Долой бомбу!», приколотый, как брошка, к лацкану отлично сшитого жакета, намекал, что в это солнечное весеннее утро 1966 года в Америке не все так благополучно, как кажется.

Светловолосая пухленькая Инид — ей было уже два года — ждала их. Она бросилась к матери, и они долго обнимались и целовались. Рудольф, неся за сестрой ее чемодан, поднялся в отведенную ей комнату.

— Руди,— понизив голос, сказала Гретхен,— мы не должны сегодня пить.

— Почему? — В его голосе звучало удивление.

— Не надо соблазнять Джин. Даже если она сама не будет пить... Когда рядом пьют другие...

— О, меня это не беспокоит,— беспечно сказал Рудольф.— Вчера она просто была немного взвинчена...

— Она пьет, Руди. Это алкоголизм,— осторожно сказала Гретхен.

Рудольф отмахнулся:

— Не устраивай мелодраму, это на тебя не похоже. Время от времени она позволяет себе лишнее, вот и все. Так же, как ты и я.

— Нет, не так же,— возразила Гретхен.— Ей нельзя пить ни капли. Даже глотка пива. И ей не стоит встречаться с людьми, которые любят выпить. Руди, я знаю, о чем говорю. В Голливуде полно женщин вроде нее. Таких, которые, как и она, пока в начальной стадии, и таких, которые зашли слишком далеко. А последующие стадии просто ужасны. И это ее ждет. Ты должен уберечь ее.

Внизу зазвонил телефон, потом раздался голос Джин:

— Гретхен! Это тебя. Билли.

— Прошу, послушайся меня,— сказала Гретхен Рудольфу.

— Иди вниз поговори со своим сыном,— холодно ответил он.

По телефону у Билли был очень взрослый голос.

— Привет, мать! Это здорово, что ты приехала.— Он стал говорить ей «мать» с тех пор, как в ее жизни появился Эванс. Раньше он называл ее мамочкой. Тогда ей ка-

залось, что это звучит слишком по-детски в устах такого большого мальчика, но сейчас, услышав его голос, она поняла, как ей не хватает этого ласкового «мамочка».— Слушай, мне очень неудобно,— сказал Билли.— Извинись, пожалуйста. Прошу тебя, за меня перед Рудольфом, ладно? Он пригласил меня на обед, а у нас здесь в час будет бейсбол, и я стою на подаче, так что, боюсь, уже не выберусь.

— Хорошо, я извинюсь за тебя,— ответила Гретхен.— А когда мы увидимся?

— Понимаешь, сейчас мне трудно сказать,— в голосе Билли чувствовалась явная растерянность.— После игры мы собираемся у одного парня. Будет грандиозный вечер с пивом и...

— Где вы играете? Я приду посмотреть. Мы сможем поговорить в перерывах.

— Ну, вот ты уже и надулась.

— Я вовсе не надулась, как ты выражаешься. Где вы играете?

— В восточной части студенческого городка. Там спортплощадки идут одна за другой. Найдешь.

После обеда Гретхен взяла машину брата и поехала в студенческий городок Уитби.

В бейсбол играли на трех площадках. Сына она увидела на той площадке, где игра шла из рук вон плохо и почти половину игроков составляли девушки. Одна из девушек сидела на траве и читала книгу, отрываясь только, когда товарищи по команде кричали ей, чтобы она бежала за мячом. Игра началась, вероятно, уже давно, потому что, когда Гретхен подошла к линии первой защиты, там спорили, какой счет: девятнадцать — шестнадцать или восемнадцать — пятнадцать. Было совершенно очевидно, что, если бы Билли не играл, это ничего бы не изменило. Билли, одетый в выцветшие джинсы с бахромой на штанинах и в серую тенниску, подавал мяч. Девушкам он легонько кидал, зато парням посылал резкими, сильными бросками.

Билли не сразу заметил Гретхен, и какое-то время она наблюдала, как лениво и изящно он двигается. Слишком длинные волосы падали ему на лицо, а лицо было красивое, улучшенный вариант лица Вилли Эббота — чувственное, сильное, недовольное. Лоб такой же выпуклый и высокий, глаза темнее и посажены глубже, нос длиннее, с трепещущими широкими ноздрями, на правой щеке, когда он улыбался, появлялась, нарушая симметрию, ямочка; зубы ровные, по-юношески ослепительно белые.

Если бы только он и характером был так же хорош, подумала Гретхен, а ее сын в это время послал мяч хорошенькой пухлой девушке, которая подпрыгнула, промахнулась и с деланным отчаянием закричала: «Нет, у меня ничего не получится!»

В перерыве Билли заметил Гретхен, стоявшую за чертой, и подошел к ней.

— Привет, мать,— целуя ее в щеку, сказал он. Когда он увидел значок «Долой бомбу!», в глазах у него вспыхнули насмешливые искорки.— Я же говорил, что ты легко меня найдешь.

— Надеюсь, я не помешала? — спросила она, понимая, что взяла неправильный тон: люби меня, я твоя мать.

— Нет, что ты,— ответил он и крикнул: — Эй, ребята! Кто-нибудь поиграйте за меня, у меня гостья.— Он никому ее не представил.— Может, мы с тобой пройдемся? Я покажу тебе городок.

— Рудольф и Джин огорчились, что ты не пришел на обед,—сказала Гретхен, когда они отошли от площадки. Опять не тот тон.

— Правда? — безразлично сказал Билли.— Мне очень жаль.

— Рудольф говорит, что он уже не первый раз тебя приглашает. Но ты так у него и не был.

— Да знаешь, как это бывает. Всегда то одно, то другое.

— Мне было бы приятно, если бы ты все же заходил к нему.

— Как-нибудь зайду. Мы потолкуем с ним об отчуждении поколений. Или о том, почему все в университете курят марихуану. Его газета здорово пишет о таких вещах.

— А *ты* куришь марихуану?

— Мать, дорогая, спустись с небес в двадцатый век.

— Как ты со мной разговариваешь? — резко сказала она.

— Сегодня чудесный день. Мы давно не виделись. Давай не будем ссориться.

— Твоя девушка тоже играла с вами?

Он как-то писал ей, что ему нравится одна девушка из их группы.

— Нет. К ней на выходные приехали родители, и она должна сейчас делать вид, что меня не существует. Ее отец терпеть меня не может, а я — его. Он говорит, что я оказываю на его дочь аморальное, развращающее влияние. Он у нее питекантроп.

— Ты хоть о ком-нибудь можешь сказать что-то хорошее?

— Конечно. Об Альбере Камю. Но его нет в живых. Кстати, как поживает другой поэт, Эванс Кинселла?

— Жив,— сказала Гретхен.

— Да ну? Вот это новость! Сенсационная новость!

Если бы Колин не погиб, он бы не был таким, подумала Гретхен. Да, он был бы совсем другим. Рассеянный, очень занятой человек садится за руль, наезжает на дерево, а его смерть оставляет свой след на других поколениях...

— Как у тебя с занятиями?

Билли скорчил гримасу.

— По словам Рудольфа, дела у тебя идут весьма неважно. Он говорит, что тебя могут даже исключить.

— Наверно, в этом городишке мэру совсем нечего делать, если у него есть время выяснять, сколько лекций я прогуливаю каждый семестр.

— Если тебя выгонят, ты загремишь в армию. Тебе что, этого хочется?

— Какая разница?— беспечно ответил он.— В армии не может быть скучнее, чем здесь на многих занятиях.

— А ты хоть когда-нибудь думаешь обо мне?— Абсолютно неправильный прием. Классическая материнская ошибка. Но что сказано, то сказано.— Каково, по-твоему, мне будет, если тебя отправят во Вьетнам?

— Мужчины воюют, женщины плачут,—сказал Билли.— Почему у нас должно быть иначе?

— А ты что-нибудь делаешь, чтобы это изменить? Например, чтобы прекратить войну? Масса студентов по всей стране день и ночь...

— Чудаки,— перебил ее Билли.— Зря тратят время. Война — слишком удобная кормушка для очень многих крупных воротил. Плевать они хотят на то, что кричит горстка нервных молокососов. Конечно, если ты хочешь, я могу нацепить твой значок. Великое дело! Пентагон, конечно, задрожит от страха, узнав, что Билли Эббот выступает за запрещение испытаний ядерного оружия!

— Билли,— Гретхен остановилась и посмотрела ему в глаза,— тебя вообще *что-нибудь* в жизни интересует?

— Пожалуй, нет,— спокойно ответил он.— А что, это плохо?

— Надеюсь, это просто позерство. Глупое мальчишеское позерство.

— Это не позерство,— сказал он.— И я не мальчишка, если ты до сих пор этого не заметила. Я уже вполне взрослый человек, и, на мой взгляд, все вокруг прогнило. На твоем месте я постарался бы на некоторое время обо мне забыть. Если тебе трудно посылать мне деньги на обучение, не посылай. Тебе не нравится, каким я стал, и ты винишь себя за то, что я таким стал,— что ж, может, ты и вправду в этом виновата, а может — нет. Прости, что я так говорю, но уж кем бы мне не хотелось стать, так это лицемером. По-моему, ты будешь гораздо счастливее, если перестанешь обо мне беспокоиться. Так что возвращайся к моему дорогому дяде Рудольфу и к своему дорогому Эвансу Кинселле, а я пойду играть в бейсбол.— Он повернулся и, широко шагая, пошел по тропинке к спортивной площадке.

Гретхен долго смотрела ему вслед, пока он не превратился в далекую маленькую серо-голубую фигурку, потом медленно и тяжело пошла туда, где оставила машину.

Теперь ей не было смысла оставаться в Уитби еще на день. Она тихо поужинала с Рудольфом и Джин, а рано утром села на электричку и уехала обратно в Нью-Йорк.

В отеле ее ждала записка. Эванс сообщал, что не сможет сегодня с ней поужинать.

Глава 6

1967 год

Самолет летел рейсом Нью-Йорк—Даллас. Джонни Хит, сидевший рядом с Рудольфом, просматривал бумаги, которые доставал из своего туго набитого портфеля. Рудольф занимался тем же. Ему надо было представить муниципалитету бюджет на

следующий год, и он хмурился, перелистывая толстую смету, подготовленную муниципальным финансистом. Цены на все неуклонно росли, и давно пора было повысить зарплату полицейским, пожарникам, учителям государственных школ, служащим; угрожающе возрастало число лиц, нуждающихся в пособии, особенно среди негритянского населения Уитби; планами предусматривалось строительство нового водоочистительного коллектора; вместе с тем все боролись против увеличения налогов, финансовая помощь от штата и федерального правительства сохранялась на прежнем уровне. Ну вот, подумал он, даже на высоте тридцати тысяч футов я снова ломаю голову, откуда взять деньги.

Джонни Хит тоже сейчас беспокоился о деньгах, по крайней мере о своих собственных деньгах и Рудольфа. Брэд Найт после смерти отца перевел контору из Талсы в Даллас, и Рудольф и Джони летели туда, чтобы обсудить судьбу своих капиталовложений в акции «Питер Найт и сын». В последнее время удача изменила Брэду, и Джонни с Рудольфом, как выяснилось, вкладывали деньги в одну пустую скважину за другой. И даже если где-то обнаруживалась нефть, эксплуатация скважин осложнялась то грунтовыми водами, то бесконечными обвалами, то непредугаданными твердыми геологическими породами, пробурить которые стоило немало денег. Джонни Хит осторожно навел справки и пришел к выводу, что Брэд уже давно дает в отчетах ложную информацию и просто присваивает себе их деньги.

Когда они прилетели в Даллас, Брэд их не встретил. Вместо себя он прислал своего помощника, высокого дородного мужчину в соломенной шляпе, узком галстуке и полосатом пиджаке. Он извинился (у мистера Найта совещание, сказал он) и по вьющейся в мареве жары дороге отвез их на оснащенном кондиционером «кадиллаке» в отель в центре города, где Брэд снял им номер с гостиной и двумя спальнями.

На длинном столе вдоль стены стояли выстроенные рядами по шесть бутылок в каждом пшеничное и шотландское виски, джин, водка, бутылка вермута, ведерко с колотым льдом, несколько дюжин бутылок кока-колы и содовой, корзинка с лимонами, огромная ваза с роскошными фруктами и множество бокалов и стаканов разных размеров.

— Пиво и шампанское в холодильнике,—сказал помощник Брэда.— Если, конечно, вы это любите. Все за счет мистера Найта. Вы его гости.

— Мы улетаем уже завтра,— заметил Рудольф.

— Мистер Найт просил меня устроить вас с комфортом. Вы не где-нибудь, а в Техасе. Мистер Найт почти наверняка освободится к пяти часам. Если вам что-нибудь понадобится, без стеснения звоните мне в контору,— сказал он уходя.

— Втирают очки,— сказал Джонни, окинув взглядом номер и уставленный бутылками стол.

Рудольф почувствовал, что Джонни с его вечными подозрениями раздражает его.

— Мне надо сделать несколько звонков,—сказал Рудольф.— Дай мне знать, когда придет Брэд.— Он прошел в свою спальню и закрыл за собой дверь.

Прежде всего он позвонил домой. Он старался звонить Джин по меньшей мере три раза в день. В конце концов он последовал совету Гретхен и теперь не держал в доме спиртного; впрочем, в Уитби достать выпивку не проблема— в городе полно винных магазинов и баров. Но сегодня можно было не волноваться: Джин разговаривала с ним бодрым тоном и была вполне в форме. Она собиралась везти Инид на ее первый детский праздник. Два месяца назад она села за руль пьяной— Инид сидела сзади—и разбила машину, но и она сама и Инид отделались лишь царапинами.

— Как тебе Даллас?—спросила Джин.

— Техасцам, я думаю, здесь живется неплохо. Но для остальных— мука мученическая.

— Когда ты вернешься?

— Сразу же как освобожусь.

— Не задерживайся,—сказала она. Он не объяснил ей, зачем ему и Джонни понадобилось лететь в Техас. А когда она не была пьяна, ее обычно терзали сомнения.

Потом он связался со своим секретарем в муниципалитете. Это был несколько женоподобный, но всегда невозмутимый молодой человек. Однако сегодня он утратил свою невозмутимость. Утром перед зданием редакции «Сентинел» студенты устроили демонстрацию, протестуя против напечатанной в газете передовой статьи

за сохранение в университете факультета вневойсковой подготовки офицеров запаса. Рудольф сам одобрил эту публикацию, потому что статья была написана в умеренных тонах и в ней отнюдь не предлагалось сделать военную подготовку обязательным предметом. В статье говорилось только, что военный факультет предназначен для обучения студентов, решивших посвятить себя военной карьере, а также и для тех, кто считает, что надо на всякий случай быть готовым к защите родины. Но сладкий голос разума не охладил пыл студентов. В окно редакции был брошен камень, и пришлось вызвать полицию. Секретарь сообщил, что в муниципалитет позвонил президент университета Дорлэкер и сказал (дословно): «Если он мэр, то почему его нет на месте?». Заходил начальник полиции Отмен. Очень встревоженный. Сказал, что у него крайне важное дело к мэру. Так что лучше бы мэр срочно вернулся. Дважды звонили из Олбани. Делегация представителей негритянского населения Уитби вручила петицию — что-то насчет плавательного бассейна.

— Этого достаточно, Уолтер,— устало сказал Рудольф. Повесил трубку и лег на кровать, прямо на небесно-голубое скользкое шелковое покрывало. Как мэр Уитби он получал десять тысяч долларов в год и всю эту сумму жертвовал на благотворительность. Служение обществу...

Он поднялся с кровати, злорадно заметив, что на шелковом покрывале остались грязные пятна от его туфель, и вышел в гостиную. Джонни сидел без пиджака за огромным письменным столом и копался в своих бумагах.

— Я уже нисколько не сомневаюсь, Руди,—сказал Джонни,— что этот сукин сын облапошил нас, как младенцев.

— Об этом позже,—сказал Рудольф.—В данный момент у самоотверженного и преданного слуги общества и так хлопот полон рот.

Он положил в стакан несколько кубиков льда, плеснул сверху кока-колы и, подойдя к окну, посмотрел на раскинувшийся внизу Даллас.

Потом он вернулся в спальню и заказал телефонный разговор с начальником полиции Уитби. Дожидаясь звонка, рассматривал себя в зеркале. Интересно, когда у него будет первый инфаркт?

Когда его соединили с Отменом, шеф полиции, судя по голосу, был в весьма мрачном расположении духа.

— Мы выпустили червей из банки, мэр,—сказал Отмен.— Лейтенант Слэттери сегодня в половине девятого утра арестовал в кафетерии первокурсника, который курил марихуану. Это только подумать — в половине девятого утра! При нем нашли больше унции марихуаны. Пока его не посадили, он болтал, не закрывая рта. Сказал, что у них в общежитии минимум пятьдесят человек курят гашиш и марихуану. Сказал, что если мы туда наведаемся, то найдем по меньшей мере фунт «травки». Мне недавно позвонил Дорлэкер и посоветовал держаться подальше от студенческого городка, но ведь скоро об этом узнает весь город, и если я буду сидеть сложа руки, то что обо мне подумают? Университет же не в Гаване и не в Буэнос-Айресе, черт возьми, а в черте Уитби, и закон есть закон. Если вы мне запретите принять необходимые меры, можете считать, мэр, что я уже подал в отставку.

— Хорошо,— ответил Рудольф,— позвоните Дорлэкеру. Скажите, что вы говорили со мной и я распорядился в восемь вечера произвести обыск в общежитии университета. Ордер на обыск получите у судьи Сэттери, и пусть ваши парни не берут с собой дубинки. Я не хочу, чтобы были неприятные инциденты. Слух об обыске быстро распространится, и, может быть, у студентов хватит ума выкинуть «травку», прежде чем вы туда нагрянете.

— Вы не знаете нынешнюю молодежь, мэр,— скорбно сказал Отмен.— У них не хватает ума даже на то, чтобы утереть себе нос.

Рудольф дал ему номер своего телефона в Далласе и велел позвонить сразу после обыска. Положив трубку, он допил кока-колу. В самолете их накормили отвратительно, и его мучила изжога.

Телефон опять зазвонил.

— Руди,— услышал он голос Гретхен.

— Да? — С того дня, когда Гретхен сказала ему, что Джин — алкоголичка, отношения между ними стали натянутыми. Гретхен оказалась права, но от этого их взаимное отчуждение лишь усилилось.

— Я бы тебе не позвонила, но я просто схожу с ума!

— В чем дело?

— Это касается Билли. Ты знаешь, что месяц назад его исключили из университета?

— Нет. Он никогда не делился со мной своими секретами.

— Он сейчас живет в Нью-Йорке. С какой-то девушкой.

— Гретхен, дорогая,— сказал Рудольф,— полмиллиона парней в эту самую минуту живут с девушками. Лучше благодари бога, что он не живет с каким-нибудь мальчиком.

— Я не об этом. Он ведь больше не студент, и его призвали в армию.

— Ну и что ж, это может пойти ему на пользу, за два года армия сделает из него человека.

— У тебя дочь, и тебе легко говорить. А у меня сын. Единственный. Не думаю, что, если ему всадят пулю в лоб, он станет человеком.

— Ну и чем же я могу тебе помочь?

— У тебя масса знакомств в Вашингтоне.

— Если парень бросил учебу и у него хорошее здоровье, никто не освободит его от армии. Даже люди из Вашингтона.

— Я понимаю, на это трудно рассчитывать, судя по тому, что говорят и пишут. Но я не прошу тебя избавить его от военной службы.

— Тогда что же я должен сделать?

— Постарайся использовать свои связи, чтобы его не послали во Вьетнам.

Рудольф тяжело вздохнул. Да, правда, в Вашингтоне он знал людей, которые могли бы это сделать и, наверно, охотно сделали бы, если бы он попросил об этом. Но именно такого рода мелкие взаимные услуги по знакомству, распространенные в политических кругах, он презирал больше всего на свете. Это противоречило его моральным принципам и извращало истинные причины, побудившие его избрать политическую карьеру. В мире бизнеса вполне в порядке вещей, когда к тебе приходит человек с просьбой устроить его племянника или двоюродного брата на какую-нибудь выгодную должность. В зависимости от того, насколько ты обязан этому человеку или что рассчитываешь получить от него в будущем, а иногда и просто в зависимости от того, нравится он тебе или нет, ты не раздумывая помогаешь его родственнику или не помогаешь. Но использовать власть, данную тебе твоими избирателями, которым ты обещал служить честно и строго блюсти законы, использовать свое положение, чтобы уберечь сына своей сестры от угрозы смерти, в то же время открыто или молчаливо одобряя отправку на смерть тысяч других ребят его возраста,— это совсем другое дело.

— Гретхен, может, ты попытаешься найти какой-нибудь другой путь...

— Вот что,— она уже истерически кричала,— если ты ничего не сделаешь, я поеду в Нью-Йорк, заберу Билли и увезу его в Канаду или Швецию. И обещаю тебе, будет большой скандал, когда я громогласно расскажу, почему я так сделала!

— Господи, Гретхен, что с тобой? Начинается климакс или?...— Он услышал, как на другом конце провода бросили трубку.

«Семья»,— невесело подумал он. Он всегда, сам не зная почему, оберегал свою семью. Он работал вместо отца в пекарне и развозил булочки; он заботился о матери, пока она была жива. Он не побрезговал иметь дело с частным детективом, выдержал неприятную сцену с Вилли Эбботом, помог Гретхен получить развод и тепло принял ее второго мужа. Благодаря ему у Томаса появились деньги и он сумел покончить с той страшной жизнью, которая его чуть было не засосала. Это он помчался на другой конец континента на похороны Колина Берка, чтобы поддержать сестру в самые тяжелые минуты ее горя. Он решился забрать из школы неблагодарного и дерзкого Билли, когда мальчику стало там невмоготу, и он же устроил Билли в университет Уитби, хотя у Билли были такие отметки, что он не смог бы поступить даже в техническое училище; и он же, заботясь о душевном покое матери, разыскал Томаса в гостинице «Эгейский моряк», а потом узнал адрес Шульца, вернул ему деньги и нанял адвоката, чтобы помочь Тому воссоединиться со своим сыном и развестись с проституткой...

Он не ждал за все это благодарности, и никто его толком не поблагодарил. Ну и пусть. Он ведь делал это не ради благодарности. Зато он был чист перед собственной совестью. Он сознавал свои обязанности перед самим собой и перед другими, и совесть не позволяла ему поступать иначе. А обязанности никогда не кончаются. В этом-то все и дело.

Подойдя к телефону, он заказал разговор с Калифорнией. Когда сестра сняла трубку, он сказал:

— Хорошо, Гретхен, я на обратном пути остановлюсь в Вашингтоне и постараюсь что-нибудь сделать. Можешь не волноваться.

— Спасибо, Руди,— тихо сказала она.— Я знала, что ты поможешь.

Брэд появился в их номере в половине шестого. От техасского солнца и техасской выпивки лицо его стало еще краснее. Он располнел и был само радушие. На нем был темный в полоску летний костюм и голубая модная рубашка с огромными жемчужными запонками.

— Извините, что я не смог вас встретить, но, надеюсь, мой помощник сделал все как надо,— он налил себе виски и лучезарно улыбнулся друзьям.— Вам, ребятки, давно пора было навестить меня и самим посмотреть, откуда к вам текут денежки. Мы сейчас бурим новую скважину, и, может быть, завтра я арендую самолет, и мы слетаем посмотреть, как там идут дела. Жалко, Вирджинии сейчас здесь нет. Она жутко огорчится, когда узнает, что вы приезжали в ее отсутствие. Она сейчас на севере, у своего папочки. Я слышал, он прихварывает. Надеюсь, ничего серьезного. Я к этому старикану очень хорошо отношусь.

— Перестань, пожалуйста, Брэд,— оборвал его Рудольф.— Мы прекрасно знаем, почему она уехала. И дело не в том, что ей понадобилось, как ты говоришь, навестить папочку.

Две недели назад к Рудольфу зашел Колдервуд и рассказал, что Вирджиния бросила Брэда, потому что он связался с какой-то киноактрисой, по три раза в неделю мотается из Далласа в Голливуд и запутался с деньгами. Именно после визита Колдервуда Рудольф начал подозревать неладное и поделился своими опасениями с Джонни.

— Дружище,— Брэд отпил виски,— не понимаю, о чем ты? Я только что разговаривал с женой по телефону, она вернется со дня на день, и...

— Ты с ней не разговаривал, и она не собирается возвращаться, Брэд. Ты сам это знаешь,— сказал Рудольф.

— Как знаешь и многое другое,— добавил Хит,— и мы тоже это знаем.

— Черт побери, ребята, не будь мы столько лет друзьями, я мог бы подумать, что вы меня недолюбливаете.— Несмотря на то что в номере работал кондиционер, Брэд вспотел, и на голубой рубашке выступили темные пятна. Он снова налил себе виски, и, когда он клал в стакан лед, его короткие толстые пальцы с наманикюренными ногтями дрожали.

— Давай выкладывай, не тяни время,— сказал Джонни.

— Ну что ж,— Брэд рассмеялся, вернее, попытался рассмеяться,— может, я иногда действительно позволял себе погулять на стороне. Но ты ведь меня знаешь, Руди. Я — не ты. Характер у меня слабый, и, когда какая-нибудь цыпочка начинает строить мне глазки, я не могу отказать себе в маленьком удовольствии. А Вирджиния все это принимает слишком близко к сердцу, она...

— Нас не интересуют твои отношения с Вирджинией,— перебил его Джонни.— Нас интересует, куда делись наши деньги. Мы кое-что проверили, и получается, что за последний год ты украл у каждого из нас приблизительно по семьдесят тысяч долларов.

— Бросьте меня разыгрывать, ребята,— сказал Брэд. Лицо у него стало почти багровым. На нем, точно припечатанная, застыла улыбка, а воротник взмок от пота.— Вы ведь *шутите*, правда? — неуверенно повторил он.— Это же розыгрыш. Сто сорок тысяч долларов! Господи Иисусе!

— Брэд! — предостерегающе остановил его Рудольф.

— Ладно! — вздохнул Брэд.— Как я понимаю, вы не шутите.— Он тяжело опустился на пестрый диван. Тучный, усталый человек с покатыми плечами уныло сидел на обитом яркой тканью шикарном диване в самом шикарном номере самого шикарного отеля Далласа.— Я расскажу вам, в чем дело.

А дело было в том, что, когда Брэд год назад поехал в Голливуд на поиски новых денежных людей, которые могли бы вложить капитал в его компанию, он познакомился с молодой актрисой Сандрой Дилсон. «Очаровательное невинное создание», как сказал Брэд. Он, по его словам, мгновенно втюрился в нее, но она долго не разрешала ему к себе прикоснуться. Чтобы произвести на нее впечатление, он начал покупать ей драгоценности. «Вы себе не представляете, какие там цены на камушки! — сказал

Брэд.— Можно подумать, люди сами печатают себе деньги». Когда они с мисс Дилсон бывали на скачках, Брэд, чтобы произвести на нее большее впечатление, делал колоссальные ставки. «Если хотите знать,— сказал Брэд,— сейчас благодаря мне на девушке драгоценностей тысяч на четыреста. Но иногда в постели она вытворяла такое, что я не жалел ни о центе,— добавил он вызывающе.— Я люблю ее, я потерял голову и даже горжусь этим и готов держать ответ».

Чтобы добыть деньги, Брэд начал фальсифицировать ежемесячные отчеты. В графу «нефтеразведка и эксплуатация» он вписывал давно заброшенные или пустые скважины, завышал стоимость закупаемого оборудования в десять—пятнадцать раз. Один из его бухгалтеров был в курсе дела, но Брэд платил ему за молчание и помощь. Кое-кто из вкладчиков компании пытался наводить справки, но пока что Брэду удавалось втирать людям очки.

— Сколько у тебя на сегодня вкладчиков? — спросил Джонни.

— Пятьдесят два.

— Пятьдесят два идиота! — с горечью заметил Хит.

— Тебе придется сесть за решетку, Брэд,— сказал Рудольф.

— Но ты ведь не сделаешь этого, правда, Руди? Ты не поступишь так со своим лучшим другом, который сидел с тобой рядом на выпускном вечере.

— Именно так я и поступлю.

— Одну минутку,— вмешался Джонни.— Подождем пока с разговорами про тюрьму. Мне сейчас гораздо важнее попробовать каким-то образом получить обратно наши деньги, чем сажать этого болвана в тюрьму.

— Вот это другой разговор,— воспрянул Брэд.— Тут нужно действовать с умом.

— Сколько у тебя денег в активе? В данную минуту?

— Вот это другой разговор,— повторил Брэд.— Теперь мы действительно перешли к делу. Не думайте, что я конченый человек. Мне еще дают в кредит.

— Когда ты выйдешь из этой комнаты,— сказал Рудольф,— тебе уже ни один банк в США не даст в кредит ни цента. Я об этом позабочусь.— Он с трудом скрывал свое отвращение к этому человеку.

— Ты не ответил на мой вопрос,— продолжал Хит.— Сколько у тебя сейчас в активе?

— Ну... бухгалтерская документация выглядит не слишком... э-э... радужно,— в улыбке Брэда проглянула надежда.— Но иногда мне удавалось кое-что откладывать, так сказать на черный день. Эти деньги у меня в сейфах в разных банках. Со всеми вкладчиками я, конечно, расплатиться не смогу, но вам, ребята, сумею вернуть довольно много.

— Это что, деньги Вирджинии? — спросил Рудольф.

— Ха! — фыркнул Брэд.— Ее старик держит выделенные ей деньги такой мертвой хваткой, что я не смог бы купить на них и сосиску, даже если б подыхал с голоду.

— Он оказался гораздо умнее нас,— заметил Рудольф.

— Бога ради, Рудольф,— жалобно сказал Брэд,— не сыпь соль на рану. Мне и без того худо.

— Сколько у тебя наличными? — спросил Джонни.

— Ты ведь понимаешь, Джонни, что эти деньги нигде не учтены и компании о них ничего не известно.

— Я все понимаю. Сколько?

— Около ста тысяч. Я мог бы дать каждому из вас почти по пятьдесят тысяч. И я вам гарантирую, что позже выплачу все полностью.

— Каким это образом? — резко спросил Рудольф.

— Ну, ведь еще остаются скважины, где есть нефть...— неуверенно пробормотал Брэд. Рудольф видел, что он лжет.— И потом, я мог бы съездить к Сандре, объяснить, что временно сижу на мели, и попросить у нее обратно драгоценности, и...

Рудольф скептически покачал головой:

— Неужели ты веришь, что она их отдаст?

— Она отличная девчонка, Руди. Я тебя с ней должен обязательно познакомить.

— Господи, ты когда-нибудь повзрослеешь или нет?!

— Подожди здесь,— сказал Джонни Брэду.— Мне надо поговорить с Руди наедине.— Он демонстративно взял со стола свои бумаги и направился к спальне Рудольфа.

— Вы не возражаете, ребята, если я пока немного выпью? — заискивающе спросил Брэд.

Когда они с Рудольфом вошли в спальню, Джонни прикрыл дверь.

— Нам надо принять решение,— сказал он.— Если, как он утверждает, у него наличными почти сто тысяч, мы можем взять их и в какой-то мере возместить наши убытки. Если же мы не берем их, надо обо всем сообщить кредиторам, созвать совещание кредиторов и, вероятно, объявить его банкротом. Или даже возбудить судебное дело. Все кредиторы будут иметь равные права на его деньги, или их разделят пропорционально размерам капиталовложений или пропорционально фактической задолженности Брэда каждому из кредиторов.

— А он имеет право заплатить нам и не заплатить другим? — спросил Рудольф.

— Ну, он еще не банкрот,— ответил Джонни.— И думаю, никто в суде не сможет ни к чему придраться.

— Нет, так не пойдет,— сказал Рудольф.— Пусть бросит эти сто тысяч в общий котел. И давай сегодня же заберем у него ключи от его сейфов, чтобы он не успел вынуть оттуда деньги.

— Я знал, что ты так скажешь,— вздохнул Хит.— Не перевелись еще рыцари.

— Если он мошенник, то это еще не значит, что я тоже должен стать мошенником, лишь бы возместить свои убытки.

— Я же сказал, что в суде вряд ли к чему-то смогут придраться,— напомнил Джонни.

— Все равно. Меня это не устраивает.

Джонни изучающе посмотрел на Рудольфа.

— А что ты сделаешь, если я сейчас пойду к нему и скажу: «Ладно, я забираю свою половину и выбываю из игры?»

— Я сообщу это на собрании акционеров,— ровным голосом сказал Рудольф.— И предложу возбудить против тебя судебное дело.

— Сдаюсь, мой дорогой. Кто же может сладить с честным политиком?!

Они вернулись в гостиную. Брэд стоял у окна с полным стаканом в руке. Джонни объявил ему их решение. Брэд молча кивал, не совсем понимая.

— Завтра в девять утра ты должен быть здесь,— сказал Рудольф.— До того, как откроются банки. Мы обойдем с тобой все сейфы, о которых ты говорил, и возьмем на себя заботу о твоих деньгах. Выдадим тебе расписку. Если без одной минуты девять тебя здесь не будет, я вызову полицию и объявлю тебя мошенником.

— Руди,— жалобно протянул Брэд.

— И если хочешь сберечь свои жемчужные запонки,— продолжал Рудольф,— лучше спрячь их подальше, потому что в конце месяца шериф опишет за долги все твое имущество, включая и эту голубенькую рубашечку.

— Эх вы,— удрученно сказал Брэд.— Вам, ребята, не понять, что это такое. Вы богатые, у вас жены миллионерши, у вас есть все, что вы хотите. Вы не знаете, что такое быть в моем положении...

— Не пытайся нас разжалобить,— грубо оборвал его Рудольф. Он еще ни на кого в жизни не был так зол. Ему приходилось сдерживать себя, чтобы не броситься на этого человека с кулаками.— Будь здесь завтра в девять утра.

— Буду,— сказал Брэд.— Насколько я понимаю, вы вряд ли захотите со мной поужинать?

— Убирайся отсюда, пока я тебя не убил,— не выдержав, закричал Рудольф.

Брэд двинулся к дверям.

— Ну что ж, желаю вам хорошо провести время в Далласе. Замечательный город. И не забудьте,— он обвел рукой номер и выстроенные на столе бутылки,— все это за мой счет.— И вышел из комнаты.

На следующее утро ровно в девять, как ему и было велено, Брэд пришел со связкой ключей от сейфов в различных далласских банках. Глаза у него были красные, и он выглядел так, словно не спал всю ночь.

Визит к юристу и поездки по банкам заняли большую часть утра, и Рудольфу пришлось спешить, чтобы успеть на самолет, вылетавший из Далласа в Вашингтон в полдень.

В самолете он отказался от завтрака и двух положенных пассажирам первого класса коктейлей. Достал из портфеля проект сметы и хотел поработать, но не мог сосредоточить внимание на цифрах. Из головы не выходил Брэд — обреченный, опозоренный, банкрот, которого ждет тюрьма. А все из-за чего? Из-за алчной голливудской девки. Мерзко. Брэд сказал, что любит ее и ни о чем не жалеет. Любовь... Пятый всадник Апокалипсиса. По крайней мере в Техасе. Невозможно представить себе, что Брэд испытывает какие-то высокие чувства. Брэд был человеком — теперь Рудольф убедился в этом,— словно созданным для кабаков и борделей. Может быть, Рудольф давно знал это, но не хотел себе в этом признаться. Почему-то всегда трудно верить, что другие тоже умеют любить. Быть может, его отказ признать тот факт, что Брэд способен чувствовать любовь,— не что иное, как высокомерие? Он ведь сам любит Джин, подумал Рудольф, но готов ли он погубить себя ради нее? Нет. Пожалуй, нет. Что же, тогда, значит, он легковеснее, чем этот болтливый, потный человек в нелепой голубой рубашке? И не он ли виноват в том, что для его друга пришел этот черный день и впереди его ждет еще много таких дней?

Конечно, было бы проще, сославшись на свою занятость в Уитби, отправить Джонни Хита одного в Даллас улаживать это дело. Откровенно говоря, у него мелькнула такая мысль, но он отверг ее как трусость. Он отправился в Даллас, чтобы сохранить уважение к себе. Уважение к себе? Но, быть может, это то же самое тщеславие? Быть может, постоянная удача притупила его чувства, сделала его самодовольным, уверенным в собственной непогрешимости?

Когда Брэда окончательно признают банкротом, решил Рудольф, надо будет как-то его поддерживать. Может, тайком посылать ему пять тысяч в год? Так, чтобы на эти деньги не наложили лапу ни кредиторы Брэда, ни правительство. Но можно ли этими деньгами — а Брэду они будут нужны позарез, и он будет не в силах от них отказаться — покрыть цену боли и унижения, которое испытает Брэд, принимая деньги от человека, отвернувшегося от него в трудную минуту?

Засветилось табло «Пристегните ремни». Самолет начал снижаться. Рудольф сложил бумаги в портфель, вздохнул и пристегнул ремень.

В отеле «Мейфлауэр» его ожидала телефонограмма от секретаря с просьбой срочно позвонить в Уитби. Рудольф звонил два раза, но линия была занята, и он решил было вначале связаться с одним сенатором, который скорее всего сумел бы помочь ему оградить Билли от опасностей, грозящих солдату США.

Однако после третьей попытки ему, наконец, удалось дозвониться до своего секретаря.

— Извините, мэр,— устало сказал Уолтер,— но мне кажется, вам лучше вернуться сюда немедленно. Вчера, после того как я уже ушел домой, началось бог знает что. Я узнал об этом только сегодня утром, иначе постарался бы связаться с вами раньше.

— В чем дело? Что произошло? — нетерпеливо спросил Рудольф.

— Все так запутано. Я не уверен, что смогу восстановить последовательность событий. В общем, когда Отмен приехал в общежитие, студенты забаррикадировали вход и не пустили его. Дорлэкер пытался убедить Отмена отозвать полицейских, но тот отказался. Когда же полицейские снова попытались войти, студенты начали швырять в них чем попало. Отмену угодили камнем в глаз. Говорят, ничего серьезного, но он сейчас в больнице, и полиция временно отступила. Потом другие студенты организовали массовую демонстрацию... перед вашим домом. Я только вернулся оттуда. Газон перед домом в ужасном состоянии. Миссис Джордах дали успокоительное и...

— Остальное расскажете, когда я буду в Уитби. Я вылетаю первым же самолетом.

— Я так и думал, что вы это сделаете,— сказал Уолтер,— и уже позволил себе послать Скэнлона с вашей машиной. Он будет ждать вас в «Ла Гардиа».

Толстый Скэнлон, разговаривая, сипел и задыхался. Он числился в полиции, хотя ему было уже почти шестьдесят и его вот-вот должны были перевести на пенсию. Он страдал ревматизмом, и то, что его определили в шоферы к Рудольфу, было поистине милосердием.

— Если бы мне пришлось все начинать сначала,— задыхаясь, сказал Скэнлон,— клянусь, я ни за что не пошел бы служить в полицию города, где есть студентишки или чернозадые.

— Скэнлон, ради бога! — одернул его Рудольф. Он с первого дня безуспешно пытался выправить лексикон Скэнлона. Рудольф сидел на переднем сиденье рядом со старым полицейским, который вел машину так медленно, что это действовало на нервы. Но Скэнлон бы обиделся, если бы Рудольф сам сел за руль.

— Я серьезно, сэр,— сказал Скэнлон.— Они просто дикари, звери и закон уважают не больше, чем стая гиен. А над полицией и вообще смеются. Конечно, не мое дело вам указывать, но на вашем месте я обратился бы прямо к губернатору и попросил прислать войска...

— Это еще успеется,— сказал Рудольф.

— Попомните мои слова. Дойдет и до этого. Знаете ведь, что они наделали в Нью-Йорке и в Калифорнии.

— Уитби не Нью-Йорк и не Калифорния.

— Все равно. У нас полно студентов и чернозадых,— упрямо сказал Скэнлон и замолчал. Потом опять заговорил: — Были бы вы вчера у себя дома, мэр, тогда, может, и поняли бы, о чем я толкую.

— Да, я слышал,— сказал Рудольф.— Они вытоптали газон.

— Если бы только это. Я сам там не был, но Руберти мне все рассказал.— Руберти тоже был полицейским.— То, что они творили,— богомерзко! Руберти так и сказал. Богомерзко! Они требовали, чтобы вы вышли, и пели похабные песни. Молоденькие девушки, а ругались, как грузчики. Потом повыдергивали в вашем саду все цветы и кусты, а когда миссис Джордах открыла дверь...

— Она открыла дверь? — с ужасом переспросил Рудольф.— Зачем?

— Понимаете, они стали бросать в дом камни, комья грязи, банки из-под пива и кричали: «Пусть выйдет это г...!» Стыдно сказать, мэр, но это они так о вас. Из полиции там были только Руберти и Циммерман. Все остальные полицейские уехали в университет, а что могли двое сделать против ревущей толпы этих диких индейцев? Их там собралось человек триста. Ну и, как я уже сказал, миссис Джордах открыла дверь и начала на них кричать.

— О господи,— выдохнул Рудольф.

— Вам лучше услышать это сейчас от меня, чем потом от кого-нибудь другого,— сказал Скэнлон.— Когда миссис Джордах открыла дверь, она была пьяная. И совершенно голая. Там оказался фотограф из студенческой газеты, и он сделал несколько снимков со вспышкой. Руберти бросился за ним, но другие студенты загородили ему дорогу, и фотограф успел скрыться. Не знаю, что они собираются делать с этими снимками, но снимки у них в руках.

Рудольф приказал Скэнлону ехать прямо в университет. Главный административный корпус был ярко освещен. Из окон студенты выбрасывали разорванные в клочья документы и осыпали громкой бранью окружавших здание полицейских — полицейских было тревожно мало, но они были уже с дубинками. Подъезжая к стоявшей под деревом машине Отмена, Рудольф увидел, какое применение студенты нашли фотографии его жены. Увеличенная до гигантских размеров, фотография голой Джин свисала из окна второго этажа.

Когда Рудольф вылез из машины, несколько студентов узнали мэра и приветствовали его диким торжествующим воплем.

Отмен стоял возле своей машины. Голова и глаз были у него забинтованы, и полицейская фуражка держалась на затылке. Только шестеро из полицейских были в касках. Рудольф вспомнил, как полгода назад сам наотрез отказал Отмену в его просьбе купить полиции еще две дюжины касок — тогда Рудольфу казалось, что это будет лишним расходом.

Без всякого предисловия Отмен сказал:

— Ваш секретарь сообщил, что вы прибудете, и мы не предпринимали пока никаких действий. Они держат заложниками Дорлэкера и двух профессоров. Здание было захвачено сегодня, в шесть вечера.

Рудольф кивнул, шаря глазами по фасаду корпуса. В одном из окон цокольного этажа он увидел Квентина Макговерна. Макговерн уже был аспирантом и работал ас-

систентом на химическом факультете. Квентин улыбался из окна, Рудольф был уверен, что Квентин видит его, и чувствовал: улыбка адресована именно ему.

— Что бы еще сегодня ни случилось, Отмен,— сказал он,— я хочу, чтобы вы непременно арестовали вон того негра, в третьем окне слева на цокольном этаже. Его зовут Квентин Макговерн. Если не сумеете взять его здесь, возьмите дома.

Отмен кивнул.

— Они хотят с вами говорить, сэр. Хотят, чтобы вы пошли к ним обсудить ситуацию.

— Нам нечего обсуждать,— отрицательно покачал головой Рудольф. Он не собирался ни с кем вести никаких переговоров под фотографией голой жены.— Идите и очистите здание.

— Это легче сказать, чем сделать,— ответил Отмен.— Я уже трижды приказывал им выйти, но они только смеются.

— Я сказал, очистите здание,— внутри у Рудольфа клокотала ярость. Холодная ярость. Он знал, что делает.

— Каким образом? — спросил Отмен.

— У вас есть оружие.

— Вы же не хотите сказать, чтобы мы открыли огонь? — не веря своим ушам, сказал Отмен.— Насколько нам известно, ни один из них не вооружен.

Рудольф секунду колебался.

— Нет,— сказал он.— Стрелять не надо. Но у вас есть дубинки и слезоточивый газ.

— Может быть, нам все же лучше просто подождать, пока им это не надоест и они не устанут? А если ничего не изменится, вы сможете вызвать войска,— неуверенно предложил Отмен.

— Нет, я не собираюсь сидеть и ждать,— заявил Рудольф. Он умолчал о том, что Отмен и сам прекрасно понимал; ему хотелось немедленно сорвать со стены фотографию Джин.— Прикажите вашим ребятам начать со слезоточивого газа.

— Господин мэр,— медленно сказал Отмен.— Я прошу вас отдать этот приказ в письменном виде, с вашей подписью.

— Дайте мне ваш блокнот.

Отмен протянул ему блокнот, и Рудольф, положив его для опоры на капот машины, написал приказ, стараясь, чтобы каждая буква получилась разборчиво. Подписав его, он вернул блокнот Отмену.

Когда первая граната со слезоточивым газом попала в окно первого этажа, оттуда раздался испуганный крик. Затем полетели еще гранаты, и лица студентов исчезли. Помогая друг другу, полицейские начали карабкаться в окна. Но полицейских было слишком мало, и большинству студентов удалось ускользнуть через заднюю дверь. Рудольф стоял и смотрел наверх, туда, где по-прежнему висела фотография Джин. В окне показался полицейский, сорвал фотографию и вместе с ней скрылся в корпусе.

Все кончилось очень быстро. Арестовано было только около двадцати студентов. Трое получили ранение в голову, а одного унесли на носилках. Он прижимал руку к глазам. Какой-то полицейский сказал, что парень ослеп, но, вероятно, это лишь временная слепота.

На улицу вышли Дорлэкер и два профессора. Глаза их слезились. Рудольф подошел к Дорлэкеру.

— Как вы? — спросил он.

Дорлэкер прищурился, чтобы разглядеть, кто к нему обращается.

— Я с вами не разговариваю, Джордах. Завтра я сделаю заявление для репортеров, и если вы завтра вечером купите вашу же газету, вы узнаете, что́ я о вас думаю.— Он сел в чью-то машину и уехал.

Когда они выезжали с территории студенческого городка, навстречу им неслись, завывая сиреной, машины «скорой помощи». Следом мчался школьный автобус, который вызвали для перевозки арестованных.

— Скэнлон,— сказал Рудольф.— По-моему, с сегодняшнего вечера я уже не мэр, да?

Скэнлон долго не отвечал. Он хмурился, глядя на дорогу, а когда нужно было повернуть, закряхтел по-стариковски.

— Да, мистер Джордах,— наконец сказал он.— Я так думаю, вы правы.

1968 год

I

На этот раз, когда он сошел с самолета в аэропорту имени Кеннеди, никто его не встречал. На нем были темные очки, и двигался он неуверенно. Он не сообщил Рудольфу о своем приезде, потому что из письма Гретхен знал, что у Рудольфа хватает собственных неприятностей, и не хотел прибавлять ему забот о полуслепом брате. Этой зимой, когда «Клотильда» стояла в порту в Антибе и они готовили ее к летнему сезону, оборвался линь и хлестнул его по лицу. На следующий день у него начались головокружения и стало двоиться в глазах. Чтобы не волновать Кейт и Уэсли, он делал вид, будто ничего не случилось. Написал мистеру Гудхарту письмо с просьбой порекомендовать хорошего нью-йоркского окулиста, а получив ответ, объявил Кейт, что едет в Нью-Йорк для окончания бракоразводных дел. Кейт настаивала на женитьбе, и он вполне понимал ее. В октябре они ждали ребенка, а сейчас уже была середина апреля.

— Частично повреждена сетчатка,— сказал врач. Осмотр был медленный, тщательный и болезненный.— К сожалению, мне придется передать вас хирургу.

Томас кивнул. Очередная травма.

— Сколько это будет стоить? Я человек рабочий и не могу платить бешеные деньги.

— Понимаю,— ответил врач.— Я объясню это хирургу Холлиуэллу.

•

Три недели спустя он вышел из больницы. Лицо у него было бледное, ни кровинки, и врач предупредил, что он должен длительное время избегать резких движений и тяжелой работы. За три недели он похудел почти на пятнадцать фунтов, и костюм висел на нем, как на вешалке. Но видел он теперь нормально, и когда поворачивал голову, она не кружилась и дурнота не подступала.

За операцию и пребывание в больнице с него взяли чуть больше тысячи двухсот долларов, но результат того стоил.

Он остановился в отеле «Парамаунт» и сразу же позвонил брату. К телефону подошел сам Рудольф.

— Руди,— сказал Том.— Как дела?

— Кто это?

— Том.

— Том?! Ты где?

— Здесь, в Нью-Йорке. В «Парамаунте». С тобой можно увидеться?

— О чем разговор, конечно,— по голосу чувствовалось, что Рудольф искренне рад.— Приезжай ко мне прямо сейчас. Адрес ты знаешь.

Когда лифт поднялся, Рудольф уже ждал его в коридоре.

— Господи, Том,— сказал он, пожимая брату руку.— Я так удивился, когда услышал твой голос.— Отступив на шаг, он окинул Томаса придирчивым взглядом: — Что с тобой стряслось? Ты что, болел?

Томас мог бы сказать, что Рудольф и сам выглядит не слишком хорошо, но он промолчал.

— Я тебе все расскажу, если дашь мне выпить,— ответил он. Врач предупреждал, что с выпивкой тоже следует быть поосторожнее.

Рудольф провел его в гостиную, где все было так же, как в прошлый раз, когда Томас сюда приезжал. Уютная, просторная комната. Здесь должны происходить приятные, незначительные события, но уж никак не катастрофы.

— Виски? — спросил Рудольф.

Томас утвердительно кивнул. Брат выглядел гораздо старше, чем при их последней встрече. Вокруг глаз и на лбу залегли глубокие морщины. Двигался он медленно, почти неуверенно.

— Садись, рассказывай, что привело тебя в Нью-Йорк. Ты давно здесь?

— Уже около трех недель.

— Что же ты до сих пор мне не звонил? — обиженно спросил Рудольф.

— Мне пришлось лечь на операцию,— ответил Том.— Была неприятность с глазами. Когда я болен, предпочитаю быть один.

— Я тебя понимаю,— Рудольф сел напротив него в мягкое кресло.— Я и сам такой.

— Сейчас все в порядке. Некоторое время надо быть поосторожнее, вот и все. Ну, твое здоровье.— Томас поднял свой стакан.

— Твое здоровье,— отозвался Рудольф и внимательно посмотрел на брата.— Ты больше не похож на боксера, Том.

— А ты — на мэра,— сказал Томас и тотчас пожалел о сказанном.

Но Рудольф только рассмеялся.

— Гретхен говорила, что писала тебе обо всем. Да, мне слегка не повезло.

— Она писала, что ты продал свой дом в Уитби.

— Не имело смысла застревать там.— Рудольф задумчиво покрутил лед в стакане.— Нам вполне достаточно этой квартиры. Инид с няней в парке. Она скоро вернется, сможешь на нее взглянуть. Как твой мальчик?

— Отлично. Ты бы слышал, как он говорит по-французски! И яхтой управляет уже лучше меня.

— Я рад, что все обошлось. А Билли, сын Гретхен, служит в армии в Брюсселе. В войсках НАТО.

— Знаю. Она мне писала. И писала, что это ты устроил его туда.

— Одна из моих последних официальных акций или, вернее, полуофициальных.— Рудольф говорил теперь тихим размеренным голосом, точно не хотел, чтобы его слова звучали слишком категорично.

— Досадно, что все так получилось, Руди,— сказал Томас. Впервые в жизни ему было жалко брата.

Рудольф пожал плечами.

— Могло быть хуже. Тот парнишка мог и умереть, а он отделался лишь слепотой.

— Чем ты думаешь теперь заниматься?

— О, дела найдутся. В Нью-Йорке прекрасно жить в свое удовольствие. А когда вернется Джин, мы с ней, вероятно, отправимся путешествовать.

— А где она?

— В санатории,— ответил Рудольф, позвякивая кубиками льда в стакане.— Вернее, это не санаторий, а клиника, где отучают людей пить. Они там излечивают почти всех. Она уже второй раз там. После первого раза почти шесть месяцев не брала в рот ни капли. Мне не полагается ее навещать — идиотское предписание какого-то врача,— но я поддерживаю связь с директором клиники, и он говорит, что Джин молодцом.— Виски попало ему не в то горло, и он закашлялся.— Может быть, мне тоже не мешает подлечиться,— улыбаясь заметил он, когда кашель отпустил его.— Ну а ты? Теперь, когда с глазами в порядке, какие у тебя планы?

— Мне надо получить развод, Руди,— сказал Томас.— В прошлый раз я спешил, хотелось поскорее увезти парня из этой страны. Застрянь я в Нью-Йорке, мне пришлось бы объяснить Уэсли причину. А я не хочу, чтобы он знал, что я разошелся с его матерью из-за того, что она шлюха. К тому же, если бы я стал тогда разводиться в Нью-Йорке, это заняло бы слишком много времени и пропала бы значительная часть летнего сезона, а я не могу себе это позволить. А теперь я непременно должен развестись самое позднее к октябрю.

— Почему?

— В общем... Я живу с одной женщиной. Она англичанка. Замечательный человек. В октябре у нас должен родиться ребенок.

— Все ясно,— сказал Рудольф.— Поздравляю. Племя Джордахов растет. Может быть, нам не хватает именно английской крови. Чем я могу тебе помочь?

— Я не хочу встречаться с Терезой. Если я ее увижу, то могу не сдержаться и бог знает что с ней сделаю. Хотя прошло уже столько времени. Может, тебе или кому-то другому удастся уговорить ее поехать в Рено или другой город, где легко развестись...

Рудольф аккуратно поставил стакан на стол.

— Конечно,— сказал он.— Я с удовольствием помогу.— В дверях раздался шум.— А вот и Инид.— И он позвал: — Иди сюда, маленькая.

В комнату вприпрыжку вбежала Инид в красном пальто. Увидев рядом с отцом незнакомого мужчину, она застыла на месте. Рудольф взял ее на руки и поцеловал.

— Поздоровайся со своим дядей. Дядя Томас живет на яхте.

Три дня спустя Рудольф позвонил Томасу и договорился пообедать с ним в ресторане на Третьей авеню.

Когда он вошел в бар, Томас уже поджидал его.

— Итак,— сказал Рудольф, усаживаясь рядом с братом на высокий табурет,— мадам уже в пути. Летит в Неваду.

— Ты шутишь,— сказал Томас.

— Я сам отвез ее в аэропорт и оставался там до тех пор, пока самолет не взлетел.

— Ну, Руди, ты просто чудотворец!

— В общем-то, это оказалось не так уж трудно,— сказал Рудольф и заказал мартини, чтобы как-то развеять тягостные воспоминания о целом утре, проведенном с Терезой.— Она тоже собирается начать семейную жизнь второй раз,— солгал он,— и понимает, что будет разумнее, если ее, как она говорит, доброе имя не будут трепать по судам в Нью-Йорке.

— Она с тебя много содрала? — спросил Томас. Он знал свою жену.

— Нет,— снова солгал Рудольф.— Она заявила, что хорошо зарабатывает и легко может позволить себе эту поездку.

— Что-то на нее не похоже,— с сомнением покачал головой Томас.

— Может быть, жизнь в конце концов ее смягчила.

Рудольф препирался с Терезой целых два дня и, наконец, согласился взять на себя все ее дорожные расходы, включая авиабилет первого класса в оба конца, счет за пребывание в отеле в Рено в течение шести недель плюс пятьсот долларов в неделю (за простой, как выразилась Тереза). Половину всей суммы ему пришлось дать ей вперед, а вторую половину он обещал заплатить, когда она вернется и вручит ему свидетельство о разводе.

Рудольф и Томас отлично пообедали, выпили по бутылке вина. Томас, захмелев, расчувствовался и повторял, что он благодарен Рудольфу по гроб жизни и что все эти годы он был просто дураком, не понимая, какой у него замечательный брат.

За коньяком он сказал:

— Слушай, ты на днях говорил, что, когда твоя жена выйдет из клиники, вы собираетесь путешествовать. В июле первые две недели моя яхта свободна. Я оставлю это время для вас. Приезжай с женой ко мне, и мы совершим небольшой круиз. Если Гретхен сможет, возьмите с собой и ее. Ты обязательно должен познакомиться с Кейт. Черт побери, я ведь к тому времени уже получу развод, так что вы попадете как раз на свадьбу. Договорились, Руди? И не вздумай отказываться.

— Это зависит от Джин,— неуверенно сказал Рудольф.— Не знаю, как она будет себя чувствовать...

— Ей это пойдет только на пользу,— настаивал Томас.— На борту не будет ни бутылки. Руди, ты просто обязан приехать.

— Хорошо,— согласился Рудольф.— Жди нас первого июля. Может, действительно нам обоим полезно на некоторое время уехать за границу.

II

У мэра через плечо была надета лента; невеста в васильковом платье ничуть не походила на беременную. Инид в белых перчатках держала мать за руку и, хмурясь, следила за таинственными играми, в которые играли взрослые, говорящие на непонятном ей языке. Томас загорел и снова выглядел здоровым и сильным. Он опять набрал в весе, и воротничок белой рубашки туго облегал его мускулистую шею. За спиной отца стоял Уэсли, высокий стройный пятнадцатилетний парень, в костюме, рукава которого были ему уже коротки. Лицо его покрывал темный загар, а волосы от средиземноморского солнца стали совсем светлыми. «Гретхен смотрится великолепно»,— подумалось Рудольфу. Гладко зачесанные темные волосы, едва тронутые сединой, обрамляли худое лицо с огромными, прекрасными глазами. Величественна, как королева, благородна и печальна. Свадьба пробуждает в людях поэтический дар. Сам Рудольф — и он знал это,— проведя неделю на море, стал выглядеть гораздо моложе, чем в тот день, когда сошел с самолета в Ницце. Джин, вернувшись из клиники, не брала в рот ни капли и казалась необыкновенно красивой и хрупкой среди портовых друзей Томаса, здоровых мужиков, с чьими обветренными, темными, грубыми лицами никак не вязались надетые по торжественному поводу пиджаки и галстуки.

Лишь Дуайер, то и дело поправлявший белую гвоздику в петлице, был сегодня печальным. Томас рассказал брату историю Дуайера, и Рудольф думал, что, может быть, счастье друга заставило Дуайера пожалеть о том, что он променял ждавшую его в Бостоне девушку на «Клотильду».

Когда Рудольф познакомился с Кейт, его вначале разочаровал выбор брата. Ему самому нравились хорошенькие женщины, а Кейт, с ее плоским смуглым простым лицом и крепко сбитой фигурой, никак не соответствовала принятым эталонам красоты. Она напоминала ему таитянок с картин Гогена. Ее ливерпульский выговор, медленная и не слишком грамотная речь вначале тоже резали ему ухо.

Но уже дня через два, наблюдая, как Кейт вместе с Томом и Уэсли безропотно выполняет на яхте самую тяжелую работу, видя, с какой искренней светлой любовью и ненавязчивой заботой она относится и к мужу и к его сыну, Рудольф почувствовал стыд за свои поспешные выводы. Том — счастливчик. Он так ему и сказал. И Том серьезно с ним согласился.

Мэр закончил речь, новобрачные обменялись кольцами, и жених поцеловал невесту.

Рудольф и Гретхен вслед за молодыми расписались в книге регистрации. Поколебавшись, Рудольф подошел к Кейт и поцеловал ее. В «Ше Феликс-о-Порт» их ждало шампанское, дыня и рыба в белом вине. Играл аккордеонист. Мэр поднял тост за невесту, Пинки Кимболл — за жениха. Рудольф произнес тост за новобрачных по-французски, чем вызвал всеобщее удивление и бурю аплодисментов. Джин привезла с собой фотоаппарат и щелкала пленку за пленкой. Она впервые взяла в руки фотокамеру с тех пор, как разбила всю свою аппаратуру. Причем это не было идеей Рудольфа. Джин сама захотела фотографировать.

Обед кончился в четыре, и гости — многие уже нетвердо стояли на ногах — проводили молодоженов до «Клотильды». На корме стоял большой ящик, перевязанный красной лентой,— свадебный подарок Рудольфа. Он распорядился, чтобы его доставили на яхту, пока все были в мэрии.

— Это еще что за чертовщина? — удивился Том, прочитав поздравительную открытку.

— Открой и узнаешь,— улыбнулся Рудольф.

Дуайер сходил за молотком и зубилом, а жених разделся до пояса и в окружении гостей открыл ящик. Внутри был великолепный радар фирмы «Бендикс». Перед отъездом из Нью-Йорка Рудольф позвонил Гудхарту и спросил, что бы больше всего хотелось Томасу иметь на яхте. Мистер Гудхарт посоветовал купить радар.

В глазах Томаса стояли слезы. Он, понятное дело, был немного пьян.

— Радар! Я о нем столько лет мечтал!

По плану намечалось сразу после свадьбы отплыть в Портофино. Они собирались идти вдоль берега мимо Монте-Карло, Ментоны и Сан-Ремо, затем ночью пересечь Генуэзский залив и утром причалить где-нибудь в Италии. Метеосводка была хорошей, и весь круиз, по словам Томаса, должен был занять не больше пятнадцати часов.

Дуайер и Уэсли не позволили Томасу и Кейт ничего делать и усадили их на корме, а сами подняли якорь. С судов, стоявших в порту, раздались гудки — салют в честь новобрачных. До бакена у выхода из порта за «Клотильдой» следовал рыбачий катер, полный цветов, и двое матросов бросали их им вслед.

III

Гретхен с Рудольфом сидели в шезлонгах на палубе, любуясь заходом солнца. Джин внизу укладывала Инид. Жених отсыпался после шампанского. Дуайер и Кейт готовили в камбузе ужин. Рудольф был против того, чтобы Кейт сегодня занималась стряпней, и пригласил всех поужинать в Ницце или Монте-Карло, но Кейт настояла на своем. «Для меня это будет только удовольствием в такой день»,— сказала она. Уэсли в синем свитере — к вечеру стало прохладнее — стоял за штурвалом. Он ходил по яхте босиком и все делал уверенно, словно и родился на море.

Гретхен и Рудольф тоже были в свитерах.

— Это настоящая роскошь — прохлада в июле,— сказал Рудольф.

— Ты рад, что приехал? — спросила Гретхен.

— Очень.

— Семья воссоединилась. Нет, больше того — сплотилась! Впервые в жизни. И все благодаря Тому. Кто бы мог подумать!

— Он понял в жизни что-то такое, чего мы до сих пор не сумели понять до конца,— заметил Рудольф.

— Это точно. Ты обратил внимание, где бы он ни появлялся, его всюду окружает любовь. Его жена, Дуайер, все его друзья на свадьбе. Даже его сын.— Гретхен усмехнулась.

Она уже рассказала Рудольфу о том, что перед приездом в Антиб навестила Билли в Брюсселе, и Рудольф знал, что скрывалось за этой усмешкой. Билли, отбывавший воинскую службу вдали от всех опасностей, сидел за пишущей машинкой в армейской канцелярии. Он, как сказала Гретхен, стал очень циничным, напрочь лишился честолюбия, ни к чему не стремился и просто отбывал срок, высмеивая все и всех на свете, включая собственную мать. Его не трогали сокровища Старого света, он путался с разными глупыми девчонками в Брюсселе и Париже, курил марихуану, а теперь, может, уже перешел на более сильные наркотики, рискуя попасть в тюрьму,— что, впрочем, было ему так же безразлично, как и исключение из университета. К матери он относился по-прежнему очень холодно. Во время их последнего ужина, когда в конце концов они заговорили об Эвансе Кинселле, Билли пришел в ярость. «Я знаю все о людях вашего возраста,— заявил он.— У вас якобы высокие идеалы, вы восторгаетесь книгами, пьесами и политиками, которые вызывают у моего поколения только хохот. Вы болтаете о спасении мира, молитесь то на одного бездарного художника, то на другого и все ради того, чтобы казалось, будто вы еще молодые, чтобы создать впечатление, будто нацистам дали отпор только что и где-то совсем рядом — за углом, в следующем баре или в следующей постели — вас ждет «прекрасный новый мир».

«В какой-то мере он, наверно, прав,— говорила Гретхен Рудольфу.— Он жесток, но прав, утверждая, что миром правит лицемерие. Ты ведь знаешь меня лучше, чем кто-либо другой. Когда настал критический момент, я же не сказала сыну: «Иди в тюрьму» или «Дезертируй». Я просто позвонила моему влиятельному брату и спасла шкуру своего сына; пусть другие матери убеждают своих сыновей садиться в тюрьму, или дезертировать, или отправляться за смертью в джунгли».

Рудольф ничего не мог на это ответить. Он был ее сообщником, обвинения Билли относились в равной степени к ним обоим.

Но неделя на море была такой целительной, а свадьба такой веселой и внушавшей надежды, что он сознательно выбросил из головы все другие мысли. Ему было досадно, что, наблюдая за стоящим у штурвала загорелым и проворным Уэсли, они с сестрой неизбежно задумались о судьбе Билли.

— Посмотри на него,— сказала Гретхен, глядя на Уэсли.— Мать — проститутка. Отец не окончил даже средней школы, его били, преследовали, унижали; с шестнадцати лет он жил среди подонков. Когда он решил, что пришло время, он забрал своего сына, увез его в другую страну, заставил выучить другой язык и ввел в среду грубых, неотесанных людей, едва умеющих читать и писать. В том возрасте, когда Билли еще просил по субботам два доллара на кино, сын Тома уже работал. Что же касается прелестей семейной жизни...— Гретхен засмеялась.— Каюта парня отделена лишь тонкой перегородкой от каюты деревенской бабы, любовницы его отца, зачавшей в грехе. И что же? Парень пышет здоровьем, работает на славу, вежлив. И он так предан своему отцу, что Тому даже не приходится повышать на него голос. Ему достаточно просто *указать*, и мальчик тут же беспрекословно все выполняет... Черт возьми, по-моему, пора переписать заново все книги о воспитании детей! И уж конечно, этому парню нечего бояться, что какая-нибудь призывная комиссия отправит его во Вьетнам. Его отец не допустит этого. Вот что я тебе скажу, Руди. На твоем месте, как только Инид подрастет и сможет расхаживать по яхте без риска свалиться за борт, я бы прислала ее сюда, к Тому на воспитание... Господи, я бы сейчас с удовольствием чего-нибудь выпила. Наверняка у Тома где-нибудь припрятана бутылка.

— Вполне вероятно,— сказал Рудольф.— Я спрошу его.

Он встал и прошел в камбуз. Дуайер мыл в раковине салат, а Кейт, уже в обычной рабочей одежде, поливала жиром кусок мяса в духовке.

— Кейт,— сказал Рудольф,— у Тома на всякий случай не припрятана где-нибудь бутылка?

Кейт закрыла духовку, выпрямилась и тревожно взглянула на Дуайера.

— Я думала, он обещал вам, что, пока вы с нами, мы пить не будем.

— Не беспокойся,— сказал Рудольф.— Джин с малышкой в каюте. Это для меня и Гретхен. Мы с ней сидим на палубе, а уже становится довольно прохладно.

— Кролик,— Кейт повернулась к Дуайеру,— сходи принеси.

Дуайер пошел к себе в каюту и вскоре вернулся с бутылкой джина. Рудольф налил джин в два стакана и добавил немного тоника. Он поднялся на палубу и протянул сестре стакан.

— Если Джин выйдет на палубу, мы можем сделать вид, что это просто тоник. Он отбивает запах джина.

— Надейся, надейся.

Они сделали по глотку.

— Эванс обожает джин,— заметила Гретхен.— Мы и в этом разные.

— Как у тебя с ним?

— Все так же,— небрежно ответила она.— Год от года чуть хуже, но в общем все так же. Мне, наверно, надо его бросить, но я нужна ему. Он не так уж меня и любит, но нуждается во мне. Возможно, в моем возрасте это даже лучше, когда ты не слишком любима, зато нужна.

На палубе появилась Джин в плотно облегающих розовых брюках и бледно-голубом мягком свитере. Она покосилась на стаканы, но ничего не сказала.

— Как Инид? — спросил Рудольф.

— Спит сном ангела. Она меня спрашивала, должны ли Кейт и дядя Томас сохранить кольца, которыми они обменялись.— Джин поежилась.— Я зябну.— И она прижалась к плечу Рудольфа. Он поцеловал ее в щеку.— Ля-ля-ля! — смешливо протянула она.— Чую английский дух! — Тоник не обманул ее. Она мгновенно все поняла и покраснела.— Дай капельку.

Рудольф заколебался. Будь он один, он не выпустил бы стакан из рук. Но Гретхен сидела рядом и смотрела на них. Он не мог позволить себе унизить жену в присутствии своей сестры. Он дал Джин стакан. Она отпила маленький глоток и отдала стакан обратно.

Дуайер вышел на палубу и начал накрывать на стол. На яхте ужинали обычно при свечах, на столе лежали плетеные соломенные салфетки, посреди стояла небольшая ваза с цветами и деревянная миска с салатом.

Вдруг что-то глухо ударилось о корпус судна и забарабанило под кормой, и, прежде чем Уэсли успел выключить двигатель, внизу послышался металлический лязг. Дуайер подбежал к перилам и стал вглядываться в светлую пену, тянущуюся за яхтой в черной воде.

— Вот дьявол! Мы ударились о бревно! — крикнул он, показывая куда-то пальцем.— Видите?

На палубу выбежал Томас. Он был босиком и без рубашки, но в руках держал свитер. За ним по пятам бежала Кейт.

Натянув свитер, Томас прошел в рубку и встал за штурвал. «Клотильда» потеряла управление и медленно покачивалась на волнах под слабым ветром. Томас включил левый двигатель. Он работал нормально, и винт крутился как положено. Но когда Томас включил правый двигатель, снова снизу раздался металлический лязг, и «Клотильду» начало потряхивать.

— Поврежден гребной винт, а возможно, и вал тоже,— сказал Томас.

Уэсли чуть не плакал:

— Па, извини, я не заметил бревно.

Томас похлопал сына по плечу.

— Ты не виноват, Уэс, поверь мне. Спустись-ка в машинное отделение, посмотри, нет ли в трюме воды,— сказал он и ухмыльнулся: — Свадебный подарок от Средиземного моря.— Он набил трубку, раскурил ее и, обняв жену за плечи, спокойно ждал возвращения Уэсли.

— Там сухо,— сказал Уэсли, поднявшись на палубу.

— Старушка «Клотильда» у нас крепкая,— сказал Томас. Тут он заметил стаканы у Рудольфа и Гретхен.— Что, продолжаем праздновать?

— Всего по глотку,— ответил Рудольф.

Томас кивнул.

— Уэсли,— повернулся он к сыну,— становись за штурвал. Мы возвращаемся в Антиб. На одном двигателе.

Рудольф догадывался, что Томас предпочел бы встать за штурвал сам, но ему хочется, чтобы Уэсли не чувствовал себя виноватым в случившемся.

Они шли со скоростью всего четыре узла в час, и, когда прибыли в Антиб, порт был безмолвен и погружен в темноту.

IV

Тихий, но настойчивый стук вторгся в его сон, и, просыпаясь, Томас подумал: «Это Пэппи пришел». Он открыл глаза и увидел, что лежит у себя в каюте, а рядом спит Кейт.

Стук продолжался.

— Кто там? — спросил он шепотом, боясь разбудить Кейт.

— Это я, Пинки,— прошептал голос за дверью.— Пинки Кимболл.

— Сейчас.— Не зажигая свет, Томас оделся. Кейт, уставшая за день, крепко спала.

Босиком, в брюках и свитере Томас осторожно открыл дверь и вышел в коридор, где его ждал Пинки. От Кимболла разило перегаром, но в коридоре было слишком темно, и Том не мог определить, насколько Пинки пьян.

— Какого черта тебе надо? — раздраженно спросил Томас.

— Я только что из Канна,— сипло сказал Пинки.

— Ну и что? Ты всегда будишь людей, возвращаясь из Канна?

— Ты, приятель, лучше меня послушай. Я в Канне видел твою невестку.

— Ты пьян, Пинки,— брезгливо сказал Томас.— Иди проспись.

— Она в розовых брюках. Чего бы я стал говорить зря? Не настолько я пьян, чтобы не узнать женщину, которую видел целый день. Я еще удивился, подошел к ней, говорю: «А я думал, вы уже на полпути к Портофино». А она говорит: «Нет, ни в какое Портофино мы не добрались, потому что у нас была авария, и нам чертовски хорошо в Антибском порту».

— Она не могла сказать «чертовски хорошо»,— заметил Томас, отказываясь верить, что Джин сейчас не у себя в каюте на «Клотильде», а где-то далеко.

— Это я так, для смака,— сказал Пинки.— Но я ее видел.

— А где именно в Канне? — Томасу приходилось сдерживать себя и говорить тихо, чтобы не разбудить других.

— В одном заведении со стриптизом, называется «Розовая дверь». Это на улице Бивуак Наполеона. Она сидела в баре с одним громилой. То ли югослав, то ли кто еще. В общем, в габардиновом костюме. Я его и раньше видал в этих краях. Он сутенер. Отсидел срок.

— Черт! Она была пьяная?

— В стельку. Я предложил отвезти ее в Антиб, но она сказала: «Когда надо будет, этот джентльмен довезет меня до дома».

— Подожди здесь.— Томас спустился вниз и прошел через салон в коридор, мимо кают Гретхен и Инид. Оттуда не доносилось ни звука. Когда он приоткрыл дверь в большую каюту, то в щель увидел, что Рудольф спит в пижаме на широкой кровати один.

Томас тихонько закрыл дверь и вернулся к Пинки.

— Да, это была она.

— Что ты собираешься делать? — спросил Пинки.

— Поеду и привезу ее обратно.

— Хочешь, я поеду с тобой? Там одни головорезы.

— Нет, не надо,— отрицательно покачал головой Томас. От Пинки и в трезвом состоянии было мало толку, а в пьяном тем более.— Спасибо. Иди спать. Увидимся утром.— Пинки начал протестовать, но Том, легонько подталкивая его, сказал: — Иди, иди, ложись.

Затем он вернулся в свою каюту, пройдя на цыпочках мимо каюты, где спали Дуайер и Уэсли. Он разбудил Кейт, дотронувшись до плеча.

— Только тихо,— сказал он.— Я не хочу перебудить всю яхту.— И он рассказал ей о том, что сообщил Пинки.— Я должен поехать и привезти ее обратно.

— Один?

— Чем меньше людей об этом узнают, тем лучше. Я привезу ее сюда, уложу в постель к мужу, а утром он скажет, что у нее болит голова и ей надо денек полежать, так что никто ни о чем не догадается. Я не хочу, чтобы Уэсли и Дуайер видели ее пьяной.

Помимо всего прочего, ему не хотелось, чтобы Уэсли и Дуайер оказались рядом с ним, если вдруг завяжется драка.

— Я поеду с тобой,— сказала Кейт. Она уже собралась встать с кровати, но он толкнул ее обратно.

— А еще я не хочу, чтобы она знала, что ты видела ее пьяной в компании сутенера. Нам ведь надо всю оставшуюся жизнь прожить в дружбе.

— Будь осторожен, хорошо?

— Конечно, не беспокойся,— сказал он и поцеловал ее.— Спи, дорогая.

Любая другая на ее месте подняла бы крик, подумал он, выходя на палубу. Но не Кейт.

Ее не было в баре, когда он вошел в «Розовую дверь». И никакого югослава в габардиновом костюме там тоже не было. У стойки несколько мужчин смотрели стриптиз, рядом ошивались две проститутки. За столиком недалеко от входа в компании одной из исполнительниц сидели трое мужчин, чья внешность весьма не понравилась Томасу. Стриптиз только что начался. Под громкую музыку оркестра рыжеволосая женщина в вечернем платье расхаживала в лучах прожектора, покачивая бедрами и медленно снимая длинную, доходившую почти до плеча перчатку.

Томас заказал виски с содовой. Когда бармен поставил перед ним стакан, он сказал по-английски:

— Я ищу американку, которая недавно была здесь. Каштановые волосы. Одета в розовые брюки. Она была с мужчиной в габардиновом костюме.

— Не видеть никакая американка,— ответил бармен.

Томас положил на стойку сто франков.

— Кажется, начинай вспоминать,— сказал бармен.

Томас положил еще сто франков. Бармен быстро огляделся вокруг. Деньги тут же исчезли. Он взял стакан и начал усердно протирать его. Говорил он, не глядя на Томаса. Оркестр играл очень громко, и можно было не бояться, что кто-нибудь подслушает.

— За туалетами,— скороговоркой сказал бармен,— будете найти un escalier, лестница, в подвал. Там спать после работы наш plongeur, посудомойка. Может быть, вы найти там то, что искать. Этого человека зовут Данович. Sal type [1]. Будьте осторожны. У него есть друзья.

Томас наблюдал, как женщина сняла один чулок, помахала им и принялась отстегивать подвязку на втором чулке. Делая вид, что продолжает с интересом следить за стриптизом, Томас неторопливо направился к светящейся в конце зала надписи «Туалеты. Телефон». Все вокруг смотрели только на раздевающуюся девицу, и он был почти уверен, что никто не обратил внимания, как он прошел в арку под надписью. Миновав двери, откуда неслась вонь уборных, он увидел ступеньки, ведущие в подвал. Он быстро спустился вниз. Лестница, освещенная тусклой лампочкой, упиралась в тонкую фанерную дверь. Сквозь шум оркестра он услышал за дверью истерический умоляющий женский голос, который вдруг резко оборвался, точно женщине зажали рот рукой. Томас толкнул дверь, но она была заперта. Тогда он отступил назад и с силой ударил в дверь плечом. Прогнившее дерево и замок подались одновременно, и он влетел в подвал. Джин силилась подняться с раскладушки посудомойки. Волосы ее беспорядочно свисали на лицо. Один рукав у свитера был почти оторван. Мужчина в габардиновом костюме, Данович, стоял рядом с ней лицом к двери. В свете лампы, одиноко свисавшей на проводе с потолка, Томас разглядел батареи пустых винных бутылок, верстак и разбросанный в беспорядке плотничий инструмент.

— Том! — крикнула Джин.— Уведи меня отсюда! — От страха она уже протрезвела, а может, и раньше не была такой пьяной, как вообразил Пинки. Она попыталась встать, но Данович грубо толкнул ее обратно.

— Тебе что надо? — спросил он Томаса. Данович говорил по-английски, но язык у него заплетался. Он был приблизительно того же роста, что и Томас, с широкими, массивными плечами. Одна щека у него была обезображена шрамом от удара ножом или бритвой.

— Я пришел, чтобы отвезти эту даму домой,— сказал Томас.

---

[1] Мерзкий тип *(франц.)*.

— Я сам отвезу даму домой, когда сочту нужным. Fous-moile camp [1], янки! — И он толкнул Джин ладонью в лицо, когда она вновь попробовала подняться.

Томас сделал шаг к раскладушке.

— Не устраивай скандала,— спокойно сказал он Дановичу.— Дама поедет со мной.

— Если она тебе так нужна, попробуй забери ее.— Данович неожиданно отступил назад, схватил с верстака молоток и поднял его над головой.

Черт возьми, подумал Томас, всюду свой Фальконетти.

— Умоляю, Том! Умоляю! — всхлипывала Джин.

— Даю тебе пять секунд, чтобы ты убрался.— Данович двинулся к Томасу, держа молоток на уровне его лица.

Томас понимал: в любом случае надо уберечь голову от молотка. Если молоток заденет его даже скользящим ударом, все будет кончено.

— Ладно, ладно,— сказал он, слегка отступая и миролюбиво подняв руки.— Я не собираюсь драться.— И, как только молоток метнулся в воздухе, бросился под ноги Дановичу и изо всей силы боднул Дановича головой в пах. Молоток ударил его по плечу, и оно сразу онемело. Данович потерял равновесие, упал на спину, и Томас, обхватив руками его колени, уселся на него верхом. Падая, Данович, вероятно, ударился головой, так как на секунду перестал сопротивляться. Томас воспользовался моментом и схватил его за голову. Данович замахнулся молотком и ударил Томаса по локтю, который тот выставил вперед, защищая лицо. Томас потянулся к молотку, другой рукой ткнув Дановича в глаза. Но он не сумел ухватить молоток и тут же почувствовал резкую боль в колене. На этот раз он изловчился и поймал молоток, не обращая внимания на удары, которые Данович наносил ему безоружной рукой; он выкручивал молоток, пока тот не выпал из кулака Дановича и не отлетел в сторону на цементный пол. Отпихнув Дановича коленями, Томас бросился к молотку и схватил его. И он и Данович поднялись на ноги, но Томас из-за поврежденного колена двигался с трудом, и ему пришлось переложить молоток в левую руку — правое плечо у него совсем онемело.

Сквозь гром оркестра и собственное тяжелое дыхание он слышал, как кричит Джин, но ее крики доносились до него приглушенно, словно издалека.

Данович, зная, что Томас получил травму, попытался зайти сзади. Томас заставил себя повернуться. Данович прыгнул на него, и Томас ударил его молотком повыше локтя. Рука Дановича повисла плетью, но он продолжал размахивать левой. Как только он оставил голову без прикрытия, Томас ударил его по виску — не прямым, а боковым ударом, но и этого оказалось достаточно. Данович пошатнулся и упал на спину. Томас тут же оседлал его и занес молоток над его головой. Данович, задыхаясь, заслонил здоровой рукой лицо. Том трижды ударил его молотком — по плечу, по кисти, по локтю, и все было кончено. Обе руки Дановича бесполезно замерли вдоль туловища. Томас поднял молоток, чтобы прикончить его. Глаза Дановича помутнели от страха, с виска по бледневшему лицу стекала темная струйка крови.

— Нет! — закричал он.— Нет! Не убивай меня! Пожалуйста! — Его голос сорвался на визг.

Томас лежал сверху на Дановиче, пытаясь отдышаться. Левая рука по-прежнему держала молоток над головой. Если кто-нибудь и заслуживал, чтобы его убили, то это именно Данович. Да, но Фальконетти тоже заслуживал, чтобы его убили. Пусть это сделает кто-нибудь другой. Томас перевернул молоток и запихнул его рукояткой в судорожно дергающийся рот Дановича. Он чувствовал, как ломает ему передние зубы. Сейчас Томас уже не был способен убить этого человека, но страдания Дановича его мало трогали.

— Помоги мне встать,— сказал он Джин. Она сидела на раскладушке, прижав руки к груди, и тяжело дышала, словно тоже участвовала в драке. Медленно, неуверенно поднявшись, она подошла к нему, подхватила под мышки и потянула. Томас поднялся на ноги и, шагнув в сторону от дрожавшего на полу тела, чуть было не упал снова. Голова у него кружилась, и комната плыла перед глазами, но мысли не путались. Увидев на спинке единственного в подвале стула белое пальто Джин, он сказал:

— Надень его.

Свитер на Джин был порван, и они не могли пройти через зал. А сможет ли он вообще идти? Ему пришлось обеими руками переставлять поврежденную ногу шаг за

[1] Убирайся *(искаж. франц.)*.

шагом, пока они поднимались по лестнице. Дановича они оставили лежать на цементном полу. Из его разбитого рта торчал молоток и, пузырясь, текла кровь.

Шоу в «Розовой двери» шло без перерыва. К счастью, в зале было темно, если не считать луча света, направленного на готовившуюся раздеваться девицу в черной амазонке, в котелке, сапогах и с кнутом. Тяжело опираясь на плечо Джин, Томас умудрился не слишком хромать, и они уже почти выходили из клуба, но тут один из троицы, сидевшей возле двери, заметил их. Он встал и крикнул:

— Allô! Vous là! Les Amerikains! Arrêtez! Pas si vite! [1]

Но они уже вышли за дверь и продолжали шагать. Мимо ехало такси, Томас остановил его. Джин с трудом втащила Томаса в машину, потом забралась сама, и такси уже мчалось в Антиб, когда человек, окликнувший их в зале, вышел на улицу и стал их искать.

В такси Томас обессиленно откинулся на спинку сиденья. Джин, кутаясь в белое пальто, забилась в угол подальше от Томаса. Он не обиделся на нее за это — ему самому был отвратителен исходивший от него запах пота, смешавшегося с запахом Дановича, крови и сырого подвала. На какое-то время он не то потерял сознание, не то задремал и открыл глаза, когда машина уже приближалась к порту Антиба. Джин плакала навзрыд в своем углу, но Томас мог сегодня уже не беспокоиться о ней. Когда они подъехали к причалу, у которого стояла «Клотильда», он засмеялся.

Его смех подействовал на Джин как удар кнута. Она тотчас перестала плакать.

— Над чем ты смеешься, Том? — спросила она.

— Я вспомнил врача в Нью-Йорке,— ответил он.— Он советовал мне подольше избегать резких движений и любого перенапряжения. Видел бы он меня сегодня!

С трудом самостоятельно выбравшись из машины, Том расплатился с таксистом и, хромая, стал подниматься по трапу следом за Джин. У него снова закружилась голова, и он чуть не свалился в воду.

— Помочь тебе дойти до каюты? — спросила Джин, когда они наконец были на палубе.

— Не надо,— отмахнулся он.— Иди к себе и скажи мужу, что ты вернулась. Придумай какое-нибудь объяснение.

Она наклонилась и поцеловала его в губы.

— Клянусь, больше до смерти не возьму в рот ни капли.

— Ну что ж,— сказал он,— в таком случае этот вечер все-таки не пропал даром.— И чтобы смягчить сказанное, легонько похлопал ее по нежной, как у ребенка, щеке.

Кейт не спала, и в каюте горел свет. Увидев его, она охнула.

— Тс-с-с,—предостерегающе произнес Томас.

— Что случилось? — шепотом спросила она.

— Чудо! Мне удалось не убить человека.— Он обессиленно упал на койку.— А сейчас оденься и съезди за врачом.

Он проснулся рано, разбуженный шипением воды — Дуайер и Уэсли поливали из шланга палубу. Колено у него было плотно забинтовано, а двигая плечом, он каждый раз морщился от боли. Но могло быть и хуже. Врач сказал, что переломов нет, однако сильно повреждено колено и, вероятно, связки.

Опираясь на здоровую руку, Том слез с койки и встал на одной ноге перед маленьким зеркалом. Лицо его было изуродовано. Там, в подвале, он не почувствовал этого, но когда он бросился на Дановича, то ударился лицом о цементный пол, и сейчас нос у него распух, губа вздулась, на лбу и скулах темнели глубокие ссадины. Врач промыл ему царапины спиртом, и лицо болело у него меньше, чем все остальное, тем не менее он боялся, что Инид, взглянув на него, в ужасе закричит «Мама!».

Он стоял перед зеркалом голый — грудь и плечи были покрыты черно-синими кровоподтеками. Чтобы надеть брюки, ему пришлось потратить пять минут, а рубашку он так и не сумел натянуть. Он взял ее с собой и, прыгая на здоровой ноге, двинулся в камбуз. Кофейник уже стоял на плите. Кейт выжимала апельсины. Как только врач сказал ей, что с Томасом не случилось ничего страшного, она немедленно успокоилась

[1] Эй! Вы там! Американцы! Стойте! Не спешите! *(франц.)*

и стала прежней, деловитой и хозяйственной. Когда врач ушел, Томас, ложась спать, рассказал ей обо всем.

— Хочешь поцеловать своего красавца жениха? — спросил он.

Она улыбнулась, нежно поцеловала его и помогла надеть рубашку.

— Кто-нибудь уже знает?

— Я ничего не говорила ни Уэсли, ни Кролику, а остальные еще спят,— ответила она.

— Если спросят — я подрался с пьяным у «Ле Камео»,— сказал Томас.— Это послужит наглядным уроком тем, кто решит напиться на собственной свадьбе.

Кейт кивнула.

— Ну ладно,— сказал он.— Я, пожалуй, уже могу идти на палубу и начинать врать.

Когда Дуайер и Уэсли увидели его, Дуайер всполошился:

— Боже мой, что ты с собой сделал?

А Уэсли охнул: «Па!..»

— Я расскажу, когда мы соберемся все вместе,— сказал Томас.— Повторять эту историю сто раз я не намерен.

Рудольф с дочерью поднялся на палубу, и Томас по его лицу понял, что Джин рассказала ему всю правду или почти всю правду о вчерашней ночи. Инид сказала лишь:

— Дядя Том, ты сегодня такой смешной!

— Это уж точно, милая,— улыбнулся Том.

Рудольф вскользь заметил, что у Джин болит голова и она осталась лежать в постели, а он после завтрака отнесет ей апельсиновый сок. Когда они сели за стол, на палубу поднялась Гретхен.

— Господи, Том, что с тобой случилось? — в ужасе спросила она.

— Я ждал, когда кто-нибудь задаст мне этот вопрос,— ответил Томас. Затем он рассказал историю о драке с пьяным у «Ле Камео». Только тот пьяный оказался не таким пьяным, как он сам, смеясь, заметил он.

— Ах, Том,— рассеянно сказала Гретхен,— а я думала, ты бросил драться.

— Я тоже так думал, но тот пьяный думал иначе,— ответил он.

— Ты тоже там была, Кейт? — укоризненно спросила Гретхен.

— Я спала,— спокойно ответила та.— Он ускользнул потихоньку. Мужчины, они ведь такие, сама знаешь.

— По-моему, это просто стыдно,— сказала Гретхен.— Чтобы большие, взрослые мужчины дрались!..

— Я тоже так думаю,— кивнул Томас.— И особенно стыдно, когда избивают тебя самого. А теперь давайте завтракать.

V

Позже, тем же утром, Томас и Рудольф сидели вдвоем на палубе.

— Джин все мне рассказала. Я не знаю, как тебя благодарить, Том,— сказал Рудольф.

— Брось ты. Ничего особенного. Просто Джин, с ее воспитанием, все это могло показаться страшнее, чем на самом деле.

— Вчера все целый день пили,— горько сказал Рудольф.— А потом еще мы с Гретхен перед ужином уселись пить на палубе. Ей просто было невозможно устоять. Алкоголики порой бывают такими хитрыми. Не представляю себе, как она сумела встать с постели, одеться и улизнуть с «Клотильды», не разбудив при этом меня...— Он покачал головой.— Последнее время она так хорошо себя вела, что я перестал беспокоиться. А стоит ей выпить рюмку, другую, и она уже собой не владеет. Становится просто другим человеком. Надеюсь, ты не думаешь, что она и в трезвом виде шатается по ночам бог знает где и ловит мужчин?

— Конечно же нет, Руди.

— Почему ты не разбудил меня и не взял с собой?

— Такие поездки не для тебя, Руди.

— Да, но я ее муж, черт возьми.

— И поэтому тоже тебя не следовало будить.

— Но он мог убить тебя.

— Да, был момент, когда это вполне могло случиться,— признался Томас.

— И ты мог его убить.

— Во всей этой истории был один-единственный прекрасный момент,— сказал Томас.— Я вдруг понял, что не могу убить человека.

VI

Он сидел в одиночестве на палубе, с наслаждением вдыхая воздух тихого позднего вечера. Кейт была в каюте внизу, а все остальные уехали на машине в двухдневную поездку по Италии. Вот уже пятый день «Клотильда» стояла в порту на якоре в ожидании, когда из Голландии привезут новый гребной винт и вал. Рудольф сказал, что, пока есть время, маленькая вылазка на машине будет очень кстати. С той бурной ночи Джин тревожно притихла. Рудольф всячески пытался отвлечь ее от тяжелых мыслей. Он просил Кейт и Томаса тоже поехать с ними, но Томас сказал, что молодожены предпочитают побыть вдвоем.

В порту стояла тишина, на большинстве яхт огни уже погасли. Томас зевнул, потянулся, встал. И вдруг он увидел, как вдоль пирса быстро скользит машина с выключенными фарами. Она остановилась напротив «Клотильды». Обе дверцы с обращенной к нему стороны открылись, и из автомобиля вылезли двое мужчин. Потом еще двое. Последним вышел Данович. С рукой на перевязи.

Если бы Кейт не было на яхте, он нырнул бы в воду и тогда им пришлось бы долго ловить его. Но сейчас он мог только стоять и смотреть на них. На соседних яхтах не было ни души. Данович остался внизу, а трое других поднялись на борт.

— Итак, господа,— сказал Томас,— чем могу быть вам полезен?

Что-то тяжело ударило его по голове.

Он ненадолго пришел в сознание всего один раз. Уэсли и Кейт были в больничной палате возле его постели.

— Больше никогда...— произнес он и снова впал в коматозное состояние.

Рудольф вызвал из Нью-Йорка известного нейрохирурга, и тот был на пути в Ниццу, когда Томас умер. У него был проломлен череп, объяснил хирург Рудольфу, и произошло обширное кровоизлияние в мозг.

Рудольф перевез Гретхен, Джин и Инид в отель и велел сестре не оставлять Джин ни на минуту.

Он сообщил полиции все, что ему было известно; полицейские стали расспрашивать Джин, у нее через полчаса началась истерика, и она не утаила ничего. Она рассказала им про «Розовую дверь», и Дановича задержали, но свидетелей не нашлось, а у Дановича оказалось неопровержимое алиби на всю ночь.

VII

Наутро после кремации Рудольф и Гретхен съездили на такси в крематорий, и им выдали металлическую урну с прахом брата. Из крематория они поехали в Антиб, в порт, где их ждали Кейт, Уэсли и Дуайер. Джин и Инид остались в отеле. Рудольф решил, что Кейт было бы слишком тяжело стоять в этот день рядом с Джин. А если Джин и напьется, то сегодня у нее на это есть все основания, думал он.

Гретхен, как и все остальные, уже знала правду.

Кейт, Уэсли и Дуайер, одетые в обычную рабочую одежду, стояли в ожидании на палубе. У Дуайера и Уэсли были заплаканные покрасневшие глаза, но на лице Кейт, застывшем от горя, не было ни следа слез. Рудольф поставил урну в рубке, Дуайер взялся за штурвал и включил один двигатель.

Они около часа плыли на юг, удаляясь от побережья. На одном двигателе им было не отойти далеко в открытое море, и береговая линия четко просматривалась за кормой.

Ровно через час Дуайер развернул яхту и заглушил двигатель. В пределах видимости не было ни одного судна, а море застыло в таком глубоком покое, что не слышалось ни всплеска. Рудольф вынес из рубки урну и открыл ее. Кейт принесла снизу огромный букет белых и красных гладиолусов. Все встали в ряд на корме лицом к

бескрайнему пустынному морю. Уэсли взял у Рудольфа урну. Слезы на его глазах уже высохли. На мгновенье он неподвижно застыл, потом медленно высыпал прах отца в море. Это заняло лишь одну короткую минуту. Вода подхватила пепел и понесла его с собой вдаль, пылинки таяли на голубой глади Средиземного моря.

Женственным плавным движением мягкой загорелой руки Кейт бросила в воду цветы.

Уэсли кинул за борт урну. Она тотчас затонула. Потом Уэсли вошел в рубку и запустил двигатель. Теперь они плыли к берегу, и он направил яхту точно в узкий вход порта.

Кейт спустилась вниз, а Дуайер прошел на нос яхты, оставив мертвенно-бледных Рудольфа и Гретхен на корме.

Подставив себя летящему навстречу легкому бризу, Дуайер стоял на носу яхты и смотрел, как приближаются залитые ослепительным светом утреннего солнца белые особняки, старые крепостные стены и зеленые сосны.

«Погода для богатых»,— вспомнилось ему.

■

Из месяца в месяц

США

РАССКАЗЫВАЕТ РЭЙ БРЭДБЕРИ

Перефразируя название цикла новелл Рэя Брэдбери «Марсианские хроники», автор репортажа о писателе в «Интернэшнл геральд трибюн» озаглавил свои заметки «Брэдберианские хроники».

Более 45 лет Брэдбери живет в Лос-Анджелесе. За всю свою шестидесятилетнюю жизнь всемирно известный фантаст ни разу не летал на самолете. По его словам, он «единственный житель города старше шестнадцати лет, не умеющий водить машину». Его любимое средство передвижения — велосипед, такси Брэдбери вызывает в случае крайней необходимости.

Работа рано связала будущего писателя со словом—в детстве он продавал газеты. Журналы он одалживал у соседской девочки каждый стоил состояние —двадцать пять центов. «Р[illegible]ником я влюбился в Тарзана, Бака Роджерса, Жюля Верна. Из этого безумного увлечения родилось призвание писателя». Позднее Брэдбери открыл для себя Уэллса, научные издания. Однако детскую любовь к автору комиксов Баксминстеру Роджерсу, изображавшему приключения людей в будущем, их необыкновенные изобретения и открытия, писатель сохранил навсегда. «Его замечательные истории изменили всю мою жизнь, — говорит Брэдбери. — Я полюбил будущее... Потом я сам отправился в страну будущего и уже никогда оттуда не возвращался».

Интересно, что «страну будущего» для Брэдбери в какой-то степени воплощает Диснейленд — два города, построенных по замыслу Уолта Диснея, «самого великого революционера за последние тридцать лет в области градостроительства». Они послужат, по мнению писателя, моделью для грядущей перестройки американских городов.

В двадцать один год Брэдбери удалось продать издателю первый свой рассказ. Он писал в то время по рассказу в неделю, а напечатал всего три. С тех пор он написал множество пьес, эссе, статей на научные темы, либретто для опер, сочинил сценарий для фильма по «Моби Дику», читал лекции и разрабатывал проект для американского павильона на международной ярмарке в Нью-Йорке. Сегодня произведения Рэя Брэдбери входят в восемьсот антологий, а недавно американское телевидение показало трехсерийную постановку по «Марсианским хроникам».

«Я один из тех маньяков, которые просто не могут перестать писать», — шутит Брэдбери. Он рассказывает, что ему почти не приходится ломать голову в поисках идеи для очередного произведения. Нередко темы сами приходят к нему — достаточно, например, телефонного звонка приятеля, который спешит поделиться с ним интересной информацией, только что вычитанной в энциклопедии, чтобы родился рассказ или стихотворение.

Сейчас писатель работает над продолжением романа «Вино из одуванчиков», либретто оперы под названием «Левиафан 99» («Моби Дик», действие которого развертывается в космосе, так характеризует ее содержание автор) и проектом грандиозного сооружения, которое, по мысли автора, должно быть построено рядом с Диснейлендом и будет представлять собой нечто вроде «театра истории». Посетители его смогут совершить путешествие во времени «назад через все цивилизации к истокам истории человечества» и, разумеется, вперед, в будущие цивилизации.

◆

Критика

Братские народы Югославии отмечают 29 ноября свой национальный праздник — 35-летие со дня провозглашения республики, основы социалистической государственности которой были заложены еще в ноябре 1943 года. Мы публикуем в этой связи статью Владимира Огнева о современной югославской поэзии — со многими ее представителями наш журнал уже знакомил советских читателей. В этом же номере печатаются стихи Васко Попа и Тоне Павчека в переводах Маргариты Алигер.

ВЛАДИМИР ОГНЕВ

ПРИСТРАСТНЫЕ ЗАМЕТКИ

Поэты современной Югославии

В гербе социалистической Югославии шесть взметнувшихся языков пламени олицетворяют шесть республик. Народы Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении, Македонии, Черногории в огне освободительной войны против нашествия немецко-фашистских войск и их сателлитов отстояли свободу и независимость своей родины, открыв новую страницу своей истории — социалистическое общество.

Началось строительство новой культуры, за плечами которой, теряясь в дали веков, стояла культура старая — опыт многих поколений, издавна населявших эти земли. Культура, где, как, пожалуй, ни в одной другой из европейских культур, причудливо перемешались, наслаиваясь один на другой, разные религиозно-исторические пласты — православие, католичество, ислам... Нашествия, великие переселения, мощные потоки торговых путей с севера на юг, с востока на запад и обратно — здесь всегда все бурлило и кипело... Разноязыкий, разноплеменный, привыкший к разным обрядам, разным поверьям, разному быту, край этот веками впитывал в себя многоцветные краски жизни, в то же время стоически отражая одну за другой волны завоевателей.

Этническое родство славянских племен было сильным магнитом. На древних стелах — каменных «мрамораx», рассеянных и поныне в долинах и горах Боснии и Западной Сербии, поставленных тут семь веков назад безвестными гениями из богомилов, выбиты тексты, волнующие нас высокой и скорбной нотой: «Се лежи Иван на свои земли. Брачя и дружино, жалите ме... И молю вас, не наступайте на ме, я сам био, како вы есте, ви чете бити, како есам я». И, умирая от меча врага, безвестный предок считал землю навсегда «своей», непокоренной.

Многовековое наше родство с историей и культурой югославов на протяжении не одного века опиралось, конечно, прежде всего на осознание единства славян и уважение к свободолюбию своих южных братьев. Братство наших народов ярче всего проявилось в мировой войне против фашизма. Вдумаемся: еще задолго до откры-

ОГНЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ (род. в 1923 г.).
Советский критик. Автор более двадцати книг по проблемам поэзии — отечественной и зарубежной. Последние из них — «Пять тетрадей. Этюды о литературе социалистических стран», «Югославский дневник». Избранные работы выходили в Польше, Югославии, Венгрии, Болгарии. Член Международной ассоциации литературных критиков. Заслуженный деятель культуры ПНР.

тия второго фронта югославы уже с 1941 года в неприятельском тылу держали в Европе постоянный фронт борьбы против фашизма — сильнейшего и коварнейшего врага человечества. Легендарное противостояние народов Югославии фашистским оккупантам говорит о многом. Здесь, как в фокусе, отразился дух народов этой страны.

В пламени партизанской войны рождалась и новая поэзия. Ей суждено было передать эстафету идейного пафоса патриотической борьбы за родину и свободу, за равноправие людей, за социалистические идеалы новому времени, послевоенному, когда эти идеалы закреплялись в самой жизни.

...Я сижу в маленькой комнате Юре Каштелана в Загребе. Он читает новые стихи о времени, которое скачет, как неистовый всадник. Потом — свои переводы из Блока и Есенина. Большой, неуклюжий, с удивленным выражением глаз, детской улыбкой, он никак не вяжется с тем образом, который знаком мне по рассказам его друзей-партизан, с тем Юре, что дерзко врывался с ножом в немецкие окопы, нес на плечах больного товарища через горный перевал... В его глазах свет такой ровный, как в глубоководной реке... Он читает строки своего товарища, тоже далматинца, Ю. Франичевича-Плочара:

...Друг другу ножами могилы копали,
но бились сердца родниками в горах!..

(Перевод с хорватскосербского И. Шкляревского)

В 1940 году вышла первая книга Юре Каштелана «Красный конь». Образы ножа, убийцы, ворона, траура и печали отсылали к поэзии Гарсиа Лорки. Но поэт не знал великого испанца. Образы смерти и южные далматинские пейзажи, напоминавшие чем-то андалузскую музу Лорки, несли иной смысл. В книге Каштелана отражено предчувствие второй мировой войны, она вобрала в себя и память об испанской трагедии 1939 года. Юре было семнадцать, когда радио принесло весть о мятеже Франко. И двадцать один, когда в Европе вспыхнула вторая мировая война. В апреле 1941 года Германия напала на страну поэта. И он пошел защищать родину. Его стихи становились партизанскими песнями... Это — типичная судьба поэта в Югославии.

В партизаны ушли коммунисты: Матей Бор, Радован Зогович, Душан Костич, Танасие Младенович, Радоня Вешович и другие — ведь именно партия коммунистов Югославии подняла восстание, возглавила всенародную войну с оккупантами. Но и беспартийный Владимир Назор, шестидесятишестилетний патриарх хорватской поэзии, делил тяготы тяжелых переходов, голода и опасностей с восставшим народом. Символом партизанского сопротивления стал его упрямый «Терновник». В стихотворении Назора «На Волчьем поле» жили отголоски эпоса, славянского мифологического преклонения перед лесом — защитой от недруга, под чьим покровом залечиваются кровавые раны. Встает солнце — и

Лохмотья расцвели, как шелк, а лица
Позолотились в солнечном сиянье.

(Перевод с хорватскосербского М. Зенкевича)

Уже тогда, на партизанских привалах, на тропах орлиной высоты Назор предвидел, что сила его братьев в единении:

Словенская иль сплитская то песня,
Хорватская, боснийская — кто знает,
Чья и откуда, только наша, льется
Средь гор, где всюду смерть подстерегает.

(Перевод с хорватскосербского М. Зенкевича)

Матей Бор создает полные жестокой силы, прекрасные свои баллады. В 1942 году выходит его книга стихов «Переборем бурю» — одно из первых подпольных литературных изданий в Югославии тех лет... Отон Жупанчич в нелегальной печати публикует под псевдонимом Антон Песник («песник» по-словенски «поэт») стихотворение «Чтишь, поэт, свой долг?» — призыв к борьбе за свободу.

Словенец Янез Менарт писал: «Вряд ли у нас когда-либо раньше за такой короткий срок излилось столько непосредственного, искреннего вдохновения, как именно в эти тяжелые и кровавые дни». Художники поняли, продолжает Менарт, что перед ними встал решительный вопрос, сбыться ли «вековым надеждам на народную свободу и социальную справедливость»? Встать в ряды сопротивления фашизму означало положительно ответить на него. Так мог бы сказать и серб, и хорват, и черногорец, и любой другой представитель югославской литературы в те годы.

Суровая действительность соединила многих из тех, кого развели когда-то манифесты поэтических школ. Менарт отмечает, что «сами собой замерли все эстетические споры и даже наиболее рафинированные эстеты и искатели новых духовных и пластических норм заговорили так, как требовало время...». Война не могла не стать переломной эпохой в становлении новой эстетики. Реальная жизнь ворвалась в стихи, разрушив карточные домики эстетства и отвлеченных идей. «...Лишь сейчас мы видим друг друга в настоящем свете... кто штудировал Гомера, строит блиндажи, кто обедал в Париже, режет себе из дерева ложку...» — говорил Эдвард Коцбек в стихотворении «Игра», словно перекликаясь с сюрреалистом Миланом Дединацем, который, находясь в концлагере, писал о голоде: «Сквозь колючую проволоку прошел, не заметили часовые».

В те годы создавалась своя классика. «Яма» Ивана Горана Ковачича, «Кровавая сказка» и «Песня о порабощенном хлебе» Десанки Максимович, «Тифозные» Юре Каштелана, «Стоянка — мать из Кнежеполья» Скендера Куленовича. К стихам обратились многие известные прозаики — Бранко Чопич, Михайло Лалич, например. Ведь поэтическое слово было самым коротким расстоянием к сердцу. А многие и многие сердца стучали в унисон.

Многие перестали биться. Редкая национальная литература может привести такой «послужной список», более напоминающий мартиролог. Ацо Караманову было семнадцать лет, когда его, тяжелораненого, фашисты добили штыком, проколов и две тоненькие тетрадки его стихов. Карел Дестовник-Каюх пал двадцати двух лет у своей родной деревни, тридцати лет убит четниками талантливейший Иван Горан Ковачич, за месяц до победы под Сараевом пал смертью храбрых Крсто Кривокапич, а буквально за два дня до победы в Дахау скончался замученный фашистами Н. Кранец-Пайлин... И это — только часть списка.

Из войны выходили уже по-разному. Одни, как Юре Каштелан, остались верны романтике, убеждению, что человек «после себя оставляет песню. Потому что не зверь он, не дерево, не трава». Другие, как словенский поэт Лойзе Кракар — юность его прошла в страшных лагерях смерти, в Бухенвальде, Освенциме,— не могут забыть кошмара фашизма, их стихи — это вечно гудящий набат памяти и возмездия. Жестокая память, прямой и режущий свет... Да, мир в послевоенных стихах Кракара, в том числе в «Автопортрете» и «Преступниках на пенсии» выглядит жестче, беспощаднее, чем в стихах многих его коллег. Его солнце (сравним символику солнца-любви у серба Васко Попа, солнца-труженика у боснийца Мака Диздара, солнца-надежды у хорвата Юре Каштелана), солнце Кракара беспощадно, как гневливый бог, это «мстительные протуберанцы судьбы»! Мрачен колорит апокалипсических видений серба Любомира Симовича, мальчиком вышедшего из войны. Стих его грубоват, натуралистичен, временами напоминает картины Босха:

...повешенный в час грозы
выше сада и стада,—
показываю язык,
и он длинней водопада.

Его обращения к звездам безысходны:

Ждет ли кто-нибудь тебя в далях
беспробудных?
Не пустынно ли тебе в небесах
безлюдных?
Оттого ли ты мрачна, что в небесном
круге
солнце есть, мрачней тебя сеющее вьюги?
Или ведомо тебе утро в зорях темных
и количество золы после солнц огромных?

(Перевод с сербскохорватского Юнны Мориц)

Конечно, память войны долго еще оставалась, да, по сути, и поныне живет в лучших творениях югославской музы. Но, разумеется, и тут постепенно меняются ее ракурсы. На смену живой боли, прямому воспоминанию («Черные люди» Матея Бора) приходит философское осмысление войны. Как трансформировалась тема войны в 50-е годы, можно увидеть хотя бы на примере «Эпитафии бойцу, павшему в то мгновение, когда было подписано перемирие» Григора Витеза. Поэт как бы распутывает ленту памяти в обратном порядке: если бы немного раньше было подписано перемирие, боец остался бы жив; а если бы еще раньше — многие другие остались бы живы, еще чуть-чуть — и «многие, многие остались бы живы»...

Следовало бы эту весть послать гораздо
раньше,
прежде, чем мертвые стали падать.

(Перевод с хорватскосербского И. Голенищева-Кутузова)

Ясно, что такие стихи не могли появиться в годы войны. В них — отнюдь не непонимание политических целей, мотивов войн, а символическое выражение исторических чаяний человечества — война войне. Этот образ перемирия, «прежде, чем мертвые стали падать», читатель не может не воспринять как весть о борьбе за мир против войн и разрушения. Надо ли говорить, насколько вписывается эта поэтическая мысль в общую атмосферу XX столетия!

Все чаще война отзывается в лирике напоминанием о ценности жизни, анализом зла в его универсальном, а иногда и метафизическом выражении, повышенной чуткостью восприятия природы.

В межвоенный период югославские художники слова преимущественно были связаны с западноевропейским искусством. После же 1945 года, как это ни покажется парадоксальным, в поэзии Югославии ощущается почти одновременное влияние таких разных поэтов, как Есенин, Маяковский, Аполлинер, Элюар, Рильке, Элиот. О влиянии Есенина надо сказать отдельно. Оно удивительно. Есенин, пожалуй, как никто другой из русской поэзии нашего века, оказался популярен в славянских странах, особенно в Югославии. Есть даже разные национальные школы его перевода — в Сербии (М. Пешич, С. Маркович), в Хорватии (Г. Крклец, Д. Цесарич), в Македонии (С. Ивановский, Г. Тодоровский), в Словении (Т. Павчек).

Чтобы ясно и объективно представить себе сложную картину современной поэзии Югославии, надо реально видеть одновременно развитие в ней иногда полярных тенденций. Середина пятидесятых — шестидесятые годы в Югославии — это время кристаллизации «левых» авангардистских течений, часть которых искренне претендовала на приоритет революционного открытия новых истин, а часть была формой ухода от реальности. Тут все еще только складывалось, бурно и неоднозначно по действительным своим последствиям. Но так же, как мы сегодня научились видеть прошлое нашей поэзии в историческом освещении, так и опыт сравнительно недавних споров «реалистов» и «модернистов» помогает нам видеть не одни лишь жупелы, но и сложность пути становления социалистического идеала в искусстве.

Многие из вчерашних сторонников «левых» течений видели в «левизне» возможность поиска собственного пути развития, индивидуальных особенностей дарования в

единых рамках гуманистического, прогрессивного искусства нового мира. Все чаще в европейской поэзии, в том числе и в ее славянской ветви, стали преобладать новые принципы строения образа, иной тип лирического героя. Общим здесь можно назвать стремление исследовать такие области духа, как интуиция, подсознание, мир сна, метафизические проблемы человеческого «я». Преобладающими становятся формы условные, используется миф, интеллектуальное начало заметно перевешивает чувство. Все повсеместнее завоевывает право на жизнь свободный стих, вообще свободные формы организации поэтической речи. Отрицая крайние формы проявления таких принципов — поэзию декадентскую, герметическую, справедливо связывая распад формы стиха с идеями неверия в созидательные начала искусства, мы тем не менее понимаем, что новые явления в поэзии, если они остаются в пределах гуманистических принципов культуры, требуют внимательного изучения и даже, я бы сказал, прогнозов — слишком широко и влиятельно распространение новых форм стиха, слишком значительны дарования, использующие эту поэтику, чтобы их игнорировать. Важно лишь не терять при этом ведущей нити— прогрессивного идеала поэзии, человека, принципов жизни, стоящих «за стихом».

Непросты и неоднотипны отношения новаций и традиций. По-разному используется и фольклор. Он может быть кладезем сюжетов, мифов. Иной раз национальный характер проявляется в современных формах стиха, как бы игнорируя фольклорные одежды, а тем не менее сущность поэзии несет на себе родовые качества тех представлений и обычаев, которые сложились в глубокой древности.

Традиционным для поэтов Югославии, особенно горцев и македонцев, является, скажем, образ камня. Если в поэзии одних образ камня обычно ассоциируется с реальной картиной пейзажа или служит метафорой твердости духа («корнем — за камень»— этот образ Радована Заговича в стихотворении «Инструкция маслине» яркий пример жизнестойкости и силы духа), то в поэзии других он все чаще выражает понятие отвлеченное, сам порой персонифицируясь в более сложные понятия «города», или «молчания», или «фундамента в недрах сердца» (Дара Секулич, Мак Диздар, Душан Костич и др.).

Итак, можно сказать, что в современной поэзии Югославии живы многие традиции: и древнейшие эпические мотивы (вспомним хотя бы знаменитый сербский эпос), и народные легенды, поверья и песни, и сложные напластования византийской и венецианской культуры Возрождения, и постоянные связи письменной традиции с общеевропейской литературой.

Традиционна, разумеется, и славянская ориентация югославской культуры. Может быть, это и спорно, но я вижу главное достоинство современной поэзии Югославии в проникновении в душу природы, постоянной сосредоточенности на вопросах смысла жизни. Славянскому типу поэтической культуры близка не отвлеченность логического мышления, а пластическая одухотворенность, стремление примирить дух и тело, природу и «бога», под которым понимается обычно тот же дух человечности и справедливости. Это тесное единение общей идеи гуманизма и конкретно-исторического человека с его живыми страстями и порывами отличает, по-моему, традицию славянской поэзии. Не гётевский идеал олимпийской объективности, а, скорее, позиция личности, у которой, по словам Герцена, «в груди слишком много было любви, чтоб остаться в своей исключительной выси».

В русле этой традиции развивается вот уже не одно десятилетие творчество народного поэта СФРЮ Десанки Максимович. Период между двумя войнами сформировал тонкого лирика Десанку Максимович поэтом-гражданином, война против фашизма подняла патриотическую лирику ее до высот философской поэзии. Поэзия Десанки Максимович приобретает зрелую обобщенность мысли, а в книге стихов «Требую помилования. Спор поэта с Законником царя Душана» (1964) — высоту исторического осмысления действительности. Форма строится как диалог поэта с древним сводом законов сербского царя Душана. В цикле этом собраны, как в фокусе, основные линии творчества Д. Максимович. Горечь от сознания силы зла и боль личных утрат более ощутимы в зрелых произведениях Д. Максимович. Свободно и раскованно говорит она о суете мирской и слабости людских сердец, о неумолимом ходе лет, о разочарованиях. Герой ее лирики — человек доброй и щедрой души, для которого чувство созвучия природе: травам, птицам, горам и рекам — есть материнское чувство созвучия всему, что дает жизнь. Сила жизни, чувственная радость от запаха сена пронзительно врывается в самую отчаянную скорбь — такова суть поэзии Д. Максимович. Это на редкость верная главному в своей устремленности, поразительно стойкая при всей женской беззащитности и боли поэзия!

И, наверное, сила этой жизнестойкости — в народности поэзии Десанки Максимович. «Для избранных пускай другие пишут...» Она сказала это давно в «Ответе современнику». И на протяжении многих лет остается верна принципу демократического искусства.

Народная культура, ее эстетические принципы внушают поэту чувство надежды, веры в свое призвание. Поэтов разных поколений, таких, как Я. Менарт, Т. Павчек, Гане Тодоровский, Р. Петров-Ного, объединяет ощущение корней слова в делах народа. Немало их стихов прямо связано с мотивами как бы традиционными, но от того они не становятся ни устаревшими, ни менее значимыми для судеб культуры. Эта эстетика не исчерпала себя и прямо исходит из творческих принципов доброй старой манеры реалистического письма прошлых десятилетий (Г. Крклец, Р. Зогович, Д. Тадиянович, Д. Цесарич, С. Яневский, А. Шопов, Я. Джонович, В. Парун и другие). Поэзия не может не возвращать-

ся к той простоте, которая лежит в основании всего самого сложного. К чувству единства поэта с народом, с непреходящими ценностями жизни, выше которых нет и не будет ничего.

Традиция демократической эстетики широка и опирается на прочные основы соучастия жизни в делах искусства. Македонец Гане Тодоровский пишет с лукавым юмором человека, которому ясна относительность многих истин на этой, такой грешной, такой соблазнительной земле, пишет о жизни, какая она есть на самом деле, где существуют не только тихие книгохранилища, высокие формулы, органная музыка небесных сфер, но и простые радости и практические интересы... Словенец Тоне Павчек безо всякого надрыва, но с понятной тревогой обращается с «молитвой» к черной земле, прося ее дать, а вернее, вернуть здоровую силу «немощным» рукам:

Пусть они будут пахнуть тобой,
пусть они станут ветками
с зелеными листьями.

(Перевод со словенского М. Алигер)

Он кланяется зеленым веснам, дарящим вечность «убогому и милому наследству» отеческого дома, дома, сделавшего вчерашнего паренька богатым духовно. В здоровом родстве с народом видит Павчек залог будущего:

Пусть буду я не пылью придорожной,
а семенем, растеньем или камнем,
имеющим свое на свете место...

(Перевод со словенского М. Алигер)

Диалектика преемственности культуры в революционные эпохи всегда сложна. Время зрелого понимания традиции, где главное — заветы демократизма, вера в человека, в его призвание изменить неправый ход жизни, наступило не сразу.

Может быть, самой революционной здесь была идея жизнестроения. Этот опорный камень в фундаменте культуры труднее всего обнаружить при рассмотрении внешних сторон «надстройки». Особенно в лирике. Обратимся к такому интересному явлению в югославской поэзии, как творчество Блаже Конеского. Вряд ли о комнибудь еще в Югославии можно сказать столько раз слово «первый», как об этом македонском поэте. Автор первой истории македонского языка, первой грамматики, редактор первого словаря македонской речи, первый президент Македонской Академии наук и искусств. В смысле практического «жизнестроения» новой культуры древней балканской земли Конеский, конечно, преуспел весьма наглядно. Но и в собственно поэтическом его творчестве ощутимы те же принципы. Прочитав его стихи, читатель может спросить: а в чем же заключаются принципы «жизнестроения», если темой многих стихотворений Конеского 60—70-х годов является, скорее, мотив быстротекущей жизни, когда струение часов и минут «гласит прорицаньем», что «день твой утаснет», а распускающийся бутон хризантемы мы видим глазами человека, «шагающего к старости», когда «павшие листья кличут тех, что еще трепещут»? Да, это так, но, как сказано поэтом, «глубокий слой жизни» — «главное в созревании и паденье», иными словами, закон жизни — в развитии ее, неостановимости этого развития. Ценить мгновенья можно по-разному. Можно быть прикованным к мыслям о смерти, а можно трезво видеть краткость пути, отмеренного человеку, и потому ощущать наполненность времени.

Конеский ценит время как человек труда. Народность поэзии Конеского — и в подходе к делу созидания на земле, и в самой платформе как бы «безличного», эпического характера его творчества. «Мы не пишем по своей только воле, а выражаем то, что живет в коллективе людей, и необходимо иметь «мандат» на право высказать какие-то вещи. Поэтому я не говорю о писании стихов. Для меня процесс создания стихотворения скорее процесс открытия того, что есть»,— сказал поэт в одном из интервью. А открытия бывают только на пути познания, волевого творческого акта.

Так «встречаются» поэтическая позиция, эстетика — и идея жизнестроения, участия в делах народных.

Один из видных хорватских лириков XX века Тин Уевич имел смелость заявить: «Еще не начавшейся эры я камень пробный». Он сам прописал себя и созвучных ему художников в эпохе перехода к новой жизни, брезжущей, как казалось в межвоенные годы, где-то еще далеко. Но рядом со смелыми признаниями двойственности позиции (неверие в будущее и порыв в него) он не преминул подчеркнуть: «Я научился любить ничтожные мелочи, крошки». Его «Трогательные заметки» — исповедь на грани самоиронии, но вполне серьезная в выводах о жизни. Творчество Уевича, художника нервного, импульсивного, навеяно идеями переходного времени, эпохой предчувствий рождения новых человеческих отношений. Все здесь еще противоречиво, двойственно. Но творчество поэта и его позиция постоянной искренности и самораскрытия уже прописаны в будущем.

В стихотворении «Братство людей во вселенной» он сказал вещие слова: «Не бойся! Ты не один. Есть другие, ты их не знаешь, но они живут твоею жизнью». Поэт имел в виду не «мыслящие существа» с других планет, а братьев-землян. «Не заносись! Мысли твои — не только твои. Они живут и в других». И когда сегодня в стихах другого хорватского поэта, Миливое Славичека, мы находим прямую перекличку с Уевичем, мы понимаем и то, как далеко ушло искусство от смутных видений и утопий поэта-предтечи новых горизонтов и как по-новому прочитываются в наши дни строки художника о том, что он, «безымянный, продолжается в братьях»...

В сербской поэзии после войны значительную роль играет Оскар Давичо. Про-

творечивый талант Давичо постоянно находит своих приверженцев и ярых неприятелей. Сюрреалисты, вероятно, считают его отступником, но и сербские поклонники раннего Маяковского не в восторге от его резкого неприятия того, во что верил и чему поклонялся в поэтике он в каждый последующий период своего творчества. То его обвиняют в голой риторике, то поражаются плотному метафоризму. Разве даст Давичо повод сказать: «Наконец-то он наш!» — разным «лагерям» эстетических воителей! Но поэт умудрялся всегда оставаться самим собой: он верен диалектике жизни, постоянно экспериментирует в стихе, словно разочарован выбором прошлого оружия или боится, что оно затупилось в очередной схватке... В классической «Хане» (1939) он близок той линии нашей поэзии, которая прежде всего связывается с именем Ильи Сельвинского, его показом характерного, бытового на резком сломе времени. В «Хане» поражали смелость снижения романтических образов, ирония и пафос, явный социальный крен в обрисовке среды. В «Вишне за стеной» (1950) поэт полностью раскрывает дар виртуоза слова, где оно используется для страстного, патетического порой диалога с прошлым — с прошлым народа и с прошлым в человеке. Тема довоенной Сербии, может быть, впервые отчетливо заявлена как интернациональная революционная тема, где отвергается всякая национальная узость и идилличность («Письмо из Сербии»). В эпиграфе читаем: «Из замкнутого круга маленькой Сербии». Все стихотворение — жестокая, неприятная для квасных патриотов, но правдивая картина:

...За Дунаем босая, безгласная,
Вся в крови чавкает Сербия одинокая.

Бунт? Где пролетарий? Где рабочие?
Не созрел революционный плод.

Не правда ли, близко Маяковскому, Илье Сельвинскому в его, скажем, «Улялаевщине»?!

А муки? Пусть Сербия не покорится.
На все четыре стороны гайдуков
направлен взор.
Сербия из засады косится
На залитый солнцем тюремный двор.

(Перевод с сербскохорватского М. Павловой)

(С тюрьмами коммунист Давичо был «знаком» и лично. В 1932 году он был арестован и осужден на пять лет тюрьмы.)

Давичо оказал безусловное влияние на последующее развитие сербского стиха, особенно экспрессией своих образов: «На плече моем винтовка ранней розой запылала»; «пропасть ран»; «кратер ран уж не дымится»; «лоб я прячу под бинтами, белыми, как месяц сонный. И беременная смертью, в смерть спускается колонна...» Даже картины природы у Давичо «вдруг» взрываются в финале:

Я люблю природы бесконечный праздник,
эти горизонты в дали неоглядной,—
так приговоренный в ожиданье казни
дуновенье жизни пьет глотками жадно.

(Перевод с сербскохорватского М. Павловой)

Интересны также творческие поиски тех широко известных в Югославии поэтов, которых иногда называют даже родоначальниками «новой сербской поэзии». Например, Васко Попа, Миодраг Павлович. Мне представляется, что если к поэзии применим тезис Алехо Карпентьера о том, что латиноамериканский роман — это желание открыть вещи, еще литературой не названные, то аналогичное стремление поэта — соединить в поэтическом образе разные временные и пространственные пласты современной действительности, открыть новый «континент, в котором встречаются все эпохи» (снова воспользуюсь термином Карпентьера) — задача вовсе не кощунственная. Так, если поэзию Васко Попа, значительного художника (по данным ЮНЕСКО, он стоит первым среди переводимых поэтов из Югославии), не отрывать от мифологических корней славянского праискусства и отчетливо представлять глубоко трагическое восприятие поэтом современного мира, отражением чего служит его попытка проникнуть в суть действительности и посягнуть на раскрытие ее наиболее общих законов, то при должном углублении в непростую метафорическую, ассоциативную ткань его стихов мы придем к серьезным выводам о себе и мире. Легенда, миф, астрологические представления (в циклах «Волчья земля», «Поклонение хромому волку», «Косово поле», «Святой Савва») вызывают вполне понятные ассоциации. Но это не просто аллегории. Недаром одна из известнейших книг поэта называется «Кора». Образы ее — как бы зерна, очищенные от многослойной «скорлупы» внешних представлений и легко напрашивающихся ассоциаций. Волнующая тайна ночи и звезд в ночи, испокон века тревожащая людей, вызвавшая у раннего Маяковского крик: «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда!» — эта тайна только символ надежды человечества на свет будущего, который развеет тьму незнания. И вот сегодня, через сорок с лишним лет, Васко Попа пишет:

Каждая ночь зажигает свою звезду
И танцует вокруг нее черные танцы
Покуда звезда ее не погаснет

. . . . . .

Игра эта будет длиться покуда
Не останется в мире одна лишь последняя
ночь
Эта — будет сама и звездой и ночью
И сама зажжет себя и сама вкруг себя
отпляшет
Последний черный танец

(Перевод с сербскохорватского М. Лилгер)

Неужели это намек на атомную ночь? Для того чтобы этого не случилось, мысль человека, его поэтическое прозрение должны искать альтернативы для мира... Это может быть и сомнение в к[illegible]ких-то основах цивилизации («Надменная ошибка»), и предупреждение, что природа может и отобрать свои дары («Калач из пепла»), и защита личности от наступления массово-

го стандарта на внутренний мир («Прочь»). Даже в самых «зашифрованных» стихотворениях поэта живет напряженная гуманная мысль о цели существования, о героическом противостоянии человека космическому холоду небытия...

Я вспоминаю поездку с Васко по Воеводине, дороги Шумадии, вдоль которых встретил я выбитые на стелах краткие афоризмы о свободе, принадлежащие перу Попа. Они живы напоминанием: никто, кроме нас самих, не защитит человека, народ, жизнь. И еще я вспоминаю стихи Васко о красноармейце, который за час до расстрела спрашивал сидевшего с ним в камере серба про дорогу на родину. Тот мял хлебный мякиш и на полу отмечал им города, через которые должен был пройти красноармеец... Или стихотворение «Безусловная цель» о воле советских солдат к победе.

Миодраг Павлович не использует и этих «открытых», как их называют в Югославии, возможностей дешифровки гуманистической идеи своего творчества. Мысль в его стихах — проблемы человеческого духа на различных «перекрестках истории» — аскетична и сгущена. И лишь аллюзии, языковой колорит (книгой «87 стихотворений» М. Павлович ввел в сербскую поэзию арго, банальные языковые формулы, речь бытовую) «приближают» к нашему времени картины былых веков. Например, в «Охоте»:

У нас были кони добрые и стрелы
кремневые,
зверьем полна была чаща.
Но брат молчаливый мой
понимал речь звериную.
У вепря был голос прадеда,
у птиц голосочки сестрины.

Охотники, не найдя «настоящего зверя», вернулись обратно, и люди прокляли неудачливых охотников, не пустили даже в монастырь отогреться...

Лишь кони мчали нас преданные
из меньшей дали в большую,
и птицы летели над головами,
облака раздвигая.

(Перевод с сербскохорватского А. Наймана)

Относительность времени — один из краеугольных камней современного так называемого «интеллектуализма» в поэзии. Тут сталкиваемся мы с проблемой «прошлое — будущее» как категорией одновременного, как бы синхронного существования в разных временах. Стихотворение «Певец древней войны», например, поначалу воспринимается как хроника давних событий, оно «перевернутой» идиомой («только в домах повешенных просят, чтобы я говорил о веревке») и намеком на страшный, апокалипсический конец мира («Кто теперь будет в поле дожидаться утреннего зова всходящего солнца, кто найдет для песни новое начало и лучший конец?») поворачивает читательское внимание к тревогам отнюдь не каменного века...

Конечно, ни одно направление не может претендовать на абсолютную новизну своих открытий. Понятие традиции включает в себя и новаторство. Как и «интеллектуализм» — только термин, а не характеристика особого содержания искусства. В практике поэзии все более тонко и относительно. Большинство дарований прописано обычно на скрещении разных критических координат.

Творчество Ивана В. Лалича, например, по строению образа и вниманию к отвлеченным проблемам можно отнести и к новым течениям югославской поэзии, но по строгой организации — ритма, метрики, рифмы — стих его вполне традиционен. Главное же заключается в том, что содержание стихов И. Лалича — философское осмысление истории — подчинено идее преемственности культуры. Само обращение к мифу, Византии или Возрождению знаменует тягу к гармонии, логике. Одним словом — цельности духа. В «Наблюдателе чаек»:

Я многое изучил: геометрию голода
В движенье крыльев лекальных, и страх
Серебряной плоти жертв в минуту
свершенья
Брака меж перьями и водой, и форму
пустот,
Видимую на миг в разорванных нитях
воздуха
Которые свяжет взмах следующего крыла
В таком же точно движении...

(Перевод с сербскохорватского А. Наймана)

Мир разорван, но его надо «связать», пусть многими «движеньями» наших воль, нашего разума, усилиями разных времен. Ведь, как сказано в стихотворении «Плач летописца», после кризисов истории всегда остается жизнь, воля, надежда, остаются «шаткие мостики в лопающиеся дали, куда я иду, еще сильный, в компании поредевшей».

Что есть надежда, как не мечта
о цельности:
Согласие берегов, возглас, вставленный
четко
Во фразу, как камень в середину свода...

(Перевод с сербскохорватского А. Наймана)

«Пустота» — символ небытия, непознанного, неоформленного, а героизм человека, его призвание на земле — «вочеловечить» (А. Блок), дать форму, соединить ту порванную нить связи между людьми и временем, о которой сокрушался еще принц датский у Шекспира. Характерно и название одной из книг Ивана В. Лалича — «Помехи на линиях связи». Неостановимостью дерзания, непрерывностью подвига напоена атмосфера этих стихов. Упал ли Икар? Доплыл ли Одиссей до Итаки?

Все здесь в сфере догадок. Главное, что было упоенье ветром, след, прочерченный в вечности. А «линия» протянута именно в вечность. Русскому читателю памятна вырвавшаяся у Твардовского фраза, обращенная в даль времен: «...Между своими связь жива. Меня ты слышишь, друг потомок? Ты повторишь мои слова?»

Двадцатый век все определеннее заставляет художника решать не только национальные, но и универсальные задачи общечеловеческого свойства — борьба за мир, проблемы космоса, экология и т. д. И тут выявляется новое единство свойств и качеств дарования, в котором, с одной стороны, сказывается стремление к постижению природы, тайны жизни и человека, пантеистическое «вчувствование», если можно так выразиться, в дух материи, а с другой — влияние новых, всеобщих процессов мировой цивилизации, духа НТР. Надо сказать, что Югославия за годы строительства социализма совершила резкий скачок из почти патриархального крестьянского состояния на уровень развитой страны с относительно высоким показателем экономического развития. В сфере психологической такие скачки чреваты контрастными и сложными типами отношений к действительности. Поэзия отразила и этот процесс. В творчестве македонца Радована Павловского запечатлено противоречие между миром стандарта и естественностью мира природы. Оппозиция Павловского механическому, чрезмерно рационализированному существованию человека имеет и более широкий адрес. Для художника прелесть жизни в ее непреднамеренности, неожиданности, стихийной силе. Неприрученная, по-дикому прекрасная природа, считает он,— вот красота, достойная человека. Поэзия, по Р. Павловскому, по сути — «подкожный трепет всего живого». Отсюда и отношение к искусству как к жреческому ритуалу — потаенному, интуитивному угадыванию хода жизни, радостному соучастию в творчестве самой природы. Есть ли тут известная отрешенность от сознательно-исторической деятельности человечества, его творческой воли, или это только метафора слитности личности с миром? В целом творчество Р. Павловского оптимистично в своей основе и выражает просящуюся в стихи повсеместную боль о живом, естественном, духовном в мире стандарта:

если вдруг оборвется нить
что связует корни и звезды
если вдруг оборвется
завещаю природе
стихи мои петь
вместо меня.

(Перевод с македонского М. Павловой)

Это сказано не столько жизнеутверждающе, сколько беззащитно-искренне.

Другой психологический тип отношения к жизни — сохранение витальной силы страсти как единственного спасения в мире расчета и условностей. Примером может служить эротическая вакханалия в лирике Бранко В. Радичевича, современная вариация вечной темы любви.

Третий тип. Нахлынувшие потоки информации, несовмещение образа статического и вечно изменчивого окружения поэта нередко приводят к инстинктивной тяге художника к спасительному стилю «ретро». Современные идиллии, преувеличенное представление о природе как олицетворении покоя и гармонии. Или молчание листьев, травы, птичьи письмена, пение ручьев — альтернатива опасному, тревожному или драматическому голосу человеческого мира? Для словенца Цирила Злобеца тишина камня, шорох ящерицы и слово, которое не в силах себя выразить,— явления неразгаданности, тайны, уходящей в природу, как река — под землю...

Я назвал бы еще один, четвертый тип эмоционального отношения к жизни под влиянием убыстрения ее процессов — переоценка понятия «миг». Миг как вечность. Относительность понятия времени. И отсюда — попытка запечатлеть мгновение жизни. Хорват Славко Михалич, используя смещение образов реальности и воображения героя, гротеск и фантасмагорию «видимого» и «предполагаемого» (которые к тому же нередко меняются местами), творит легенду из крупиц повседневного. Вот подсмотренная в окне девушка, машинально расстегнувшая рубашку, вырастает до символа Радости и Красоты, заставившего окружающих забыть о прозе и заботах дня в смятении нахлынувшего сирокко, причем в игру весны, сменившей на время осень, включается и сама природа — на вербах распускаются почки, пока внезапно наступившее прозрение и отрезвление («подул проклятый северный ветер») не разрушает сказку... Примечательная деталь: злой этот ветер просвистел «после минут, пришедших в темных плащах, после секунд с цилиндрами и бамбуковыми тростями»... То есть, другими словами, сказка старомодна, как одежды прошлого века, а реальность жестока и быстротечна. Если у Б. Конеского, как помним, время по сути эпично, «внелично», объективно («мы не пишем по своей только воле»), время С. Михалича хотя и наполнено вечностью, как бы кричит о непрочности всего, за что хочется ухватиться, но ускользает капризно и своевольно из наших рук... Чаще всего, особенно в его стихах 70-х годов, время и любовь лирического героя одновременно «проходят» в прямом и переносном значении слова: уходит чувство и «кто-то прошел с луком и стрелами»... Уходят, и лишь «отражения... долго дрожат» на воде.

Как многочисленны течения, направления, типы отношения к действительности— так и многообразны формы художественного выражения. Если говорить о превалирующих формах поэзии, можно констатировать, что верлибр в югославской поэзии сосуществует с классическими метрами и ритмами традиционной системы стихосложения. Но часты и песенностроф ические формы. Декламационная манера или разговорно-повествовательный стих Славко Яневского, Янеза Менарта, Изета Сарайлича, Блажо Щепановича или Гойко

Дапчевича (автора взволнованной поэмы на смерть Альенде) — с одной стороны, сложная метафорика и ассоциативный стиль Матея Матевского, Славко Михалича или Вито Марковича, предельная зашифрованность Томажа Шаламуна, с другой — это, по всей вероятности, полюсы, между которыми можно прочертить густую сеть меридианов стилистических манер и почерков.

Связь югославской поэзии с советской многонациональной культурой имеет еще, так сказать, резервы. Обоюдное знание полезно и той и другой стороне. Хочется отметить благородную деятельность наших коллег из Югославии в области переводов русской и советской поэзии. Д. Максимович, Р. Зогович, С. Раичкович, Г. Крклец, Г. Тодоровский, Т. Павчек и другие поэты талантливо воссоздали на языках народов Югославии произведения современных авторов нашей страны. Классика же наша и по сей день оказывает влияние и глубоко чтится как поэтами, так и широким кругом читателей в СФРЮ.

Хочется сказать и о волнующем чувстве благодарности югославским художникам слова за теплые строки о нашей стране.

И как-то сжимается сердце, и мы еще раз ощущаем свое родство — традиций, революции, культуры,— следя за мелодией стихотворения Гане Тодоровского, в котором живет память об отце, любившем петь песню на лермонтовские слова...

Шум умолк... ночное небо чисто,
Скопле спит, в нем тихо и темно.
Мне не спится, месяц серебристый
льет холодный свет в мое окно.

Так опять прекрасно и безлюдно,
так земля обласкана лучом...
«Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?»

О, какой магическою силой,
песня, дышишь ты! Передо мной
всякий раз отцовский образ милый
в этот миг встает из тьмы ночной.

«Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь
блестит..:»
Припадаю к отчему порогу,
лермонтовской нежностью омыт...

(Перевод с македонского А. Кушнера)

...Не случайно статья названа «Пристрастные заметки». Я не ученый-славист, не историк искусства Югославии, я писатель, друг Югославии, часто бывавший в стране, подарившей мне дружбу многих из тех поэтов, о которых говорю я в своих заметках. Мои выводы и наблюдения (часть из них — эти заметки)' — могут не только дополнить, но, быть может, и оспорить мои советские коллеги, тем более югославские критики. И все же мне хотелось поделиться мыслями о современной поэзии братской страны.

Мои заметки, разумеется, не претендуют на обзор, систематическое изложение материала. Я исходил из того, во-первых, что советский читатель довольно хорошо знаком с творчеством таких поэтов, как Десанка Максимович, Радован Зогович, Стеван Раичкович, Весна Парун, изданных у нас отдельными томами, некоторые — и не один раз. И хотел познакомить читателя с другими именами, мало или совсем неизвестными у нас. Во-вторых, выпустив в свое время первую антологию черногорской поэзии («Песни Черной Горы», М., «Прогресс», 1972), которой предпослана обстоятельная статья о черногорской поэзии XX века, я не считал нужным подробно говорить здесь, в журнале, о целом отряде самобытных художников слова — черногорских поэтах. Наконец, единственно из соображений места, ограниченного рамками журнальной статьи, я вовсе исключил страницы, посвященные молодым поэтам Югославии или тем поэтам разных поколений, чье творчество хотелось бы рассмотреть с нужной степенью переводческой доказательности, а их стихи пока не переведены.

Но разве это — последний разговор о югославской поэзии?

◆

И. ДУБАШИНСКИЙ

НА МАГИСТРАЛИ РЕАЛИЗМА

О творчестве Чарльза П. Сноу

Прошло всего несколько месяцев после смерти этого выдающегося английского прозаика, и трудно еще осмыслить его творчество как нечто уже завершенное. Осталось немало свидетельств того, что писатель несмотря на недуги и почтенный возраст (в октябре 1980 года ему исполнилось бы 75 лет) был занят осуществлением новых замыслов. К примеру, в книге «Реалисты» (1978) он извещал читателя, что вслед за включенными в нее очерками о писателях XIX — начала XX века он собирается писать литературные портреты современных реалистов. А незадолго до кончины в интервью корреспонденту «Литературной газеты» [1] Сноу сообщил, что работает над романами «Физик» — об ученых и «Высшее божество», который был задуман как роман политический.

Возвращаясь теперь к созданному писателем за полвека литературной деятельности, мы вновь и вновь убеждаемся в том, что Сноу постоянно искал новые объекты и новые решения. Вместе с тем движение художественной мысли Сноу было подчинено некоторым постоянным установкам, выработанным им самим, своего рода «законам». Один из таких законов Сноу сформулировал в упомянутом интервью: «...я предпочитаю книги с глубоким социальным содержанием. Именно такие книги я старался всегда писать».

За исключением романа «Коридоры власти» произведения Сноу отражают социальную жизнь не в эпической широте, а в столкновениях характеров и обстоятельств, которые охватывают быт и нравы сравнительно узкой среды — ученых, политиков, адвокатов, людей бизнеса. Но эти персонажи и обстоятельства, соотнесенные с событиями и процессами крупного масштаба, дают достоверное представление о движении национальной истории.

Уже в начале творческого пути Сноу осознал, что правдивость изображения немыслима без четкой общественной позиции автора, без прямо или косвенно выраженного отношения художника к тому миру, который он исследует. Свою идейную позицию Сноу определил как «активный гуманизм». Он писал об этом в статье «Заметки о гуманизме», которая была опубликована в сборнике «Гуманизм и современная литература». В книгу вошли материалы дискуссии, проведенной в Москве в 1962 году, и имя Сноу, приславшего свою статью из Англии, закономерно находилось рядом с именами Ч. Айтматова, О. Берггольц, С. Залыгина, Г. Медынского — их концепции во многом совпадают. Сноу противопоставлял свой взгляд на мир различным формам пассивного сострадания униженным и оскорбленным, он был убежден, что истинный гуманизм подразумевает и борьбу со злом, действенную защиту человека.

Мировоззрение писателя было не лишено противоречий; разоблачая лживость английской демократии, Сноу в то же время полагал, что существующая социальная система может гарантировать свободное раз-

[1] «Литературная газета», 16 июля 1980 г.

ДУБАШИНСКИЙ ИОСИФ АБРАМОВИЧ (род. в 1919 г.).

Советский критик и литературовед, доктор филологических наук, профессор. Автор книг «Вильям Шекспир» (1965, 1978), «Памфлеты Свифта» (1968), «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта» (1969), «Поэма Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» (1975), «Поэма Байрона «Дон Жуан» (1976), «Сага о Форсайтах» Голсуорси» (1979) и статей по английской литературе.

витие личности. Однако писатель подвергал острой критике социальные институты Англии. В творчестве Сноу большую роль сыграла неизменная ориентация писателя на духовные ценности, созданные русскими писателями, на гуманистические идеалы их произведений. По мнению Сноу, «представителями подлинного гуманизма» были Чехов и Горький.

Талант писателя, воссоздавшего английскую действительность XX века, полнее всего раскрылся в его романном цикле «Чужие и братья» (1940—1971) [1], состоящем из одиннадцати книг, а также в романах последнего десятилетия: «Недовольные» (1972), «Хранители мудрости» (1974), «Слой лака» (1979).

Как известно, Сноу был ученым, членом парламента, общественным деятелем. Университетские профессора, исследователи, работающие в атомном центре, присущие этой среде коллизии, обычаи, формы общения — все это органично входит в повествование Сноу, в чем-то напоминая манеру письма Герберта Уэллса. Развитие действия в романах цикла «Чужие и братья» и в других произведениях Сноу отличается продуманностью, строгим «сцеплением» событий и точностью характеров.

Ученый и писатель нашли, хотя и не сразу, общий язык в творчестве Сноу. Еще в 1959 году Сноу выступил в Кембриджском университете с лекцией «Две культуры и научная революция» о критериях оценки произведения искусства и научном познании вообще. Текст этого выступления был напечатан и вызвал полемику во многих странах. Острота дискуссии свидетельствовала, что проанализированное Сноу противоречие между естествознанием, с одной стороны, и гуманитарными науками и искусством, с другой,— следствие антагонизма социального характера. Хотя Сноу об этом прямо не говорит, он вплотную подходит к такому выводу в статье «Наука и государственная власть».

Почти полвека назад Сноу завершил работу над первым романом — «Смерть под парусом» (1932). Ограниченный полисмен противопоставлен сыщику-интеллектуалу, который, как Шерлок Холмс, выступает в паре с наивным наблюдателем и раскрывает ему секреты расследования убийства Автор следует схеме Конан Дойла и в то же время стремится преодолеть ее. Некоторые персонажи начинают, кто в шутку, а кто всерьез, сопоставлять свои поступки с тем, как развивается действие в известных им детективных романах. В результате детективный жанр, сохраняя свои контуры, обретает новое свойство: автор как бы пародирует жанр и в повествовании появляется иронический оттенок.

Автор книги о Сноу А. М. Люксембург [1] считает, что Сноу в романе «Новые жизни в обмен за старые» (1933) использовал «уэллсовский принцип фантастического допущения». Следуя классику научно-фантастического жанра, Сноу размышляет о перспективах науки, теснейшим образом связывая деятельность ученых с социальными обстоятельствами. И здесь автор, анализируя общественные условия, применяя принцип фантастического допущения, реалистически характеризует общественные отношения Англии тех лет.

После этого произведения и почти одновременно с ним вышедшего романа «Поиски» (1934) и намечается «переход» к творческой зрелости, к тем художественным формированиям, которые составляют знаменитый цикл «Чужие и братья».

Наука по-прежнему занимает романиста, однако в повествование вторгаются и коллизии, возникающие в парламенте, в юридических инстанциях, во взаимоотношениях отцов и детей, в университетских аудиториях. Появляются новые персонажи: министры, чиновники разных рангов, студенческая молодежь, проникнутая нигилистическими настроениями, бизнесмены, финансисты, представители вырождающейся аристократии, цепляющиеся за свои привилегии, медики, юристы, парламентарии — около двухсот персонажей населяют художественный мир Сноу.

Критики спорят относительно того, что объединяет отдельные романы и позволяет рассматривать цикл как художественное целое. Например, Уолтер Аллен полагает, что «ведущий мотив Сноу — границы возможностей личности» [2]. Далее английский ученый присоединяется к тем, кто вкладывает в приведенную формулу более узкий смысл, считая, что Сноу исследует, как личность решает «проблему власти». У. Купер, критик, романист и друг Сноу, считает, что само заглавие цикла — суть его концепции: люди — чужие, но цель жизни состоит в преодолении отчужденности и установлении братства людей[3].

В работах советских литературоведов (П. Балашова, Д. Шестакова и в особенности В. Ивашевой, которая очень многое сделала для изучения и популяризации творчества Сноу в нашей стране) правомерно отстаивается мысль о том, что богатство социального, нравственного и психологического содержания, воплощенного в цикле романов, невозможно выразить в одной формуле.

Пожалуй, точнее других свое кредо сформулировал сам Сноу: «...моя мысль заключается в том, чтобы изобразить жизнь различных слоев общества за последние тридцать лет в поперечном разрезе и ее восприятие и влияние на внутреннюю жизнь отдельной личности» [4].

[1] В цикл вошли романы: «Джордж Пэссент» (1940), «Свет и тьма» (1947), «Пора надежд» (1949), «Наставники» (1951), «Новые люди» (1954), «Возвращения домой» (1956), «Совесть богачей» (1958), «Дело» (1960), «Коридоры власти» (1964), «Сон разума» (1968), «Завершения» (1970). Пять из этих романов, заглавия которых выделены, переведены на русский язык. Кроме них переведены также романы «Смерть под парусом», «Поиски», «Хранители мудрости», а также публицистическая книга «Две культуры».

[1] А. М. Люксембург. Творческий путь Ч. П. Сноу. Изд-во Ростовского ун-та, 1979.
[2] У. Аллен Традиция и мечта. М., «Прогресс». 1970, стр. 170
[3] Cooper W. C. P. Snow. L., 1959, p. 30.
[4] Ч. П. Сноу. Английская литература сегодня. «ИЛ» № 6, 1957, стр. 224.

И. ДУБАШИНСКИЙ
НА МАГИСТРАЛИ РЕАЛИЗМА

В цикле «Чужие и братья» читатель знакомится со множеством разнообразных «отдельных личностей», но одна из них находится в центре изображаемых событий. Это — Льюис Элиот. Он выступает в качестве повествователя во всех одиннадцати романах и тем самым соединяет сюжеты воедино. Он наблюдает, как развертываются другие судьбы, и анализирует собственную жизнь. В предисловии к русскому изданию романа «Пора надежд» Сноу настаивает на тождестве повествователя и самого создателя цикла «Чужие и братья»: «По существу Льюис Элиот — это, конечно, я» [1]. Однако многие биографические детали не совпадают, в частности, Элиот — юрист, Сноу — физик. Впрочем, главное различие состоит в другом: ни одному литературному персонажу не дано обладать кругозором и предвидением автора. И то, что Сноу оговорил словами «по существу», надо, очевидно, понимать как терпимость, гуманное отношение к людям, сознание социального и нравственного долга, способность критически оценивать свое положение и поведение.

В «Поре надежд» и «Возвращениях домой», а затем в заключительных томах — «Сне разума» и «Завершениях» — автор особенно детально изображает события личной жизни Льюиса Элиота. Эти романы дают представление об эволюции повествователя, сначала прошедшего длинный путь от радикально настроенного, честолюбивого клерка до государственного деятеля, а затем, подобно самому Сноу, ставшего писателем. Элиот вступает в многочисленные контакты с профессорами Кембриджа, физиками из атомного центра, политиками и бизнесменами. Он негодует, когда преследуют коммуниста Хоуарда («Дело»), он с сочувствием относится к коммунистке Энн Саймон («Совесть богачей»). Но в то же время он не без восхищения описывает властного магната Лафкина («Возвращения домой», «Коридоры власти»), который связан с консервативной партией. Элиот вполне искренне считает, что никакой двойственности в его симпатиях нет, что столь широкая амплитуда его «притяжений» дает ему возможность оставаться объективным во всех ситуациях. И, конечно, он заблуждается в этом.

В «Коридорах власти» Элиот вместе с министром Куэйфом вступает в борьбу за ядерное разоружение Англии. Пожалуй, в этом романе Элиот наиболее активен в своем радикализме. Затем, однако, следует крен Элиота вправо, запечатленный в «Сне разума» и «Завершениях». Изменение политической позиции Элиота, вероятно, можно объяснить тем, что на какой-то ступени исчерпалась его политическая и гражданская активность: после отставки Элиот возжелал спокойной жизни и стал не без опаски относиться к любому проявлению социального протеста. Вполне понятные заботы о семейном благополучии заменили, таким образом, деятельный интерес к политической жизни.

Не исключено, что Сноу излишне «продлил» существование Элиота в последних двух романах цикла «Чужие и братья». Однако во всей остальной части цикла Элиот безукоризненно «выполняет» функцию рассказчика, стремящегося объективно оценить события и людей.

В некоторых романах цикла «Чужие и братья» в центре повествования, как уже говорилось, предстает группа людей. В «Наставниках», например, это профессора и преподаватели одного кембриджского колледжа, напоминающего разворошенный улей. Смертельно больной ректор своим авторитетом ранее приводил в равновесие разнородные индивидуальные интересы. Теперь прежнее единство уступает место расколу и соперничеству двух фракций, каждая из которых выдвигает свою кандидатуру на освобождающийся пост ректора. Если бы это была только «борьба за власть», столкновение честолюбий, то конфликт так и оставался бы локальным, однако Сноу углубляет художественный анализ этих отношений, раскрывая политические взгляды своих героев — прогрессивно настроенного профессора Кроуфорда и консерватора Джейго, сочувствующего франкистским мятежникам в Испании. И потому словесные баталии в кембриджском колледже можно рассматривать как модель, отражающую дифференциацию общества и процессы, типичные для всей Англии конца 30-х годов нашего века.

Сноу особенно склонен к изучению противоречий, возникающих в человеческих отношениях и отдельных характерах. В этом проявляется одна из особенностей современного реализма, осмысляющего мир более сложный, чем тот, который открывался взору Диккенса и Бальзака в прошлом столетии.

Роман «Дело» еще раз свидетельствует о направленности таланта Сноу. Поле борьбы избрано автором то же, что и в «Наставниках»,— кембриджский колледж. Но если в «Наставниках» социально-политическая ориентация участников конфликта была только декларирована, то в «Деле» она непосредственно влияет на содержание борьбы. Преподаватели колледжа ополчились против коммуниста Хоуарда и не могут преодолеть в себе отрицательного отношения к человеку, придерживающемуся иных, чем они, суждений. Хоуарда преследуют по обвинению в научном подлоге, и даже тогда, когда все убеждаются, что он его не совершал, совет колледжа принимает решение, фактически лишающее Хоуарда права преподавать в колледже.

Хоуард неоправданно резок, малообщителен, не располагает к себе. На этом основании, казалось бы, можно сделать вывод, что автору не удалось создать убедительный портрет человека, который воплощает передовой идеал. Но следует исходить из замысла автора — ведь Сноу ставил своей задачей раскрыть не столько достоинства коммуниста, сколько неблаговидное поведение его противников. Писатель резко осудил тех английских интеллигентов, которые не просто ослеплены антикоммунистической пропагандой — они потеряли элементарную способность непредвзято судить о своем коллеге, человеке, которого они как будто хорошо знали.

В романах «Новые люди» и особенно «Ко-

[1] Ч. П. Сноу. Пора надежд. М., Изд-во иностранной литературы, 1962, стр. 6.

ридоры власти» расширяется масштаб событий, конфликт обретает особую остроту. Автор воссоздает настроение той части общественности, которая сильно встревожена опасной политикой милитаризации Англии.

Резкая критика правительственного курса тори развертывается без экспозиции, с первых страниц романа. Автор, опираясь на документальный материал (только изменив фамилии государственных деятелей), воспроизводит пагубные последствия агрессии Англии, Франции и Израиля против Египта в 1956 году. Репутация международного жандарма, потеря прежних экономических и политических позиций — таков был результат попытки поставить на колени Египет эпохи Насера.

Однако (и это показывает Сноу) в парламенте Англии после позорного провала суэцкой авантюры долго еще звучали выступления официальных лиц, которые при поддержке обеих палат превозносили мнимую решительность действий правительства.

Только соотнеся эти панегирики в честь империализма с продуманной политикой парламента — провалить законопроект министра Куэйфа об отказе от ядерного оружия,— мы постигаем смысл англо-франко-израильской агрессии. Весь роман подчинен одной цели — показать безумие этого политического курса. Автор подводит читателя к мысли о реакционности внешней политики Англии и предпринятых партией консерваторов действий, грозящих ядерной катастрофой.

В те годы массовое антивоенное движение в Англии еще не было развито, а министр Куэйф искал опору среди тори и некоторых лейбористов, и потому его поражение в парламенте изображено как неизбежность. Куэйф сложен, противоречив, честолюбив, он взял ответственность за решение политической проблемы на себя и проводит борьбу почти в одиночестве. Но при всем том буржуазный политик Куэйф понимает, что в случае успеха не просто поднимется его престиж. В одном из своих выступлений Куэйф недвусмысленно намекает, что в спасении всеобщего мира и покоя — мир и процветание Англии: «Мы народ многоопытный. Мы прошли через великое множество опасностей. Не по нашей вине случилось так, что эта новая опасность, этот изменившийся характер войны, этот термоядерный удар для нас страшней и гибельней, чем для любой другой великой державы» [1]. Не может вызвать сомнений высокий позитивный смысл рассуждений министра — так же, как и неэффективность избранной им тактики, рассчитанной в сущности на то, чтобы добиться расположения парламентского большинства. Прекрасно раскрыто это соотношение силы и слабости энергичного Куэйфа, который сразу же сложил оружие после того, как его законопроект был провален.

Циклическая структура большой эпической формы, разработанная Сноу, подразумевает единство, основанное на многообразии жанровых признаков. Казалось бы «Новые люди» и «Коридоры власти» можно отнести к жанру политического романа, а «Пору надежд», «Возвращения домой» и «Завершения» — к биографическим романам. «Совесть богачей» — семейный роман, а «Джордж Пэссент», «Наставники», «Дело» и «Свет и мрак» — социально-психологические романы. Однако некоторые из этих произведений содержат в себе признаки нескольких жанровых разновидностей. Так, «Возвращения домой», являясь продолжением «Поры надежд», сохраняет признаки романа-биографии. Правда, в связи с тем, что в повествование решительно «вторгается» социальная жизнь в виде самостоятельного объекта художественного анализа, это произведение обретает черты социально-психологического романа. Даже в «Коридорах власти» есть второй план, раскрывающий семейную драму Куэйфа и придающий произведению новый жанровый оттенок.

В романе «Недовольные» (1972) автор смело исследует сферу жизни, ранее лишь мельком затронутую в романе «Завершения»: Сноу показывает «новых левых» с характерным для них пафосом всеотрицания и отсутствием позитивной программы. Персонажи «Недовольных» напоминают молодых французских экстремистов, изображенных, к примеру, в известном романе Р. Мерля «За стеклом».

Заслуга Сноу — раскрытие специфики английских «недовольных». Организаторы группы Стивен Фрир и Марк Робинсон рассчитывают бороться со злом совсем не так, как это пытались делать герои Мерля, вступившие в схватку с полицией. Они стремятся разоблачить преступный характер действий одного парламентария, который наживался, сдавая за непомерно высокую плату трущобы темнокожим иммигрантам. Автор показывает, что распад и поражение группы «недовольных», в ряды которых проник провокатор, неизбежны, потому что их силы несоизмеримы с силами государства.

«Хранители мудрости», по единодушному признанию критиков, знаменовали собой новый взлет реализма Сноу. Главная коллизия этой книги обнаруживает свое родство с некоторыми романами Диккенса: в «Хранителях мудрости» вся система событий и персонажей основывается на судебной тяжбе вокруг наследства. Сноу не случайно избрал знакомую сюжетную схему: пока существует собственническое общество, борьба за богатство не «устаревает» и во многом определяет человеческие отношения. Автор «Хранителей мудрости» по-новому осмысливает старый сюжет, в соответствии с теми переменами, которые произошли в нравственном облике английского буржуа, такого же алчного, как в диккенсовские времена, но уже понимающего, что «его» Англия неудержимо катится вниз.

Об экономическом упадке и снижении престижа страны с тревогой говорят и в кулуарах и в палате лордов персонажи романа — лорды Хиллмортон, Райл и Седжвик. На фоне такого неблагополучия социальной системы одно судебное дело, затеянное из-за наследства умершего Мэсси, выглядит как наглядное свидетельство вырождения властей предержащих.

[1] Ч. П. Сноу. Коридоры власти. М., «Прогресс», 1979, стр. 517.

И. ДУБАШИНСКИЙ

НА МАГИСТРАЛИ РЕАЛИЗМА

Автор построил действие так, что в одной инстанции суда выигрывает Дженни Рэстал, дочь покойного Мэсси, а в другой — ее соперник Джулиан Андервуд.

Здание, где идет разбирательство дела о наследстве, и дворец, где происходят заседания парламента,— художественное пространство, которое как бы вместило в себя историю упадка страны и тех, кто управляет ею. Сноу обычно снисходителен к своим героям, но в «Хранителях мудрости» его ирония беспощадна.

Может быть, достойна снисхождения Дженни Рэстал, ведь она менее инициативна в погоне за выгодой? Но и она признается, что неравнодушна к деньгам отца, что исполнена ненависти к Лиз Хиллмортон только потому, что та любит Джулиана Андервуда, а он судится с Дженни.

Может быть, лорд Седжвик — крупный ученый, привыкший, как это ни странно, говорить то, что думает, стойко противостоящий недугу,— может быть, он истинный хранитель мудрости? Нет, и ему не дано понять, что палата лордов, где он заседает,— социальный институт, давно отживший свой век. Став из дружеских чувств к Хиллмортону на сторону Джулиана Андервуда, он оказался недальновиден, как все остальные...

Последний из опубликованных при жизни Сноу романов — «Слой лака» (1979). Это роман с детективной фабулой, значение которой состоит в том, чтобы показать, что благопристойность аристократии — видимость, маска, скрывающая разные пороки у разных ее представителей. Глава следственной службы лондонской полиции Брайерс — знаток своего дела, и ему необходимо установить, кто убийца леди Эшбрук. Это лишь прием детективного жанра. Но автор ставит перед собой задачу более широкую, чем обнаружение преступника. В ответах Брайерсу или беседах с его другом Хамфри Ли проявляется социальный и нравственный облик персонажей романа: офицер Лоузби, внук убитой леди Эшбрук, как выясняется, крайне развращенный человек, а его невеста Сюзен Теркил — экстравагантная девица, которая, не дождавшись жениха, проводит ночь с подвернувшимся под руку Полем Мэйсоном; Перримен, домашний врач убитой леди, по всем данным и совершивший преступление, хладнокровно философствует о неразрешимой антитезе духа и тела. Хамфри Ли обсуждает детали расследования, находясь в спальне со своей любовницей, и ведет он этот разговор с такой спокойной деловитостью, как будто речь идет о том, чтобы запастись зонтиком на случай дождя.

Выясняется, что и леди Эшбрук, с которой жестоко расправились, была под стать окружавшим ее ничтожным людям. В молодости она проявила незаурядную расчетливость, когда устраивала свои любовные дела, а в зрелые годы разделяла идеи реакции: «Мэдж Эшбрук знала, что в порядке вещей было умиротворять Гитлера, что следовало освободиться от Эдуарда VIII, что полагалось считать Чемберлена спасителем и обожествлять Уинстона Черчилля» [1].

[1] C P. Snow. A Coat of Varnish. L., 1979, p. 124.

Все эти и другие социальные, политические и нравственные характеристики явно выводят повествование за пределы детективного жанра, это социально-нравственный роман, и детективный сюжет в нем обнажает течение опасной болезни, которой заражено собственническое общество.

Итак, Сноу остается верен важнейшему принципу реализма XIX века — принципу социальной, нравственной и психологической детерминированности характеров. Но, опираясь на опыт Диккенса, Троллопа, Бальзака, Толстого, он вносит свой вклад в реализм XX века. В его романах меньше описаний, вещный мир обозначен скупо. У Сноу бóльшую роль играет диалог, который воспроизводит напряженную духовную жизнь персонажей и острые идеологические конфликты. Параллельно в романах Сноу происходит «лиризация» эпического повествования. Этот прустовский прием обретает «английские очертания» — внутренний монолог строится на многозначности слова, на особом характере синтаксиса разговорной речи.

Своей художественной практикой и литературно-критическими трудами Сноу подтвердил, что реализм неисчерпаем и соответствует обновляющейся действительности века. Именно эта идея пронизывает его книги «Троллоп» и «Реалисты», где автор раскрывает своеобразие творческого пути Толстого, Достоевского, Диккенса, Стендаля, Бальзака, Гальдоса, Г. Джеймса и Пруста.

В предисловии к «Реалистам» и в эпилоге, который следует за серией литературных портретов, Сноу подчеркивает, что социальный анализ действительности — основа эстетики реализма. Автор не раз ссылается на известное письмо Ф. Энгельса к М. Гаркнесс, в котором речь идет о великой познавательной силе реалистического искусства. И это позволяет Сноу провести соединительные линии между творчеством писателей разных стран, разной силы таланта.

В ориентации Сноу на классиков, в его борьбе за развитие современного реализма обнаруживается не только эстетический, но и общекультурный аспект. Некоторые западные критики считают, что современное «возрождение» Диккенса, Троллопа и других писателей прошлого столетия объясняется ностальгией по доброй старой Англии. Можно спорить о причинах обращения современного англичанина к немеркнущим духовным ценностям нации. Возможно, новая ориентация в немалой степени обусловлена реакцией читателя на «массовую культуру». Реализм XIX века и современный реализм, представленный Сноу, Грином, Голдингом, Брэггом, активно противостоит не только модернизму, но и «массовой культуре». И потому настойчивость Сноу в защите и пропаганде литературы, бесстрашно осуществляющей объективный и глубокий анализ действительности,— еще одно проявление его активного гуманизма.

Сноу был другом нашей страны, он немало сделал для популяризации советской литературы в Англии. Любовь к книгам Сноу, переводы его романов на языки народов СССР, внимание советских литераторов к творчеству Сноу — свидетельство нерасторжимых связей художника с нашей страной.

◆

Критика

НАМВАР СИНХ

ИЗ ИНДИЙСКОЙ ЛЕНИНИАНЫ

Вступление и перевод с хинди И. КАРАПЕТЬЯНЦ

Личность Ленина, его мысли всегда волновали и сегодня волнуют художников слова Индии. Мулк Радж Ананд писал: «Я часто думаю о том, какую роль сыграло знакомство с идеями Ленина в моем решении стать писателем. Я многому научился у Толстого и Ганди, Тагора и Горького. Но потом понял, что подлинной основой гуманизма может быть только ленинизм».

И в годы национально-освободительной борьбы, и после получения независимости ленинские идеи стали для передовой индийской общественности путеводным маяком. В индийскую литературу имя Ленина вошло сразу же после Великого Октября. Но если в двадцатые годы образ великого вождя носит фольклорный характер, обретая порой черты мифологического героя, то в тридцатые и сороковые годы Ленин в прогрессивной литературе Индии — реальный человек, изображенный едва ли не с документальной точностью Эту мысль высказал поэт Нагарджун в одной из статей сборника «Ленин и индийская литература» (1970).

В шестидесятые годы в индийской критике появились серьезные работы, прослеживающие то, как менялось художественное видение образа Ленина в поэзии и прозе, какое воздействие оказали ленинские идеи на развитие литературы их страны. Следует назвать такие работы, как «Ленин в моей памяти» (1969) Гурбахша Сингха, «Октябрьская революция и Премчанд» (1967) Шринараяна Пандеи, а также статьи Прабхакара Мачве, Бхишама Сахни в сборнике «Ленин и индийская литература». Последние десять лет отмечены стремлением глубже и разностороннее художественно воплотить образ Ильича. Опубликовано несколько сборников, в которых представлены произведения о Ленине на многих языках страны. Одновременно возрос интерес к художественной литературе о великом человеке, созданной советскими писателями, что способствовало появлению большого числа переводных книг на эту тему. Вышедшая в 1976 году в издательстве «Прогресс» антология «Вашим, товарищ, сердцем и именем... (Писатели и деятели искусства мира о В И. Ленине)» в 1977 году была издана в Бомбее на языке маратхи. Составитель и переводчик этого сборника Сатиш Калсекар дополнил советское издание новыми стихами индийских поэтов.

НАМВАР СИНХ (род. в 1926 г.).

Индийский литературовед и критик, член Литературной академии Индии, профессор кафедры языка и литературы хинди университета имени Дж. Неру в Дели. Автор книг «Развитие языка хинди», «Современная поэзия хинди», «Романтическое течение чхаявад в поэзии хинди». Ему принадлежат также статьи о переводах русской и советской поэзии на хинди.

Публикуемая статья получена редакцией в рукописи.

Заметки известного индийского литературоведа, профессора Намвара Синха знакомят советского читателя с антологией стихов прогрессивных поэтов Индии — «Заря эпохи» (1979). В эту уникальную по своему составу книгу вошли лучшие произведения поэтов Индии, посвященные Ленину и завоеваниям Октября. По словам Генерального секретаря Национальной федерации прогрессивных писателей Индии Бхишама Сахни, антология «Заря эпохи» вносит значительный вклад в развитие творческих контактов индийской и советской литератур.

Давно хотелось увидеть сборник, представляющий нашу прогрессивную поэзию на всех индийских языках, и меня обрадовал выход в свет антологии «Заря эпохи», составленной Сударшаном Собти. Она явилась воплощением давнишней мечты. Были антологии поэзии на хинди урду и на других индийских языках но особую радость доставила встреча с прогрессивной поэзией всей Индии, собранной в одной книге. И я рад за Сударшана Собти. Его прекрасное начинание заслуживает самого горячего одобрения.

В сборнике «Заря эпохи» в оригинале опубликованы стихотворения на хинди и урду, переводы на хинди с тамили, телугу, малаялам, бенгали, панджаби, маратхи, гуджарати, синдхи, кашмири, английского и других языков. Удача этой публикации определяется, по-моему, и тем, что в нее включены лучшие, уже давно знакомые, образцы индийской литературы. Думается, эта антология будет иметь успех у читателя.

«Заря эпохи» состоит из двух частей: «Великая революция, великий человек» и «Новые песни». Стихи первой части посвящены Ленину: одни полны раздумий о вожде, в других просматривается влияние ленинского мировоззрения, великих идей Октябрьской революции. Многие рассказывают о преобразованиях, свершающихся в Стране Советов. Стихи второй части, разнообразные по своему содержанию, объединены общей идейной направленностью. Сборник, не случайно получивший название «Заря эпохи», открывается стихотворением тамильского поэта Сумбраманьи Бхарати, написанным в декабре 1917 года. Именно в Октябрьской революции увидел поэт рождение новой эпохи:

Распалась царизма гнилая громада
под натиском волн, под порывом ненастья,
Сменилась эпоха тиранства и мрака
эпохой великого народовластья!

(Перевод с тамили С. Северцева)

Рядом с Бхарати мы видим имена национального поэта Кералы Валлатхола, романтика-гуманиста Шанкара Курупа, великого поэта урду Мухаммеда Икбала, прославленного поэта хинди Сумитранандана Панта, а также поэтов, пишущих на других языках Индии, чье творчество связано с Лениным и Советским Союзом. В сборнике представлена поэзия всей Индии, многочисленная в языковом отношении и многообразная в выражении поэтических чувств. Но это встреча не только с известными поэтами старшего поколения: мы знакомимся со стихами молодого рабочего поэта маратхи Нараяна, Сурве и поэта хинди Вишванатха Трипатхи.

Вторая часть сборника открывается стихотворениями Рабиндраната Тагора и Назрула Ислама, в которых звучит мажорный гимн новому солнцу, новому рассвету. Вслед за ними произведения крупнейших поэтов хинди и урду — Ниралы, Муктибодха, Кедарнатха Агарвала, Махдума Махиуддина, Али Сардара Джаффи, Кайфи Азми, Сахира Лудхианви. Рядом с маститыми поэтами — имена молодых: Кеваль Госвами, Шьям Кашьян, Раджкумар Сейни, Раджеш Джоши. Это и создает столь полное представление о прогрессивной поэзии страны. Среди произведений о Ленине в этой антологии есть известное стихотворение «Ленин» бенгальского поэта-революционера Шуканто Бхатачарьи, умершего в ранней юности.

Ленин — повсюду, где волны народного гнева,
Где революция — пламенем в небо.
Ленин — в борьбе, в нашей силе безмерной,
В сердце моем, нетленный, бессмертный!

(Перевод с бенгали Н. Горской)

Эти строчки Шуканто постоянно звучат в моем сердце.

Перелистывая книгу, я радуюсь встрече с поэзией давних дней. Мне кажется, что новое поколение стало забывать признанные в свое время стихи, в которых звучит голос самого народа. «Заря эпохи» дала этим стихам вторую жизнь. Например, известная песня Маннулала Шармы Шиля, облетевшая благодаря народным театральным группам города и деревни Индии, «Страна — наша, земля — наша, мы — сыны земли» соседствует в сборнике рядом с песней Рамprасада Бисмиля о благородных порывах, рождающихся в сердцах сыновей Индии.

В песне «Освободительная война» Махдума Махиуддина мы читаем:

Мы вступили в бой за свободу,
Мы свободы подняли знамя!

(Перевод с урду Ю. Александрова)

Среди авторов антологии — поэт-романтик Нарендра Шарма. В первой части сборника его раннее стихотворение «Красная Россия», а во второй — известное эпическое полотно «Первое мая».

«Заря эпохи» предоставляет читателю возможность познакомиться с прогрессивным гуманистическим направлением в многоязычной поэзии 60—70-х годов и дает обширный материал для исследователей.

Прогрессивное направление индийской литературы конца 30-х годов связано, несом-

ненно, с влиянием социалистических идей, ленинского мировоззрения и воздействия Октябрьской революции на умы писателей. Это не подлежит сомнению. Но мне кажется, что воздействие Октября началось еще раньше, в период подъема национально-освободительного движения в стране, которое способствовало всплеску романтизма в индийской поэзии в 1917—1918 годах. Я считаю также, что революция в России и прямо и опосредованно повлияла на дальнейшее развитие романтизма в нашей литературе после 1917—1918 годов, на творчество таких великих поэтов, как Рабиндранат Тагор, Субраманья Бхарати, Нирала, Икбал, на формирование гуманистических идеалов. Ярким тому примером служит поэтическое творчество Субраманьи Бхарати. Думаю, что без влияния Октябрьской революции не могло бы быть написано стихотворение Ниралы «Песня облака». Справедливо это и по отношению к творчеству М. Икбала, Р. Тагора.

В сборнике нашли отражение новые тенденции индийской поэзии XX века, утверждающей идеи национальной независимости, социальной справедливости и гуманизма. «Заря эпохи» свидетельствует о том, что развитие поэтических направлений в индийской литературе связано с Лениным и событиями Великой Октябрьской социалистической революции. В этом я вижу основное значение антологии.

Сударшан Собти приурочил выпуск сборника к 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, в чем проявилось уважение к памяти великого вождя всех трудящихся. Выпустив эту книгу, делийское издательство «Искас пракашан» способствовало расширению и укреплению индийско-советского сотрудничества. Пусть же «Заря эпохи» станет одним из звеньев длинной цепи поэтических антологий, открывающих нам прогрессивную поэзию Индии.

◆

Из месяца в месяц

ИНДИЯ

РОМАН О ЖИЗНИ БЕЖЕНЦЕВ

Жизни тибетцев, бежавших от насилия и произвола, чинимого китайской военщиной, и обосновавшихся в Индии, посвящен только что вышедший в одном из делийских издательств новый роман Валлабха Добхаля «Дочь Тибета», который анализируется в отделе «Книжное обозрение» на страницах газеты «Джанюг».

В романе показана трагическая судьба людей, оторванных от родины, от привычного уклада жизни. Среди героев книги, пишет автор статьи, люди сильные и слабые, отзывчивые и равнодушные, борцы и фаталисты, покорно принимающие удары судьбы. Но какими бы они ни были, как бы ни складывалась у них жизнь, «их тяга к отчизне не только не ослабевает, а, наоборот, с годами становится все сильнее».

Центральные персонажи романа — тибетская девушка по имени Рома и ее земляк Пурэн, в прошлом солдат. Пурэн остро переживает бедственное положение соотечественников и свое бессилие помочь им. Его мучит тоска по родине и страшит перспектива оторваться от нее навсегда. Даже когда быт Пурэна и его земляков налаживается и жизнь как будто входит в обычную колею, его не покидает тревога за будущее этих людей.

Как отмечает рецензент, написанный сочными красками новый роман Валлабха Добхаля приобретает особую актуальность в современных условиях, когда на границах Индии постоянно сохраняется напряженность.

Заметки на полях

СОВЕТ УИЛЬЯМА САРОЯНА «СПАСИТЕЛЯМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

Увлеченность, одержимость — вещи прекрасные, но до определенных пределов. Незаметно для себя можно потерять критерии реального, принять желаемое за действительное.

Конечно, нет никакой гарантии, что авторы вышедшей в прошлом году монографии «Утопическая мысль в западном мире» прочитали в газете «Интернэшнл геральд трибюн» письмо Уильяма Сарояна «Спасая человечество». Жаль, если не прочитали. А то, что от их внимания не ускользнула рецензия на собственную книгу, опубликованная несколькими днями позже на страницах той же газеты,— весьма вероятно. Материалы эти в жанровом отношении вовсе не перекликаются, но не в том суть. Различна в них сама постановка проблемы: надо или не надо «спасать мир», и если надо, то как.

Судя по рецензии Анатоля Бройярда, книга Франка Е. и Фрица П. Мануэлей — еще одна весьма благонамеренная попытка проследить эволюцию утопической мысли от древности до наших дней. Бройярд напоминает слова английского поэта Филипа Сидни о том, что поэзия и утопия, быть может даже в большей степени, нежели история и философия, помогают человеку в его нравственном совершенствовании и претворении в жизнь его идеала.

«Начиная с древних греков, всегда находился доброволец, пытавшийся определить, что такое счастье, нарисовать общество которое обеспечит людям благоденствие...

Пророческие и тянущие назад, проницательные и близорукие, оптимистические и пессимистические, анархистские и монархистские, пуританские и разнузданные, реалистические и сюрреалистические, смиренные и бунтарские, добрые и злые утопии веками были зеркалом поиска человеком самого себя, поиском способа спастись от своей бесформенности, поиском столь желанного прибежища, в котором он, наконец, перестал бы ощущать себя бездомным...»

Авторам монографии, по мнению рецензента, удалось найти четкое определение феномену, который нельзя отнести целиком ни к одной из сфер человеческой деятельности:

«...Бывают политические утопии и религиозные, экологические, сексуальные, архитектурные и прочие... Это — гибрид...»

После анализа классических утопий Анатоль Бройярд приступает к разбору утопий нового времени. И тут читателя подстерегает ряд неожиданностей. В «утопические» попадают эксперименты в области биологической «инженерии», воспроизведение компьютером функции ДНК, продуцирование биологически активных веществ, способных менять состав макросреды, и многие другие открытия в области биохимии. Бройярд вслед за авторами книги отождествляет утопию с реальными достижениями научной мысли полагая, что всякое открытие — путь к благоденствию, и не учитывая социально-исторических компонентов того или иного явления.

Что же касается общественно-политических путей преобразования общества, то в монографии представлены такие «идеальные модели», как коммуны хиппи, движение сторонников контркультуры, союзы гедонистов, проповедующих культ Эроса, и прочее, и прочее. Рецензента это нисколько не смущает. Самым ярким утопистом нового времени оказывается Герберт Маркузе.

А вот в чем заключается роль художника в спасении человечества от катаклизмов современности, его место в жизни,— это остается совершенно неясным. Ибо, несмотря на ссылку на Филипа Сидни о роли поэта в нравственном совершенствовании человека вначале и цитаты из английского поэта эпохи Возрождения Джона Донна в самом конце, в статье Бройярда ничего на этот счет больше нет.

По убеждению рецензента, авторы имеют все основания считать утопией любое смелое научное открытие, способное в перспективе дать реальные изменения существующих представлений. Но тогда и таблица умножения — Великая утопия, ведь никто не станет спорить, что умножать проще, чем складывать на палочках.

Что касается общественно-политических моделей мира, то получается, что они зависят вовсе не от научного обоснования, а лишь от фантазии создателя. Что же такое

утопии в искусстве — читателю вольно решать самому.

«Если у создателя утопии есть талант, он постигает суть и самые потаенные глубины исторического момента. Он запечатлевает боль эпохи в пронзительной метафоре».

К сожалению, за риторикой и «смелыми» примерами нетрудно увидеть попытку увести читателя от конкретных явлений западной действительности, от конкретных путей к благоденствию. В чем «суть и самые потаенные глубины исторического момента», как излечить человечество от «боли» — вряд ли сможет уяснить себе обладатель книги Франка Е. и Фрица П. Мануэлей или подписчик газеты «Интернэшнл геральд трибюн». Зато письмо американского писателя Уильяма Сарояна может помочь любителю футурологической литературы трезво оценить смысл многих новейших доктрин.

Уильям Сароян пишет о тех, кто «спасает человечество», как говорится, методом от противного. «Пронзительные метафоры» алармистов (от английского слова to alarm — бить тревогу) рисуют мир столь страшным, что остается удивляться, как люди еще находят в себе силы жить. А причина их жизнестойкостн, по мнению Сарояна, проста:

«Они не тратят времени попусту на болтовню о том, что небеса скоро разверзнутся, что мир доживает последние дни, что дьявол правит человеком, что очередные пункты «повестки дня» человечества — это потоп, голод, бубонная чума, смерть и разрушение. К тому же они вовсе не желают слушать пустые разглагольствования алармистов о том, что надо делать, чтобы спасти человечество...

Ведь они и есть человечество — их облагают налогами, ими управляют, призывают на службу в армию, лишают прав, отказывают во всем; духовный и физический голод делает их выносливыми и бесстрашными. В этих испытаниях они обретают силу, которая поможет им перенести будущие испытания, понять, что протест ради протеста не имеет смысла».

Но если бы только бубонной чумой стращали людей, пишет Сароян. Совсем не за горами час еще более страшного возмездия: берегитесь русских, заклинают алармисты.

«Что же такого могут задумать сделать с Америкой русские хуже того, что сами американцы сделали с ней?» — спрашивает писатель. И с иронией заключает:

«Раз уж на то пошло, не проще ли прекратить всю эту кампанию по обработке людей с помощью средств массовой информации и сделать заявление, что, коль скоро цель коммунистов — захват Америки, им вовсе ни к чему тратить миллиарды и миллиарды долларов на оружие, чтобы уничтожить все американское население, и просто предложить им: «Садитесь в свои большие автомобили, приезжайте в Культурный центр Кеннеди, а ключи вам там вручат...»

Конечно, в бубонную чуму и захват русскими Соединенных Штатов мало кто верит, но, к сожалению, отмечает Сароян, в последнее время все чаще встречаются подобные теории и пророчества, более того, теперь и от писателя ждут, что он непременно выдвинет свою доктрину спасения человечества. Писатель должен быть громовержцем. И Сароян спрашивает:

«Если гений в литературе непременно должен обладать громоподобным голосом, может, лучше нам, писателям, заняться сочинительством музыки? Ведь Чайковский просто писал музыку и не предупреждал, что того, кто не станет его слушать, ждет смерть!..»

Таков смысл иронического письма, присланного Уильямом Сарояном редакторам «Интернэшнл геральд трибюн», Анатолю Бройярду, Франку Е. и Фрицу П. Мануэлям, а заодно и всем тем добровольцам по спасению человечества, которые видят залог свободы в «коммунах гедонистов» и лихорадочно просчитывают, в какой день и час русские приедут на своих больших автомобилях в Культурный центр Кеннеди.

Рецензия Анатоля Бройярда, как я говорила, заканчивается строками из Джона Донна:

«Боюсь, что люди, живущие в моих краях,
Осмелившись пойти искать себя,
Познать себя,
Увидят пред собою незнакомцев».

Напоминание Сарояна весьма своевременно — ошибки надо искать в себе, у себя дома.

А. НИКОЛАЕВСКАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДЛИННАЯ И МНИМАЯ

Осенью 1979 года ФРГ отметила 30-летний юбилей. Событие дало повод для появления значительного числа книг, брошюр, статей, авторы которых с разных позиций подводят итоги прошлого и пытаются прогнозировать будущее. В большинстве из них так или иначе ставится вопрос о том, как обеспечить безопасность и стабильность развития как самой ФРГ, так и мира в целом.

Буржуазные историки и публицисты, не говоря уже о политиках, выражают, как правило, удовлетворение итогами послевоенного периода: он принес стране экономическое восстановление и развитие; в отличие от веймарской эпохи сложилась более или менее прочная политическая структура, сравнительно бесперебойно функционирует партийно-парламентский механизм, проводится «уравновешенная» внешняя политика, основанная на системе западных союзов. Большего и лучшего, по мнению таких авторов, и желать нечего, а тот, кто недоволен существующим порядком вещей, должен быть отнесен, прямо или косвенно, к числу подрывных элементов. Очень часто среди этих последних оказываются не толь-

ко коммунисты, левые социалисты, но и вообще вся интеллигенция и студенчество.

Типичный пример — книга Курта Зонтхаймера «Обеспокоенная республика». Автор не нахвалится социальным и политическим строем ФРГ. Одно, по его мнению, плохо, а потенциально и опасно: без всяких на то реальных оснований в стране ширятся настроения критицизма, пессимизма, радикализма, подогреваемые попавшими в руки левых «литературными институтами» вроде ПЕН-клуба и Союза немецких писателей. Вывод элементарен: надо одернуть интеллектуалов, искоренить нигилистический дух «классовости», и тогда воцарится общественная гармония согласия. Она-то и обеспечит безопасность.

Принципиально иной подход к проблеме выдвигают действительно демократические, левые силы. Они выступают за подлинные социальные преобразования, в защиту демократических прав от покушений на них монополистического капитала, активизирующейся реакции. Именно они наиболее последовательно отстаивают линию на разрядку, на улучшение отношений с СССР, ГДР и другими социалистическими странами, на упрочение европейской безопасности. Весьма часто они ставят при этом вопрос об ответственности деятелей культуры.

Характерен в этом отношении специальный выпуск мюнхенского журнала «Кюрбискерн». В статье «Мир — надежда планеты» его главный редактор известный публицист коммунист Фридрих Хитцер пишет:

«Имена выдающихся деятелей мировой литературы первой половины XX века неразрывно связаны с международными конгрессами писателей в защиту культуры от войны и фашизма. Анри Барбюс, Максим Горький, Ромен Роллан, Генрих Манн и многие другие дали образцы поведения, на которые мы будем равняться до тех пор, пока фашизм, империализм и война угрожают народам. Опасность, нависающая над миром и культурой, требовала и требует от писателей недвусмысленно четкой позиции».

Вынеся на титульный лист заголовок «Безопасность в 4-м десятилетии», редакция как бы обозначила тему, так или иначе пронизывающую собой почти все материалы номера. Их авторы отнюдь не пытаются навязывать читателю готовые рецепты, не претендуют на скорые и широкие обобщения. Они идут от конкретного, исподволь подводя к ответу на вопрос: что, собственно, может угрожать рядовому гражданину, откуда и почему идет наступление на демократию, культурные ценности, наконец, на условия мира, в которых страна прожила эти 30 лет, пожалуй, самый длительный период без войн германской истории.

Прежде всего журнал как бы приглашает читателя к совместному осмыслению исторического опыта, того самого, который по случаю юбилея подается буржуазной прессой явно тенденциозно. Клаус Конецки в статье «Историко-политический трактат, или Какое это имеет отношение к литературе» пишет о своеобразной глухоте некоторых слоев западногерманской общественности к недавнему нацистскому прошлому Германии.

«Мое поколение не слишком обременено знанием истории, а тот, кто таким знанием как будто обладает, куда лучше разбирается в первой Пунической войне, чем в том отрезке истории, в котором он, казалось бы, должен чувствовать себя как дома».

Все ли в Западной Германии сделали необходимые выводы из уроков минувшей мировой войны, развязанной германским фашизмом и стоившей народам десятков миллионов жизней? Автор на этот вопрос отвечает отрицательно: нет, не все.

«Одни празднуют освобождение от фашизма, другие все еще носят траур по проигранной войне, по разгромленному великогерманскому рейху»

В Западной Германии, пишет Конецки, живы силы, застрявшие в прошлом. Конецки подчеркнуто избегает излишней драматизации, он против того, чтобы изображать ФРГ как греческий концлагерь времен «черных полковников» или испанский времен Франко. Но нельзя и игнорировать имеющиеся тревожные факты.

Буржуазные политики и идеологи, в том числе и некоторые социал демократы, весьма своеобразно относятся к историческому наследию. Они обычно всячески превозносят и культивируют концепцию «общности истории» ФРГ и ГДР. При этом, как подчеркивает в своей статье о постановке исторического образования в ФРГ Герд Доймлих, намеренно затушевывается и даже вовсе снимается вопрос, о каких традициях идет речь — о демократических или о реакционных. Между тем именно в этом главное. Хорошим тоном считается так представлять историю — будто фашистской ночи либо вообще не было, либо она мелькнула всего лишь досадным эпизодом, нигде и ни в чем, слава богу, не оставившим заметного следа.

Сознательно нарушая это «неписаное правило», редакция «Кюрбискерна» дает ряд материалов о фашизме и борьбе против него. Среди них особенно выделяется очерк недавно умершего антифашиста Карла Фойерера «Последние дни Бухенвальда», написанный им по подлинным дневникам весны 1945 г. Автор приводит новые, интересные подробности о знаменитом вооруженном восстании узников Бухенвальда, которые захватили лагерь и арестовали его охрану еще до прихода союзных войск.

«Мы дали тогда клятву,— пишет Фойерер,— мужественно и неустанно продолжать совместную борьбу за полное искоренение фашизма, за новый, свободный, антифашистский, демократический мир!».

Значение таких материалов состоит в том, что они напоминают о традициях антифашистской борьбы, которую как раз и хотели бы обойти, замолчать, заставить забыть пропагандисты буржуазного лагеря.

В этой связи привлекает внимание статья Хана Вилека «Война, которую выиграл Гитлер». Автор разоблачает попытки реабилитировать гитлеризм, его чудовищные преступления против народов. В свое время, отмечает он, первый президент ФРГ, известный либеральный политик веймарской поры Теодор Хейс, сказал при открытии од-

ного из памятников жертвам фашизма: «С нас никто не снимет этого позора». Сегодня эту фразу вычеркивают из школьных учебников. Стыдиться не модно. Вилек приводит слова одного консервативного политика: «С нами случилось несчастье. Нам надо отделаться от неверно понятого чувства вины немцев». Он перечисляет целый ряд процессов, которые были начаты по делам фашистских преступников, в том числе процессы о лагерях Майданек и Освенцим, но так и не закончены, отложены на неопределенный срок. А те суды, которые все же происходят, чаще всего завершаются либо оправданием преступников, либо крайне мягкими приговорами им. Вилек цитирует по этому поводу слова известного боннского юриста социал-демократа Бауера:

> «Приговоры, которые у нас выносятся военным преступникам, часто находятся на грани минимально допустимого. А это равносильно глумлению над жертвами».

Большое впечатление производит помещенная в журнале переписка юриста-демократа Людвига Хёльбе с судебными инстанциями по делу об убийстве Эрнста Тельмана («Убийцы Тельмана среди нас») Документы этой переписки, длящейся уже около двух десятилетий, сами по себе обвиняют, причем не только убийц Тельмана, всем хорошо известных, не считающих нужным скрывать свою вину и тем не менее разгуливающих на свободе, но и боннский государственный и судебный аппараты, милосердные к старым и новым нацистам и весьма суровые к демократам.

Редакция предвидит вопрос: какое отношение это имеет к проблеме безопасности? Ее ответ: прямое. В Западной Германии из года в год ведется огонь против левых сил и поощряются, выращиваются, берутся под защиту правые, ультраправые, вплоть до возрождаемых фашистских. Между тем именно они свалили в свое время Веймарскую республику, раздавили буржуазную демократию, возведя на ее руинах гитлеровский «тысячелетний рейх». Конечно, сегодня совсем иная историческая обстановка, и неонацистам далеко до силы и влияния национал-социалистской партии кануна 1933 г. Но нацизм отнюдь не искоренен По стране, набирая мощь, идет волна фашистской пропаганды. Миллионы людей смотрят фильмы, идеализирующие Гитлера и других фюреров, издаются и переиздаются мемуары видных нацистов, нарасхват идут значки со свастикой и иная фашистская символика, любители без труда могут приобрести комплекты переиздания главного печатного органа нацистской партии — газеты «Фёлькишер беобахтер». Неофашистский еженедельник «Дойче националь-цайтунг» выходит тиражом в сотни тысяч экземпляров и в этом плане соперничает с аналогичными изданиями крупнейших политических партий страны.

Можно ли всем этим пренебречь — вот тот вопрос, который ставит редакция журнала. Ультраправые, неофашисты непрерывно и во все возрастающих масштабах отравляют массовое сознание, внедряются в аппарат власти, оказывают на него мощное давление извне и изнутри Именно влиянием крайне реакционных сил, которому уступает нынешнее правительство, можно объяснить развернувшуюся в стране травлю всех прогрессивных элементов посредством так называемых «запретов на профессии». Уже несколько тысяч человек в ФРГ оказались без работы и были выброшены на улицу только за то, что они, допустим, посетили антивоенный митинг, приняли участие в манифестации в защиту мира, подписали петицию с призывами к разоружению.

И это только надводная часть айсберга. Еще более важна подводная; четыре миллиона человек прошли унизительную процедуру в полицейских органах, где их «предупреждали», «предостерегали», запугивали. Можно ли сомневаться, что если подобного рода практика будет продолжаться, то от конституционных устоев и демократии в ФРГ едва ли многое останется. «Кюрбискерн» в своей передовой статье пишет об этом:

> «Посредством запретов на профессию ликвидируются те политические позиции, которые были завоеваны демократическим движением нашей страны в интересах нашего народа и в интересах его мирных отношений с другими народами».

Вопрос об усилении ультраправых тенденций в политической жизни ФРГ приобретает как бы новое измерение в связи с так называемым «европейским строительством», то есть сколачиванием группировки стран вокруг Европейского экономического сообщества, где Западная Германия уже сегодня играет весьма влиятельную роль. На это обстоятельство обращает внимание Георг Герде, издатель антифашистского журнала «Нойе комментаре», выступающий в «Кюрбискерне» со статьей «Панъевропейский союз Отто фон Габсбурга». Президент международного союза пан-Европы, наследник австрийского престола, один из видных деятелей руководимого Штраусом баварского христианско-социального союза Отто фон Габсбург, получивший не так давно вместе с группой соратников мандат в европарламент, не скрывал никогда и не скрывает сегодня своих политических целей. Они сводятся к водворению в Западной Европе предельно консервативных режимов подавлению демократических прав трудящихся, а во внешней политике — к ревизии сложившихся в Европе границ, к «отбеснению коммунизма», ниспровержению социалистического общественного строя в странах Восточной Европы. Ему принадлежит своего рода программное заявление этого политического течения: «Мы великоевропейцы. Для нас не является окончательной границей линия, которую в феврале 1945 г. в Ялте провели через весь континент неевропейцы (тут любопытно уже отнесение к «неевропейским» величайшего европейского государства — СССР.— *Л. И.*)... Объединенная Европа должна решительно выступить за деколонизацию всей Европы. Европа — континент свободы. Мы отвергаем сотрудничество с коммунизмом».

Георг Герде пишет:

> «Международный панъевропейский союз Отто фон Габсбурга, организационный

стержень которого находится в ФРГ,— действует в качестве головного объединения прежде всего реваншистских организаций и воинственно антикоммунистических эмигрантских союзов. Это те реакционные силы, которые все еще не отказались от цели ревизовать итоги второй мировой войны и «освободить» народы Восточной и Юго-Восточной Европы от социализма. Наряду с усилиями, направленными на вовлечение широких слоев населения ФРГ в проведение опасной политики, панъевропейский союз стремится сплотить вокруг себя единомышленников-реакционеров и неофашистов из стран Западной Европы и даже из Африки. Он спекулирует на агрессивности Китая и пользуется благословением клерикалов Его задача — затормозить процесс разрядки, остановить, задержать прогресс в сфере разоружения».

В данном контексте привлекает внимание и другая ведущая тема публицистического раздела «Кюрбискерна» — тема борьбы за ограничение военных приготовлений, за разоружение. Помимо передовой статьи отметим здесь интервью, взятое Фридрихом Хитцером у директора Международного института исследований мира в Стокгольме (СИПРИ), известного физика Фрэнка Барнаби. Весьма знаменательно, что Барнаби, человек весьма далекий от концепции социалистических стран в области борьбы за разоружение, счел необходимым призвать капиталистический мир, в том числе и ФРГ, к решительным мерам по сокращению военных арсеналов. Он подчеркнул «абсолютную необходимость» ратификации «Договора ОСВ-2» американским сенатом ибо «в противном случае все усилия, направленные на разоружение, пропадут втуне» Нельзя не отметить уместность такого призыва, ибо Западная Германия выступает в Североатлантическом блоке своеобразным застрельщиком милитаристских мероприятий, принимая участие на правах основного партнера США в проведении обструкционистской линии на ведущихся в Вене переговорах о сокращении вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе.

Какую же роль в обеспечении подлинной безопасности ФРГ могли бы по мнению «Кюрбискерна», сыграть писатели, ученые, деятели культуры? К чести для западногерманской культурной общественности следует сказать, что при всей противоречивости позиций, порой прискорбной нечеткости своих политических идеалов, она никогда не поддерживала милитаристские и реваншистские тенденции. Клаус Конецки обращает внимание на знаменательный факт: в течение всех 50-х годов в ФРГ не нашлось ни одного сколько-нибудь известного писателя, который бы одобрил поворот к милитаризации, в 60-х годах не было ни одного, кто поддержал бы чрезвычайное законодательство. Не изменилось положение и сегодня. Ни один писательский голос не поддержал пока кандидата в канцлеры от оппозиции, воинствующего реакционера и мракобеса Штрауса.

Писательская среда, деятели культуры и науки внесли вклад в оттеснение в 1969 г. от власти реакционно-консервативного блока ХДС/ХСС, в победу линии на реформы внутри страны и на разрядку в области внешней политики, с которой выступили партии нынешней правительственной коалиции СДПГ и СвДП. Вот почему представляется обоснованной выражаемая журналом надежда на то, что писатели и деятели культуры ФРГ окажут и сейчас реальную поддержку прогрессивным силам.

В своем отчете о второй Международной софийской встрече писателей Фридрих Хитцер приводит слова француза Пьера Гамарра, выразившие общее настроение всего форума:

> «Нужно ясно сказать себе, какого будущего мы хотим — будущего поэзии и счастья или будущего бомб и напалма. Я всегда буду думать о Тане Савичевой, девочке из блокадного Ленинграда, которая написала в своем дневнике: «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня». Мы должны сделать все что от нас зависит, чтобы ни один в мире ребенок никогда не повторил бы этих слов: «Я остался один».

Редакция и авторы «Кюрбискерна» глубоко убеждены, что подобная решимость воодушевляет писателей ФРГ, равно как и всех других европейских стран — социалистических и капиталистических. В этой решимости, в готовности деятелей культуры активно отстаивать позиции прогресса и мира «Кюрбискерн» справедливо видит одну из важных предпосылок обеспечения подлинной европейской и международной безопасности.

Л. ИСТЯГИН

◆

Публицистика

ЗАПАД: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА...

ТОМАС КОТТЛ

СВИДЕТЕЛЬСТВА ЧЕРНЫХ

У лондонского аэропорта Хитроу — главных воздушных ворот страны — прилетающих встречает большой плакат «Добро пожаловать в Лондон!». Однако далеко не всех в английской столице ожидает теплая встреча. Иных прилетевших — в основном с темным цветом кожи — сразу же отправляют в бараки за колючей проволокой, неподалеку от аэропорта. Это лагерь для приезжих иммигрантов. Лагерь слез, свидетель трагедий разбитых семей.

Иммигрантами в Англии называют граждан африканского и азиатского происхождения, выходцев из Вест-Индии, даже тех цветных, которые родились на британской земле. После войны, когда английские предприниматели нуждались в дешевых рабочих руках, приток людей с темной кожей увеличился. Сейчас цветное население Британии насчитывает около двух миллионов человек. Если в других странах Западной Европы приезжие рабочие руки — иностранцы, то в Англии большинство их — британские подданные. По закону они все имеют равные права с коренными жителями страны. А на деле?

Об этом и повествует документальная книга Томаса Коттла. Это запись бесхитростных рассказов выходцев из Вест-Индии, сделанная американским врачом и социологом. Без претензии на отражение всей картины жизни иммигрантов и на большие обобщения, она показывает будничную сторону расовой дискриминации сегодняшней Англии.

Расовая проблема уходит корнями в прошлое Британской империи. В условиях же государственно-монополистического капитализма расизм нашел свое наиболее законченное выражение в социально-экономической и политической сферах. Именно в этих сферах классовые интересы крупного капитала постоянно генерируют расизм. А идеология расизма, хотя и закамуфлированная демагогическими фразами, есть непосредственное отражение и идейное обоснование практики расизма в области экономических отношений.

Английские власти пытаются тщательно замаскировать расовую дискриминацию. Политики из Уайтхолла редко высказываются откровенно, они больше предпочитают говорить намеками и недомолвками. Тем более в моменты обострения социального кризиса. Играя на экономических трудностях страны, власти предержащие используют вопросы об иммигрантах в качестве своеобразного громоотвода для массового недовольства. Если не хватает жилья, то виной тому — пришельцы из Вест-Индии или Кении. Растет безработица — слишком много людей с темной кожей претендуют на рабочие места. А школы переполнены потому, что у иммигрантов слишком много детей. Ины-

© Thomas J. Cottle.

ТОМАС КОТТЛ — THOMAS COTTLE.

Американский психиатр и социолог. Преподавал на медицинском факультете Гарвардского университета, в Бостонском университете, Массачусетском технологическом институте. Автор более двадцати книг и многих статей, публиковавшихся в научной периодике и в журналах, рассчитанных на широкого читателя. С 1975-го по 1977 г. работал в лондонских клиниках, а также изучал положение темнокожего населения в Англии.

Мы публикуем фрагменты книги Томаса Коттла «Свидетельства черных», в которую вошли записи его бесед с уроженцами Вест-Индии и цветными англичанами («Black Testimony». London, Wildwood House, 1978).

ми словами, с помощью социальной демагогии пытаются отвлечь внимание английских трудящихся от действительных виновников их бед, путем искусственно создаваемых расовых противоречий завуалировать антагонистические классовые противоречия.

Под прикрытием фальшивой кампании по «защите прав человека» в других странах официальный Лондон усиливает расовую дискриминацию у себя в стране. Недавно правительство консерваторов протащило через палату общин ряд новых, проникнутых расистским духом дополнений к существующему законодательству об иммиграции. Был еще более ограничен въезд в Англию выходцев из Азии, Африки и бассейна Карибского моря. Были созданы новые препятствия для воссоединения семей иммигрантов, резко ограничен въезд в страну на учебу юношам и девушкам из развивающихся стран.

В такой отравленной атмосфере бурно распускаются ядовитые цветы расистских, неофашистских организаций. Призыву премьер-министра М. Тэтчер не допустить «наводнения Британии людьми чуждой культуры» вторят плакаты и лозунги «Выслать цветных из Англии», с которыми выходят на демонстрации участники Национального фронта и других профашистских организаций. При попустительстве властей молодчики из расистских объединений совершают погромы, терроризируют жителей цветных гетто. В то же время представители этнических меньшинств все чаще становятся жертвами полицейских репрессий.

Разгул расизма в Великобритании вызывает тревогу у демократической общественности. С одной стороны, борьба национальных меньшинств за равные гражданские права, против расовой дискриминации вступает в качественно новый этап. Летом нынешнего года шестьдесят организаций граждан Великобритании с темным цветом кожи приняли решение объединиться с целью «достижения широкого единства всех трудящихся и прогрессивных сил, выступающих против угнетения и расизма». С другой стороны, активизируются выступления английских трудящихся в защиту иммигрантов. Так, недавно лидеры двух крупных тред-юнионов — национального профсоюза транспортных и неквалифицированных рабочих и профсоюза неквалифицированных и муниципальных рабочих — опубликовали заявление, в котором говорится, что расовые отношения на Британских островах все больше напоминают систему апартеида в Южной Африке. «Мы глубоко озабочены ущемлением прав представителей этнических меньшинств со стороны правительства, судов, полиции»,— говорится в заявлении.

Вот так, вопреки насаждаемой в стране расистской идеологии, вопреки усилиям реакции, в Британии растет самосознание цветных иммигрантов, укрепляется классовое содружество людей труда и темнокожих и белых. Об этом необходимо помнить, читая предлагаемые отрывки из книги Коттла.

О. ЯРОСЛАВЦЕВ

Не нужно быть особо прозорливым, чтобы понять, насколько остра в современной Англии расовая проблема: национальные меньшинства разрастаются день ото дня. В ряде районов ухудшаются жилищные условия, людям теперь все труднее найти работу, обеспечить прожиточный минимум.

В предисловии к ежегодному отчету Комиссии по делам национальных меньшинств ее председатель М. Б. Картер писал, что темнокожие жители Англии — 40% здесь же и родились — не желают мириться со статусом граждан «второго сорта», который они неизбежно приобретают вместе с более высоким жизненным уровнем и перспективой получить работу. Они — англичане, и слова «равные возможности» желают воспринимать безо всяких оговорок. «Не сомневаюсь, что ожидания чернокожих англичан мы не оправдали». Это заключение подтверждается во время бесед с черными, чьи дети родились в Англии, ходят в английские школы, ищут в Англии работу. Этих людей, чей удел — селиться лишь в определенных районах Лондона, переполняют чувства отчаяния, протеста. Складывается ситуация, давным-давно знакомая гражданам Соединенных Штатов.

Причины этого явления лежат на поверхности. Иммигрантские семьи, представители различных этнических групп, живут вместе — их к этому не обязывает закон, нет, но так легче, удобнее, безопаснее. Жилье им предоставляют муниципальные власти, иногда жилищные условия приемлемы, подчас — невыносимы. Существуют иммигранты на мизерную зарплату, государственные подачки; безработица давит на них тяжким бременем — социальным и психологическим. Их дети, как правило, определены в самые худшие школы, где преподают учителя, не имеющие ни малейшего представления об их внутреннем мире, о культуре их народа. А поскольку английский для ребенка не родной язык, пользы от учебы оказывается мало. Сотни тысяч подростков в шестнадцать лет бросают учебу и начинают искать работу. Увы, для всех ее не хватает, вернее сказать, ее просто нет, и молодежи остается одно — улица. И перспектива — добывай что можешь и как можешь.

С точки зрения социологии здесь все ясно. Можно искать какие-то объяснения, писать отчеты, созывать комитеты экспертов — все остается по-прежнему. В стране исподволь насаждается расизм, ее экономика подразумевает наличие групп с низким жизненным уровнем — стоит ли удивляться, что многие в этих группах нарушают общепринятые нор-

мы поведения, руководствуясь естественным желанием выжить и удовлетворить свои потребности.

В течение двух лет я регулярно встречался и беседовал с героями своей книги, побывал во многих бедных семьях вест-индийцев, живущих в Лондоне. Я не ставил своей задачей дать цельный анализ их проблем, скорее, это мозаика из зарисовок.

Мои новые друзья с самого начала знали, что я собираюсь о них писать. Они разрешили мне опубликовать сказанное ими при условии, что они заранее смогут прочитать текст для устранения возможных неточностей. При этом я не прибегал к помощи магнитофона, опасаясь нарушить атмосферу непринужденности и доверительности: просто внимательно слушал собеседника. Не было у меня и графика бесед, я не пытался как-то направить разговор, следовать определенной заданной схеме. Со своими собеседниками я знакомился в неофициальной обстановке, а то и просто по случаю — бывал в школах, агентствах по найму рабочей силы, поликлиниках, больницах, учреждениях социального обеспечения, церквах и, разумеется, не раз и не два попадал домой к своим новым знакомым.

Я — американец, и в разных семьях на это реагировали по-разному. Одни жаждали познакомиться с американцем, другие держались с осторожностью. Одни считали, что в свете новейшей истории Соединенных Штатов я должен хорошо разбираться в вопросах расизма, другие утверждали, что мне незачем было ездить в Лондон — расовых проблем в США более чем достаточно. Но от предложения побеседовать не отказывался почти никто. Степень сегрегации в обеих странах примерно одинакова, но резко заявившее о себе в США движение борцов за права негров в Англии еще не сформировалось,— впрочем, не исключаю, что через несколько лет белые исследователи будут чувствовать себя не слишком уютно в кварталах, где живут темнокожие англичане.

Часто говорят, что расизм в Англии утонченный, потому что его вроде как бы и нет. В каком-то смысле в США или Южной Африке бороться с ним проще. Мифы о темнокожих, оправдывающие их подчиненное положение, зазубриваются, словно таблица умножения, и всегда держатся наготове. На семьи темнокожих в Англии смотрят с предубеждением, потому что подобные мифы поддерживаются и английскими властями.

СЕМЬИ ИММИГРАНТОВ

Сонни Петерсон сидит в большом кресле с цветочным рисунком на обивке. Его длинные ноги вытянуты в мою сторону, руки сжимают подлокотники. Глаза влажны. Он рассказывает мне, как пятнадцать лет назад покинул родную Ямайку и прилетел в Англию. Он говорит о своих родителях, о матери, так и не дожившей до его возвращения домой, о больном отце, о ребенке, который родился в Лондоне и однажды, когда Сонни с женой привезли его в тяжелом состоянии в больницу и их не принимали целых три часа, чуть не погиб. Рассказывает, как больше месяца издевались над ним таможенники и иммиграционные власти, когда он приехал в Англию; сначала обвинили в том, что он будто бы провозит в Англию кокаин, потом — спиртное, потом заявили, что он замешан в операции по ввозу какой-то контрабанды. Сонни никак не мог понять, о чем идет речь, он упорно отказывался признавать себя виновным, но чиновники стояли на своем, считая, что он лжет. Больше месяца его допрашивали, держали под стражей, прежде чем разрешить остаться в стране.

Сонни было тогда всего двадцать пять лет, и жена уговаривала его вернуться домой, но Сонни наотрез отказался. Отныне они будут жить в Англии, решил он. В Лондоне. Устроятся в Бренте неподалеку от родственников жены.

— Я думал, что меня здесь встретят как равного и отношение будет соответственное. Но меня приняли за какого-то контрабандиста и с самого начала принялись выматывать душу.

Я здесь и в то же время меня нет. Меня можно потрогать, и в то же время я — пустое место. Я делаю шаг вперед, но что-то заставляет меня сделать пять шагов назад, ну, пусть два шага, но обязательно назад. Знаете, когда я бываю счастлив? Когда меня оставляют в покое. Только где он, этот покой? Во сне. Правительство задает мне вопросы. Босс — тоже. Попадется навстречу полицейский — снова вопросы. Даже дома, в семье, без вопросов не обходится. И отвечать на них удовольствия мало. Почему мы живем здесь? Почему я работаю там? Почему моего ребенка кто-то обидел? Почему мы не можем поехать туда-то или туда-то? Папочка, а что такое «негритос»? Правильно говорят, человек может быть счастлив, когда все кругом свободны, свободны ехать куда вздумается, жить как нравится. У меня здесь много друзей — ну, а как у них сложилась жизнь после приезда сюда? Да в основном так же, как у меня. А возьмите наших детей. Они учатся вместе с белыми, и никто ничего такого не говорит, все только смотрят. Смотрят на наших детей. И так смотрят, что говорить уже ничего не надо. Где бы мы ни работали, мы обязательно оказываемся единственными.

Да, мы приехали сюда на законных основаниях, но что толку? Иммиграция — это одно, а интеграция — совсем другое. Уж это я хорошо знаю. Впустили нас сюда — и в то же время не впустили. Или еще говорят тебе, что ты — член Великой английской семьи. Великой английской семьи. Уж о семье постеснялись бы говорить. Что такое семья,

я знаю не хуже их. Нас девять братьев и сестер, а сюда приехало только двое, да и то один сразу вернулся. Реймонд даже Лондона не видел. Три дня в аэропорту продержали, потом он плюнул и улетел обратно. Как считаете, кто из нас оказался прав — он или я? Меня часто об этом спрашивают, да и я спрашиваю знакомых, но главный вопрос в другом. Главный вопрос: почему в Британском содружестве такое презрение к черным? Верно, белые англичане никак не могут забыть, что когда-то мы задаром гнули на них спину? Оттого и сердиты на нас? Тяжело им, бедненьким, без рабов. Или еще так говорят: вы приезжаете сюда, а работать не хотите. Но это же просто смешно, так смешно, что даже плакать хочется. Ведь, если разобраться, какой должна быть наша позиция? Вы терзали нас, наших братьев в Дагомее, Нигерии, еще бог знает где — так дайте нам хотя бы хорошую работу, и будем квиты. Но разве у кого-то из нас язык повернется такое сказать? Хорошо, хорошо, говорим мы, я согласен на любую работу. На любую. Скажите, что нужно делать, я сделаю. Я забуду мать и отца, родной дом, язык своего народа, любимую пищу; даже забуду, что вы ненавидите меня за то, что я стою здесь и клянчу у вас работу, только дайте мне работу! А начнешь ломаться и выбирать, что услышишь в ответ? Эти цветные не хотят работать, им вынь да положь все блага на тарелочке, а потрудиться для этого они не хотят. Вот так. Хочешь плачь, а хочешь смейся. Смейся вместе с ними, смейся им прямо в лицо.

■

Известно, что в Англии живут два миллиона темнокожих, и 40% из них там и родились. По данным доклада одного из комитетов палаты общин, половина англичан вест-индийского происхождения — дети в возрасте до пятнадцати лет. Этот процент вдвое выше, чем на Британских островах в целом, что, безусловно, создает проблемы с обучением и трудоустройством. Далее, 90% взрослых вест-индийцев перебрались в Англию в течение двух последних десятилетий. Интересно, что с 1971-го по 1973 год отток вест-индийцев из Англии был больше притока. Точнее, иммиграция составила 9 000 человек, а эмиграция — 14 000.

Я встречал и другие статистические данные касательно иммиграции, но в семьях иммигрантов об этой статистике почти не говорят. Зато постоянно приходилось слышать об утрате почвы под ногами, о тоске по родным местам, о последствиях предпринятого шага не только для самих иммигрантов, но и их детей.

■

Она уже давно нездорова. По утрам после сна совсем не чувствует себя отдохнувшей. У нее болят колени и плечи, словно под кожу кто-то вогнал ножи. Иногда появляются боли в желудке и головокружение, но ни один врач не может поставить диагноз. Да, конечно, говорит она, в пятьдесят восемь лет рассчитывать на крепкое здоровье не приходится, но неужели нельзя прожить без боли хотя бы один день? Иногда ей хочется поскорее умереть, а иногда — ополчиться против своей болезни и снова, как когда-то, стать сильной.

«В воздухе носится болезнь, она сразила меня». Именно эти слова произнесла Джорджина Пойнтер, когда мы впервые встретились в душный сентябрьский день. Это было в баре около станции метро в Клэпеме. Я увидел сидевшую в темноте женщину, она долго держала перед собой кружку с пивом, потом опустила ее на стол. Издалека казалось, что она задумалась. Какая-то вялость, отрешенность читались в ее позе. Первые же слова, когда мы остались наедине, были о сразившей ее болезни.

— Какая болезнь? — несколько бесцеремонно спросил я.

— Меня сразила болезнь,— повторила она и снова замолчала.

— Вы говорите так, словно это была пуля из ружья.

Она улыбнулась:

— Это вы хорошо сказали. Точно. Словно пуля из ружья.

Потом мы поговорили о ее сыновьях, она рассказала, почти не изменившись в лице, что пять лет назад умер ее муж.

— Я очень тоскую без него. И никогда не выйду за другого.— Она продолжала рассматривать свою кружку.— Никогда больше не буду работать. Да и многого другого в моей жизни уже никогда не будет.

Я заинтересовался судьбой этой женщины. Джорджина Пойнтер родилась в Вест-Индии и эмигрировала в Англию, когда ей было чуть больше тридцати. В колледже она была одной из лучших студенток и постепенно пришла к выводу, что раскрыть свои возможности в Вест-Индии ей не удастся. Поэтому она решила эмигрировать, убедила своего мужа Эвери, что жизнь в Вест-Индии не принесет им счастья.

Мы подружились, я стал навещать ее, но беседовали мы мало. Примерно спустя год ее сын Уильям сообщил мне, что Джорджина хочет о чем-то со мной поговорить. Наверное, о своей болезни. Он не ошибся — речь пошла именно об этом. Она предложила встретиться в баре, где мы с ней познакомились. Я пришел за полчаса, но она уже была там. Без всякого вступления Джорджина начала говорить:

— Я хочу рассказать вам о своей болезни. Помните, вы тогда сказали: как пуля из ружья? Вы были правы. Пуля, и пришлась она в самое сердце. С первой же минуты в Англии я все поняла по их глазам, по их репликам. Да, это было как выстрел. Сначала я говорила Эвери, что можно поехать в Штаты,— в то время у них с расовой политикой стало как-то помягче. Тогда нам так ка-

залось. Но потом сошлись на Англии, решили: пусть тут не все благополучно, но принять-то нас примут. Ведь мы как-никак британцы. И вот... Мне никогда не забыть тех первых минут. Все было написано в их глазах. Что это были за глаза! Пули! Хуже пуль. Я не сказала Эвери ни слова, но он, конечно, все видел сам. Боюсь, ему было тяжелее, чем мне. Он ведь не хотел приезжать.

В иммиграционном отделе я увидела газету. Обычную газету — через несколько часов после прилета в страну. И читаю: создается политическая партия, цель которой — выслать из Англии людей, подобных мне. Приятная новость через два часа после прилета. Вот она, болезнь, сказала я себе, и она сразит каждого из нас. Когда люди приезжают в чужую страну, им делают прививки. Доктора и сестры встречают вас со шприцами и вкалывают лекарство вам в руку. Так вот, здесь вместо лекарства нам вкололи яд, политический яд. Эта партия, Национальный фронт, еще не сформировалась, а я уже видела ее в действии. И заболела с первой минуты. Как они ненавидят нас, эти люди. Всю свою жизнь, каждый день и каждую минуту они думают обо мне, Эвери, моих сыновьях, моих внуках. Думают, строят планы, как бы поскорее нас уничтожить. Они говорят: мы хотим, чтобы вы вернулись к себе домой. Мы им здесь не нужны. Они желают нам смерти. Молодым, старым — всем без разбора. Стереть нас с лица земли. Ведь от этих людей не убежишь, не спрячешься в другой стране. Потому что они везде. Они не преследуют нас, нет. Они там задолго до нашего появления. Мы приезжаем куда-нибудь, а они поджидают нас: охранники, полицейские, иммиграционные чиновники...

Я ехала сюда с надеждой, понимаете? Но прочитала мысли этих людей, услышала их слова — и все. Они меня словно парализовали... Бороться с ними? Ничего не получится. Слишком трудно... У всех нас, как и у меня, уже нет сил для этой борьбы. Мы все больны. Я приехала сюда здоровой. Я всегда прекрасно спала, ела за троих, никогда не болела. Подтвердить это некому, родня моя уже в могиле, но поверьте на слово. А ведь я была сильная, крепкая... Пусть считают, что у меня болит не душа, а тело. Любой темнокожий расскажет вам о вирусе, который сразил меня, мало того — любой член Национального фронта. Да, они ничего не станут скрывать. Ведь это они разносят вирус, который косит нас направо и налево. Раньше предпочитали оставаться невидимками, а теперь нет — пусть все знают, что это именно они травят и убивают нас. Казалось бы, должен появиться кто-то другой и очистить воздух от этих микробов. Казалось бы... Но желающих что-то не находится. Вроде бы никому в стране до этого нет дела — пусть так все и будет как есть. И они продолжают свою грязную работу. А может, с самого начала знали, что охотников вмешиваться не найдется? Ловко придумано, ничего не скажешь. Что ж, могут собой гордиться. Действуют в открытую. Нагло...

Я как-то читала в газете про одну болезнь — мышцы у тебя становятся все слабее и слабее. Никто не знает, что за причина, как с этим бороться. Просто так происходит, и все. С детьми, со взрослыми. Боли нет, но все время слабеешь. Слабеешь, а смерть не приходит. Ты бы, кажется, уже рад умереть — до того слаб, но нет — живешь. Вот такую болезнь сеют и члены Национального фронта. Из-за них я слабею. «Мы хотим подорвать их дух»,— вот что они говорят. И ведь правильно говорят. Подрывают, еще как подрывают! И никто не в силах им помешать. Политики знай себе толкут воду в ступе, а зараза летает в воздухе, никуда не исчезает. Нас заразили миллиардами и миллиардами вирусов, выпущенных на волю этой злодейской группой. Ну почему же так происходит? Почему мы не можем остановить болезнь, от которой слабеют наши мускулы? Кто-то справляется с болезнью, кто-то умирает. Вы все видите сами...

Да, в меня всадили пулю, и я хотела, чтобы вы услышали от меня самой, кто это сделал и как.

ОБРАЗОВАНИЕ

В марте 1977 года газета «Ивнинг стандард» опубликовала программу партии Национального фронта в области образования.

1. До полной репатриации иммигрантов открыть для их детей отдельные школы (в газете этой партии «Спиэрхед» говорится, что темнокожие дети тормозят развитие других детей из-за разницы в объеме мозга).

2. Повысить дисциплину и активно применять телесные наказания. Запретить все современные методы преподавания. Среди учителей не должно быть коммунистов, хиппи и иностранцев.

3. Ограничить курс истории лишь историей Англии и Британской империи: общественные науки — это эвфемизм, который использует красная пропаганда.

(Цитируется по газете «Ивнинг стандард», 24 марта 1977 года.)

Конечно, эта программа выражает крайнюю позицию, но суть от этого не меняется. И подобные лозунги находят гораздо больше сторонников, чем может показаться. Слова Джорджины Пойнтер и выход партии Национальный фронт на политическую арену — лучшее тому свидетельство.

■

В лондонском квартале Беснал-грин есть кафе, где кухня европейская, официантами работают греки, а уборщиками — вест-индийцы. А название кафе — испанское. Оно всегда открыто, в нем

всегда полно народу. И всегда грязно, накурено, темновато. Но именно здесь мы разговариваем с Лэнни Уилером. Лэнни пятнадцать лет. Живет он неподалеку, в ветхом многоквартирном доме. Ходит в школу, она тоже рядом и снаружи выглядит вполне пристойно. Лэнни много раз говорил, что школа по сравнению с его жалким жилищем — настоящий замок.

Лэнни — паренек среднего роста с коротко остриженными волосами. В кафе приходит почти каждый день. Встречается с друзьями. Они забиваются в угол, читают газеты и журналы. Многие из его друзей — белые, но, по словам Лэнни, расовые вопросы они почти никогда не обсуждают. Обычно говорят о новостях, о спорте, о девчонках, о школе. Иногда кто-то из ребят открывает газету и начинает читать вслух, и оказывается, что с чтением у него не все в порядке. Все они читают буквально по складам. Не исключение и Лэнни. Он признается, что не очень-то любит читать, хотя в последние годы его стали интересовать статьи о политическом курсе Англии и расовых отношениях. Правда, книге он почти всегда предпочитает кино.

За год нашей дружбы Лэнни часто рассказывал мне о расовой дискриминации в его школе. Случаи самые разные: мелкие и серьезные, одни вызывают саднящее чувство спустя многие месяцы, другие забываются. Но когда речь заходит о школе, в голосе Лэнни неизбежно появляются едкие нотки, вообще ему не свойственные:

— Смотрите, что получается. Я — человек обыкновенный. Ну, то есть не какой-то там смутьян, который так и норовит поднять бучу по поводу и без повода. Я никого не трогаю. Но только посмотреть, что каждый день творится у нас в школе,— тут даже каменный не выдержит. Ну и я, бывает, срываюсь. Не знаю, едва ли кому из моих ровесников понравится то, что творится в нашей школе.

Возьмите, к примеру, мистера Маккартни — этот старый гвоздь работает у нас учителем. Так вот, он на дух не выносит черных. Ему, видите ли, противно смотреть на меня. Представляете? Вот вы сейчас смотрите мне в глаза, а он не может. К примеру, обращается он к кому-то из белых — прочитай то, сделай это — и смотрит прямо на него, прямо в глаза, ну, как и положено. А если вызывает меня или там Питера, Джекки, Снейкера, кого-нибудь из цветных — да-да, мы все у него «цветные»,— смотрит, подлюга, в пол. Вот так-то. В пол. Как-нибудь не сдержусь, выдам ему: «Эй, мистер Маккартни, вам небось охота, чтобы я ползал где-то там на полу, как последняя гнида? Так я пока еще не там, я здесь, и если разговариваете со мной, поднимите-ка лучше голову. Поняли меня, нет? Поднимите голову!» Видал я таких мерзавцев, которым смотреть на нас, учить нас, слушать нас — нож острый.

Три года я учился в одной школе, нас приняли туда сразу целую гвардию, и никто не умел читать. Белые, черные — читать не умел никто. Нас посадили в один класс, чтобы тянуть по чтению всех вместе. Собралось человек двадцать пять, все в одной комнате. Здесь всегда душно, потому что кухня рядом. В этой комнате раньше стояли всякие кухонные столы, но для нас все это убрали, освободили помещение. В общем, собралась компания малограмотных. И что же дальше? Приходит к нам учительница, старушенция, королеве Виктории в бабушки годится! И представьте, за всю свою жизнь она черного человека в глаза не видела, мы первые! Думаете, она что-то сказала об этом? Ни в коем случае. Рассадила нас по местам, и как-то так вышло, что белые сидят в одном углу, а черные — в другом. Ну, думаю, ладно. В друзья к старушке я не набиваюсь, лишь бы читать научила, и на том спасибо. Научила, как же! Держи карман шире! На уроках мы читали вслух. Ну вот, белых она заставляла читать, пока у них язык не начинал заплетаться. Потом приходит наша очередь. И что же старушка? Послушает две секунды, скажет: «Прекрасно, Лэнни» — и поднимает следующего. Еще через две секунды: «Прекрасно, Снейкер». Еще две: «Замечательно, Элейн». На всех нас не больше минуты. Ну, как думаете, кому эти занятия что-нибудь дали? Только не нам, это уж точно!

А еще знаете, что они хотят? Чтобы мы не думали. Есть такие учителя, их прямо перекашивает, когда мы что-то правильно говорим. Скажете, их мало? Не меньше двух в год попадается. И так все время.

Мы для них — тупые и грязные. Подругому они на нас и не смотрят. Тупицы и грязнули. Они всячески избегают нас, не хотят нас учить и так далее. Знаете, до чего даже доходит? Про телесные наказания вам рассказывать не надо, слышали, что это такое? Так вот, черных учителя не наказывают, я не в одной школе учился, знаю. Можете мне верить. А почему не наказывают, догадываетесь? Да уж конечно не из-за большой любви к нам. Они нас боятся, вот в чем дело. Боятся, что мы будем мстить, и ни о чем другом думать уже не могут. Как же, черные ведь такие: око за око, зуб за зуб. Вот они и предупреждают друг друга: с черными лучше повежливее. А то они, чего доброго, подошлют к тебе каких-нибудь гангстеров. Такие дела...

Глядя на них, подумаешь, что сейчас времена королевы Виктории. Иногда мне так кажется. Они нас либо не видят, потому что мы для них не существуем, как и раньше, либо не хотят видеть — это, наверное, точнее. Может, когда они в нашем присутствии закрывают глаза, им легче думать, что нас тут просто нет. Вдруг мы и вправду исчезнем? Ну, а я не могу закрыть глаза и думать, что их нет. Они есть и никуда не исчезнут. Тут уж можно не сомневаться. Но и я никуда исчезать не собираюсь, рано или поздно придется нам с ними выяснять отношения...

Ну и разговор у нас с вами получился! Вы-то хотели, чтобы я рассказал вам об учебе, о том, что узнал в школе нового. Я узнал — есть черное и есть белое. Если я и получаю в школе какое-то образование, так это расовое. Его сполна. А о другом и говорить нечего.

■

В классе Полли Дэвис всегда была самой маленькой. Сейчас ей тринадцать лет, но ей редко дают больше десяти или одиннадцати. Иногда даже думают, что она моложе своего одиннадцатилетнего брата Уили, которого очень высоким тоже не назовешь. Над Полли постоянно подтрунивают из-за ее роста, и ей это не очень приятно. Каждый раз она смущается, чувствует себя неловко.

Вот уже семь лет Полли Дэвис со своей семьей живет в Брикстоне.

Учится она хорошо: в этом нет ничего удивительного — она очень много занимается. Сильно переживает, когда между ее одноклассниками вспыхивает драка.

— Мне очень хочется, чтобы все люди были добры друг к другу. Знаю, так не бывает, но мечтать-то можно? О моих мечтах никто не знает, а жаль. Хотелось бы, чтобы люди знали.

Полли Дэвис не единственная в своей школе мечтает о том, чтобы драк стало поменьше. Но в прошлом году их стало больше. Раньше школьные будни приносили ей радость, но постепенно превратились в мучение, а иногда ей становится просто страшно. Ссора, драка могут вспыхнуть в любой день, в любой час, и хотя лично к Полли они, как правило, не имеют никакого отношения, ее охватывает испуг, она чувствует себя несчастной. Часто драки вспыхивают и на расовой почве, тут Полли совсем теряется. Она и сама понимает, что ее мечты по-детски смешны и наивны: ей просто хочется, чтобы все было хорошо. Занимается она, как и раньше, изо всех сил и полна решимости доучиться до конца, но ей становится все труднее каждый день идти в школу, слоняться по коридорам в перемены, просиживать на уроках, болтать с подружками на асфальтированном школьном дворе. Впервые у нее закрадываются мысли о том, что тратить силы на учебу бесполезно.

— Я спрашиваю себя: а надо ли все это? И не я одна. Таким вопросом задаются многие. У меня уже нет сил учиться в такой обстановке, ведь за день каких только гадостей не наслушаешься. Или двое начинают драться и дерутся до бесконечности, а остальные при сем присутствуют: допустим, ты «болеешь» за одного и говоришь об этом какой-нибудь девочке из класса, а та на стороне другого — считай, одной подружкой у тебя меньше. Да-да, так случается часто. Драки бывают всякие, но больше всего — черный с белым. К этому все давно привыкли. И учителям ничего не скажешь. Они-то, конечно, все знают, но пожалуешься им — остальные будут считать тебя ябедой, трусихой и предательницей. Никому нельзя говорить, что ты чего-то боишься. С лучшей подружкой Джесси я делюсь своими страхами, а больше ни с кем. Иногда, перед тем как идти в школу, на меня находит такой страх — кажется, сейчас всю вывернет наизнанку...

В любой момент можно ожидать чего угодно... Например, кто-нибудь кричит: «Эй ты, черная коротышка! Ты что, лилипутка?» Что отвечать, как себя вести — не знаю. Некоторые говорят: на хамство отвечай хамством, сразу отстанут. Но у меня духа не хватает. А ведь с этим встречаешься везде: на школьном дворе, на лестнице, даже в классе. Да, даже в классе. «Эй, черная лилипутка, ты сегодня уроки выучила?» Ну, что мне тут делать? Джесси говорит, что отвечать не надо, а лучше пожаловаться самому здоровому в классе: вон тот, мол, дразнится, зовет меня лилипуткой. А если им все спускать с рук, говорит Джесси, это никогда не кончится. Может, она и права, но как это я подойду к кому-то и стану жаловаться? Не представляю.

Мне еще говорят: брань на вороту не виснет, не обращай внимания, ведь трогать-то тебя не трогают. Но кто им дал право дразнить меня из-за того, что я черная? Другие-то им спуску не дают. Даже Джесси — ей и то приходилось драться. Один раз я сама видела несколько месяцев назад. Ой, как я перепугалась, после этого меня и вправду стошнило.

Любая стычка приводит к тому, что все сразу сбегаются, и драка становится общей. Так было, когда Джесси схватилась с этой Ши. В драку ввязались буквально все, а я испугалась и убежала. Обычно я маме про такие вещи не говорю, а тут рассказала. Мама ответила, что сама пойдет в школу и разберется, что у нас делается. Она и вправду пошла. Директор заявил ей, что, какая бы ни была маленькая, я должна уметь постоять за себя, может, даже подраться, не важно, что девочка. Неужели цветные не учат этому своих детей? Мама сказала: как же так, ведь вы — директор школы, должны стремиться, чтобы дети не враждовали. Он сказал, что и так сделал нам одолжение, приняв меня в школу, когда мы переехали,— вполне мог отказать, потому что все классы были переполнены. Мама ответила, что в этой стране нам никто не делает никаких одолжений, а директор говорит: ошибаетесь, цветные только и просят о всяких одолжениях.

А наша учительница, миссис Стрэнди, как-то сказала Джесси и еще одной девочке, что из-за всех этих драк она сама стала бояться работать в школе и сейчас ищет другую работу. Они долго об этом говорили. Джесси сказала миссис Стрэнди: а почему бы ей не попробовать как-то изменить все к лучшему, но та и слышать об этом не хотела, уйду, говорит, даже если какое-то время при-

дется сидеть без работы. Лучше жить на пособие, чем работать в такой школе. Так она и сказала. И еще: «Без цветных было как-то спокойнее». Представьте себе, именно так и заявила, а Джесси-то цветная! Сама, наверное, не понимала, что говорит. И Джесси ей напомнила: «Миссис Стрэнди, ведь это мы — цветные». А та ей отвечает: «Конечно, я знаю, что вы цветные, но я имею в виду не детей, а родителей! Во всем виноваты ваши отцы, которые не работают и не хотят работать, ваши матери, нарожавшие детей. Вот в чем дело. А вы, дети, разве вы в чем-то виноваты?»

Теперь понимаете, почему я не рвусь в школу? Пусть даже там можно чему-то научиться. Да и чему там особенно научишься? Только и слышу: «черная лилипутка» да «черная лилипутка» — вот и вся наука. И еще — ведь если директор и миссис Стрэнди настроены к нам так враждебно, как же им позволяют работать в школе? Да не просто работать, а занимать важные посты, принимать решения! И они, эти люди, твердят вместе с остальными: это все цветные! Не знаю, долго ли смогу еще это терпеть.

Разговор этот состоялся не около школы, не рядом с домом Полли Дэвис, а в больничной палате, в нескольких километрах от ее квартала.

В восемь часов вечера в среду Полли привезла карета «скорой помощи» — трое парней напали на нее и изнасиловали. Никого из них она не знает, но уверена, что видела их в школе. О том, что случилось, она никому не рассказывала подробно, просто она шла переулками, какими ходила всегда, и тут откуда ни возьмись появились эти мальчишки и принялись дразнить и оскорблять ее. Сначала она решила молчать, хотя была в ужасе, а слезы сами лились из глаз. А потом, наверное в первый раз, последовала совету своей подружки, которая говорила: держись потверже, не позволяй никому издеваться над собой. Она что-то ответила, что именно, не помнит. Голос ее прозвучал робко, словно мышиный писк. Тогда мальчишки накинулись на нее...

РАБОТА

Работа как бы оправдывает наше нахождение в обществе — работая, мы вносим свой вклад в его развитие, пусть даже незначительный. Работающий человек чувствует, что живет не зря. В семьях, которые я навещал, придерживались именно этой точки зрения. Никому из моих новых друзей не доставляло радости говорить о том, что он не работает, хотя не скажу, что своей работой все были горды. Каждый разговор на эту тему становился уроком по социологии труда. Естественно, что люди говорили о заработках, но не меньше беспокоил их и социальный статус, который им давала их работа. Они хорошо знали о существовании социальной стратификации: до какого уровня они могут подняться в обществе, до какого опуститься и на каком вообще не найти работы. Они рассказывали, как им закрывают доступ к тем или иным профессиям, иногда с сохранением приличий, а иногда и бесцеремонно, как унизительны и абсурдны эти барьеры. Даже если работа не престижная, но связана с деньгами, ее скорее получит белый, чем черный. Даже если речь идет о мытье полов, предпочтение почти всегда отдадут белому.

И в этих семьях никак не хотели мириться с положением людей второго сорта и не теряли надежду на то, что наступят лучшие дни, что найдут лучшую работу.

Унизительная работа и неполная занятость создают во многих семьях тяжелую атмосферу, но она становится еще более гнетущей в условиях безработицы. Официальные данные о безработице знали почти во всех вест-индийских семьях. По прогнозам в 1980 году число безработных в Англии должно составить 2,5 миллиона человек. Во время написания книги безработных по стране было 1,5 миллиона, и 500 000 из них (это непропорционально высокий процент) — иммигранты. Они часто говорили мне, что беспокоятся за свою судьбу, с отчаянием думают о будущем своих детей. По официальным данным 1976 года 32% безработных мужчин и 65% женщин были моложе 25 лет.

■

Когда Джунин Хинсман в шестнадцать лет решила бросить школу, родители старались удержать ее от этого шага. Они предупреждали ее о трудностях, с которыми при поисках работы сталкивается каждый, не только сыновья и дочери иммигрантов из Вест-Индии. Джунин спокойно выслушивала родителей, но решения не изменила. Продолжать учиться можно только ради одного, говорила она, чтобы впоследствии поступить в университет. А эта дорога ей была заказана. Бросать школу было жаль, пожалуй, по одной причине — это значило навсегда отказаться от мечты. Джунин мечтала стать учительницей музыки. У нее был очень сильный голос, она пела в церковном хоре, на школьных представлениях и всегда хотела обучиться игре на двух-трех музыкальных инструментах, предпочтительно на фортепьяно и флейте, это было бы хорошим началом ее музыкальной карьеры. Увы, карьера не состоялась. В их семье было шесть детей, и Джунин, хоть и начала учиться на фортепьяно, бросила эти занятия через несколько лет. Вскоре после ухода из школы она перестала петь и в церковном хоре. Думала, это временно, но так туда и не вернулась.

Бернард и Сандра Хинсманы видели, что из-за постоянной нехватки денег в доме в детях растет чувство неуверенности. Как этого избежать? Такая проблема стояла и перед всеми их друзьями. Выжить — вот была главная цель. Разве семье не нужны несколько сот фунтов, которые Джунин заработает? Да и кроме того, сейчас Бернард здоров, а

что будет дальше? А вдруг он останется без работы? Выход один — бросай школу и иди работать. И соглашайся на любую работу. На любую, какую предложат.

— Рассказать, как со мной было дело? Как-то жарким днем я пришла в контору по найму. Возле Пиккадилли-Серкус. Женщина дала мне посмотреть список, на кого можно выучиться. Пометь, говорит, галочкой, что тебе тут нравится. А я отвечаю: мне все равно. Согласна на любую работу. Только возьмите. Она спрашивает: но ведь есть работа, которая тебе больше по душе? Тут я про себя подумала: есть такая работа, да в ваш список она почему-то не попала. А вслух говорю: они мне все по душе. Я еще в детстве мечтала о каждой из них. А что, она думала, я ей правду скажу? Хотите правду, дорогая леди? Пожалуйста. Мне нужна постоянная работа, за которую платят надежные английские денежки. Чтобы я могла на них купить хлеб. Есть место на фабрике? Согласна идти на фабрику. Закупоривать консервные банки — годится, давайте сюда эти банки, готова начать прямо сейчас. В салоне красоты? С удовольствием. Хотите, чтобы я сидела десять часов в день, согласна сидеть десять часов в день. Хотите, чтобы я стояла десять часов в день,— на здоровье! Хотите, чтобы я десять часов в день прыгала на одной ножке? Скажите, где нужно прыгать, я готова. А вы только платите. Я буду работать, хорошо работать, но я должна знать, что деньги лежат и ждут, ждут меня.

В общем, я попробовала наняться в нескольких местах. Где-то отказали, но в конце концов взяли в прачечную-химчистку, маленькую фирму неподалеку от моего дома. Я сказала себе: это не то, что мне хотелось бы, но все равно я буду здесь работать, потому что за это мне будут платить деньги. А что, в самом-то деле? У меня есть подружки, которые тоже недоучились и до сих пор ходят без работы. Им хуже, чем мне, чего же я буду разбрасываться? В этой стране можно жить, если ты готов скакать на одной ножке, когда и где прикажут.

Кстати, про это часто пишут газеты. Цветные, мол, хотят жить на пособие, а работать их не заставишь. Вранье это. Возьмите меня. Конечно, если бы я не нашла работы, я рано или поздно обратилась бы за пособием, но без особого восторга. А уж гордиться тем, что не работаю, никак бы не стала. Что делать-то целыми днями? Да без работы я просто спятила бы. Но нет, все называют нас ленивыми, потому что мы якобы сами не желаем работать, а ведь ее просто нет, этой работы, нет нигде. А тебе скажут: не нашел работу — сам виноват. Но в чем я виновата? Мне еще повезло. Ведь работы хватает не для всех, если уж взяли, не петушись, даже если твоя работа по силам трехлетнему клопу. Вот у меня как раз такая работа. Я иногда делаю вид, что это не так, но сама-то знаю: так, именно так. С моей работой вполне бы справился трехлетний, только он не захочет ее делать. Я тоже не хочу, но у меня нет выбора. Тут важно уметь прикидываться. Если предложат работу, делай вид, что она тебе очень нравится, а если работаешь — что в восторге от своей работы. Всегда делай вид, что ты счастлив, ни в коем случае не показывай усталости. Одна ошибка — и будь здорова, Джунин.

Работала вместе со мной одна девушка, белая, между прочим. Мы с ней принимали выстиранное белье и укладывали его в коробки. Как-то раз она говорит мистеру Чарльзу: а нельзя ли как-нибудь разнообразить нашу работу? А то все-таки у нас здесь скучновато. Я бы, мол, хотела иногда обслуживать клиентов. Ну, мистер Чарльз сказал, что замечание правильное, он его учтет. Так и сказал. Я думала, он рассердится, но ничего подобного. Воспринял как должное. Проходит несколько дней — все без изменений. Да я, по правде говоря, никаких изменений и не ждала. Потом примерно через неделю появляется еще одна девушка, я с ней встречалась в конторе по найму, когда искала работу. Баззи ее зовут. Ну, увидела меня Баззи, привет, говорит, вот здорово, вместе будем работать, меня берут к вам в прачечную. Ну, что ж, берут и слава богу. То есть я даже обрадовалась, что мы будем работать вместе, что она наконец-то нашла работу, ведь положение у нее в семье хоть кричи, отец не работает, потому что здоровья нет, мать — калека, ну, не совсем калека, по ходить по лестнице не может, а они живут на шестом этаже, и она уже почти три года на улице не была, так что у Баззи выбора не было: хочешь не хочешь — иди работай. Ну вот, я ей и говорю, слава богу, что тебя взяли, а сама думаю: что она здесь делать-то будет? Ведь мы с другой девушкой и сами полдня сидим сложа руки — прачечная нас двоих толком загрузить не может.

Приходит следующая неделя — и Баззи тут как тут, работает. А моей белой подруги нет. Выгнали, да без всякого уведомления. Это мистер Чарльз позаботился, кто же еще? Сказал ведь, что учтет ее замечание. Вот и учел. Была девушка и нету. Растаяла как дым. Вот я Баззи и говорю: ты лучше свой хорошенький ротик держи на замке, никого ни о чем не спрашивай, никому ничего не рассказывай. А сама думаю: это что же такое делается? Белый начальник увольняет белую, а на ее место берет черную, еще одну черную? Неужто времена меняются? Потом думаю: нет, наверное, фокус в том, что белым они платят больше, чем нам, вот и решили сэкономить. Спрашиваю — оказывается, нет, Баззи положили сколько следует, а у меня стаж побольше, значит, мне и платят чуть больше, все правильно. Я сказала об этом Баззи, а ее это не трогает. Хоть мы с тобой, говорит, и ровесницы, но ты-то пришла сюда раньше. Все чест-

но. В общем, что получается? Цвет кожи тут ни при чем, деньги тоже. Так в чем же дело? А в том, что сиди и не высовывайся. Вот где собака зарыта. Черная ты или белая — запри роток на замок, а то не дай бог кашлянешь не в ту сторону и вылетишь через заднюю дверь, через которую привозят грязное белье. Замаранное белье — в дверь, а замаранного служащего — за дверь. Тут-то я и поняла, почему они дают нам работу, которую осилит и трехлетний. Потому что с такой работы нас можно уволить в любую секунду и взять кого-то другого. Все идет своим чередом, все тихо-мирно, и никого ничему учить не надо...

■

Фрэнк и Мириам Делано поженились в Вест-Индии и переселились в Лондон десять лет назад. В то время у них было четверо детей. Еще трое родились в Лондоне, но один ребенок умер от болезни легких еще в роддоме. В свое время Фрэнк Делано работал в вест-индийском почтовом ведомстве, но, потеряв эту работу, поехал искать счастья в США. В Коннектикуте он устроился на табачную фабрику; потом в Нью-Джерси работал на автопогрузчике в компании грузовых перевозок. Через некоторое время его неизвестно почему уволили, он вернулся на острова и какое-то время подрабатывал чернорабочим на стройках гостиниц — подносил облицовочный камень. Но и здесь он продержался только год.

Мать Мириам долго работала горничной, и на сэкономленные деньги семейство Делано переехало в Лондон, точнее в Брикстон. Может быть, они выбрали бы другое место для жительства, но в первом же справочном бюро им высокомерно сообщили, что «ваши соплеменники живут либо в Ноттинг-Хилле, либо в Брикстоне». Они выбрали Брикстон, а в Ноттинг-Хилле так ни разу и не были за все десять лет жизни в Лондоне.

Фрэнк соглашался на любую работу, которая подворачивалась. Иногда он работал в четырех местах сразу. Но так продолжалось недолго. Скоро у Фрэнка осталось только два места, потом одно, потом он все чаще оставался совсем без работы, и периоды эти длились до полугода. А детей было уже не четверо, а шестеро.

Фрэнк Делано невысок и коренаст, выглядит гораздо моложе своих сорока шести лет. Он говорит, что лучшее качество, унаследованное от матери,— терпение — утрачено им безвозвратно. Да и дух его сломлен. Все надежды, связанные с переездом в Англию, рухнули прошлым летом, когда его сын Майкл, которого все зовут Микко, бросил школу и присоединился к огромной лондонской армии недоучек. Учителя посоветовали ему оставить школу в пятнадцать лет, и он активно взялся за поиски работы. Конторы по найму в Брикстоне и центре Лондона охотно снабжали его списками потенциальных работодателей, однако все было впустую. Дело ни разу не доходило даже до конкретного разговора. Итак, школа была рада избавиться от него, а шансы получить работу практически равнялись нулю. Микко стал шататься по Лондону с шайкой мальчишек, их любимым занятием было торчать в павильонах с игральными автоматами. И вот одного из них, Эдди Балласси, арестовали за ограбление химчистки. Неужели ради такой вот перспективы он с семьей эмигрировал в Англию, думал Фрэнк. Он клял эту страну, ее правительство, телевизионную пропаганду и больше всего школы.

— Пусть мне кто-нибудь объяснит, почему во всем Лондоне детей учат как надо, а в школах наших кварталов — из рук вон? Да, да, не возражайте, так оно и есть. Я это хорошо знаю. Десять лет проработал в других районах Лондона, все видел своими глазами. Им — все самое лучшее, а нам? Да наших детей вообще берут в школу так, будто делают большое одолжение. Они обязаны принять моих детей в школу, и им это прекрасно известно, вот они и позволяют этим школам гнить на корню. Хорошо знают, что делают. У них одна забота — лишь бы они не поубивали друг друга, а как только чуть подрастут — склонить их к уходу из школы. Вы же знаете, сколько сейчас недоучившихся? Они говорят детям: у вас уже достаточно образования, можете уходить из школы и искать работу. Но как вы думаете, много работы для таких, как мы? Вы же видите, сколько все стоит, как дорого надо платить за жизнь в такой дыре! И они еще говорят нашим детям, что работа найдется для всех!

Я хорошо знаю, чего они от нас хотят. Я часто хожу в школу на собрания и прекрасно вижу, с какими мыслями смотрят на нас учителя. Они думают: «Нечего было пускать вас в нашу страну. Сразу надо было захлопнуть перед вами дверь. Ту же ошибку мы сделали с индийцами и пакистанцами. И о чем мы думали, когда пускали сюда этот полуграмотный сброд?» Вот они и отыгрываются на наших детях. Не надо тебе дальше учиться, Микко, иди работать. Куда как мудрый совет! Цветной в этой стране при приеме на работу всегда стоит последним. Сначала белые, потом цветные. Но ведь школам-то без наших детей легче. Потому их и выпроваживают. Меньше народу в классе — меньше шума, легче учить, больше места, а наши дети только мешают.

Возьмите приятеля Микко, этого Балласси. Он преступник. Но почему он стал таким? Спасибо школе. Его, как и всех, кто там не нужен, выставили. Попробуй, сказали ему, садись на поезд, отправляйся в Лондон и ищи работу. И с девчонками так же поступают. Отделываются от них — и вся недолга. А родители? Что они могут сделать со своими детьми, когда сами учителя советуют им уходить из школы? То, что им говорим мы, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Сколько раз я твердил Микко, что самое главное — это образова-

ние. Но куда там! Его другими идеями напичкали. «Здесь образование ни к чему»,— вот что он мне заявлял! Где, вы думаете, он такой мудрости набрался? В своей школе. Да, да. Я знаю.

Скажу вам откровенно: Микко сам никогда не додумался бы уходить из школы. Это ему вдолбили учителя, а уж потом он огляделся вокруг. Посмотрел на свою школу, на школы, где учатся дети богатых, и сказал себе: «Ну, останусь я в школе, и что меня ждет? Какое будущее? Стану таким, как отец, из года в год буду ловить работу, хотя всякому, у кого есть мозги, ясно — работы не будет. А я не хочу становиться таким, как отец. Хочу жить лучше». И он прав. Деньги, заработок — это не все. Человеку нужны возможности, перспектива. Но сейчас в этих школах поют другую песню. Идите работать — вот что они говорят нашим детям. Так они и удерживают нас где хотят — на задворках общества, на задворках города. Найдет Микко работу — слава богу, все довольны, и стране польза. Только они прекрасно знают: ничего он не найдет. Да и что он умеет делать? Я хоть какое-то ремесло знаю, нашел место в жизни. А он? Что он умеет? Школа ему ничего не дала, а ведь в детстве он так хотел учиться.

И с другими детьми то же самое. В девять или десять лет теряют интерес к учебе, потому что в них убивают желание учиться. Я все это видел на своих детях. Поначалу живые, энергичные, все схватывают на лету, а пройдет несколько лет — их не узнать, будто мы морили их голодом или не давали делать уроки. Это все школы. Они словно для того и созданы, чтобы отвращать наших детей от учебы. Ну, и ребенок клюет на эту удочку, понимаете? И в школе мне с чистой совестью говорят: «Мы здесь ни при чем, Микко сам решил уйти». Но мой сын не мог принять такое решение сам. Их учат так, чтобы стала ясной вся бесполезность этой учебы. Это — преступление. Это — позор. Эдди Балласси вломился в химчистку и попал в полицию. Он совершил преступление и должен быть наказан. А Микко спровадили из школы, обещав найти ему место в мире. Но их обещания — сплошное вранье. И это тоже преступление

Тысячи лондонских юношей и девушек официально включены в категорию недоучившихся, ушедших из школы. Конечно, не всех постигла судьба Микко Делано. Но очень многие бьются в волнах инфляции и безработицы и постепенно идут ко дну. Судя по всему, угнетение черного населения Англии будет и далее развиваться именно в этом направлении. Ведь вряд ли кто-либо в Англии не знает о том, что существует мир Фрэнка Делано и его семьи, какая судьба ждет его детей, в каком состоянии находятся жилищное и медицинское обеспечение в Брикстоне, что такое брикстонские школы. Однако политические деятели Англии предпочитают не замечать Брикстона, закрывать глаза на то, что там происходит. Но знают об этом все. Во всяком случае, об этом хорошо знает Микко Делано. В течение года после ухода из школы он проработал в общей сложности чуть меньше трех недель, и за некоторые дни ему даже не заплатили.

— Сначала мне пришлось пройти подготовительный курс. На заводе, где делают листовой металл. Все правильно, подготовиться надо, иначе как ты узнаешь, что от тебя требуется? Человек, который нанимал меня, сказал, что пройду курс и сразу начну работать. Мне было все равно, сколько продлится этот курс. Выбирать-то не из чего. А эта работа — чем она хуже других? В общем, взяли. Я снова начал вставать рано утром, как раньше, в школьные времена. Отец был очень доволен, что я при деле. Да мне и самому это нравилось. Когда ходишь в школу, жуть как неохота подниматься по утрам. Особенно последние два года, помню, бывало, встану и спрашиваю себя: какого черта я таскаюсь в эту школу, когда все равно ее не кончу? Я уж заранее знал, что стану одним из этих знаменитых «недоучившихся», о которых последнее время трубят все газеты. Недоучившиеся натворили то, недоучившиеся натворили это. В общем, когда я бросил школу, мне — поразительное дело! — стало ее как бы не хватать. Я, может, по ней и не скучал бы, найдись какое-то подходящее занятие. Короче, я снова начал подниматься рано душиться отцовским одеколоном, и все было хорошо, особенно когда мы вместе по утрам отправлялись на работу. Он шел своей дорогой, я своей, а дорожка у меня была дай бог — на другом конце города, но я не горевал. Главное, я мог сказать людям: у меня есть работа.

Был у меня один приятель, Крейтер Бандл, это его настоящее имя, клянусь богом. Так вот, за полтора года, что он ушел из школы, он не проработал ни единого дня. А денег у него столько, что сразу и не сосчитаешь. Сказать, чем он занимается? Он — наводчик одной шайки, промышляющей кражей автомашин. Клянусь богом. Все время у него новые шмотки, как в кино, все время новые девчонки Он связан с одним парнем, кажется по кличке Кент. Они меняют номера на машинах и сплавляют их в Штаты или Австралию, кто-то еще подделывает бумаги. В общем, все поставлено на широкую ногу. А у этого Крейтера какая работа? Подыскать на улице подходящую машину — и все. А дальше подключается другой малый, Красавчик его зовут, потому что ему от девчонок отбоя нет, — и угоняет машину. Лихо! Да если я скажу им, что работаю в прокатном цехе, прохожу подготовительный курс, они рассмеются мне в лицо. Нет, никогда! Лучше сказать, что на свои нужды зарабатываю. Не так чтобы очень много, но хватает.

ТОМАС КОТТЛ
СВИДЕТЕЛЬСТВА ЧЕРНЫХ

Еще вот что меня донимает. Отец меня всегда учил: ты должен работать и быть честным человеком. Ну, бывает, что работы нет, но честным оставайся всегда. Нет на свете таких причин, которые могут заставить человека совершить бесчестный поступок. Хорошо. Теперь послушаем, о чем говорят между собой люди, которые не числятся ни на какой работе. А сколько таких в стране! Они говорят, как и где можно получше заработать. Эти люди умеют зашибить деньгу. У них свои способы, и почти все эти способы — бесчестные. Так вот, отец меня уверяет, что, если ты какое-то время без работы, ничего страшного. Это, мол, не самый прекрасный вариант, но все же лучше, чем сидеть в исправительной колонии. Не очень-то я с этим согласен. Возьмите мое положение. Школа хоть как-то попробовала меня удержать? И не подумала! Я же не вставал в позу, не кричал: «Я ухожу, не пытайтесь меня остановить!» Могли бы хоть свое мнение сказать. Я искал работу четыре месяца. Июль, август, сентябрь и октябрь. В последние дни октября подвернулся этот прокатный цех. Бить баклуши целых четыре месяца — это много. Очень много. Я ведь не старик, которому осталось жить несколько недель. Я тогда был молодым. Был и остаюсь.

В общем, проработал я две недели или почти три, и тут мне заявляют: никакого подготовительного курса нет, стало быть, нет и работы. Я ничего им не сказал, только попросил прислать на дом заработанные деньги, потому что у них не был готов расчет. Они мне так ничего и не прислали. Я проишачил три недели и не получил ни пенса. Это справедливо? Был у них этот подготовительный курс, не было — не знаю. В общем, выперли меня да еще оставили с носом. Вы бы видели моего отца в тот вечер, слышали бы, что он говорил! Наверное, миллион раз он спросил меня: «Что ты натворил?» И еще: «Только не связывайся с Балласси и его компанией». А я и не собирался... В тот вечер я ушел из дому, ходил по городу один и сказал себе: ищу работу еще ровно три месяца. И ни дня больше. Согласен быть честным еще три месяца, и если ничего не найду, тогда баста!

Никакой работы, никаких перспектив — все глухо. Ничему полезному школа меня не научила. Так на что же я гожусь? И куда мне идти? А отец продолжает бубнить одно: не связывайся с темными личностями, будь честным, домой приходи пораньше, рассказывай мне все, что делаешь. Рассказывать все, что я делаю? Боюсь, отец, не очень-то я тебя порадую. Потому что я ворую машины. Ну вот я тебе и сказал, ты доволен? Нет, ничего я ему рассказывать не буду, тем более что занятие у меня — позорнее не придумаешь. Ну что я буду его расстраивать? Да он еще, чего доброго, сразу позвонит в полицию, и они поймают меня быстрее, чем без его помощи. С ума можно сойти от такой жизни, правда? С ума сойти, только и остается.

Мы сидим за длинным столом в огромной комнате исправительной колонии. Рядом — кабинка охранника. Микко Делано рассказывает о своей жизни.

— Кто меня теперь возьмет, когда я выйду отсюда? Недоучку с судимостью? Господи, да если меня раньше никуда не брали, так теперь тем более никуда не возьмут! Ноль плюс ноль будет ноль — хоть это я запомнил из школы. Хороший результат, да? В общем, из меня вышло как раз то, о чем мечтал отец. Или я не оправдал его ожиданий? Он навещает меня, но уже ничего не говорит. Не поучает, как раньше. Мы просто убиваем вместе несколько минут, вот и все. Мне реветь хочется, когда он уходит. Жалко его. Ему и самому в жизни досталось, а тут еще обо мне беспокойся. Да и матери я сколько горя принес. Знали бы они, как я обо всем жалею. Все время ведь о них думаю. И о школе, о том хорошем и нужном, что мне должны были там дать, но не дали.

И еще о многом думаю здесь... Разве я виноват, что мы живем в трущобах, что мой отец иногда месяцами ходит без работы, что из школы мне пришлось уйти? И никто меня не остановил, не стал отговаривать. Да сейчас таких недоучившихся в Лондоне тысячи. Что с ними будет — никто не знает. Если правительство не почешется, всю страну придется застроить исправительными колониями. В общем, моей вины тут нет — так я считаю. А посмотришь с другой стороны — вроде бы и есть. Зачем пошел машины воровать? Сказал бы себе: вот прохожу десять лет без работы, тогда застрелюсь или сопьюсь до смерти, но гангстером не стану. И правительству от меня никакой беды. Закинули бы куда-нибудь мой труп даже без опознания, а если бы и опознали, родителям сообщать не обязательно — и все дела, ни забот от меня, ни хлопот. Что может быть лучше такой смерти? А так я тяну здесь срок и высасываю из государства денежки. Не хотелось правительству на меня тратиться, а все-таки пришлось. Вот сейчас я сижу за этим столом и ничего не делаю, а какой-то из их контор это обходится в несколько фунтов. Да еще, наверное, сколько-то фунтов уходит на то, чтобы вид у меня был более или менее человеческий. Не лучше ли было дать мне работу, чтобы эти деньги я зарабатывал? Или пустить их на улучшение школ? Раньше я над этим не задумывался, а ведь у меня еще школьный возраст не вышел! Вот сейчас в эту самую минуту я должен сидеть в школе и учиться. А я сижу здесь. Почему так получилось, с кого спросить? С господа бога? С отца? С себя самого?

ИСТОРИЯ, СУДЬБА И ЧУВСТВО ВРЕМЕНИ

Дион Стэплтон вот уже больше пятнадцати лет живет в Брикстоне. Ког-

да ее муж Дэвид погиб в автомобильной катастрофе, их двое детей были совсем маленькими, и она решила переехать, но из этого ничего не получилось. Денег в семье было мало и при жизни Дэвида, теперь их стало еще меньше. Дион продолжает получать какие-то пособия, но их двухкомнатная квартира совершенно непригодна для жилья, особенно зимой, когда мороз, и от холода и сырости у нее ломит суставы.

Смерть мужа, рост квартплаты, обветшание жилища — все это во многом изменило жизнь тридцатидевятилетней Дион Стэплтон. Она часто говорит об этих изменениях, особенно об одном, которое тяготит ее больше остальных:

— Раньше я на что-то надеялась, а теперь — нет. Можно мириться с плохой погодой, с тем, что не хватает пищи или горячей воды, была бы надежда. А сейчас мне все опостылело. Пропал стимул к жизни, а это так страшно. Я сильно постарела, а ведь мне еще нет сорока... Я все время мерзну, все время болят пальцы рук и ног. Дай бог дотянуть до пятидесяти, до шестидесяти. Кто знает, может, мое сердце не выдержит через два дня? Нет, я не хочу умирать, но когда видишь, что на хорошее надеяться в жизни нечего, перестаешь думать о своем здоровье: приберет господь бог, ну и ладно.

Люди спрашивают: что с тобой случилось, Дион? Ты так сильно изменилась. Никак не можешь забыть Дэвида? Конечно, я изменилась. Конечно, не могу забыть мужа. И за другого уже не выйду. Но это только половина моей трагедии. Во мне умерла всякая надежда — вот что главное. Будто кто-то вошел сюда однажды и, пока я не видела, утащил всю надежду, жившую во мне. Может, ее никогда и не было по-настоящему, но мне казалось, что все-таки была. Как тяжко приходится бедному цветному человеку в этой стране! И старому и молодому. Я вижу, как мучается моя дочка. Кажется, она просто сидит в кресле, но на самом деле она думает о чем-то важном и серьезном. «О чем ты думаешь?— спрашиваю я. Пусть выговорится, может, ей станет легче.— Хочешь что-нибудь сказать мне, дочка?» — «Да, мама, хочу.— Это было совсем недавно.— Знаешь, мне все опротивело в жизни, все. Школа, наша улица, квартира, вот эта мебель. Все опротивело, потому что у нас никогда нет денег. Ты каждый раз говоришь, что мы переедем в другой район, купим новую мебель, но все остается по-старому. Ну зачем ты стараешься нас убедить, будто что-то изменится, хотя сама прекрасно знаешь — все останется так, как есть?»

Шарон ударила в самое больное место. Как можно мириться с такой жизнью? Вот с этой квартирой, с тем, что нет горячей воды, что тебя презирают только за цвет кожи, что дети скрежещут зубами, потому что не могут найти работы, а если и находят, то обязательно не по душе. Как мириться с тем, что в доме всегда безденежье? И вот, поговорив так с дочкой, узнав, что и Лонни думает то же самое, я понимаю — все наши надежды с самого начала были несбыточной мечтой. Мне-то надеяться определенно не на что, а моим детям? Им есть на что? Не только моим, а всем, кто растет в тех же условиях, что Шарон и Лонни. Сколько лет доведется им жить? Да и волнует ли кого-нибудь, есть они на этом свете, нет ли?

Им будет хуже, даже если ничего вокруг не изменится, понимаете? Если все плохое останется таким, какое оно есть, это будет самое страшное ухудшение. Это-то Шарон и пыталась мне втолковать: все вокруг так плохо, а изменений к лучшему не предвидится. И это для меня самое ужасное. Ну ладно, я старею, надежда уходит, может, оно и правильно. Но разве справедливо, чтобы всякую надежду потеряла четырнадцатилетняя девчонка?

Почитайте ежедневные газеты — вы увидите, что фунт день ото дня падает, падает, падает. Каждый день ослабляет его, хоть немножко, но ослабляет. Вот так и с моей надеждой...

Я думаю о детях — о Лонни и Шарон. Неужели и их жизнь будет такой же горестной и постыдной, как моя? Только представьте себе — такой город, такая страна, столько всего сделано, но для нас здесь нет места. Какой стыд!

Перевод с английского М. ЗАГОТА

◆

ИЗ АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

РОБЕРТ ГРЕЙВЗ

Перевод ВИКТОРА ШИРОКОВА

УТРАЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ

Его глаза тоской обострены,
он может видеть сквозь бетон стены,
заметит рост гравинки и листа
и различит, как, вырваться спеша,
из мертвеца крылами бьет душа,
прозрачна словно воздух и чиста.
Он уловить твои слова готов,
чуть мысль мелькнет в горячей голове,
он слышит шорох гусениц в траве
и ловит ухом плач далеких сов.
Сначала протестует трезвый ум:
ну как он слышит самый слабый шум —
червей беседу, чмоканье корней,
у моли жуткий скрежет челюстей,
стон муравьев, спешащих приподнять
и перенесть чудовищную кладь;
жужжанье злое пауков-ткачей,
плетущих кружева своих сетей,—
и быстрый шепот, охи, вздохи мух,
на пышном ложе испускавших дух.
Так взвинчен горем этот человек,
что сон ему не закрывает век.
Как пес в репье и словно вор в крови,
он рыщет в поисках утраченной любви.

НИКТО

Никто, этот старый проказник никто
хозяйствует в мире кино и авто.

Никто, по дороге бредущий, никто,
подобный мужчине в обвислом пальто.

Никто ночью прячется в доме, никто,
как дети, гоняет чердачных котов.

Никто где-то в садике ходит, никто
как будто девчонка в венке из цветов.

Безликий никто, обернувшийся духом
и все же отлично замеченный слухом.

Пока сей никто не умрет добровольно,
под страшным проклятьем мы будем невольно —

проклятием ревности, страха и злого
насилья, несчастья, убийства ночного.

АЛЬФРЕД ХАУСМАН

КАШТАН РОНЯЕТ ФАКЕЛЫ ЦВЕТОВ

Каштан роняет факелы цветов,
их ветер гасит и несет на юг;
стучат дверьми, дождь лить всю ночь готов.
Май кончился; подвинь мне кружку, друг.

Что за весна, что хуже всех невзгод;
повсюду грязь, куда ни посмотри.
Май, может, краше будет через год,
но нам, увы, не будет двадцать три.

Определенно мы с тобой из тех,
кто ждал в тавернах солнечного дня
и потерял надежду на успех,
в душе глупцов и подлецов кляня.

И, видно, такова природа зла:
ударить там, где будет побольней,
и оглупить священные дела,
пока к могиле шествуем своей.

Повсюду фальшь; и кружку передай.
Мой друг, из-за стола хоть не вылазь.
Весь наш удел обманчив, словно май:
мы жаждем света, а получим грязь.

Пускай сегодня нас гроза пугнет,
грядут чужие слезы впереди.
И скоро плоть с других костей сползет,
душа взметнется из другой груди.

Беда гордыни нашей, злости прах
извечны, словно жизни карусель
Мы можем и должны их на плечах
нести, как небо, друг; и пей свой эль.

КОГДА МНЕ БЫЛО ДВАДЦАТЬ

Когда мне было двадцать,
мне говорил сосед:
«Дарите все на свете,
но только сердце — нет;

дарите жемчуг, злато,
но сердце — никогда».
Мне было только двадцать,
а что слова тогда?!
Когда мне было двадцать,
я слышал от него,
что нет на свете сердца
дороже ничего.
«Вот влюбитесь, и будет
не мил весь белый свет».
Мне стало годом больше,
как понял — прав сосед...

У. Б. ЙИТС

ПОСЛЕ ДОЛГОГО БЕЗМОЛВИЯ

Речь после долгого молчания; точь-в-точь
как все любовники, чужды и далеки мы оба,
и абажуром скрыта лампы злоба
и шторами — озлобленная ночь.
По Песне и Искусству голодны,
мы рассуждаем; теме нет предела:
мудра усталость старческого тела;
кто молоды — глупы и влюблены.

И ЧТО ЖЕ?

Ему сулили на роду
известность, жизнь под стать вельможе;
он верил в то же на беду
и юность посвятил труду.
«И что же?» — дух Платона пел. «И что же?»

Издáли все, что он писал.
и кое-что прочли, быть может.
Он наконец богатым стал,
друзей достойных отыскал.
«И что же?» — дух Платона пел. «И что же?»

Сбылись заветные мечты —
дом, сад, жена с атласной кожей,
прекрасны тыквы и цветы,
поэты с ним давно на «ты»;
«И что же?» — дух Платона пел. «И что же?»

«Жизнь удалась,— подумал он,—
Пусть злятся дураки, о боже,
план моей юности свершен
и вспомнится в час похорон...»
Но громче тот же дух пропел: «И что же?»

СИЛЬВИЯ ТАУНСЕНД УОРНЕР

Феникс

Перевод с английского НАТАЛИИ ПАДАЛКО

Лорд Стробэри коллекционировал птиц. Его авиарий слыл лучшим в Европе: орлы не чувствовали себя в нем стесненными — настолько он был велик, а на микроклимат не могли пожаловаться ни колибри, ни снегири. Но лучшая вольера уже многие годы пустовала, украшенная лишь табличкой «Феникс. Место обитания — Аравия».

Хотя одни орнитологи уверяли лорда Стробэри, что легендарный феникс никогда не существовал в действительности, а другие считали этот вид птиц давно вымершим, лорд Стробэри был непоколебим в своей вере в фениксов. Время от времени он получал от своих агентов (вместе с отчетами о расходах) фениксов, которые на самом деле оказывались иволгами, попугаями ара, грифами, а то и просто какими-то пташками. Наконец, лорд Стробэри сам отправился в Аравию, где по прошествии нескольких месяцев отыскал феникса, завоевал его доверие, поймал его и, не повредив ни перышка, доставил домой в Англию

Это был замечательнейший феникс с чудесным характером. Он дружелюбно относился ко всем обитателям вольер и был в высшей степени расположен к лорду Стробэри. Его появление в Англии стало настоящей сенсацией в мире орнитологов, журналистов, поэтов и манекенщиц, они толпами приходили на него посмотреть Но он не кичился вниманием к его персоне, а когда мода на него прошла и количество посетителей намного уменьшилось, не выказывал обиды. Он нисколько не потерял интереса к пище и, казалось, был совершенно счастлив.

Содержать такой авиарий стоило немалых денег. И после смерти лорда Стробэри не осталось ни пенса. Коллекция пошла с молотка. В обычное время за редких птиц и, конечно же, за феникса торговались бы поверенные крупнейших европейских зоологических обществ или частные лица из США. Но ведь лорд Стробэри умер сразу же после войны, когда было плохо и с деньгами, и с птичьим кормом (баснословные цены на птичий корм были не последней из причин разорения лорда Стробэри).

Лондонской «Таймс» принадлежит честь открытия кампании по спасению феникса. В своих статьях она не раз напоминала любителям птиц о моральном праве англичан держать феникса в Лондонском зоопарке. Тут же был основан «Стробэри феникс фонд», куда потекли пожертвования от владельцев зоомагазинов, студентов и школьников. Разумеется, суммы были невелики, так что исполнителям воли лорда Стробэри пришлось уступить феникса некоему мистеру Танкреду Полдеро, владельцу частного зоосада.

Довольно долго мистер Полдеро считал феникса удачным приобретением. Это была послушная и воспитанная птица, быстро освоившаяся с новым окружением. Расходы на ее содержание были не так уж велики, она ничего не имела против шумных маленьких посетителей; и хотя никакими фокусами публику не развлекала, мистер Полдеро надеялся, что вскоре феникс обучится каким-нибудь трюкам. Популярность, которую феникс приобрел благодаря краткому существованию «Стробэри феникс фонд», очень пригодилась Почти каждый внесший свою лепту в фонд сэкономил теперь еще полкроны, чтобы увидеть редкую птицу, некоторые же платили даже по кроне — по выходным дням, когда плата за вход была вдвое выше.

Но дальше дела пошли хуже. Феникс был так же хорош, как и прежде, и так же послушен, но, как выразился мистер Полдеро, «не убеждал». Даже за умеренную плату посмотреть его уже не спешили Посетители предпочитали обезьян с их ужимками или крокодила, о котором говорили. что он проглотил женщину.

Однажды мистер Полдеро спросил у своего управляющего мистера Рэмкина:

— Давно не продаете билеты на феникса?

— Да уже недели три — ответил тот.

— Он нас сожрет. Семь шиллингов в неделю стоит мне эта птичка За эту цену я мог бы содержать здесь архиепископа Кентерберийского.

— Публике он не нравится — слишком невозмутим. Я уж думал подсунуть ему какую-нибудь хорошенькую самочку, но ни на попок, ни на цапель, ни на кохинхинок он и смотреть не хочет

— А может, нам удастся обменять его на другого феникса, повеселей? — предположил мистер Полдеро.

— Да это ж невозможно! Он единственный.

— Как так?

— Ну как же. Разве вы не читали, что написано на табличке?

Они поспешили к вольере, в которой содержался феникс. Он вежливо похлопал крыльями в знак приветствия, но они не обратили на него никакого внимания, они читали табличку: «Птица, единственная в своем роде. Самый старый в мире холостяк. У него нет пары, и ему не требуется самка для продолжения рода. В старости сам себя сжигает и возрождается из пепла. Специально доставлен с Востока».

— У меня идея — воскликнул мистер Полдеро.— Как вы думаете, каков возраст этого феникса?

АНТИРУБРИКА

— Похоже, что он как раз в расцвете лет,— ответил мистер Рэмкин.

— А вдруг нам удастся заставить его самовозгореться? — размышлял вслух мистер Полдеро.— Мы, конечно, заранее дадим объявление в газетах, чтобы подогреть их интерес... И у нас будет потом другой феникс! Птицу с такой романтической историей наверняка можно хорошо продать.

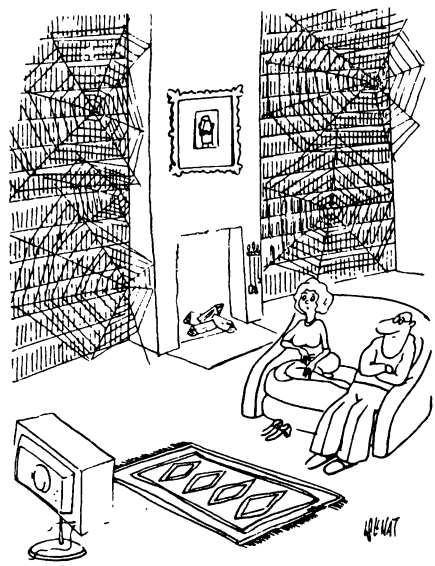
Мистер Рэмкин закивал головой:

— Да, я читал. Им нужна пахучая древесина, они строят гнездо, забираются в него и поджигают сами себя. Но не раньше, чем состарятся. Вот в чем загвоздка.

— Это я беру на себя! — откликнулся мистер Полдеро.— Достаньте только дерево, он у меня постареет!

Но задача оказалась не из легких. Хотя рацион феникса уменьшили вдвое, а потом урезали и оставшуюся часть, он только исхудал, но глаза и оперенье блестели по-прежнему. Отопление тоже отключили, но он распушил перья и, казалось, прекрасно переносил холод. К нему в клетку пустили других птиц — неуживчивых и драчливых. Они гоняли и клевали его но феникс был так воспитан и дружелюбен, что через день-два им это надоело. Тогда мистер Полдеро попробовал кошек, уж их-то нельзя было обезоружить хорошими манерами. Но феникс в ответ на атаки кошек стрелой взмывал над их головами, чуть не задевая их своими золотистыми крыльями, чем совершенно кошек обескуражил.

ВИЛЛНАТ, ФРГ.
«И как бы мы проводили вечера, не будь у нас телевизора?»



Мистер Полдеро раздобыл справочник о природно-климатических условиях Аравии и выяснил, что климат там сухой. «Ага!» — сказал он себе и поместил феникса в маленькую клетку, где в потолок был встроен разбрызгиватель. Каждую ночь его включали, и феникс начал кашлять. Мистеру Полдеро пришла в голову еще одна достойная мысль. Теперь ежедневно он сам лично останавливался у клетки с фениксом, чтобы поглумиться над ним.

Когда пришла весна, мистер Полдеро решил, что пора давать объявление в газеты. Он сообщал, что конец любимца публики близок. Сам же тем временем каждый день проверял реакцию феникса, бросая в клетку пучки зловонной соломы и заржавевшую колючую проволоку, и наблюдал, не станет ли феникс вить себе гнездо. Как-то раз феникс, увидев солому, задумался. Мистер Полдеро поспешил подписать контракт на съемку кинофильма — наконец-то час настал.

Был прекрасный субботний майский вечер. Плата за вход благодаря газетной шумихе поднялась, как в лучшие времена, до пяти шиллингов. Площадка была переполнена народом. Камеры наведены на клетку, а громкоговоритель поздравлял собравшихся, которым выпало счастье стать свидетелями редчайшего события

— Феникс,— вещал громкоговоритель,— аристократ птичьего мира Только ценнейшие породы дерева, специально пропитанные экзотическими восточными благовониями, могут соблазнить феникса свить его странное гнездо любви Издающие сильный запах прутья и стружку доставили в клетку. Феникс,— продолжал громкоговоритель,— капризен, как Клеопатра, блистателен, как маркиза Помпадур, темпераментен, как зажигательная цыганская мелодия. Вся фантастическая пышность и страсть древнего Востока, его томное очарование, его утонченная жестокость.

— Глядите! — закричала женщина в толпе.

Дрожь охватила феникса, он повернул голову несколько раз из стороны в сторону и, пошатываясь, спустился с шеста. Затем начал собирать в кучу прутья и стружку.

Щелкнули камеры, юпитеры залили клетку светом Мистер Полдеро кричал в мегафон:

— Леди и джентльмены! Затаив дыхание, мир ждет волнующего момента! Древняя сказка становится былью на наших глазах! Феникс...

Феникс устроился на своем погребальном костре и, казалось заснул.

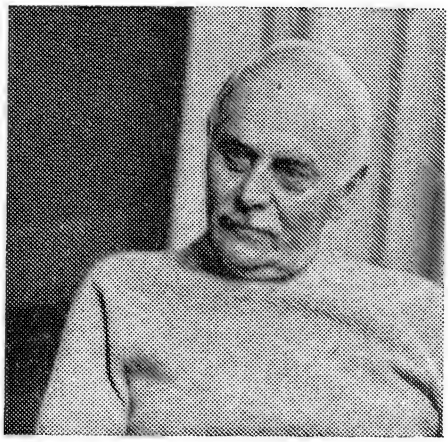
Режиссер заметил мистеру Полдеро:

— Фильм сделаем, пожалуй, учебным.

В этот самый момент феникс и ворох прутьев под ним вспыхнули огнем Пламя стремительно рванулось вверх и в стороны, мгновение -- и от мистера Полдеро и собравшихся здесь людей остался лишь пепел

◆

Наши гости



Берил Бейнбридж. Уильям Купер

АНГЛИЯ

Берил Бейнбридж и Уильям Купер пока еще не знакомы нашему читателю. Они представляют не только разные художественные манеры, но и разные поколения в английской литературе. В этом году Купер отметит свое 70-летие. Его первый роман, сейчас забытый, «Трина», вышел как раз в год рождения Берил Бейнбридж — 1934-й. На сегодняшний день перу Уильяма Купера принадлежат 16 романов, 2 пьесы, рассказы, сборники статей по проблемам искусства и социологии. Известный английский писатель и литературовед Малькольм Брэдбери высоко оценил вклад Уильяма Купера в английскую послевоенную литературу. В своих романах «Сцены из провинциальной жизни» (1950), «Сцены из столичной жизни» (1951) он воскресил традицию английского нравоописательного романа, восходящего к Энтони Троллопу и Арнольду Беннету. «Сцены из провинциальной жизни» стали своего рода современным классическим образцом этого жанра. Его главный герой Джо Ланн, не принимающий окружающую действительность, шокирующий своих благонамеренных коллег по школе бурлескным поведением, во многом предвосхитил персонажей «сердитых молодых людей» — Джона Осборна, Кингсли Эмиса и Джона Брейна.

В отличие от Уильяма Купера Берил Бейнбридж вошла в литературу относительно недавно, в 1965 году. Но с тех пор она опубликовала уже 10 романов. Критики называют ее «прирожденной писательницей» и прочат большое будущее. Традиция, в которую вписывается ее творчество, имеет в своем активе другие, нежели у Купера, имена. Вспоминается хлесткая, сатирическая проза Джонатана Свифта, Ивлина Во, Мюриэл Спарк.

На страницах книг Берил Бейнбридж перед читателем течет обычная, серенькая жизнь. Она описана лаконично и подчеркнуто остраненно. И вдруг это видимое спокойствие взрывается. Бытовой фарс перерождается в «черный юмор», который, в свою очередь, стремительно приобретает трагедийные черты. Причем трагедия, несмотря на то, что она совершенно не предусмотрена всем предыдущим развитием сюжета, оказывается тем не менее совершенно закономерной. И в этом прежде всего сила воздействия жестокой прозы Бейнбридж. Тетя Нелли, портниха из одноименного романа, убивает американского летчика, у которого роман с ее стареющей сестрой Мадж, даже не столько потому, что возмущена их отношениями, а прежде всего из-за того, что он царапал мамину мебель: «Она подняла руку и вонзила ножницы — туда, под короткую поросль волос. Так она возмутилась».

— Читатели вашего журнала,— говорит Уильям Купер,— не знают нас. Поэтому, я полагаю, нам необходимо представиться. Берил, пожалуйста.

— Я родилась на севере Англии, в Ливерпуле, где и прожила до 30 лет, иными словами, до 1964 года. Я выросла в типичной семье английского среднего класса. Отец мечтал о карьере бизнесмена, но дальше мелкого торговца не продвинулся. У него был тяжелейший характер; периодически им овладевали приступы бешенства, и тогда он превращался в настоящего семейного деспота. Мать, разумеется, мечтала не о такой жизни. У нее было

много претензий и мало возможностей для их реализации. Ее заботила только внешняя сторона жизни. Она не развелась с отцом, хотя давно его не любила. Ее совершенно не волновала проблема моего образования, но очень беспокоило, как я одета по воскресеньям и что обо мне подумают соседи. В пять лет, в 1938 году (это было как раз перед войной), я начала выступать перед публикой — танцевала четечку. Так началась моя сценическая карьера. Позже я окончила балетную школу, а с 1949-го по 1960 год работала в театре. Мое детство и юность не были трудными, но они не были и счастливыми. Однако, оглядываясь назад, я понимаю, что они были идеальными для будущего писателя. Душная атмосфера провинциального города на севере Англии стала материалом для всех моих будущих книг, источником, из которого я продолжаю черпать и по сей день.

Мой первый роман «Уик-энд с Клодом» вышел в 1965 году его хорошо встретили, но второй — «Другая часть леса» (1968) — не получился. Я перестала писать и вернулась к обычной жизни — к детям, которых у меня к этому времени было уже трое. Работала, даже успела сменить несколько профессий: сначала устроилась кладовщицей на бутылочную фабрику потом выполняла случайную работу в издательстве «Дакуорт», в котором впоследствии и вышли все мои романы.

Кстати, именно редакторы этого издательства помогли мне найти стиль письма. Объясняли, что надо писать только о том, что знаешь доподлинно, на собственном опыте И еще сказали, что длинная книга — вовсе не обязательно хорошая книга. Я попробовала. Так появилась «Портниха» (1973), где я воскресила и атмосферу города, в котором выросла, и нравы своих тетушек В этом романе все правда, даже убийство, завершающее повествование. Действительно один американский летчик, оказавшийся в Ливерпуле и затеявший роман с престарелой кокеткой, был убит ее родственницей. Об этом я прочитала, листая подшивки газет за те годы. В «Экскурсии с бутылочной фабрики» (1974) я тоже осталась верна фактам: описала быт и нравы людей, с которыми познакомилась, когда работала кладовщицей. На этот раз в жизни убийства не было, но зато обстановка, в которой зрела трагедия, доподлинна. А уж «Тихая жизнь» (1976) — это просто моя автобиография Зачем придумывать, когда сама жизнь дает такой удивительный материал, который загадочнее и фантастичнее любого вымысла.

— Когда я слушал Берил,— вступает в разговор Уильям Купер,— то поймал себя на том, что завидую ей Я ведь не считаю себя стопроцентным литератором Уильям Купер — мой псевдоним. А вообще-то я — Гарри Хофф, по образованию физик эксперт по делам применения атомной энергии. Много лет проработал вместе с Чарльзом Перси Сноу, который тоже начинал как физик Наверное, можно было бы больше написать, если бы полностью отдать себя творчеству Но, с другой стороны, каким важным оказался для меня опыт научной деятельности. Я признаю только ту литературу, которая рождается из глубин собственного «я» писателя. Стараюсь рассказывать лишь о том, что было со мной. Например, об ученых — романы «Терзания Альберта Вудса» (1952) и «Мемуары нового человека» (1966). Иногда мне кажется, что я — реалист, потому что у меня, как заметил Сноу, нет никакого воображения. А если говорить серьезно, то в конце 30-х — начале 40-х годов, то есть тогда, когда я начал писать, в литературе ощущалась настоятельная потребность писать о реальном мире, о реальных людях, о действительно имевших место фактах. Это была примета времени, когда многие литераторы сознательно обратились к наследию реалистического искусства, к книгам Чарльза Диккенса, Энтони Троллопа, Арнольда Беннета, и противопоставили их способ изображения действительности формальному эксперименту «блумсберийцев», иными словами, творческим установкам Джеймса Джойса и Вирджинии Вулф. Я признаю лишь искусство, которое рассказывает о человеке и обществе, об их неразрывной связи. Руководствуясь такими постулатами, я и написал свой роман «Сцены из провинциальной жизни». Это одна из моих любимых книг. Ее можно было бы определить как художественную автобиографию. В образах моих героев изображены реальные люди. Конечно, я несколько изменил их, избрав ироническую дистанцию. Должен заметить, что комический элемент представляется мне необходимым в литературе. Но, видимо, несмотря на иронию, мои герои все же легко узнаются их прототипами. В этом я имел возможность не раз убедиться. А в романе «Сцены из супружеской жизни» (1961) моя приверженность фактам чуть не довела меня до беды: одна дама, увидев себя в образе главной героини, подала на меня в суд, усмотрев в моей книге посягательство на неприкосновенность личности. Вот тогда-то я и решил взять псевдоним.

Гарри Хофф, или Уильям Купер, не только известный ученый и писатель. Он и критик, сыгравший объективно значительную роль в становлении английского реалистического романа после 2-й мировой войны. В ту пору Чарльз Перси Сноу, Памела Хэнсфорд Джонсон и Уильям Купер повели на страницах ведущих английских газет и журналов планомерную борьбу за сохранение и творческое развитие реалистических традиций в литературе Великобритании. Они рецензировали произведения молодых и тем самым помогали им найти себя в литературе.

— Сейчас, анализируя творчество тех, кто шел за нами: Дэвида Стори, Стэна Барстоу, Джона Брейна, Стэнли Миддлтона,— мне кажется, можно сказать, что наши усилия не пропали даром. Сейчас я мало занимаюсь критикой. Но во мне по-прежнему жив ментор. Ведь многие мои предки были священниками. И хотя я атеист, их кровь непобедима. Люблю проповедовать. Иногда мне кажется, что именно поэтому я и стал писать. Сейчас я удовлетворяю свою потребность к «проповеди», наставляя своих студентов,— с 1978 года я читаю курс литературы в

Лондонском университете, иногда выезжаю с лекциями в Америку. Род деятельности изменился, но литературные симпатии остались без изменения, а может быть, стали еще выраженнее, потому что в последние годы я заново открыл для себя английское классическое наследие: Джейн Остин, Чарльза Диккенса, Уильяма Теккерея и Энтони Троллопа. Мои студенты, люди,— увы! — по большей части невежественные, не располагающие даже минимальным набором фактов, которыми обязан оперировать мало-мальски грамотный человек, тем не менее способны оценить книги Троллопа. Хотя, конечно, сегодняшней популярности этого писателя способствовала экранизация его романов на телевидении.

— Для меня тоже очень важна английская классика,— замечает Берил Бейнбридж.— Думаю, что моим первым литературным учителем, хотя я и не подозревала об этом тогда, был Диккенс. Только став профессиональной писательницей, я оценила степень его воздействия. У отца при всех его недостатках была хорошая привычка — читать иногда по вечерам вслух какой-нибудь роман Диккенса. До сих пор помню свои ощущения — леденящий, ползущий по спине страх при описании смерти Нэнси в «Оливере Твисте». Повзрослев я поняла, каким невыносимым, сентиментально-слащавым может быть Диккенс. Но слабости не уничтожили его силу. Меня всегда поражает драматический талант Диккенса, особенно в описании смерти — естественной или же насильственной.

Может быть, из-за Диккенса у меня такой интерес к смерти. Смерть — это кульминация, а следовательно, она может стать внутренним стержнем любого повествования. Для Диккенса смерть была лишь одним из путей построения напряженного, динамичного сюжета. А для современного романиста смерть — чуть ли не единственный способ создать произведение, которое будет композиционно организовано. Наш арсенал, к сожалению, весьма ограничен. Хемингуэю в свое время не хватало слов, нам же не хватает связных сюжетов. О чем писать? Религия мертва, надежные политические и идейные ориентиры в нашем обществе потеряны. Ну, а кто на полном серьезе будет писать об истинной любви? Вот и получается — все, что нам осталось,— это случайные смерти, убийства, происходящие в жизни, которая сама по себе состоит из каких-то отрывков, бессвязных кусочков, фрагментов. Писатели, поставляющие дешевую развлекательную продукцию, воссоздают на страницах своих книг те «кусочки», которые имеют особенно большой спрос на рынке: насилие, приключения, секс. А что делать серьезному писателю, как ему сохранить творческое лицо в этом обществе «всеодозволенности»?

В условиях западного мира писателю трудно выполнить свою задачу. Разве можно считать искусством то, что показывают по телевизору? Иными словами, всю эту «масс-медиа», которая привлекательна, как хорошо сделанная бижутерия, и только. У меня такое впечатление, что в нашей стране читают очень мало и еще меньше думают над прочитанным. И еще мне кажется, что мы утратили критерий в оценке истинного произведения искусства. В этом отношении очень поучительна процедура присуждения премии «Букер» — ведущей литературной награды страны. В последние годы я была в составе жюри, поэтому наблюдала «кухню» изнутри. На мой взгляд, очень редко премию получает действительно достойный. На моей памяти за последние годы самой яркой книгой, удостоенной премии «Букер», был роман ныне уже покойного писателя Пола Скотта «Задержавшиеся» — об англичанах, оставшихся в Индии после краха империи. К сожалению, очень много зависит от личных вкусов и предпочтений, которые нередко диктуются отнюдь не литературными соображениями. У меня такое впечатление, что мало кто судит художественное достоинство произведений. Ремесленно скроенные книги (а ведь ремесло — это тоже высокий уровень профессионализма) и судят по-ремесленнически. Иногда я задумываюсь, а взялась бы сегодня какая-нибудь фирма за публикацию Дэвида Герберта Лоуренса? Боюсь, что нет. Я не случайно обратилась к этому примеру. В свое время роман Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» был сенсацией. Эту книгу запретили, обвинив автора в аморализме. Сейчас его проза кажется просто невинной. Но зато особенно остро в ней ощущаются проблемы, а мы отвыкли и, если угодно, сознательно отучили себя от обстоятельных, проблемных книг. Детектив — это другое дело. На книжном рынке Великобритании, а это, вероятно, происходит всюду на Западе, ситуация напоминает «безумное чаепитие» в «Алисе»: быстро пишут, быстро читают, быстро присуждают премии и быстро забывают.

Вам это, вероятно, трудно понять, но в СССР я впервые за свою жизнь очутилась среди людей, которым я интересна, которым важны мои соображения, мысли, которые серьезно относятся к созданному мною. Не знаю, как я буду писать, вернувшись из этой поездки. Может быть, и иначе.

— Я по природе оптимист,— говорит Уильям Купер.— поэтому стараюсь не так мрачно смотреть на судьбу искусства сегодня. Хотя я согласен — судьба его непростая. И все же люди читают — даже мои неграмотные студенты. Читают хорошие книги, которые являются гораздо более действенным фактором формирования личности, нежели телевидение. Большие надежды я возлагаю на правильное, разумное образование. На мой взгляд настоящей бедой нашей системы стало явление, которое я называю «антиэлитаризмом». Поймите меня правильно, я не сторонник неравенства в обществе. Но слово «элита» употребляется преимущественно с отрицательным оттенком, а это неправильно. Первоначально «элита» означала группу людей, выделяющихся своим талантом. Антиэлитаризм — явление очень опасное. Способствуя ему, мы практически не даем возможности талантливым людям проявить себя. У вас этого нет. В Советском Союзе есть спецшколы для де-

тей, проявляющих склонность к математике, литературе иностранным языкам.

— Меня тоже весьма беспокоит состояние умов современной молодежи,— продолжает Берил Бейнбридж.— Мятущееся, какое-то покосившееся время породило и поколение, которое ему под стать. И в их бесхребетности, конечно, виновата система образования. Они ничего не знают; свастика для них — так, украшение, экзотический знак.

Речь заходит о нашумевшем в Англии и Америке романе Берил Бейнбридж «Молодой Адольф». Замысел, как это уже не раз бывало у Бейнбридж, родился, когда она перелистывала старые подшивки ливерпульских газет. Ей на глаза попалась заметка о том, что в 1912 году на той же улице, где живет сама Бейнбридж, жил сводный брат Гитлера, Алоис

— Вот я и предположила что Гитлер вполне мог приехать его навестить. Я поместила Гитлера в обстановку, знакомую мне по личному опыту в тягостную атмосферу провинциального города, которую я описываю во всех своих романах.

Многие критики особенно американские, не поняли моих намерений Они упрекали меня в неточностях Их в основном занимал вопрос а был ли Гитлер в пору своей молодости в Ливерпуле и если был, то где тому доказательство Я же подошла к выбранному сюжету не как историк: у меня для этого нет соответствующих знаний. Некоторые критики даже писали, что я занялась апологией Гитлера. Вовсе нет. Для меня Гитлер — чудовище. Но как писательницу меня интересовала психология этого человека в ту пору, пока он еще не превратился в политического монстра. Гитлер рос в нищей семье, он хотел учиться рисовать но родственники не разрешили этого. Я старалась показать, как существовавшие в нем с рождения психопатические наклонности начали бурно развиваться в питательной среде воинствующего мещанства В нашей литературе есть превосходная книга Ричарда Хьюза «Лисица на чердаке», где Гитлер изображен уже в период его прихода к власти Мне трудно соперничать с Хьюзом, поэтому я ограничила свою задачу более скромными рамками. Ведь в конце романа Адольф уезжает в Германию становиться Гитлером.

— Да, к сожалению нередко бывает так, что твоя мысль ускользает от внимания рецензентов,— подтверждает Уильям Кулер — Мой последний роман «Вы не исключение Записки врача» был практически не понят в Англии И потому мне особенно приятно, что он был отрецензирован в вашем журнале У нас к сожалению нет такого журнала Хотя все мы испытываем потребность в нем А вот мои соотечественники не поняли что мой роман, с одной стороны, сатира на мораль вседозволенности а с другой — утверждение высокого чувства любви

«Вседозволенность» — это процесс который, если его насильственно не остановить, будет развиваться бесконечно. Как снежный ком. Порнография, садизм, насилие — всему этому нет предела. И очень опасно еще и то, что люди, живущие в атмосфере постоянной сенсации, слишком быстро привыкают к происходящему и перестают на него реагировать. Процесс этот начался давно, имел глубокие исторические корни и социальные предпосылки. Я касался этой проблемы в статье «Эра острых ощущений», которая была опубликована в вашем журнале[1]. Сейчас же я хочу коснуться еще одного аспекта этой проблемы. Сегодня уже шла речь о Лоуренсе В самом деле кто сегодня будет говорить о порнографии в «Любовнике леди Чаттерлей»? Это прекрасная, чистая книга, но и она открыла клапан. Тогда, в 20-е годы, позиция Лоуренса была социально и исторически обусловленной. Это был прежде всего протест против ригористичной, подавляющей свободное выражение личности морали Но сейчас, боюсь, процесс всеобщего раскрепощения остановить практически невозможно И потому — здесь во мне вновь заговорил дидактизм моих предков — проповедников-нонконформистов — особенно большая ответственность ложится на писателя.

Каковы дальнейшие планы наших гостей?

— У меня,— говорит Берил Бейнбридж,— только что вышел роман «Другая часть леса» который фактически является переделанным вариантом моего второго, неудачного романа. Чем больше я пишу, тем больше убеждаюсь в том, что книги должны быть лаконичными. Мне вполне достаточно 150 страниц, чтобы выразить нужную мысль. Вот и в этом случае я сократила первый вариант на 100 страниц, отчего проза только выиграла. В «Другой части леса» я отошла от обычной своей структуры — действие происходит не в Ливерпуле, но в шотландской деревеньке, где группа жителей Ливерпуля проводит отпуск. Мои герои — люди предельно эгоистичные, их самопоглощенность столь велика, что сломать ее может только трагедия.

Иногда я думаю: а что бы было, если бы вдруг сейчас на землю пришел дьявол? Боюсь, что ему нечего было бы здесь делать. Все уже сделано за него Во всяком случае, хочу описать такую ситуацию в моем новом романе Вернувшись из этой поездки, обязательно прочту «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. Думаю, этот роман мне поможет.

— В последние годы,— сказал Уильям Кулер,— я с большим вниманием слежу за творчеством советских писателей. Я познакомился с «Горячим снегом» Бондарева, «Белым пароходом» Айтматова, «Живи и помни» Распутина рассказами Тендрякова. В советской литературе мне особенно импонирует стремление утверждать нравственные ценности. Я убежден, что было бы крайне желательно больше публиковать ваших авторов в Англии. Во всяком случае, я приложу к этому свои старания.

Е. ГЕНИЕВА

---

[1] См. «ИЛ» № 5, 1968.

Среди книг

Издано в СССР

ЖИВОЙ ИНТЕРЕС К РОССИИ

Русские книги в библиотеках К. Маркса и Ф. Энгельса. Москва, Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Издательство политической литературы, 1979.

По сей день на Западе бытует сфабрикованный антисоветчиками и антикоммунистами миф о «русофобстве» Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Основоположники научного коммунизма, как утверждают подобные «знатоки марксизма», в общем и целом «не любили» Россию, отрицательно относились к русскому народу, не верили в его творческие силы и революционные возможности

Беспочвенность этих утверждений неоднократно разоблачалась в работах советских и зарубежных историков-марксистов. Произведения Маркса и Энгельса, их высказывания о России, обширная переписка с русскими корреспондентами и факты биографии великих учителей международного пролетариата подтверждают, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс глубоко и живо интересовались Россией, ее историей, общественно-политическим развитием и культурой.

Для более основательного знакомства со страной и ее проблемами Маркс и Энгельс не только использовали литературу о России и переводы с русского, изданные в Западной Европе,— люди энциклопедических знаний, владевшие несколькими языками, они изучали и русский язык Многие относящиеся к России источники, давшие материал для ряда их работ, были прочитаны ими на языке оригинала.

В. И. Ленин писал: «Маркс и Энгельс, оба знавшие русский язык и читавшие русские книги, живо интересовались Россией, с сочувствием следили за русским революционным движением и поддерживали сношения с русскими революционерами»[1].

С расширением в 70—80 е годы связей Маркса и Энгельса с русскими революционерами и прогрессивными деятелями увеличивается поток информации из России. Обширная корреспонденция поступала ежедневно в дом 41 на Мейтланд-парк-роуд в Лондоне, где Карл Маркс жил с марта 1875 года до конца своих дней. Вместе с письмами из России приходили и книги на русском языке

В последний год жизни Маркс составляет перечень «Русское в моей библиотеке», в котором перечисляются свыше 150 изданий. Известно, что этот список включает в себя далеко не все книги на русском языке, имевшиеся в библиотеке Маркса, а лишь те, которые были у него под рукой во время составления перечня: в трудах Маркса мы встречаем ссылки на русские книги, которых в этом списке нет Конечно, Маркс много работал и с книгами из общественных библиотек, но очень важным подспорьем для него всегда была его личная библиотека И в ее русском разделе, по свидетельству Сергея Степняка-Кравчинского, ознакомившегося с этим разделом уже после смерти Карла Маркса, были книги, не представленные даже в прославленном Британском музее.

Как известно, после смерти Карла Маркса в 1883 году основная часть его книг, в том числе и весь русский раздел, влилась в не менее богатое книжное собрание Фридриха Энгельса. О личных библиотеках основоположников научного коммунизма опубликована очень интересная работа «Из книг Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Судьба и описание библиотеки», выпущенная на немецком языке в 1967 году берлинским издательством «Дитц». Однако сюда не вошли русские книги из библиотек Маркса и Энгельса, поскольку подготовка соответствующего издания была запланирована московским Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС

И вот читатели получили результат многолетнего и кропотливого труда — превосходно изданный том «Русские книги в библиотеках К. Маркса и Ф. Энгельса», снабженный многочисленными иллюстрациями, а также комментариями и научными указателями

В книге три основных раздела: Карл Маркс «Русское в моей библиотеке»; описание русских книг из библиотек К. Маркса и Ф Энгельса, общие сведения о выписках и записях, сделанных К Марксом и Ф. Энгельсом при чтении русских книг Кроме того, книга содержит чрезвычайно интересный исторический очерк «О судьбе русских книг из библиотек К Маркса и Ф. Энгельса», благодаря которому читатель узнает, что розыск книг, принадлежавших классикам марксизма, еще далеко не за-

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, стр. 13.

кончен. До сих пор не найдено свыше тысячи книг из их библиотек, причем среди исчезнувших, утраченных изданий, возможно, есть и русскоязычные экземпляры, не учтенные даже в вышеназванной работе, хотя она и дает максимум известных нам на сегодня сведений о русских книгах, помнящих еще тепло рук Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

Большинство этих книг касается социально-экономических и политических вопросов, истории России; здесь и многочисленные статистические справочники, земские издания, юридическая литература, общественно-политические журналы, газеты, листовки и т. п.

Из русских писателей мы находим Пушкина и Грибоедова, Чернышевского и Добролюбова, Герцена и Огарева, Салтыкова-Щедрина и Некрасова, Златовратского и Энгельгардта, Степняка-Кравчинского и многих других. В библиотеках Маркса и Энгельса хранились такие литературно-художественные журналы, как «Отечественные записки», «Русский вестник», «Русская беседа», «Неделя» и номера «Колокола».

Сочинения Пушкина были знакомы Карлу Марксу еще до того, как он начал изучать русский язык. Об этом свидетельствует его примечание к работе «К критике политической экономии», увидевшей свет в 1859 году, тогда как по-русски Маркс начал читать десять лет спустя. Маркс приводит следующие строки:

...и почему
Не нужно золота ему,
Когда *простой продукт* имеет.
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог...—

и, комментируя их, пишет, что поэт отразил тут процессы товарного производства в России, подтверждая меткое определение Белинского, назвавшего «Евгения Онегина» «энциклопедией русской жизни».

Знакомство с произведениями Пушкина еще более упрочилось после того, как Маркс овладел русским языком. Интересны в этом отношении воспоминания Поля Лафарга: «Когда Марксу было уже 50 лет, он принялся за изучение русского языка и, несмотря на трудности этого языка, овладел им через какие-нибудь полгода настолько, что мог с удовольствием читать русских поэтов и прозаиков, из которых он особенно ценил Пушкина, Гоголя и Щедрина».

Фридрих Энгельс также любил стихи Пушкина, особенно «Евгения Онегина» — он неоднократно его цитировал и некоторые места знал наизусть. (Вспомним, что в 1891 году в письме переводчику на русский язык «Капитала» Маркса Николаю Даниельсону и Фридрих Энгельс цитирует — по-русски! — приведенные выше строчки из «Евгения Онегина» и тоже подчеркивает глубокое понимание Пушкиным экономических процессов.)

Сохранились словарные записи, составленные Энгельсом при чтении «Евгения Онегина» и «Медного всадника» Пушкина, относящиеся к 1851—1852 годам (Энгельс начал изучать русский язык в 1850 году). Любовь к этим произведениям Энгельс сохранил до конца своей жизни. Посетивший его в 1892 году Николай Русанов пишет в своих воспоминаниях: «Вдруг Энгельс быстро встал и воскликнул: — Да вот я кое-что прочту вам из старой русской библиотеки Маркса... — Энгельс по-прежнему быстро подошел к одной из полок, с мгновение поглядел на нее, сразу, не колеблясь, достал с нее в старом переплете книгу и показал ее мне: то было одно из первых изданий пушкинского «Евгения Онегина»...

Известно, как высоко ценил Карл Маркс революционного демократа Николая Чернышевского, о чем свидетельствует и послесловие ко второму немецкому изданию первого тома «Капитала», где Маркс называет Чернышевского «великим русским ученым и критиком». В библиотеке Маркса было несколько книг Чернышевского, отдельных оттисков его статей, а также несколько номеров журналов с работами Чернышевского.

Многочисленные пометки и подчеркивания Маркса на страницах этих книг и журналов показывают, что он очень внимательно изучал имевшиеся у него работы Чернышевского, делал из них выписки, конспектировал и даже переводил (это касается «Писем без адреса», полученных Марксом из России в рукописи в 1872 году и опубликованных в Цюрихе в 1874 году). 2 августа 1870 года Маркс писал И. Ф. Беккеру в Женеву: «...я буду им (имеются в виду русские друзья Маркса) очень благодарен, если они пришлют мне только что *вышедший четвертый том сочинений Чернышевского*. Деньги за него я пришлю им почтой». Этот том был им получен и тоже внимательнейшим образом прочитан. Маркса интересовали не только экономические работы Чернышевского — в перечне «Русское в моей библиотеке» мы находим под № 114 роман «Пролог», напечатанный в 1877 году в Лондоне в типографии газеты «Вперед».

Высоко ценил Карл Маркс и другого русского революционного демократа — Николая Добролюбова. В ответ на письмо уже упоминавшегося нами Даниельсона, в котором тот сообщал, что послал Марксу сочинения Добролюбова, Карл Маркс пишет 9 ноября 1871 года: «Горячо благодарю за всю ту доброжелательность, которую я встретил с Вашей стороны. С сочинениями Эрлиба (Ehrlieb — Маркс переводит фамилию Добролюбов на немецкий язык.— *А. Ф.*) я отчасти знаком. Как писателя я ставлю его наравне с Лессингом и Дидро». К этому мнению присоединялся и Энгельс, который в серии своих статей «Эмигрантская литература» писал о России как о стране, выдвинувшей «двух писателей масштаба Добролюбова и Чернышевского, двух социалистических Лессингов».

Внимательно следили Маркс и Энгельс за политической и литературной деятельностью Герцена. Помимо уже упоминавшихся отдельных номеров герценовского «Колокола» у них был и ряд книг, принадлежавших его перу, а также сочинения соратника Герцена — Николая Огарева, в том числе его стихотворение «Студент»

(«Он родился в бедной доле, он учился в бедной школе...»), подробно изложенное ими — с приведением отдельных слов на русском языке — в статье «Альянс социалистической демократии и Международное Товарищество Рабочих».

От Даниельсона Карл Маркс получил книгу Салтыкова-Щедрина «Господа ташкентцы». Маркс имел и другие книги великого русского сатирика — «Дневник провинциала в Петербурге», «За рубежом», «Убежище Монрепо» (последнюю, как известно, очень любил и Ленин). Пометки Маркса на полях этих книг (лишь в «Убежище Монрепо» их около 200) касаются не только отдельных русских слов и идиоматических выражений с вариантами их перевода на немецкий язык, но и содержания читаемого — Маркс отмечает места, характеризующие отсталость и забитость типов, изображенных Салтыковым-Щедриным. Впоследствии Даниельсон посылал сочинения Салтыкова-Щедрина и Фридриху Энгельсу. 19 февраля 1887 года Энгельс пишет ему: «Большое спасибо за «Сказки» Щедрина, к чтению которых я приступлю при первой возможности».

Благодаря Даниельсону в библиотеке Карла Маркса появились произведения поэта Некрасова, прозаиков Златовратского и Энгельгардта, даже клавиры опер Михаила Глинки «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин», которыми интересовалась старшая дочь Маркса — Женни.

Почти не касались мы произведений русской художественной литературы, прочитанных Марксом и Энгельсом не на русском языке, а в переводе. А таких ведь было тоже немало. (Вспомним, к примеру, отзыв Маркса о литературном памятнике Древней Руси «Слово о полку Игореве» из его письма Энгельсу от 5 марта 1856 года: «Суть поэмы — призыв русских князей к единению...».)

Большое собрание русских книг в библиотеках Маркса и Энгельса, произведения русской передовой общественной мысли, лучшие образцы революционной публицистики и художественная литература демократического направления, высказывания о выдающихся деятелях русской культуры свидетельствуют о глубоком интересе и уважении основоположников научного коммунизма к нашей стране, ее культуре, ее писателям и ее языку, о котором Фридрих Энгельс писал, что он «...всемерно заслуживает изучения и сам по себе, как один из самых сильных и самых богатых из живых языков, и ради раскрываемой им литературы...».

А. ФЕДОРОВ

ВСТРЕЧА В ГОД ЮБИЛЕЯ

Анна Зегерс. И снова встреча. Перевод с немецкого. Составитель и автор предисловия Т. Мотылева. Москва, «Прогресс», 1980.

С творчеством Анны Зегерс наши читатели давно и хорошо знакомы. Для них, как и для ее соотечественников, мужественная хрупкая женщина, ровесница нашего века, давно уже стала не просто талантливым писателем, но и воплощением душевной стойкости, многолетней и неизменной приверженности идеалам гуманизма и интернациональной пролетарской солидарности.

Название нового сборника прозы Анны Зегерс на русском языке знаменательно не только потому, что обещает читателю новую встречу с писательницей. Думается, что само понятие «встреча» наполнилось в последние годы для Анны Зегерс особым расширительным смыслом, стало своеобразной категорией ее мировоззрения и художественного мышления. В самых общих чертах это можно, наверное, выразить так: ничто возвышенное и доброе не проходит бесследно, ничему не дано кануть в небытие, у сильного духом человека всегда есть основания для надежды, и мудрое устройство жизни, при всех уготавливаемых ею человеку испытаниях, таково, что однажды все-таки осуществится заветное чаяние, откликнется эхо, замкнется круг — свершится «встреча».

Мужественное упование, оптимистическая вера всегда были свойственны Анне Зегерс, даже в самые черные годы фашизма. При всей злободневности, конкретности, временно́й и бытовой определенности ее художественного мира он всегда озарен неким символическим отблеском, источник которого — надежда, уверенность в грядущем торжестве правого дела. Без жертвы, пустым останется один крест из семи, приготовленных нацистами для бежавших из концлагеря узников,— таков символ надежды и непрерванной эстафеты в романе «Седьмой крест». Мертвые герои «остаются молодыми», их дело будет подхвачено и продолжено друзьями, детьми, новым поколением — так Зегерс уже в названии обозначает смысл другого своего крупного романа антифашистского цикла.

Не случайно столь огромную роль играют и в романах и в рассказах Анны Зегерс женщины — возлюбленные и матери героев, дающие жизнь и охраняющие жизнь. Пожалуй, именно рассказы разных лет, собранные в сборнике «И снова встреча», особенно выпукло являют эту черту творчества Зегерс. Из тихой, незаметной, придавленной бытом женщины становится Матерью — охранительницей героев Агата Швейгерт в одноименном рассказе, и есть что-то от безыскусной простоты жития во внешне непритязательном повествовании о мытарствах героини в поисках сына, сражающегося за республику в Испании. Неколебимо хранит верность и своему мужу, и общему с ним делу антифашистской борьбы Селия в рассказе «И снова встреча». С материнских счастливых мук, с рождения ребенка, с устройства его колыбели начинается рассказ «Крестьяне из Грушова» — этот миниатюрный эпос великой народной борьбы. Появление ребенка как бы становится новым залогом надежды для Селии. Для Анны Зегерс все это не просто бытовые сюжетные детали — это еще и свидетельства непрерывности, неугасимости жизни. И как горькое извращение этого вечного обнаде-

живающего хода бытия предстает история фашистского изверга в рассказе «Человек становится нацистом» — история, многозначительно обрамленная упоминанием о его матери, о его рождении: «Но она, его мать, жила в Дюссельдорфе на Уфергассе, ждала писем от сыновей, в том числе и от младшего, которого родила в 1917 году через девять месяцев после того, как слесарь Фридрих Мюллер побывал на родине в отпуске». Сама история нациста рассказана сухо, жестко, без эмоций, на фактах, но каким высоким светом суровой, истинной гуманности озаряет повествование эта последняя, по видимости тоже «сухая», фраза, этот скорбный и затаенно-сострадательный жест, которым писательница отстраняет, отделяет мать от выродка-сына.

Оптимистическая вера Анны Зегерс во «встречу» — не сентиментальное прекраснодушие. Век вместе с которым она родилась, слишком часто бывал суров и жесток, и писательница не уходила от него. Она писала о катаклизмах, сотрясавших этот век, о пламени восстаний и революций, о мраке фашистской ночи над ее родиной и Европой, об ужасах мировых войн. Герои Анны Зегерс проходили сквозь горнило этих испытаний И это другая сквозная тема Анны Зегерс — испытание человека, проверка его характера. Человек в прозе Зегерс всегда поставлен перед необходимостью выбора. «Решение» — так называется один из ее поздних романов. И выбор этот — не философское самоистязание в тисках и генетах гипотетических «пограничных» альтернатив; решение требуется от героя здесь и сейчас, на карту зачастую поставлена сама его жизнь и уж во всяком случае — его достоинство, самоуважение его право на звание человека Отсюда идет вереница героев Зегерс — героев уже не в литературном а в этическом смысле слова: героев революционной борьбы, героев антифашистского Сопротивления. Чаще всего это история обыкновенных людей, становящихся героями. «Сила слабых» — такое демонстративное название дала писательница сборнику своих рассказов 1965 г. О становлении героев повествуется и в большинстве рассказов, включенных в рецензируемый сборник.

В продолжение многолетней своей творческой деятельности Анна Зегерс считалась одним из самых злободневных, острополитичных немецких писателей XX века. Тем знаменательней тот факт, что в последние годы в прозе Зегерс свежо и сильно зазвучали новые ноты — ноты философской аллегории и символики Писательница все чаще обращается к жанру фантастическому, к притче

Впрочем сказать «новые ноты» — это не совсем точно Они появлялись и раньше — в своеобразном аллегорическом триптихе «Три дерева» (1940), включенном в данный сборник в повести «Прогулка мертвых девушек» (1946). Стремление к символическим обобщениям конкретных жизненных ситуаций, как уже говорилось выше, присутствовало изначально в прозе писательницы Но в 70-е годы философская аллегория и символика стали существенным, весомым компонентом в ее художественном мире. Это вовсе не означает «ухода от действительности» — для Анны Зегерс такой уход попросту невозможен. Но это означает новое расширение писательского взгляда, а точнее, наверное,— возвышение его. И думается, что это так закономерно, так естественно для мастера, долгие десятилетия создававшего реальный, сегодняшний мир во всей его многоликости,— теперь бросить на него итоговый взгляд сверху, увенчать его высоким куполом вечности.

Образ мастера возник в этих рассуждениях не случайно. не просто как лестная характеристика — он подсказан самой писательницей, теми ее поздними новеллами, о которых идет речь. В цикле «Странные встречи» в двух новеллах из трех рассказывается именно о мастерах, о героях, причастных к искусству, к творчеству.

Эта тема не была характерна для прежней прозы Зегерс — вопросы искусства осмыслялись писательницей преимущественно в публицистике и эссеистике, в ее выступлениях во время долгого пребывания на посту президента Союза писателей ГДР — и осмыслялись с присущей ей темпераментностью как вопросы гражданственности, реалистичности, революционно-преобразовательного пафоса искусства. Такая постановка проблемы вовсе не снята. Все эти требования, предъявлявшиеся писательницей к искусству и осуществлявшиеся ею в собственном творчестве, сохранены и поныне.

Но сама проблема искусства тем не менее становится теперь предметом художественного осмысления и осмысляется именно в символизированной, по преимуществу аллегорически-фантастической форме. Как романтическому взору Гэфмана в свое время явился, восстав из мертвых, кавалер Глюк, так фантазия художника-реалиста Анны Зегерс в новелле «Встреча в пути» вызвала тени Гофмана, Гоголя и Кафки, не смущаясь, смешала эпохи и заставила трех этих писателей — конечно же, три художественных принципа — вступить в спор. Сама писательница по-прежнему остается на реалистических позициях («...до Гоголя всякому далеко. Из нас троих только ему под силу так писать: доподлинная, живая жизнь»,— резюмирует этот спор Гофман). Вполне признавая права фантастики, вымысла, Зегерс в то же время отвергает эти художественные принципы как самоцель («Всякая символика и фантастика, любые сказки и легенды так или иначе связаны с действительностью»,— говорит тот же Гофман в ее новелле). Но Зегерс видит за чисто формальными художественными принципами еще и гуманную душу искусства. Это особенно отчетливо обнаруживается в ее трактовке образа Кафки. Устами Гофмана она говорит о болезненности его таланта, о том, что этот писатель сам закрывал для себя выходы к надежде и «встрече»: «...вы видите не всю жизнь, только клочок жизни!.. Если для вас нет выхода, это вовсе не значит что его нет и для остальных! Выход надо искать, надо пробивать брешь в стене! Как узник ищет щелку, чтобы передать записку товарищу». Несогласие, как видим, принципиальное, и само образное выражение его так показа-

тельно: это говорит, конечно же, не Гофман, а Анна Зегерс, запечатлевшая в своем творчестве судьбы стольких современных ей узников, искавших и находивших «брешь в стене»! Но все это не мешает ее мудрой и сострадательной душе увидеть и ту боль за человека, которая питала гротескные фантасмагории Кафки.

Тема гуманности искусства является сквозной и в «Преданиях о странных пришельцах» Искусство, творчество предстает здесь как один из атрибутов человечности — не случайно «неземные пришельцы», потрясенные неразумием кровавых и опустошительных войн на Земле, в то же время обнаруживают в делах людских нечто такое, что им сформировавшимся на принципах строгой целесообразности и пользы, неведомо, но к чему они невольно тянутся душою Это способность к фантазии, к творчеству, к полету мечты.

Поверхностному взгляду в этих мотивах поздней прозы Зегерс может почудиться известная отвлеченность в трактовке искусства, абсолютизация его роли, некоторый даже возврат к метафизическим традициям немецкого духа. На самом деле это не так. Человек, проживший долгую жизнь и всю эту жизнь отдавший борьбе за гуманистические идеалы средствами искусства, более кого-либо другого имеет право воспеть и свое оружие, искусство и творчество как принцип, как способ существования в мире.

Сборник «И снова встреча», как сообщает аннотация выпущен к 80-летию Анны Зегерс. В нем на характерных образцах малой прозы Зегерс представлен весь ее творческий путь, и результаты этого пути подытоживаются в обстоятельной, написанной с большой душевной теплотой вступительной статье Т. Мотылевой, давнего друга и исследователя творчества писательницы. В переводах рассказов Зегерс (некоторые из этих рассказов прежде не публиковались) плодотворно объединились усилия переводчиков разных поколений — и тех, кто уже давно переводит прозу Зегерс, и тех, кто делает это впервые. Новая встреча с талантливой писательницей, с человеком щедрой и мудрой души состоялась.

А. КАРЕЛЬСКИЙ

КНИГА ОБЛИЧАЕТ

Эрве Базен. ...И огонь пожирает огонь. Повесть Предисловие Юрия Жукова Перевод с французского Нины Кудрявцевой. Москва, «Прогресс», 1980.

Выдающийся французский писатель, президент Гонкуровской Академии прибыл в Москву для получения международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» и накануне этого торжественного события посетил издательство «Прогресс», которое уже давно выпускает его произведения в переводе на русский язык Последняя книга Эрве Базена «...И огонь пожирает огонь» вышла буквально за неделю до приезда ее автора в Москву Во время встречи Базен подробно рассказал о своем жизненном пути и охотно отвечал на вопросы. В юности будущий писатель порвал с чванливой богатой семьей и в поисках заработка переменил немало профессий: был мусорщиком, лоточником, столяром, слесарем. В годы фашистской оккупации Франции он боролся в рядах движения Сопротивления, примыкая к его левому, наиболее активному крылу. После войны, уже имея за плечами немалый журналистский опыт, Базен выпустил свой нашумевший роман «Змея в кулаке» Затем последовали романы «Головой об стену», «Смерть лошадки», «Встань и иди», «Супружеская жизнь», «Счастливцы с острова Отчаяния», «Анатомия одного развода», которые принесли Эрве Базену широкую популярность — писателя по праву называют крупнейшим представителем французского критического реализма второй половины XX века, непревзойденным бытописателем современной буржуазной семьи.

И вдруг, казалось бы неожиданно,— повесть на злободневную политическую тему, художественное произведение о трагедии Чили...

Слушая в тот день в зале «Прогресса» выступление писателя, я вспомнил об одном разговоре с ним, состоявшемся в Париже лет десять назад. Я работал тогда во Франции собственным корреспондентом «Правды» и только что вернулся в Париж из кратковременной поездки в Чили, где вместе с группой представителей крупнейших газет мира присутствовал на торжествах, посвященных мирному приходу к власти правительства Народного единства. Я поделился с Эрве Базеном впечатлениями от моего пребывания в Сантьяго, и особенно заинтересовал писателя рассказ о беседе с Альенде на приеме во дворце Ла Монеда. Во мне боролись тогда смешанные чувства: я находился под сильнейшим впечатлением от всенародного ликования, порожденного благотворными переменами, происходившими тогда в Чили, и в то же время у многих из нас не мог не вызывать смутной тревоги даже сам вид чилийской армии, весьма напоминавшей гитлеровский вермахт. Извинившись за вопрос, мы спросили Альенде, не испытывает ли он сам беспокойства: ведь слишком часто во многих странах Латинской Америки реакционное армейское офицерство играло роковую роль в судьбах демократии.

— Я понимаю ваше беспокойство, дорогие друзья,— ответил президент — Но мне хочется верить, что в Чили этого не случится

— Дай-то бог,— откликнулся на мой рассказ Эрве Базен.— Нам всем хочется в это верить.

«Нам всем» в устах писателя означало: всем сторонникам демократии и социального прогресса, которые повсюду горячо желали свободолюбивому чилийскому народу успехов на избранном им пути

Агенты и ставленники ЦРУ с помощью местных реакционеров, долларов, интриг, заговоров и оружия пытаются подавить всякое стремление народов к свободе и независимости от диктата американского импе-

риализма. Злонамеренные действия предпринимались против Кубы Вьетнама и других стран. Ожесточенным атакам и шантажу подвергаются ныне со стороны Вашингтона Афганистан и Иран. Заговор американского империализма и его фашистских наемников в Сантьяго удался: демократия и законность в Чили были разгромлены, а благородный президент Альенде и тысячи его соотечественников погибли от рук палачей. Таков империализм без маски, таковы его жрецы, любящие прикинуться «борцами за права человека».

Представляется вполне закономерным, что событиям в Чили посвятил свое произведение писатель, постоянно выступающий против любой несправедливости, насилия, жестокости, писатель, чье творчество пронизано идеями гуманизма, добра, ненавистью к мракобесию и реакции. Участник Сопротивления, Эрве Базен и в мирное время продолжает в своем искусстве и на общественном поприще борьбу против реакции и войны: с 1950 года писатель является членом Национального бюро Французского движения за мир а в течение последних шести лет — членом Всемирного Совета Мира Вот почему повесть, бичующая чилийских фашистов, хотя и знаменует собой совершенно новую страницу в творчестве Эрве Базена, в то же время продолжает и усиливает давнюю и основную идейную направленность его искусства. Недаром, надписывая свою книгу, автор подчеркнул, что «замысел этой повести ясен».

Писатель не называет прямо страну, где развертываются трагические события, но уже с первых страниц читателю становится понятно, что речь идет о Чили. Расширяя «географию» произведения, писатель словно предупреждает: «Угроза фашизма не исключена в любой стране капитала!».

К бдительности взывает судьба основного героя повествования — молодого сенатора, убежденного демократа Мануэля Алькована, за голову которого мятежные генералы сулят большие деньги. Еще вчера один из руководящих деятелей государства, блистательный народный трибун, он вынужден скрываться от путчистов в доме французского дипломата. Личная драма сенатора вплетается в трагедию, переживаемую всей нацией, на шею которой накинута фашистская петля. На фоне кровавых преступлений фашизма Базен рассказывает историю любви Мануэля и романтической девушки из мелкобуржуазной семьи Марии, любви страстной, всепоглощающей, но лишенной будущего. Недаром в качестве названия повести писатель избрал строки из «Ромео и Джульетты» Шекспира: «...И огонь пожирает огонь». В финале повествования Мануэль и Мария погибают от рук палачей, но остаются верны своей любви. Перед лицом гибели сенатор сохраняет верность и своим демократическим убеждениям.

Автор убедительно показывает, что фашизм угрожает не только демократам и всем свободолюбивым прогрессивным людям Стремясь сломить любое сопротивление, фашистская машина жестоко и слепо подминает под себя все живое, что встает на ее пути. Надолго запоминается описанная Эрве Базеном страшная сцена, имеющая явно символическое значение: путчисты не колеблясь расстреливают свадебную процессию вполне благонамеренных буржуа, которые ненавидели «красных» и рассчитывали на покровительство мятежников. Такова расплата за попустительство фашизму.

Написанная по следам трагических событий в Чили, новая повесть Эрве Базена свидетельствует о необходимости решительной борьбы против фашизма, несущего людям бесправие и войну.

В. СЕДЫХ

Издано за рубежом

КТО БОИТСЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА?

Canadian-American Slavic Studies. Special Issues. Pushkin. I — 1976, № 2. Published by University of Pittsburgh. II — 1977, № 1. Published by Arisona State University.

«Канадско-американские исследования по славистике». Специальные выпуски: Пушкин. I — 1976, № 2; II — 1977, № 1.

Ежеквартальник «Канадско-американские исследования по славистике» (он издается сейчас университетом штата Аризона) в последнее время подготовил несколько специальных номеров, посвященных русским писателям. Были выпуски о Достоевском и Толстом. Анонсированы — о Маяковском и Тургеневе. В 1976—1977 годах вышло два пушкинских номера. В них помещены новые переводы «Бахчисарайского фонтана», «Сказки о золотом петушке», а также нескольких стихотворений, выполненные Уолтером Арндтом; целый ряд содержательных статей, включая выступление советского пушкиноведа С. А. Фомичева. Напечатанная в первом из номеров обстоятельная библиография англоязычных работ о Пушкине за 1920—1975 годы свидетельствует о стремительно растущем интересе к творчеству поэта — более половины всех данных приходится на последнее десятилетие.

В этой части библиографии привлекает внимание запись, касающаяся исследования известного американского пушкиноведа, профессора Висконсинского университета Джозефа Томаса Шоу «Пушкин об Америке: его «Джон Теннер». Статья эта тем более любопытна, что ни одной другой американской работы о «Джоне Теннере» обнаружить не удалось. И в самых авторитетных монографиях о Пушкине — Эрнеста Симмонса, Уолтера Викери, англичанина Джона Бэйли (его книга «Пушкин. Сравнительный комментарий» вышла по обе стороны Атлантики) — даже название «Джона Теннера» не упоминается.

Свою пространную статью Шоу поместил в сборнике, посвященном выходцу из России литературоведу Дмитрию Чижевскому. А в пушкинском номере «Канадско-американских исследований по славистике» Шоу опубликовал свой обзор непериодических пушкиноведческих изданий, выходивших в нашей стране. Обзор свидетельствует, что американский ученый довольно хорошо знаком с русской и советской пушкинианой.

Некоторые работы Шоу — «Словарь пушкинских рифм», например, а особенно переведенные и подготовленные им к изданию на английском языке письма Пушкина — получили высокую оценку как в американской, так и в нашей печати.

Но именно в примечаниях к письмам находим мы зерно будущей его статьи «Пушкин об Америке». Комментируя письмо к Чаадаеву от 19 октября 1836 года, где Пушкин сообщает о своем авторстве «Джона Теннера», Шоу называет источником статьи, помимо самих «Записок Джона Теннера», лишь одну работу: «Пушкин в начале статьи выражает отвращение к демократии в Соединенных Штатах в том виде, как изображена она в книге Алексиса Токвиля «О демократии в Америке». Заметим и характерное «в начале статьи...».

Авторитет Дж. Т Шоу среди англоязычных пушкиноведов, видимо, очень высок. Англичанка Татьяна Вулф, подготовившая к изданию фундаментальный том «Пушкин о литературе» (1971), в комментариях к «Джону Теннеру» (включенному ею в сборник) лишь дословно повторила мысль американского ученого — и о книге Токвиля, и о начале пушкинской статьи...

Сам же Дж Т. Шоу в исследовании «Пушкин об Америке» к «обстоятельным первоисточникам пушкинских представлений об Америке» добавляет еще две работы — предисловие Эрнеста Блосвиля к «Запискам Джона Теннера», переведенным им на французский язык, и книгу Гюстава Бомона, спутника Токвиля по американскому путешествию, «Мария, или Рабство в Соединенных Штатах. Картина американских нравов». При этом в сноске сообщается, что в библиотеке у Пушкина имелся также французский перевод книги английского писателя, полковника Томаса Гамильтона, «Люди и нравы в Соединенных Штатах Америки» и изданный в Лондоне «Дневник Вест-Индского собственника» Мэтью Грегори Льюиса. Вот и все Выходит и в самом деле немного знал Пушкин об Америке. Ведь указанные Шоу работы — все до одной — вышли из печати лишь в середине 30-х годов, то есть в самом конце жизни поэта.

Впрочем, автор и не скрывает, что стремится доказать несамостоятельность, заимствованность суждений Пушкина об Америке. Каждой фразе пушкинского комментария к «Запискам Джона Теннера» он старается найти аналогию либо у Токвиля, либо у Блосвиля...

То, что Пушкин всегда с обостренным интересом следил за событиями общественной и культурной жизни за рубежом,— истина азбучная. И переводчику писем Пушкина, разумеется, известно письмо поэта брату, датированное концом января — началом февраля 1825 года, из Михайловского, где Пушкин шутливо именует себя «министром иностранных дел» на Парнасе российской словесности. Но, может, Америка была исключением и почему-то не привлекала его внимания? И прав Томас Шоу, заявляющий о «поразительно малом» интересе Пушкина к Америке?

Нет, не прав. Убеждают в этом жизнь и творчество поэта, его «Джон Теннер» прежде всего. Это одно из итоговых созданий Пушкина — и не только для него самого. «Джон Теннер» подвел черту целой эпохе российских представлений об Америке.

Русская печать конца XVIII — начала XIX века подробно рассказывала о событиях в Северной Америке, о ходе Войны за независимость. И прежде всего представление об Америке связывалось с понятием с в о б о д ы. Радищев первым приветствовал заокеанскую республику — в оде «Вольность». И декабристы, разрабатывая проекты будущего государственного устройства России, внимательнейшим образом изучали конституционные акты американской республики — многие из них считали ее «матерью свободы».

Но неизменно — как до американской революции, так и после нее — передовые русские мыслители осуждали политику геноцида, проводимую белыми американцами в отношении коренного населения страны, бичевали варварство процветавшего за океаном рабовладения Трагической судьбе американских индейцев посвящены самые сильные строки поэмы Ломоносова «Письмо о пользе стекла» (Пушкин упоминает ее в своем «Путешествии из Москвы в Петербург»); та же тема возникала в драматургии и стихах Сумарокова. Широко известна была в русском обществе боевая антирабовладельческая публицистика Н И Новикова; бесчеловечие и жестокость, царившие в республиканской Америке по отношению к неграм и индейцам, заклеймил в «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищев. В 1800 году прозвучало со сцены императорского театра, а затем было издано отдельной книгой еще одно произведение на «индейскую» тему — пьеса Крылова «Американцы». Имелся у этой критики и подтекст, поскольку в России запретной была тема крепостного права.

В статье профессора Шоу неполно приведены и зарубежные книги об Америке, сохранившиеся в библиотеке Пушкина. Но не о том сейчас речь. Ведь ясно же, что «источники пушкинских представлений об Америке» были богаче, разнообразнее, значительно шире по времени И начинать, вероятно, следует с русской литературы, блестящим знатоком которой, как известно, был Пушкин Кстати, сам он и подсказывает нам благодатный этот источник — уже в наиболее раннем из дошедших до нас стихотворений поэта — «К Наталье» (1813) — упомянут «грубый американец», персонаж крыловских «Американцев».

На один «источник» в русской словесности Шоу все-таки ссылается, причем дважды. Такой чести удостоен затасканный

булгаринскии пасквиль, ответом на которыи явилось пушкинское стихотворение «Моя родословная» По Шоу лишь благодаря этому пасквилю Пушкин уяснил, наконец, факт существования расовой дискриминации и рабства в Америке. Других произведений русской литературы, затрагивающих эту тему и безусловно известных Пушкину, профессор Шоу не обнаружил.

Прием этот повторяется им часто: акцентируется сомнительное, второстепенное, попросту неверное, но замалчиваются факты, которые, хотелось бы верить, все-таки известны профессору. Вот, например, он замечает, что интерес Пушкина к Америке, к русским в ней поселениям, «был, конечно, усилен» его знакомством с Федором Толстым — «Американцем», его дружбой с Кондратием Рылеевым и Орестом Сомовым, служащими Российско-американской компании. Первым упомянут Федор Толстой. Почему? Только что из-за прозвища? Но ведь давно известно, что он получил его еще до того как оказался на одном из Алеутских островов. К тому же противоречива и документально не подтверждена сама история его пребывания на острове. А главное — среди множества упоминаний Пушкиным Ф Толстого (открытых и подразумеваемых) нет ни одного, так или иначе связанного с Америкой. Разве что строка в стихотворном послании «Чаадаеву»: «Развратом изумил четыре части света.. ».

И почему в статье Шоу названы только трое, даже без спасительного «и другие»? Среди людей пушкинского окружения многие были связаны с американской культурой, с деятельностью Российско-американской компании

Разве может быть забыт Федор Матюшкин, лицейский друг Пушкина, «чужих небес любовник беспокойный», как называет его поэт в стихотворении «19 октября» (1825 г.)? Ведь и «Журнал» свой — записки о плавании на «Камчатке» к берегам Нового света — Матюшкин вел, как известно, следуя советам самого Пушкина К тому же они неоднократно встречались — и после плавания «Камчатки», и после вторичного посещения Матюшкиным Америки, на «Кротком».

Другой лицеист, Сергей Ломоносов, был одно время секретарем русского посольства в Вашингтоне. Еще один бывший лицеист (второго выпуска), Ахиллес Шабельский, подарил Пушкину свою книгу о путешествии в Русскую Америку с надписью: «Любезнейшему товарищу Александру Сергеевичу Пушкину усерднейшее приношение от сочинителя». Она сохранилась в библиотеке поэта.

А любимый Пушкиным Петр Иванович Полетика, бывший русский посланник в Филадельфии? После возвращения в Петербург в 1822 году Полетика много внимания уделял работе Российско-американской компании В 1830 году в двух августовских номерах «Литературной газеты» печатались отрывки из его книги об Америке — еще один из бесспорных источников пушкинского «Джона Теннера»

Имелась у Пушкина одна из книг «Росского Колумба» (слова Державина) — Григория Ивановича Шелихова — о знаменитом его «американском вояже». А в январе 1837 года работу о Русской Америке прислал Пушкину один из директоров Российско-американской компании Кирилл Тимофеевич Хлебников.

Верный своему «методу», профессор Шоу «не замечает» даже произведений американской литературы в библиотеке Пушкина. Со ссылкой на соответствующую страницу указателя Б. Л. Модзалевского «Библиотека А. С. Пушкина» Шоу говорит лишь об одной книге Вашингтона Ирвинга, якобы имевшейся у Пушкина. Но ведь на той самой (256-й) странице указателя и на соседних, естественно, называются шесть книг Ирвинга — в тринадцати томах! — сохранившихся в библиотеке поэта. И двухтомник Франклина, которого поэт неоднократно упоминал — и в ранней, и в поздней публицистике И пятнадцать томов произведений Купера (из них четырнадцать — по-французски, один — на языке оригинала)

Творчество Купера Пушкин знал отлично. Он много раз ссылался на него. Анна Алексеевна Оленина (та, кому посвящено «Ты и Вы», кто могла стать «Annette Pouchkine») даже называла поэта именем одного из куперовских героев — Red rover — Красный Корсар.

Всем известны пушкинские слова в «Джоне Теннере» о том, что романтическая односторонность в изображении индейцев Шатобрианом и Купером «уменьшала удовольствие, доставляемое их блестящими произведениями». Но размышляя о трагической судьбе индейцев, Пушкин — в том же произведении — дважды использует куперовский образ последнего из могикан. Использует не буквально, а художнически, сначала во фразе «Остатки древних обитателей Америки скоро совершенно истребятся»; затем в оценке «Записок Теннера»: «Они самый полный, и, вероятно, последний, документ бытия народа, коего скоро не останется и следов» С этим согласен и Шоу — правда, лишь наполовину. Он увидел соответствие образов только в первой из пушкинских фраз...

Зачем нужны американскому профессору эти «фигуры умолчания», похожие больше на фальсификации? Чтобы доказать «неосведомленность» Пушкина в вопросах, касающихся Америки? Но ради чего? Вот один из «выводов» самого Шоу. Он делает его, процитировав следующий фрагмент из «Джона Теннера»: «Остатки древних обитателей Америки скоро совершенно истребятся; и пространные степи, необозримые реки, на которых сетьми и стрелами добывали они себе пищу, обратятся в обработанные поля, усеянные деревнями, и в торговые гавани, где задымятся пироскафы и разовьется флаг американский». Начальные слова навеяны образом Купера. Но в остальном признается бесспорное авторство Пушкина, поскольку ни у Токвиля, ни у Блосвиля «совершенно ничего подобного» американскому ученому обнаружить не удалось. Уличения Пушкина в заимствовании на сей раз не последовало Зато идет такой комментарий: «Несомненно, что в этом месте Пушкин, всегдашний русский националист и империалист, размышляет — вероятно, непроизвольно — о восточной и юж-

ной экспансии России, размышляет поэтому с лиризмом, совершенно его прозе несвойственным».

Цель комментария ясна — исказить интернациональную, исполненную глубочайшего гуманизма суть пушкинской статьи. Понятно также, что идейная предвзятость автора продиктована потребами отнюдь не полуторавековой давности. На его совести остается и приписанная Пушкину сублимация в выражении «экспансионистских» устремлений, и безапелляционная характеристика пушкинской прозы Очевидна и глухота к ироническому тону пушкинской фразы. Чуть позже Шоу удивляется иронической концовке «Джона Теннера». Пушкин, мол, «противоречит» тут сам себе. На деле же концовка логично завершает рассказ о тех методах, какими утверждает себя цивилизация «yankee».

Между тем процитированный из «Джона Теннера» фрагмент действительно интересен. Он свидетельствует, что одним из важнейших идейных источников пушкинского отношения к буржуазным демократиям Англии и США было радищевское «Путешествие». Сравним пушкинский фрагмент с суждением Радищева: «Европейцы, опустошив Америку, утучнив нивы ее кровию природных ее жителей, положили конец убийствам своим новою корыстию... Леса бесплодные и горные дебри претворяются в нивы плодоносные и покрываются стовидными произращениями, единой Америке свойственными или удачно в оную преселенными... Везде видна строящая рука делателя, везде кажется вид благосостояния и внешний знак устройства». Чуть позже появятся у Радищева и американские корабли.

Непосредственно перед началом работы над «Джоном Теннером» Пушкин вновь обращался к творчеству Радищева, написал статью «Александр Радищев» Он предполагал опубликовать ее вместе с «Джоном Теннером» в той же третьей книге «Современника» за 1836 год. «Радищева» цензура, как известно, запретила. «Джон Теннер» остался. Сохранились ь нем и без особого труда угадываемые переклички с радищевскими высказываниями об Америке.

Радищев, мы помним, первым в России приветствовал победу американской революции. И в «Путешествии» он неоднократно самодержавно-крепостной России противопоставляет свободную американскую республику. Но выдающемуся мыслителю XVIII века было доступно и другое видение — глазами «гражданина будущих времен». Именно с этих позиций в «Проекте в будущем» клеймит он противоречивость и ограниченность принципов американской демократии, исторические анахронизмы заокеанской республики, узаконенную дискриминацию негров и индейцев.

Взгляд на Америку с позиций своего времени Пушкин выразил в «Джоне Теннере» одной короткой фразой: «рабство негров посреди образованности и свободы».

Но, подобно Радищеву, он мог смотреть и из будущего. Заметим кстати, что все основные аналогии «Джона Теннера» с «Путешествием» приходятся как раз на «Проект в будущем».

Прозрением гения постиг Пушкин принципиальную невозможность в условиях буржуазной цивилизации, а именно передовой цивилизации того времени — американской республики — подлинного осуществления провозглашенных ею лозунгов «свободы», «равенства» и «счастья». Невозможность и для индейцев, и для негров, и для белых ее граждан.

Речь шла, таким образом, об иллюзорности «американской мечты», абсурдности надежды на формирование свободной, гармонической личности, прямого человека в обществе, где «всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую» подавлено «неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort)...»

Личность и собственничество — вещи несовместные. Вот главная мысль пушкинского комментария к «Запискам Джона Теннера», вот главная причина неосуществимости «американской мечты». А по сути — любой подобной «мечты». Ведь собственничество и есть основа мещанства, этого «проклятия мира», как говорил о нем Горький, которое «пожирает личность изнутри, как червь опустошает плод».

Лев Толстой — уже в начале века нашего — в беседе с американским корреспондентом заметил: «Что сказать о народе, чьи идеалы погибли на протяжении жизни чуть ли не одного только поколения?..»

Эту трагедию Америки: гибель ее идеалов, обесчеловечивание человека, конец великой мечты — и зафиксировал Пушкин в своем «Джоне Теннере».

Десятилетие спустя — в 1846 году — на метаморфозу «американской мечты» обратил внимание Маркс. «И в чем состоит «мечта»? — спрашивает он в «Циркуляре против Криге».— Ни в чем другом, как в том, чтобы превратить *всех людей в частных собственников*»[1]. В апреле 1905 года Ленин процитировал эти слова в статье «Маркс об американском «черном переделе».

«Аргументы» профессора Шоу, пытающегося доказать несамостоятельность пушкинских суждений об Америке, отсутствие у него интереса к этой стране, плохую осведомленность о ней к тому и призваны, чтобы снять саму возможность рассматривать «Джона Теннера» как произведение больших социально философских обобщений, нынешняя актуальность которых очевидна.

Впрочем, американский пушкиновед вообще не считает «Джона Теннера» единым произведением Речь у него идет только о вступительной и заключительной части работы, а в комментариях к письмам, как уже отмечалось, и того меньше — лишь о «начале статьи».

Сам Пушкин относился к «Джону Теннеру» иначе. «Читали ли вы 3-й № «Современника»?— спрашивает он Чаадаева в том письме — Статья «Вольтер» и «Джон Теннер» — мои...»

В третьем номере опубликовано восемнадцать работ Пушкина. В четырнадцати ав-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр 9

торство не указано. Среди них — стихи («Полководец», «Родословная моего героя», притча «Сапожник»), «Отрывок из неизданных записок дамы (1811 год)» — начало «Рославлева», «Анекдоты», многочисленные статьи. Неопределенным английским «The Reviewer» подписан и «Джон Теннер».

Тем не менее в письме к Чаадаеву Пушкин называет только два своих произведения, именно на них обращая внимание своего корреспондента. Судя по всему, Пушкин отмечает произведения, имеющие непосредственное отношение к той полемике, которую он ведет с Чаадаевым в своем письме,— полемике о судьбах цивилизаций, западной и российской. Во всяком случае, знаменательно, что в ходе напряженного социально-философского диалога Пушкин упоминает как раз эти два своих произведения. Причем «статьей» назван один «Вольтер».

Что же такое «Джон Теннер»?

Это сплав памфлета, перевода и пересказа Пушкинского перевода и пушкинского пересказа, являющихся, по сути, его оригинальной прозой Ни «швов», ни резких переходов здесь не ощущается. Произведение это цельное, с прекрасной композицией. Пушкин ни за что не назвал бы его «своим», если бы речь шла только о кратком вступлении Эго теперь почему-то утвердилась практика печатать переводную часть «Джона Теннера» другим шрифтом, помельче, словно подсказывая читателю, где тут Пушкин, а где «не Пушкин». При публикации в «Современнике», которую готовил сам поэт, этой сегрегации не было. Использовались одни кавычки. И кстати, расположение материала — интервалы между фрагментами — было иным. Тот, пушкинский, первопечатный текст «Джона Теннера» воспринимается именно как целостное произведение.

Стержень повествования — естественно, судьба Джона Теннера, судьба белого, оказавшегося среди «дикарей», ставшего одним из них и вновь вернувшегося в «цивилизованный» мир. Это дает возможность Пушкину представить и жизнь американских индейцев (подлинную, лишенную покрова романтичности), и то «благодеятельное влияние» (ироничная ремарка поэта), которое оказывает на нее «цивилизация», и, наконец, в отличие от «Записок Джона Теннера», обнажить собственническую, бездуховную суть самой цивилизации «yankee».

Шли годы Остатки индейцев загоняли в резервации Исчезала «граница». Исчезало географическое понятие Дикого Запада. Сам же термин сохранился — как символ жизненных норм буржуазного мира, царящего в нем «закона джунглей». Вспомним «Интервью с дикарем» Марка Твена, его же «Соединенные Линчующие Штаты», «Джунгли» Эптона Синклера.. «Дикий» — один из постоянных эпитетов в американских очерках Горького: «дикий рев жадности...», «дикая вражда .», «белокожие дикари...». Вспомним американские сатиры Маяковского. Наконец, Ленина, его «Письмо к американским рабочим»: «Буржуазная цивилизация принесла все свои роскошные плоды... На каждом долларе следы крови...»[1]

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 37, стр. 49, 50.

Реальный Джон Теннер «настоящим yankee» не стал. Отказался быть пособником в ограблении индейцев. Двадцать лет жил изгоем среди белых своих соплеменников и ими же, белыми, был убит и сожжен вместе с жалкой своей лачугой. Кем убит? Кем сожжен? Десятками других Джонов, теми, что стали «настоящими» янки. Такова правда истории, запечатленная Пушкиным в его «Джоне Теннере».

И. ПОПОВ

МОЯ КЛЕТКА...

Debora Moggach. Close to home. London, Collins, 1979.
Дебора Могак. Ближе к дому. 1979.

«Ближе к дому» — второй роман молодой английской писательницы Деборы Могак. Этот роман, заслуживший одобрительные отзывы критиков, посвящен делам семейным. Тема буржуазной семьи, разумеется, не новая в английской литературе. В романе Могак не найти ни экстравагантности коллизий Айрис Мердок, ни широты социального обобщения П. Х. Джонсон, ни сатиричности на грани гротеска М. Спарк. Роман Д. Могак, казалось бы, очень камерный, почти все события происходят в пространстве, замкнутом четырьмя стенами Однако внешняя герметичность сюжета — своеобразный прием, за которым — стоит только повнимательнее вчитаться — и точность примет времени, и меткость социальных характеристик, рождающих в своей совокупности портрет современного британского общества, захваченного, что называется, врасплох, в домашней суете.

Итак, под одной крышей небольшого дома в старом районе города, в одинаковых двухэтажных квартирах с одинаковым входом и одинаковым выходом на одинаковые забетонированные дворики живут два семейства — Куперы и Грины. Джеймс Купер — молодой элегантный красавец, современный деловой мужчина, постоянно выезжающий по делам фирмы за пределы страны. Его супруга Кейт — типичная жена делового человека: миловидная, спокойная мать совсем крошечного Олли и трехлетнего Джо. Полную противоположность ей составляет энергичная и волевая Джетта Грин — психиатр. Если Кейт сомневается в каждом своем шаге, то Джетте все известно, все понятно, и сомнения ей неведомы. Она — подлинная хозяйка жизни. Она — глава своего семейства, где решать приходится за всех — и прежде всего за мужа, Сэма, мягкого, нерешительного человека, литератора, беда которого в том, что он, не лишенный таланта, не может сделать выбора между собственными — вполне серьезными — творческими устремлениями и откровенно коммерческими требованиями литературного рынка. Нелегко приходится и шестнадцатилетней Марион, дочери Сэма и Джетты. Марион, как и многие подростки, очень ранима, ее постоянно смущают бестактные, по ее мнению, вопросы взрослых, она стыдится своей внешности: толста, некрасива! Но дело не только в «трудном возрасте», гораздо печальнее то, что Марион по сути — сирота при живых родителях.

Мать и отец поглощены своими проблемами, и им нет дела до дочери. Естественно и раскованно Марион чувствует себя только с малышами Купе́ров да с полунищим, одиноким стариком Альфом, которого она в начале книги время от времени навещает в его берлоге.

При всем своем индивидуальном своеобразии герои Могак воплощают устоявшиеся в современном западном обществе типы: Джеймс — деловой человек, Джетта — эмансипированная женщина, воспетая в современной феминистской литературе. Сэм — творческая личность, запутавшаяся в пошлой повседневности. Марион — бунтующее молодое поколение. И еще об одном герое упомянуть необходимо — это дом, вызывающий в памяти знаменитую формулу «мой дом — моя крепость». То, что традиционно ассоциировалось в британском сознании с понятием безопасности, убежища от волнений и забот внешнего мира, в романе Могак предстает в значении тюремной камеры, знаком несвободы в обществе, провозглашающем себя свободным.

Узловой образ-символ романа — потерянные в начале и найденные в конце ключи от дома. Старик Альф, которого навещает Марион, говорит ей незадолго до смерти: «Да-а-а, раньше на этой улице все двери были открыты и все друг друга знали, не надо было запираться, вот так-то, девушка...». Трудно сказать, как было раньше, но герои романа заперты в своих комфортабельных клетках-камерах.

Особо привлекательна в романе Кейт Купер Она — носительница не только женственности и теплоты, щедрости и материнства, но и той самой человечности, которой так не хватает ее мужу Джеймсу и Джетте Грин. Кейт глубоко ранит холодное, слегка пренебрежительное отношение мужа. Она подозревает, что в глазах Джеймса «ее существование лишено заголовков, оно набрано петитом».

Одинок и Сэм Грин рядом с всезнающей Джеттой, к которой он по-своему привязан, но которая в то же время пугает и отталкивает его своей непроницаемостью и равнодушием. Мимолетная близость с Кейт рождает в Сэме ощущение неподлинности своего существования. Рукопись очередного «шедевра» для обывательской публики уничтожается. Плохо писать герой не хочет, хорошо, увы, не получается.

Джеймс и Джетта тоже — ненадолго — находят друг друга, и в этом есть своя закономерность Нет, они не отрицательные герои Они просто бесцветны и пустоваты, несмотря на внешнюю яркость. Лучше всего они чувствуют себя, когда все идет по знакомой схеме. Оба они неудовлетворены своим семейным статусом, и порой им страстно хочется перемен, но когда эти перемены наступают, они не приносят радости. В конечном итоге каждый остается один на один со своими проблемами, торжествует отчужденность.

Перестановка партнеров в супружеских парах — достаточно популярная в современной западной литературе тема, знакомая хотя бы по романам Джона Апдайка,— решена Могак в «британском» стиле: все происходит тихо, скрытно, замаскировано фиговым листком английской благопристойности. Единственная нарушительница спокойствия — Марион, отказывающаяся играть по навязанным ей правилам игры.

Образ Марион связывает все линии романа воедино. Марион стремится — и дома, и вне его — к подлинно человеческим отношениям. Посещая старика Альфа, она неожиданно для себя осознает, что он заполнил куда большую часть ее жизни, чем ей того хотелось. Он оказался единственным взрослым, с которым она не чувствовала себя неловко. С его смертью из ее жизни ушло что-то большое и важное. Одинокая в семье, Марион в поисках опоры и стабильности ищет новое начало в любви к Джеймсу Куперу. Однако избавление от чувства одиночества не приходит. Случайно узнав о романе Джеймса с ее матерью, Марион, терзаемая жгучей ревностью, чувством брезгливой ненависти к матери и желанием отомстить, в отчаянии крадет грудного ребенка Куперов. Ночью, полуголая, она волочит грудного Олли в опустевшую хибару Альфа. Но в ее недавнем убежище поселились чужие люди. Убежища больше нет. Наваждение проходит. Марион приходит домой, возвращая младенца безмятежно спящей и не заметившей его исчезновения матери.

На первый взгляд, Марион — единственный персонаж романа, кто активно стремится вырваться из опостылевшего дома. На самом же деле каждый из персонажей так или иначе испытывает желание покинуть свою крепость-темницу. Даже Кейт, крепче других привязанная к домашнему очагу, однажды окажется во власти неодолимой жажды сломать привычное, устоявшееся существование: «Вдруг Кейт охватило желание бежать. Куда? Куда-нибудь. Бежать. Бежать...».

Робкие попытки вырваться из плена обречены на неудачу: герои возвращаются домой, замыкаются в четырех стенах, не только ограничивающих, но и предохраняющих от перемен, которых персонажи Могак и жаждут, и боятся. Ничем заканчивается и «бунт» Марион. Словно и не было никакого похищения ребенка. Кейт сама не знает, наяву ли это было или пригрезилось: и недолгая близость с Сэмом, и плачущий Олли, обнаруженный рано утром не в кроватке, а на диване в гостиной, и странное появление потерянных ключей на столе.

Финал романа — символическая картина ломки старого квартала, где живут герои. Рушатся дома вокруг но обитель Куперов и Гринов пока продолжает стоять. Как ни старались на всем протяжении романа герои Могак преодолеть пагубное влияние своего «холодного дома», силы инерции, привычного «так принято» неизменно брали верх. Но навсегда ли успокоились персонажи Могак? Памятуя о том, как ненавидит благопристойную пустоту мещанского бытия Марион, можно предположить, что писательница на пороге более подробного разговора о судьбах и настроениях тех представителей британского общества, кто не желает принять стандарты отцов, взять за образец те ценности, которые ветшают, приходят в негодность, разрушаются.

ОКСАНА КИРИЧЕНКО

◆

Из месяца в месяц

БАХРЕЙН

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ И ПРОЗА БАХРЕЙНА

Редакция иракского журнала «Аль-Аклям» выпустила специальный номер «Арабская литература на Бахрейне», который знакомит с современной поэзией, прозой и драматургией небольшого островного государства в Персидском заливе.

Номер открывается статьей главного редактора журнала иракского писателя и критика Таррада аль-Кубейси «Новое поэтическое направление на Бахрейне», в котором на большом фактическом материале рассказывается о новаторских течениях в современной бахрейнской поэзии.

О поисках молодых бахрейнских прозаиков Амина Салеха и Халафа Ахмада Халафа рассказывает критик Ибрахим Абдаллах Галлум в статье «Новый реализм в бахрейнском коротком рассказе». Известный бахрейнский поэт и исследователь литературы Алави аль-Хашеми выступает в номере со статьей об арабской поэзии на Бахрейне.

В журнале помещена большая подборка произведений современных бахрейнских поэтов и прозаиков, среди них в качестве иллюстрации экспериментальной литературы повесть Амина Салеха «Первая песня А. С.». Интересно отметить, что из одиннадцати поэтов, чьи стихотворения напечатаны в номере, четыре — женщины, среди девяти прозаиков — одна новеллистка. Заключает номер интервью бахрейнского критика Ахмада аль-Манаи с прозаиком Амином Салехом и молодой поэтессой Хамдой Хамис.

БОЛГАРИЯ

ВЫСОКАЯ МЕРА ПОЭЗИИ

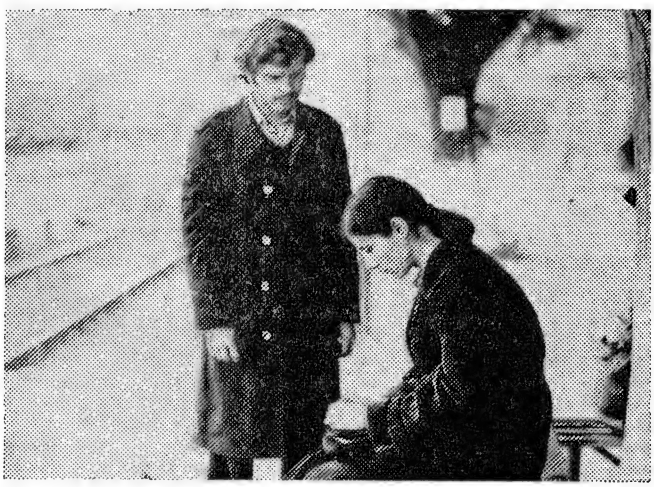
«На всем, к чему он прикоснулся, лежит печать его руки — руки первоклассного мастера», — пишет болгарская поэтесса Блага Димитрова в еженедельнике «Народна култура» о Валерии Петрове в связи с его шестидесятилетием.

В творчестве этого поэта, продолжает Б. Димитрова, словно бы не было ученического периода, уже в первых произведениях чувствуется его неповторимый стиль — «виртуозный стих, свежие, почти осязаемые детали, пленительная ирония... Мелкое и великое, прозаическое и героическое, смешное и трагическое чередуются в них, органически сливаясь в единое целое, которое зовется Болгарией».

Талант Валерия Петрова, известного советским читателям по сборнику, в который вошли три поэмы «Мальчик с пальчик», «В пути», «Погожей осенью», проявился во многих жанрах — политические стихи и лирика, острая сатира и исполненная высокого гражданского пафоса поэма «Погожей осенью», удостоенная Димитровской премии, комедия «Когда

Новый болгарский фильм «Почти любовная история», по словам еженедельника «Народна култура», раскрывает прекрасное и истинное в человеке и в его отношениях с другими людьми. Фильм снят по сценарию Эдуарда Захариева, Георгия Данаилова и Георгия Мишева.
На снимке: кадр из фильма «Почти любовная история».

(Еженедельник «Народна култура»)



танцуют розы», поставленная в театрах многих стран, и сценарии популярных фильмов «На маленьком острове», «Солнце и тень».

В последние годы В. Петров много сил и труда отдал переводу произведений Шекспира — задача, с которой он, по мнению критики, справился блестяще. В то же время поэт с увлечением работает еще в одном жанре — жанре детской литературы. Его пьесы для детей «Кнопка сна» и «Мягко говоря» недавно были отмечены премиями.

«Творчество Валерия Петрова воплощает в себе высокую меру поэзии и смелость открытий», — заключает свою статью Блага Димитрова.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ВОРДСВОРТ И СТОЧНЫЕ КАНАВЫ...

«Никто из них даже не обращал внимания на то, как чудовищно они перевирают стихи Вордсворта»,— так комментирует Маргарет Дрэббл сцену из своего нового романа «Срединная полоса», в которой персонажи книги развлекают друг друга за ужином стихами поэтов Озерной школы или историями из дневников Попа. Однако этот эпизод в духе столь милого сердцу англичанина-традиционалиста викторианского романа, пишет рецензент журнала «Лиснер», никого не введет в заблуждение Читатель с первых же страниц понимает, что писательницу интересует нечто совсем иное. Дело даже не в манере изложения — отсутствии сюжета, разорванном повествовании, незавершенности сцен и недоговоренности фраз. Дело в другом — в том, как решительно вводит Маргарет Дрэббл в свое повествование «куски» той жизни, о которой дамы и господа предпочитают не знать и не слышать.

Героиня романа, журналистка Кейт, отправляется в город своего детства, в район, где ютятся такие же, как ее отец, — рабочие канализационной системы городка. Гиблое место—мерзкий запах, грязь, тщедушные дети, опустившиеся женщины. Кейт становится с напарниками своего отца на «рабочее место» — в сточную канаву. Повод, толкнувший Кейт на столь «экстравагантный» поступок, — необходимость написать острый репортаж о борьбе женщин за равноправие. Что касается истинных причин, заставивших Кейт вернуться в непривлекательный мир ее детства, то о них М. Дрэббл предоставляет догадываться самим читателям. Может быть, говорит автор статьи в «Лиснер», это вызов тем, кто считает себя специалистом по женскому вопросу и сочиняет бестселлеры о юных бедняжках, тратящих свои юные годы на пеленки и бобовое пюре, а может, ненависть к той грязи, которая царит в отношениях между людьми ее круга.

«Так или иначе,— пишет рецензент романа, — «Срединная полоса», как и предыдущая книга М. Дрэббл «Леляной век», рассказывает о попытке человека преодолеть обстоятельства и самому определить свой социальный и жизненный статус».

Превращение Великобритании в базу для американских ядерных ракет вызывает растущие протесты всех слоев английского общества. Газета «Морнинг стар» опубликовала серию графических антивоенных рисунков Брайана Макджеофа. На снимке: «Саван для мира».

(Газета «Морнинг стар»)

САМЫЙ ДЛИННЫЙ СПЕКТАКЛЬ

«Диккенсовское возрождение», которое по мнению английских литературоведов, приходится на конец 50-х годов продолжается и сегодня. Приметой неугасающего внимания к наследию Диккенса стала и предпринятая издательством «Клэрендон пресс»

публикация собрания сочинений писателя. Как сообщает рецензент литературного приложения к «Таймс», это не просто перепечатка произведений с прошлых изданий. Над публикацией в содружестве с издательством на этот раз работали видные литературоведы и текстологи, которые постарались восстановить подлинные тексты Диккенса (как известно, они подвергались редактуре при переизданиях).

Ожил Диккенс и на театральной сцене. В 60-е годы были сделаны мюзиклы по романам писателя: «Оливер» и «Лавка древностей». Однако трудно назвать хоть одну серьезную театральную инсценировку произведений Диккенса, осуществленную в последние годы.

Театральное молчание, пишет в «Таймс литерари сапплмент» Питер Китинг, смело и даже дерзко нарушил известный режиссер Тревор Нан, художественный руководитель «Шекспировского королевского театра». Тревор Нан взялся за «трудный орешек» — ранний роман Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никльби».

Чаще всего режиссеры пытаются улучшить классику, продолжает критик, или осовременить ее. Тревор Нан пошел по иному пути. Он сознательно сохранил в своем спектакле все так называемые «слабости» Диккенса: мелодраматическую тональность, некоторую нечеткость сюжетных линий, излишнее многословие. Спектакль получился такой же «толстый», как сам роман, и потому неудивительно, что он идет восемь с половиной часов!

Тем не менее Питер Китинг дает весьма высокую оценку работе Тревора Нана. Удачно, по мнению рецензента, решена проблема частой перемены места действия. Сцена на протяжении всего спектакля — это двор гостиницы. Время от времени окна гостиницы открываются, и зритель переносится то в школу мистера Сквирса, то в дом госпожи Манталини, то в контору братьев Чирибл.

Не менее остроумно решен вопрос сочетания текста диккенсовского повествования с репликами персонажей пьесы — постановщик иногда заставляет действующих лиц говорить о себе в третьем лице.

Сделать диккенсовское добро не слащавым, а зло — не водевильно-черным — задача не из легких, пишет в заключение П. Китинг. Т. Нан справился с нею мастерски.

ВЕНГРИЯ

ТАК ЖИЛ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН

Произведения В. И. Ленина постоянно издаются в Венгрии. В этом году заканчивается второе издание Полного собрания его сочинений. К 110-й годовщине со дня рождения вышли отдельными изданиями сборники работ В. И. Ленина: «О пропаганде и агитации», «О профсоюзах», а также «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» и книга «Ленин и Луначарский. Письма, документы, заметки» (см. «ИЛ» № 4, 1980).

Недавно в издательстве «Мора» в серии, аналогичной советскому изданию «Жизнь замечательных людей», которая в Венгрии называется «Так жил...», вышла книга литературоведа и критика Жужи Корокнаи «В. И. Ленин».

В авторском предисловии к книге, адресованной прежде всего молодежи, Жужа Корокнаи отмечает, что ради верности исторической правде она намеренно не прибегала — в качестве источников — к произведениям художественной литературы, а опиралась только на ленинские труды, исторические работы, воспоминания современников.

В книге собраны фотографии, отражающие жизнь России того времени: снимки рабочих и крестьянских семей, деревенских изб, городских строений, фотографии, на которых запечатлены революционные события и рабочие выступления.

На страницах венгерской печати отмечалось, что Жуже Корокнаи удалось «сделать образ Ленина по-человечески близким каждому читателю, что не мешает ощутить всю значимость жизни и деятельности вождя революции».

Режиссер Габор Варкони создал четырехсерийный телевизионный фильм по роману Тибора Балинта «Рыдающая мартышка». Роман этот по жанру представляет собой семейную хронику жизни безработного пекаря Белы Винце. События фильма происходят в начале века в небольшом городке Трансильвании.
На снимке: кадр из фильма «Рыдающая мартышка».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

В журнале «Бильденде кунст» опубликована статья Гельмута Рademахера «Искусство плаката сегодня».
На снимке: плакат Отто Куммерта «Всем» и плакат Герхарда Фойгта «Солидарность».

(Журнал «Бильденде кунст»)

ГДР

К ЮБИЛЕЮ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ

К восьмидесятилетию Анны Зегерс, исполняющемуся в ноябре этого года, издательство «Ауфбау» завершает издание Полного собрания сочинений писательницы. До сих пор было издано 12 томов, в которые вошли романы и повести. В следующие два тома, уже подготовленные к печати, будут включены публицистические работы за период с 1927-го по 1979 год. Кроме того, увидит свет юбилейное издание трех новых рассказов Анны Зегерс под названием «Три женщины с Гаити». Книга иллюстрирована художником Гюнтером Люкком. Читатели смогут познакомиться также с переизданиями романов «Мертвые остаются молодыми» и «Доверие».

ИНТЕРВЬЮ С СОРБСКИМ ПИСАТЕЛЕМ

В Бауцене состоялся V фестиваль сорбской культуры. По сообщению газет ГДР, десять тысяч человек показали свое искусство, среди них и профессионалы, и участники народных и самодеятельных коллективов.

В своем приветствии Эрих Хонеккер отметил, что фестиваль в Бауцене продемонстрировал не только яркую самобытность сорбской культуры, но и ее тесную связь с культурой Германской Демократической Республики.

Корреспондент газеты «Нойес Дойчланд» взял интервью у одного из крупнейших сорбских писателей Юрия Коха, чьи книги привлекли внимание гостей фестиваля. Роман Юрия Коха «Розамария» вышел несколько лет назад, а в 1979 году писатель опубликовал сборник рассказов «Одинокий Непомук». Как и многие сорбские писатели, Юрий Кох пишет и на сорбском, и на немецком языках. «Я бы назвал «двуязычие» следствием исторического опыта и специфических условий существования нашего народа. Очень часто в переводе теряются особенности сорбской литературы, и гораздо лучше прозвучит та или иная книга, если сам писатель напишет ее на двух языках...»

На вопрос об основной тематике его произведений Юрий Кох ответил: «Мне кажется, что у каждого пишущего есть своя «вечная тема». Меня интересуют взаимоотношения людей, причем фоном я выбираю область, где живу сам, — Лаузиц. Тут живут люди разных национальностей. То, как они понимают друг друга и как уживаются друг с другом, для меня самое важное. В миниатюре это как бы жизнь разных народов на нашей планете».

Интерес драматургов и сценаристов к его произведениям Юрий Кох объясняет «сюжетностью» последних: «В историях, которые я рассказываю, всегда что-то происходит, они драматургичны. Здесь я стараюсь следовать за манерой старых мастеров прозы».

В заключение писатель рассказал о своих творческих планах.

На снимке: кадр из фильма «Джонни Ларсен».

(Газета «Ланд ог фольк»)

ДАНИЯ

«ДЖОННИ ЛАРСЕН»

На очередном кинофестивале, проводимом институтом датской кинематографии, лучшим отечественным фильмом минувшего года был признан «Джонни Ларсен» — работа известного режиссера Мортена Арнфреда. Этот фильм, рассказывающий о жизни молодого рабочего 50-х гг., принес Мортену Арнфреду высший приз фестиваля — статуэтку знаменитой датской актрисы Бодиль Ибсен. «Бодиль» получили и актеры, снявшиеся в фильме Мортена Арнфреда. Исполнитель главной роли — Аллан Ольсен.

ИТАЛИЯ

«ОСТРОВ» Д. АМЕНДОЛЫ

В издательстве «Риццоли» (Милан) вышла книга выдающегося деятеля итальянского коммунистического движения Джорджо Амендолы. Она называется «Остров» и является продолжением другой автобиографической книги Амендолы «Жизненный выбор», увидевшей свет четыре года назад и вызвавшей широкий отклик в литературных и общественных кругах Италии. Первая работа Амендолы заканчивается 1929 годом, когда автор, он же герой повествования, сын известного антифашиста, философа и государственного деятеля Джованни Амендолы, ставшего одной из жертв итальянского фашизма, сделал свой «жизненный выбор», став коммунистом.

В «Острове» описаны дальнейшие этапы жизни и деятельности Джорджо Амендолы, вплоть до 1937 года: тюрьма, ссылка, жизнь под полицейским надзором, эмиграция во Францию. Можно было надеяться на продолжение этой автобиографической эпопеи, но надеждам не суждено было сбыться. Жизнь Джорджо Амендолы оборвалась две недели спустя после выхода «Острова».

Появление «Острова», впрочем, как и публикация первой книги Амендолы, сразу же привлекло внимание критики. Интересно, что почти все рецензенты отмечают не только значительность темы и материала, но и незаурядный литературный талант автора.

В газете «Коррьере делла сера» Лео Вальяни в статье «Второй том автобиографии Амендолы. Годы борьбы, изгнания, тюрем» называет его «подлинным писателем», умеющим «рисовать людей и города», обладающим лиризмом и чувством юмора. Витторио Горрезио в еженедельнике «Эпока» отмечает «точность психологических характеристик и ясность стиля» автора «Острова». Никола Транфалья в «Туттолибри» говорит об «исключительной правдивости» и «беспощадной самокритичности» этой книги.

Еженедельник «Ринашита» в статье «Остров антифашизма», посвященной памяти Джорджо Амендолы, дает самую высокую оценку книге «Остров», подчеркивая ее выдающиеся литературные достоинства, точность и безукоризненную честность в изложении фактов.

ИСПАНИЯ

НОВАЯ ВСТРЕЧА С ЛОРКОЙ

Самая крупная театральная организация Испании — Сентро драматико насьональ (СДН), существующая на государственную дотацию и имеющая в своем распоряжении два лучших драматических театра Мадрида, выбрала для постановки пьесу Федерико Гарсиа Лорки «Донья Росита, девица, или Язык цветов». Написанная в 1935 году, за год до смерти поэта, эта пьеса на послевоенной сцене ставится впервые. Заглавную роль в спектакле исполняет выдающаяся актриса Нурия Эспер, занимающая, кроме того, пост одного из трех директоров СДН. Для постановки пьесы был приглашен известный аргентинский режиссер Хорхе Лавельи, последние годы живущий и работающий во Франции.

Трагизм повседневности, бессмысленности растраченной впустую жизни, нереализованность высоких порывов человеческой души — основные мотивы пьесы Гарсиа Лорки,— по единодушному мнению критики, прекрасно переданы режиссером. Критика подчеркивает также отчетливое влияние традиций чеховского театра, отразившееся на творческой манере Х. Лавельи, на его трактовке пьесы «Донья Росита».

Впервые за полтора года своего существования Сентро драматико насьональ выбрала для премьеры не столичную сцену, а провинциальный городок Санта-Крус-де-Тенерифе на Ка-

нарских островах, чтобы дать возможность нестоличному зрителю увидеть свой спектакль, что отвечает одной из основных задач, которые ставит перед собой СДН.

ПОЛЬША

ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕ ЛЕОНА КРУЧКОВСКОГО

Исполнилось 80 лет со дня рождения Леона Кручковского (1900—1962).

Творчество Кручковского — одно из наиболее ярких явлений польской литературы XX века. Прозаик, драматург, публицист, крупный общественный деятель, он внес большой вклад в культуру своей страны. С его именем связана целая эпоха становления и развития польской социалистической литературы; его лучшие произведения, такие, как романы «Кордиан и хам», «Павлиньи перья», «Тенета», пьесы «Возмездие», «Первый день свободы», некоторые публицистические работы, получили мировую известность.

Как пишет в газете «Трибуна люду» Михаил Мисёрны, «произведения Кручковского принадлежат к тем достижениям польской литературы, которые выдержали проверку временем и продолжают волновать читателей».

Его первый роман «Кордиан и хам» (1932), продолжает критик, вызвавший острые идеологические споры, по праву считается первой попыткой классового марксистского подхода в оценке исторических событий. Роман был издан четыре раза в довоенной Польше, что в те времена было большой редкостью.

Рисуя жизнь крестьянства в Королевстве польском накануне национально-освободительного восстания 1830—1831 годов, Кручковский вскрыл классовый антагонизм между крестьянством и шляхтой поставил проблему «двух родин» — проблему противоположности интересов народа и его угнетателей...

Этот дар философского и политико-исторического подхода к сложнейшим явлениям жизни и культуры определяет главную ценность самых значительных произведений Кручковского, созданных уже в Народной Польше.

Драма «Немцы» (1949), пишет Михаил Мисёрны, обошедшая театры Берлина, Рима, Парижа, Токио, Праги, ставит проблемы выбора, личной ответственности каждого человека за судьбы человечества. «Эта пьеса так же, как «Первый день свободы» и «Смерть губернатора», затрагивает вопросы идейных и нравственных поисков, вопросы, которые вторая половина XX века ставила перед каждым мыслящим и честным человеком».

Сорок пять лет работал Кручковский на литературном и общественном поприще. Это были годы, насыщенные событиями в истории польского народа, — провозглашение государственной независимости Польши, вторая мировая война, оккупация, создание Народной Польши, послевоенное строительство. Пять лет (1940—1945) писатель провел в немецком лагере для военнопленных. Депутат сейма в социалистической Польше, вице-министр культуры, председатель Союза польских писателей, Леон Кручковский принадлежал к тем крупнейшим мастерам литературы, творчество которых было всегда связано с неустанным поиском новых путей социалистического искусства.

ПРЕМИЯ Я. КОРЧАКА АСТРИД ЛИНДГРЕН

Детская писательница Астрид Линдгрен, автор многих книг, в частности полюбившейся детям всего мира книги «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», стала лауреатом Международной литературной премии имени Януша Корчака за лучшую книгу для детей.

США

ИЗ АРХИВА ТОРНТОНА УАЙЛДЕРА

«Американские особенности» — так назван сборник эссе и статей Торнтона Уайлдера (читатели «Иностранной литературы» знают его по роману «Теофил Норт»), вышедший в издательстве «Харпер энд Роу». В книгу включены произведения, создававшиеся Уайлдером на протяжении всей его творческой жизни, начиная с 30-х годов. Многие из них публикуются впервые.

Рецензент «Нью-Йорк таймс бук ревью» отмечает, что в Европе Уайлдер всегда пользовался более единодушным признанием, чем у себя на родине. Это во многом объясняется своеобразием писательских интересов Уайлдера и его особой литературной позицией — он шел путями, редко пересекавшимися с теми дорогами, которые избирали для себя его литературные современники. Уайлдеру не передались ни настроения «потерянного поколения», ни тот острый интерес к социальным коллизиям, который был свойствен литературе «красных 30-х» Критика тех лет поспешила осыпать Торнтона Уайлдера несправедливыми упреками в пристрастии к худосочной «изысканности» и мнимой философичности, считая, что писатель намеренно изолируется от американской действительности. Уайлдера глубоко ранили такие нападки, и он пытался разъяснить свои взгляды на литературу, однако по большей части эти его статьи не увидели света и лишь теперь читатель имеет возможность познакомиться с ними.

Уайлдер считал, что перед писателем-американцем возникают специфические трудности, создаваемые как относительной молодостью культуры США, не накопившей традиций, так и динамичностью общественного развития, не создающего чувства прочности и налаженности жизнеустройства и порождающего только

«сумятицу бессвязных явлений». Противостоять этому хаосу, находя незаемные способы его художественного «укрощения», наряду с тем прививая американской культуре великие традиции античности, Возрождения, европейской литературы нового времени,— в этом Уайлдер видел свою миссию, беря в союзники таких классиков литературы США, как Герман Мелвилл, Эмили Дикинсон.

Уайлдер чувствовал свою близость писателям философского склада, затрагивающим сложные интеллектуальные и этические проблемы. Вместе с тем его неизменно привлекала экспериментальная литература, поиск нетрадиционных изобразительных средств. Основной областью экспериментов для самого него был театр. Ряд статей сборника посвящен проблемам американской драматургии, как правило воспринимавшейся Уайлдером критически. По его мнению, беда американского театра заключалась в том, что публику приучили к пьесам, не стре ящимся «ни что бы то ни было открывать, ни как бы то ни было удивлять»,— а для него это было главным, когда он писал для сцены. Традиционный театр с декорациями и стремлением к жизнеподобию казался Уайлдеру устаревшим, поскольку сцена показывает «символы вещей, а не сами по себе вещи», и в этом смысле у нее собственная реальность, отражающая глубинные свойства и конфликты живой действительности. Такое понимание специфики и задач театра глубже всего раскрылось в лучшей пьесе Уайлдера «Наш городок» (она недавно поставлена на сцене ленинградского БДТ).

Высоко оценивая книгу, рецензент, однако, находит в ней противоречие, по его словам, вообще свойственное Уайлдеру: «Слишком часто наблюдательный и наделенный чувством юмора собеседник теснил в нем философа-стоика, не питающего никаких иллюзий». Однако критик в целом согласен с теми, кто считает наследие Уайлдера крупным и по сей день актуальным явлением американской литературы XX века.

ФРАНЦИЯ

ПОСЛЕДНИЙ КРУГ АДА

Книга Владимира Познера «Нисхождение в ад», посвященная узникам Освенцима (изд-во Жюйяра), получила широкие отклики в прессе.

«Я думала, что все знаю о фашистских лагерях, но эту книгу прочла не отрываясь. Мне хочется кричать: «Наконец-то! 35 лет спустя явился человек и написал о том, что невозможно выразить словами. Да, таким был Освенцим. Эта книга была нам необходима. В ней вы найдете всю правду»,— пишет Мадлен Риффо в «Юманите».

Познер черпал материал в массе документов, которые сохранены Товариществом бывших узников Освенцима. Он беседовал с людьми, пережившими Освенцим, и с теми, кто служил там надзирателями.

«В его книге, — пишет Мадлен Риффо, — перекликаются, отвечают друг другу многочисленные голоса: голоса мертвых, живых, всех тех, кто был там... Голоса миллионов мужчин и женщин, превратившихся в дым: евреев, цыган, чешских патриотов, русских, французов — участников Сопротивления и коммунистов... Познер воссоздает «обыкновенный» ужас — без комментариев, упрощения и пропусков... Фабрики уничтожения, промышленное использование миллионов трупов, ежедневные «заботы» начальника лагеря... Смерть за несколько капель воды, за то, что упал в грязь, за вошь. Ужас ночи, которая может стать последней... И красота утра. Да, красота. И красота человека. В этом аду, где все было сделано для того, чтобы осквернить самую сущность человека, людям удается создать товарищество, поддерживать и согревать друг друга... Может быть, это и есть событие».

Не менее высоко оценивает книгу Познера Андре Вюрмсер: «Из документальных материалов писатель создал произведение, пронзительное по силе воздействия. Мы не имеем права не прочитать эту книгу о жизни мучеников».

ФРГ

ТРАГЕДИЯ «ИНОСТРАННОГО РАБОЧЕГО» В ФРГ

На последнем кинофестивале «Берлинале» главный приз «Золотой медведь» был присужден фильму западногерманского режиссера Вернера Шрётера «Палермо — Вольфсбург».

Это драматическая история сицилийского юноши Никколо, который вынужден был оставить родной город и отправиться на поиски работы в ФРГ. Там он влюбляется в местную девушку. Но она откровенно издевается над итальянцем. Назревает трагическая развязка. Сбитый с толку, растерянный в этом чужом, бездушном мире, Никколо убивает ножом двух соперников и предстает перед судом.

Как пишет в западногерманском журнале «Шпигель» рецензент Воль Доннер, фильм отчетливо можно разделить на три части. Первая рассказывает о жизни героя в родной Сицилии. Эти кадры сняты Шрётером в почти документальной манере. Здесь все пронизано солнцем, светом, музыкой. «С любовью, пониманием и печалью», по словам рецензента, показывает нам режиссер семью Никколо, его безработных друзей; мы слышим их споры о будущем, о «рабстве к северу от Альп», куда юноше многие не советуют ехать.

Резким контрастом этим кадрам выглядят снятые в «холодном западном городе». Бездушный городской ландшафт, одуряющий заводской шум, неоновая реклама «фольксвагена», комната, где живут еще трое таких же, как Никколо, «гастарбайтеров». Многие из них в этой обстановке опускаются все ниже и ниже. И даже белокурая красавица оказывается всего лишь порождением этого бездушного мира.

Третья часть разворачивается в зале суда. После убийства Никколо впадает в какой-то транс, он больше не произносит ни слова, судьи, свидетели проходят мимо него как персонажи гротескного маскарада.

Рецензент называет фильм «триптихом на злободневную тему Север—

Юг». Затрагивая острую проблему иностранных рабочих в ФРГ, режиссер явно сочувствует своему простодушному несчастному герою. Отмечая определенный мелодраматизм фильма и схематичность некоторых решений, рецензент в целом высоко оценивает работу Шрётера.

ШВЕЦИЯ

«ЖАННА Д'АРК АМЕРИКИ»

В Стокгольме был показан спектакль «Жанна д'Арк Америки» по пьесе прогрессивного аргентинского драматурга Андреса Лисарраги. Спектакль воссоздает события освободительной борьбы латиноамериканских народов за независимость в конце XVIII — начале XIX века, борьбы, завершившейся свержением колониального режима в большинстве стран континента. Героиня пьесы — реально существовавшее лицо, Хуана Асурдуй де Падилья,— мужественно сражалась рядом со своим мужем, полковником повстанческой армии. После его гибели она возглавила отряд, воевавший с испанскими войсками в районе Верхнего Перу (территория современной Боливии). Хуана Асурдуй стала одной из первых героинь войны за независимость, примером самоотверженности и стойкости, преданности делу национально-освободительной борьбы.

Поставил пьесу недавно созданный коллектив — Латиноамериканский театр им. Сандино. В него вошли представители различных стран, живущие в эмиграции в Швеции. Знаменательно, что для своего дебюта труппа выбрала пьесу, рассказывающую о героическом прошлом Латинской Америки. Хотя действие ее и происходит более ста пятидесяти лет назад, вера в революционные возможности народа, идеи патриотизма делают пьесу «Жанна д'Арк Америки» актуальной и сегодня, перед лицом значительных социальных перемен, происходящих в Латинской Америке.

Первая работа молодого коллектива была тепло встречена зрителями Швеции.

По инициативе Коммунистической партии Швеции издан альбом, воспроизводящий работы шведских графиков-коммунистов за последние шестьдесят лет. В альбом вошли плакаты, листовки, карикатуры, рисунки, пропагандирующие политику коммунистической партии.

(Журнал «Интерпрессграфик»)

ЭКВАДОР

ВСПОМИНАЯ ЭНРИКЕ ХИЛЯ ХИЛЬБЕРТА

Очерк «Энрике Хиль Хильберт — коммунист, писатель, человек» Валериана Гончарова, опубликованный в «Иностранной литературе» (№ 11, 1977), вызвал широкий отклик на родине безвременно скончавшегося эквадорского романиста, секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Эквадора.

Этот очерк — литературный портрет Хиля Хильберта — наряду с другими работами советского автора, посвященными южноамериканской стране, вошел в сборник очерков В. Гончарова «Эквадор: земля и люди», вышедший на испанском языке в серии, издаваемой гваякильским отделением Национального Дома эквадорской культуры.

В связи с выходом в свет книги В. Гончарова состоялось, как сообщает эквадорская печать, заседание членов Дома культуры, в котором участвовали Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Эквадора Педро А. Саад, писатель Рафаэль Диас Икаса, профессор столичного университета М. Хихон Сааведра, многие другие деятели науки и культуры.

«Очерк об Энрике Хиле Хильберте,— пишет известный критик Хосе Солис Кастро в предисловии к книге,— великолепное повествование о борце, революционном писателе, который всю свою жизнь, свою повседневную деятельность, свой творческий труд посвятил битве за права своего народа, своей страны, благородному делу мира и коммунизма. Наши исторические деятели, как Эспехо, Монтальво, Элой Альфаро, так и Хиль Хильберт, имеют единую суть, находясь в едином строю непобедимых борцов за независимость нашей родины».

Крупные буржуазные эквадорские газеты «Эль универсо», «Экстра», «Экспресо» опубликовали рецензии на книгу В. Гончарова, подчеркивая важность культурных связей между Эквадором и СССР.

ЯПОНИЯ

ГАЗЕТА «АСАХИ» О В. И. ЛЕНИНЕ В 1917 ГОДУ

Об огромном интересе в Японии к наследию В. И. Ленина свидетельствуют многочисленные переводы его произведений. Первая его работа — воззвание «К русскому пролетариату» — была опубликована в газете «Хэймин симбун» в мае 1904 года, а в 1967 году закончено издание Полного собрания сочинений в 42 томах.

Несмотря на то, что японская буржуазная печать не скрывала своей враждебности к социалистической революции в России и ее вождю, корреспонденты некоторых газет, освещая революционные события в России 1917 года, неоднократно обращались к личности В. И. Ленина как политического и государственного деятеля. В информации из Петрограда от 30 апреля 1917 года газета «Асахи» (г. Осака) пишет, что «максималист-пацифист» Ленин призвал русское правительство к прекращению войны и выдвинул идею создания нового революционного правительства, что привело к аресту его сторонников Позднее газета сообщила о попытках Временного правительства арестовать самого Ленина.

Первое сообщение о победе Октябрьской революции под руководством В. И. Ленина было опубликовано в этой газете 10 ноября. В заметке сообщалось о том, что 7 ноября русские солдаты и матросы во главе с большевиками после выстрела крейсера «Аврора» захватили Зимний дворец и что, свергнув Временное правительство Керенского, Ленин выступил за прекращение военных действий и заключение мира между воюющими государствами.

12 ноября газета поместила портрет В. И. Ленина и сообщила о бегстве Керенского из Петрограда.

В опубликованном 14 и 15 ноября очерке Усуо Куроганэ, корреспондента «Асахи» в Швейцарии, рассказывается о борьбе вождя русского пролетариата против меньшевиков в годы эмиграции и после возвращения в Россию, об умелой агитационной работе его сторонников среди солдат, матросов, рабочих и крестьян, о притягательной силе ленинских идей для трудящихся России и их постепенном переходе к осени 1917 года на сторону «максималистов-ленинцев».

В очерке отдается дань уважения высоким волевым качествам В. И. Ленина, его целеустремленности, умению улавливать настроение масс и его страстной убежденности в правоте своего дела.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРЛОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. И. Иванова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

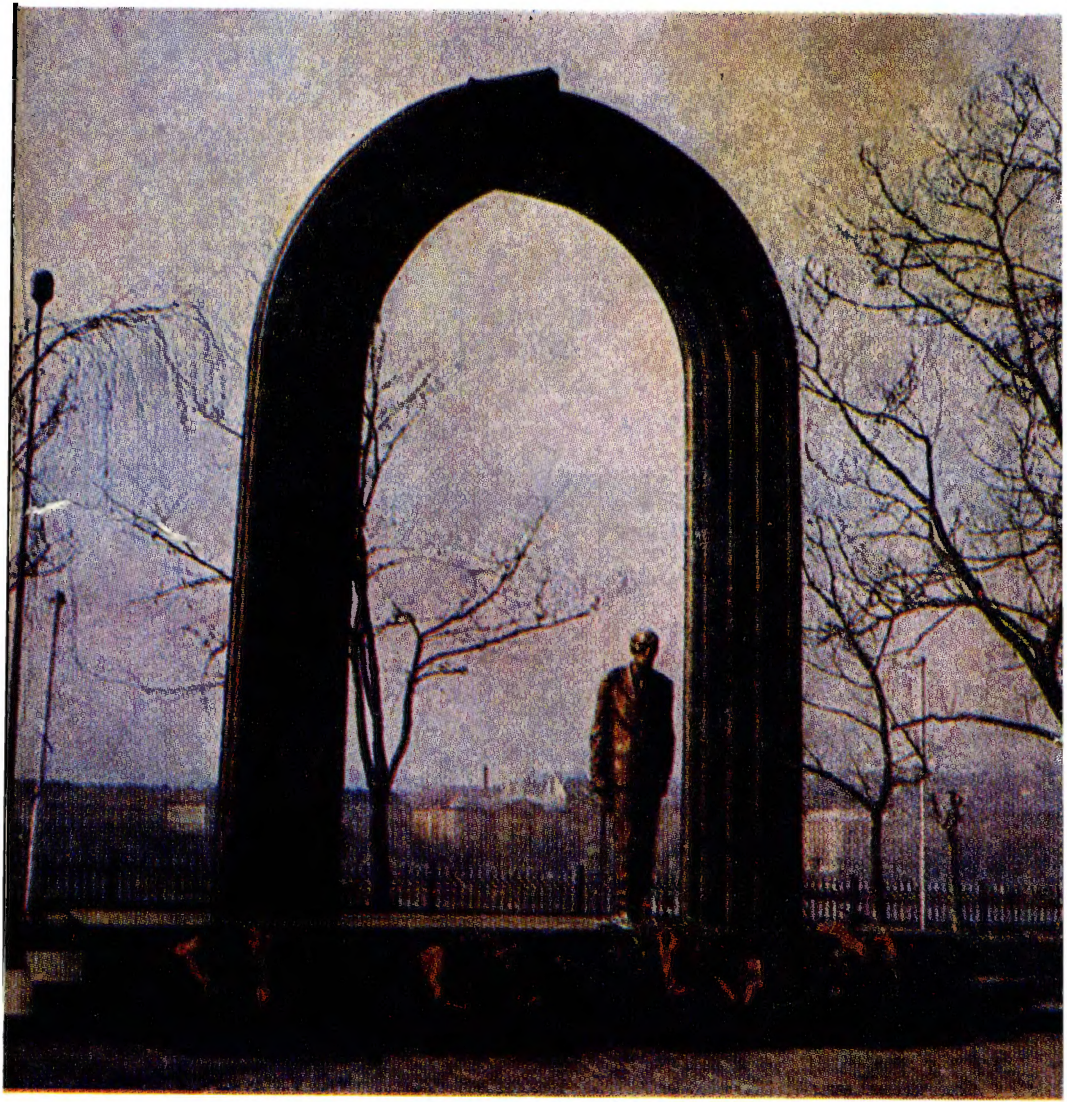
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 05.09.80. Подписано в печать 20.10.80. А 00168. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая, 17 п. л. (23,8) усл. п. л., уч.-изд. л. 28,05 тираж 480 000 экз.

Тираж 480 000 экз. (1-й завод: 1 — 400.000 экз.) Зак. 2924.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова Москва, Пушкинская пл., 5.



Памятник Михаю Карою

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394